Мастера
русской
прозы
XX века

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Повести и рассказы

Лениздат

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Повести
и
рассказы

Мастера
русской
прозы
XX века

Мастера русской прозы XX века

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

Повести и рассказы

ЛЕНИЗДАТ
1983

84.3Р7
И20

Составитель сборника
Т. В. ИВАНОВА

Послесловие доктора филологических наук
В. В. БУЗНИК

И $\frac{4702010200-098}{М171(03)-83}$ 224—83

ПОВЕСТИ

БРОНЕПОЕЗД 14-69

ПАРТИЗАНЫ У РЕЛЬС!

I

Цифры блестели перед глазами: 85, 64 и еще 0000... как снежные четки... На дверях купе, на рамах окна, на ремне, на кобуре револьвера. Везде. Точно огромная мясистая цифра 8, на койке, упадая коротко стриженной головой в огромные, как степные дороги, плечи,— прапорщик Обаб, помощник капитана Незеласова.

Даже на сигаретах, которые одну за другой испепелял капитан и пепел которых мягко таял в животе расколотого чугунного китайского божка, тоже цифры и английские поджарые, словно галеты, буквы.

— Что ж?.. Стекаем, как гной из раны... на окраины... Мы!.. Все — и беженцы, и утонувшие в снегу правительства... Но-о! Я ж говорю вам, прапорщик. Потом куда?.. В море?

Обаб наискось оглядел искривившиеся лицевые мускулы капитана. Узловато ответил:

— Вам лечиться. Надо. Да!

Был прапорщик Обаб из выслужившихся добровольцев колчаковской армии. О всех кадровых офицерах говорил: «Сплошь болезня».

Капитана Незеласова уважал, потому повторил:

— Без леченья плохо. Вам.

Незеласов торопливо выдернул сигаретку:

— Заклепаны вы наглухо, Обаб... ничего до вас не дойдет!..

И, быстро отряхивая пепел, визгливо заговорил:

— Как нам стронуться хоть немного... Ведь тоска, Обаб, тоска! Родина нас... вышвырнула! Думали всё — нужны, очень нужны, до зарезу нужны, а вдруг ра-а-с-

чет получайте... И не расчет даже, а в шею... в шею!.. в шею!!

И капитан, кашляя, брызгая слюной и дымом, возвышал голос:

— О, рабы нерадивые и глупые!

Обаб протянул длинную руку навстречу сгибающемуся капитану. Точно поддерживая валящееся дерево, сказал с усилием:

— Сволочь бунтует. А ее стрелять надо. А которая глупее — пороть.

— Нельзя так, Обаб, нельзя...

— Болезнь. У нас. Вот атаман Семенов. Не мозгует. Бьет.

— Внутри высохло... водка не катится, не идет... От табаку — слякоть, вонь... В голове, как наседка, да у ней триста яиц... Высиживает. Э-эх!.. Теплынь, пар!.. Копошится теплое, склизкое, того гляди... вылезет. Преодолеть что-то надо, а что — не знаю и не могу...

— Женщину вам надо. Давно женщину имели?

Обаб тупо посмотрел на капитана.

— Непременно женщину. В такой работе — каждый месяц. Я здоровый,— каждые две недели. Лучше хины.

— Может быть, может быть... попробую. Почему мне не попробовать...

— Можно быстро, здесь беженок много... Цветки!

Незеласов поднял окно.

Запахло каменным углем и горячей землей. Как банка с червяками, потела плотно набитая людьми станция. Мокро блестели ее стены и близ дверей маленький колокол.

На людях клеймо бегства.

Шел похожий на новое стальное перо чистенький учитель, и на плече у него трепалась грязная тряпица. Барышни нечесаные, и одна щека измятая, розовато-серая: должно быть, жестки подушки, а может быть, и нет подушек — мешок под головой.

«Портятся люди»,— подумал Обаб. Ему захотелось жениться. «В семью бы хорошо...»

Он сплюнул в платок и сказал:

— Ерунда!

Незеласов теребил серую рыхлую бумагу телеграммы. Как везде, на телеграмме — цифры. Как всегда, мутнеют зрачки Обаба. Слюняв хлопающий голос:

— Опять?

— Что опять?.. В чем дело?

Обаб и Незеласов взглянули в окно.

Беженцы смущенно рассматривали стальную броню вагонов. На платформах орудия, казалось, рассматривают его, голого. Голый Незеласов костляв, похож на смятую жестянку из-под консервов: углы и серая гладкая кожа.

Он едко сказал в плечо Обабу:

— За спасителей нас считают... Ерусланы! В телеграмме пишут: у рельс вершининский отряд показался... в городе...

Обаб грузно отодвинулся от окна:

— Жиды, капитан. И в городе жиды, и у Вершинина жиды. Дайте сигарету.

— Придут японцы... Прикажите воду набирать... непременно... сейчас.

— В появлении? Опять! Неймется.

Обаб ударил себя по ляжкам длинными и ровными, как веревка, руками.

— Люблю.

Заметив на себе рыхлый зрачок Незеласова, прапорщик сказал:

— Не насчет смерти. А чтоб двигалось. Спокойно когда — мясо ржавеет...

Обаб степенно вздохнул. Вздохнули потные острые скулы, похожие на обломки ржавого сухаря, вздохом медленным, крестьянским.

— У нас сейчас, в Барнаульском... уезде, уборка. Рука по вожже зудится...

Незеласов, вскакивая, торопливо спросил:

— Прапорщик... Кто наше начальство?.. Кто непосредственное начальство?

— Генерал Смирнов.

— Ага? А где он?..

— Партизаны повесили.

— Ага?.. Так. Значит, следующий. Кто?

— Следующий?

— Вас спрашивают...

— Генерал-лейтенант Сахаров.

— Ага?.. Он где, где?..

— Не могу знать.

— А... где командующий армией?

— Не могу знать.

Капитан затянул ремень и хотел резко прокричать: «Ну, и не рассуждать — исполняйте приказания»,— а вместо этого отвернулся и, скучно царапая пальцем краску рамы, спросил тихонько:

— Кого нам, прапорщик, слушаться?.. Ага? Кого мы с вами по телеграмме... Постойте.

Обаб шлепнул по животу чугунного кумирчика, попытался поймать в мозгу какую-то мысль, но соскользнул.

— Не знаю... Воду так воду... Стрелять, будем стрелять — очень просто.

И, как гусь неотросшими крыльями, колыхая галифе, Обаб шел по коридору вагона и бормотал:

— Не моя обязанность... думать... я что... лента, обойма... Очень нужно... Где?

II

Торопливо отдал честь тщедушный солдатик в голубых французских обмотках и больших бутсах.

Незеласову не хотелось толкаться по перрону, и, обогнув обшитые стальными щитами вагоны бронепоезда, он брел среди теплушек с эвакуируемыми беженцами.

«Ненужная Россия,— подумал он со стыдом и покраснел, вспомнив: — И ты в этой России».

Нарумяненная женщина с толстым задом всколыхнула в теле предложение Обаба. Капитан сказал громко:

— Дурак!

Женщина оглянулась: печальные, потускневшие глаза и маленький лоб в глубоких морщинах.

Незеласов отвернулся.

Теплушки обиты побуревшим тесом. В пазах торчал выцветший мох. Хлопали двери с ремнями, заменявшими ручки. На гвоздях у дверей в плетеных мешках — мясо, битая птица, рыба. Над некоторыми дверьми — пихтовые ветки, и в таких вагонах слышался молодой женский голос. А в одном вагоне играли на рояле.

Пахло из теплушек потом, пеленками, и подле рельс пахли аммиаком растоптанные испражнения. Еще у одной теплушки на корточках дрожал солдат и сквозь желтые зубы выл:

— О-о-о-е-е-е.

«Дизентерия,— подумал, закуривая, капитан.— Значит, капут».

Ощущение стыда и далекой, где-то в ногах таящейся злости не остывало.

Плоскоспинный старик, утомленно подымая тяжелый колун, рубил полусгнившую шпалу.

— Издалека? — спросил Незеласов.

Старик ответил:

— А из Сызрани.

— Куда едешь?

Он опустил колун и, шаркая босой ногою с серыми потрескавшимися ногтями, уныло ответил:

— Куда повезут.

Кадык у него, покрытый дряблыми морщинами, большой, с детский кулак, и при разговоре расправлялись и видны были чистые, белые полоски кожи.

«Редко, видно... говорить-то приходится»,— подумал Незеласов.

— У меня в Сызрани-то земля,— любовно проговорил старик,— отличнейший чернозем. Прямо золото, а не земля,— чекань монету... А вот, поди ж ты, бросил.

— Жалко?

— Известно, жалко. А бросил. Придется обратно.

— Обратно идти далеко... очень...

Старик, не опуская колуна, чуть-чуть покачал головой. Как-то плечами остро и со свистом вздохнул:

— Далеко... Говорят, на путях-то, вашблаго, Вершинин явился.

— Неправда. Никого нет.

— Ну? Значит, врут! — Старик оживленно взмахнул колуном.— А говорят, идет и режет. Беспощадно, даже скот. Одна, говорят, надежда на бронипоезду. Только. Ишь ты... Значит, нету?

— Никого нет...

— Совсем, вашблаго, прекрасно. Може, и до Владивостоку доберешься... Проживем. Куды я обратно попрусь, скажи-ка ты мне?

— Не выдержишь... Ты не беспокойся... Да.

— И то говорю — умрешь еще дорогой.

— Не нравится здесь?

— Народ не наш. У нас народ все ласковый, а здесь и говорить не умеют. Китаец — так тот совсем языка русского не понимает. И как живет, бог его знает! Фальшиво живет. Зачервивешь тут. А коли лучше обратно пойти? Бросить все и пойти? Чать, и большевики люди, а?

— Не знаю,— ответил капитан.

III

Вечером на станцию нанесло дым.

Горел лес.

Дым был легкий, теплый, и кругом запахло смолой.

Кирпичные домики станции, похожая на глиняную кружку водокачка, китайские фанзы и желтые поля гаоляна закурились голубоватой пеной, и люди сразу побледнели.

Прапорщик Обаб хохотал:

— Чревовещатели-и!.. Не трусь!..

И, точно ловя смех, жадно прыгали в воздухе его длинные руки.

Чахоточная беженка с землистым лицом, в каштановом манто, подпоясанном бечевкой, которой перевязывают сахарные головы, мелкими шажками бегала по станции и шепотом говорила:

— Партизаны... партизаны... тайгу подожгли... и расстреливают... Вершинин подходит...

Ее видели сразу во всех двенадцати эшелонах. Бархатное манто покрылось пеплом, вдавленные виски вспотели. Все чувствовали тоскливое томление, похожее на голод.

Комендант станции — солдаты звали его «четырехэтажным» — большеголовый, с седыми, прозрачными, как ледяные сосульки, усами, успокаивал:

— А вы целомудрие наблюдайте душевное. Не волнуйтесь.

— Чита взята!.. Во Владивостоке большевики!

— Ничего подобного. Уши у вас чрезмернейшие. Сообщение с Читой имеем. Сейчас по телеграфу няньку генерала Нокса разыскивали.

И, втыкая в глотку непочтительный смешок, четко говорил:

— Няньку английский генерал Нокс потерял. Ищет. Награду обещали. Дипломатическая нянька, черт подери, и вдруг какой-нибудь партизан изнасилует.

Белокурый курчавый парень, похожий на цветущую черемуху, расклеил по теплушкам плакаты и оперативные сводки штабверха. И хотя никто не знал, где этот штабверх и кто бьется с большевиками, но все ободрились.

Теплые струи воды торопливо потекли на землю. Ударил гром. Зашумела тайга.

Дым ушел. Но когда ливень кончился и поднялась радуга, снова нахлынули клубы голубоватого дыма, и снова стало жарко и тяжело дышать. Липкая грязь приклеивала ноги к земле.

Пахло сырыми пашнями, и за фанзами с тихим звоном шумели мокрые гаоляны.

Вдруг на платформу двое казаков принесли из-за водокачки труп фельдфебеля. Лоб был разбит, и на носу и

на рыжеватых усах со свернувшимися темно-красными сгустками крови тряслось, похожее на густой студень, серое вещество мозга.

— Партизаны его...— зашептала беженка в манто, подпоясанная бечевкой.— Вершинин... Они...

В коричневых теплушках эшелонов зашевелились и зашептали:

— Партизаны... Партизаны...

Капитан Незеласов прошел по своему поезду.

У площадки одного вагона стояла беженка в каштановом манто и поспешно спрашивала у солдат:

— Ваш поезд нас не бросит?

— Не мешайте,— сказал ей Незеласов, вдруг возненавидев эту тонконосую женщину.— Нельзя разговаривать!

— Они нас вырежут, капитан!.. Вы же знаете!..

Капитан Незеласов, хлопнув дверью, закричал:

— Убирайтесь вы к черту!

Опять принесли телеграмму. Кто-то неразборчиво, и непременно припутывая цифры, приказывал разогнать банды Вершинина, собирающиеся по линии железной дороги. И в конце говорилось о каких-то японцах, итальянцах...

— Телеграмма номер двенадцать тысяч пятьсот сорок один, видите!.. Приказ, прапорщик, приказ, говорю... А кто там, кто смеет приказывать? Кто есть?

Добродушный толстый паровоз, облегченно вздыхая, подтащил к перрону шесть вагонов японских солдат. За ним другой. Маленькие чистенькие люди, похожие на желтоголовых птичек, порхали по перрону.

Капитана Незеласова нашел японский офицер в паровозе бронепоезда. Поглаживая кобуру револьвера и чуть шевеля локтями, японец мягко говорил по-русски, стараясь ясно выговаривать букву р:

— Я... есть пол-рр-лючик Танако Муццо... Тя. Я есть коман-н-тил-л-рр-лован вместе.

И, внезапно повышая голос, выкрикнул, очевидно, твердо заученное:

— Уничтожит!.. Уничтожит!..

Рядом с ним стоял американский корреспондент — во френче с блестящими зелеными пуговицами и в полосатых чулках. Он быстро, тоже заученно, оглядывал станцию и, торопливо чиркая карандашом, спрашивал:

— А этта?.. А этта?.. Ш-ш-то?..

Обаб и еще какой-то офицер, потея и кашляя, объясняли.

— Хорошо,— сказал Незеласов.— Прикажите, Обаб, прицепить вагоны... с японцами.

Он захлопнул тяжелую стальную дверь.

— Пошел, пошел!..— визгливо кричал, матерной руганью обвертывая приказания. И где-то внутри росло желание увидеть, ощупать руками тоску, переходящую с эшелонов беженцев на бронепоезд № 14-69.

Капитан Незеласов бегал внутри поезда, грозил револьвером, и ему хотелось закричать громче, чтобы крик прорвал обитые кошмой и сталью стенки вагонов... Дальше он не понимал, для чего понадобился бы ему тогда его крик.

Грязные солдаты вытягивались, морозили в лед четырехугольные лица. Ненужные тряпки одежд стесняли движения. Около стальных орудий хотелось их видеть голыми и не хотелось чувствовать тлеющих в страхе душ.

Прапорщик Обаб быстро и молчаливо шагал вслед за капитаном.

Лязгнули буфера. Коротко свистнул кондуктор, загрохотало с лавки железное ведро, и, пригибая рельсы к земле, разбрасывая позади себя станции, избушки стрелочников, прикрытый дымом лес и граниты сопок, облитые теплым и влажным ветром, падали и не могли упасть, летели в тьму тяжелые стальные коробки вагонов, несущих в себе сотни человеческих тел, наполненных тоской и злобой.

IV

А в это время китаец Син Бин-у лежал в траве в тени пробкового дерева и, закрыв раскосые глаза, пел о том, как красный Дракон напал на девушку Чен Хуа.

Лицо у девушки было цвета корня женьшеня, и пища ее была у-вей-цзы, петушьи гребешки, ма-жу, грибы величиною со зрачок, чжен-цзай-цай. Весьма было много всего этого, и весьма все это было вкусно.

Но красный Дракон взял у девушки Чен Хуа ворота жизни, и тогда родился бунтующий русский.

Партизаны сидели поодаль, и Пентефлий Знобов, радостно прорывая чрез подпрыгивающие зубы налитые незыблемою верою слова, кричал:

— Бегут, братцы мои, бегут. В недуг души ударило, оземь бьются, трепыхаются. А наше дело — не уснуть, а город-то, он у-ух!.. силен. Все возьмет!

Пахло камнем, морем.

V

«Объединенным русско-японским отрядом, при поддержке бронепоезда № 14-69, партизанские шайки Вершинина рассеяны.

С нашей стороны убитых 42, раненых 115. Боевая выдержка союзников выше всяких похвал. Преследование противника в сопках продолжается.

Начбронепоезда № 14-69 капитан Незеласов,
№ 8701-7-19».

VI

И вот.

Шестой день тело ощущало жаркий камень, изнывающие в духоте деревья, хрустящие спелые травы и вялый ветер.

И тело у них было как граниты сопок, как деревья, как травы; катилось горячее, сухое, по узко вытоптанным горным тропам.

От ружей, давивших плечи, туго болели поясницы.

Ноги ныли, словно опущенные в студеную воду, а в голове, как в мертвом тростнике,— пустота, бессочье.

Шестой день партизаны уходили в сопки.

Казачьи разъезды изредка нападали на дозоры. Слышались тогда выстрелы, похожие на треск лопающихся бобовых стручьев.

А позади — по линии железной дороги — и глубже: в полях и лесах — атамановцы, чехи, японцы и еще люди незнаемых земель жгли мужицкие деревни и топтали пашни.

Шестой день с короткими отдыхами, похожими на молитву, две сотни партизан, прикрывая уходящие вперед обозы с семействами и утварью, устало шли черными тропами. Им надоел путь, и они, часто сворачивая с троп, среди камня, ломая кустарник, шли напрямик к сопкам, напоминавшим огромные муравьиные гнезда.

VII

Китаец Син Бин-у, прижимаясь к скале, пропускал мимо себя отряд и каждому мужику со злостью говорил:

— Японса била надо... у-у-ух, как била!

И, широко разводя руками, показывал, как надо бить японца.

Вершинин остановился и сказал Ваське Окороку:

— Японец для нас хуже барсу [1]. Барс-от, допрежь чем манзу [2] жрать, лопатину [3] с него сдерет. Дескать, пусть проветрится, а японец-то разбираться не будет — вместе с усями [4] слопает.

Китаец обрадовался разговору о себе и пошел с ними рядом.

Никита Вершинин, председатель партизанского революционного штаба, шел с казначеем Васькой Окороком позади отряда. Широкие — с мучной куль — синие плисовые шаровары плотно обтягивали большие, как конское копыто, колени, а лицо его, в пятнах морского обветрия, хмурилось.

Васька Окорок, устало и мечтательно глядя Вершинину в бороду, протянул, словно говоря об отдыхе:

— В Расеи-то, Никита Егорыч, беспременно вавилонскую башню строить будут. И разгонют нас, как ястреб цыплят, беспременно! Чтоб друг друга не узнавали. Я тебе это скажу: Никита Егорыч, самогонки хошь? А ты, талабала, по-японски мне выкусишь! А Син Бин-у-то, разъязви его в нос, на русском языке запоет. А?

Работал раньше Васька на приисках и говорит всегда так, будто самородок нашел и не верит ни себе, ни другим. Голова у него рыжая, кудрявая, лениво мотает он ею. Она словно плавится в теплом усталом ветре, дующем с моря, в жарких, наполненных тоской запахах земли и деревьев.

Вершинин перебросил винтовку на правое плечо и ответил:

— Охота тебе, Васька. И так мало рази страдали?

Окорок вдруг торопливо, пересиливая усталость, захохотал:

— Не нравится!

— Свое добро рушишь. Пашню там, хлеба, дома. А это дарма не пройдет. За это непременно пострадать придется.

— Японца, Никита Егорыч, тронуть здорово надо. Набил им брюхо землей — и в море.

— Японец — народ маленький, а с маленького спрос какой? Дешевый народ. Так, вроде папироски — будто

---

[1] Тигр.
[2] Китаец (*обл.*).
[3] Одежда.
[4] Род китайской обуви.

и курево, и дым идет, а так — баловство. Трубка, скажем, дело другое.

В леса и сопки, клокоча, с тихими усталыми храпами вливались в русла троп ручьи людей, скота, телег и железа. Наверху, в скалах, сумрачно темнели кедры. Сердца, как надломленные сучья, сушила жара, а ноги не могли найти места, словно на пожаре.

Опять позади раздались выстрелы.

Несколько партизан отстали от отряда и приготовились отстреливаться.

Окорок разливчато улыбнулся:

— Нонче в обоз ездил. Потеха-а!..

— Ну?

— Петух орет. Птицу, лешаки, в сопки везут. Я им баю — жрите, а то все равно бросите.

— Нельзя. Без животины человеку никак нельзя. Всю тяжесть он потеряет без животины. С души-то, тяжесть...

Син Бин-у сказал громко:

— Казаки цхау-жа! Нипонса куна, мадама бери мала-мала. Нехао! Казаки нехао! [1] Кырасна руска...

Он, скосив губы, швыркнул слюной сквозь зубы, и лицо его, цвета песка золотых россыпей, с узенькими, как семечки дыни, разрезами глаз, радостно заулыбалось...

— Шанго!.. [2]

Син Бин-у в знак одобрения поднял кверху большой палец руки.

Но не слыша, как всегда, хохота партизан, китаец уныло сказал:

— Пылыоха-о [3].

И тоскливо оглянулся.

Партизаны, как стадо кабанов от лесного пожара, кинув логовище, в смятенье и злобе рвались в горы.

А родная земля сладостно прижимала своих сынов — идти было тяжело. В обозах лошади оглядывались назад и тонко, с плачем, ржали. Молчаливо бежали собаки, отучившиеся лаять. От колес телег отлетала последняя пыль и последний деготь родных мест.

Направо в падях темнел дуб, белел ясень.

Налево — от него никак не могли уйти — спокойное, темно-зеленое, пахнущее песками и водорослями море.

---

[1] Казаки плохи! Японец — подлец, женщин берет... Нехорошо! Казаки плохи!

[2] Хорошо!

[3] Плохо.

Лес был как море, и море — как лес, только лес чуть темнее, почти синий.

Партизаны упорно глядели на запад, а на западе отсвечивали золотом розоватые граниты сопок, и мужики через просветы деревьев плыли глазами туда, а потом вздыхали, и от этих вздохов лошади обозов поводили ушами и передергивались телом, точно чуя волка.

А китайцу Син Бин-у казалось, что мужики за розовыми гранитами на западе желают увидеть иное, ожидаемое.

Китайцу хотелось петь.

Никита Вершинин был рыбак больших поколений.

Тосковал он без моря, и жизнь для него была вода, а пять пальцев — мелкие ячейки сети: все что-нибудь да и попадет.

Баба попалась жирная и мягкая, как налим. Детей она принесла пятерых — из года в год, пять осеней, когда шла сельдь, и не потому ли ребятишки росли светловолосые среброчешуйники.

В рыбалках ему везло, на весь округ шел послух про его «вершининское» счастье, и, когда волость решила идти на японцев и атамановцев, председателем ревштаба выбрали Никиту Егорыча.

От волости уцелели телеги, увозящие в сопки ребятишек и баб. Жизнь нужно было тесать, как избы,— неизвестно, удастся ли,— заново, как тесали прадеды, приехавшие сюда из пермских земель на дикую землю.

Многое было непонятно — и жена, как в молодости, желала иметь ребенка.

Думать было тяжело, хотелось повернуть назад и стрелять в японцев, атамановцев, в это сытое море, присылающее со своих островов людей, умеющих только убивать.

У пришиби [1] яра бомы [2] прервали дорогу, и к утесу был приделан висячий, балконом, плетеный мост. Матера [3] рвалась на бом, а ниже в камнях билась, как в падучей, белая пена стрежи [4] потока.

Перейдя подвесной мост, Вершинин спросил:

— Привал, что ли?

Мужики остановились, закурили.

---

[1] Подножие яра — крутой скалистый берег.
[2] Камни, преграждающие течение потока.
[3] Главная сила струи потока.
[4] Сильнейшие струи матеры.

Привала решили не делать. Пройти Давью деревню, а там — в сопки, и ночью можно отдыхать в сопках.

У поскотины[1] Давьей деревни босоногий мужик, с головой, перевязанной тряпицей, подогнал игренюю лошадь и сказал:

— Битва у нас тут была, Никита Егорыч.

— С кем битва-то?

— В поселке. Японец с нашими дрался. Дивно народу положено. Японец-то ушел — отбили, а чаем, придет завтра. Ну вот, мы барахлишко-то свое складываем да в сопки с вами думаем.

— Кто наши-то?

— Не знаю, парень. Не вашей волости, должно. Христьяне тоже. Пулеметы у них, хорошие пулеметы. Так и строчат. Из сопок тоже.

— Увидимся!

На широкой поселковой улице валялись телеги, трупы людей и скота.

Японец, проткнутый штыком в горло, лежал на русском. У русского вытек на щеку длинный синий глаз. На гимнастерке, залитой кровью, ползали мухи.

Четыре японца лежали у заплота ниц лицом, точно стыдясь. Затылки у них были раздроблены. Куски кожи с жесткими черными волосами прилипли на спины опрятных мундирчиков, и желтые гетры были тщательно начищены, точно японцы собирались гулять по владивостокским улицам.

— Зарыть бы их,— сказал Окорок,— срамота.

Жители складывали пожитки в телеги. Мальчишки выгоняли скот. Лица у всех были такие же, как и всегда,— спокойно-деловитые.

Только от двора ко двору среди трупов кольцами кружилась сошедшая с ума беленькая собачонка.

Подошел к партизанам старик с лицом, похожим на вытершуюся серую овчину. Где выпали клоки шерсти, там краснела кожа щек и лба.

— Воюете? — спросил он плаксивым голосом у Вершинина.

— Приходится, дедушка.

— И то смотрю — тошнота с народом. Николды такой никудышной войны не было. Се царь скликал, а теперь — на́, чемер тебя дери, сами промеж себя дерутся.

— Все равно что ехали-ехали, дедушка, а телега-то —

[1] Ограда вокруг деревни, где пасется скот.

трах! Оказывается, сгнила давно, нову приходится делать.

— А?

Старик наклонил голову к земле и, словно прислушиваясь к шуму под ногами, повторил:

— Не пойму я... А?

— Телега, мол, изломалась!

Старик, будто стряхивая с рук воду, отошел, бормоча:

— Ну, ну... какие нонче телеги. Антихрист родился, хороших телег не жди.

Вершинин потер ноющую поясницу и оглянулся.

Собачонка не переставала визжать.

Один партизан снял карабин и выстрелил. Собачонка свернулась клубком, потом вытянулась всем телом, точно просыпаясь и потягиваясь. Издохла.

Старик беспокойно поцарапался:

— Ишь, и собака с тоски сдохла, Никита Егорыч. А человек терпит.

— Терпит?

— Терпит, Егорыч. Брандепояс-то в сопки пойдет, бают. Изничтожит все и опять-таки пожгет.

— Народу не говори зря. Надо в горы рельсы.

Старик злобно сплюнул:

— Без рельсы пойдет. Раз они с японцами связались. Японец да американка все может. Погибель наша явилась, Егорыч. Прямо погибель. Народ-то, как урожай под дождем, гниет... А капитан-то этот с брандепояса из царских родов будет?..

— Будет тебе зря-то...

— Зол уж, и росту, бают, выше сажени, а борода...

VIII

Мужик с перевязанной головой бешено выгнал обратно из переулка свою игренюю лошадь.

Тело его влипало в плоскую лошадиную спину, лицо танцевало, тряслись кулаки, и радостно орала глотка:

— Мериканца пымали, братцы-ы!..

Окорок закричал:

— Ого-го-го!..

Трое мужиков с винтовками показались в переулке.

Посреди них шел, слегка прихрамывая, одетый в летнюю фланелевую форму американский солдат.

Лицо у него было бритое, молодое. Испуганно дрожали его открытые зубы, и на правой щеке, у скулы, прыгал мускул.

Длинноногий седой мужик, сопровождавший американца, спросил:

— Кто у вас старшой?

— По какому делу? — отозвался Вершинин.

— Он старшой-то, он! — закричал Окорок.— Никита Егорыч Вершинин! А ты рассказывай, как пымали-то?

Мужик сплюнул и, похлопывая американского солдата по плечу так, точно тот сам явился, со стариковской охотливостью стал рассказывать:

— Привел его к тебе, Никита Егорыч. Вознесенской мы волости. Отряд-от наш за японцем пошел далеко-о!

— А деревень-то каких?

— Селом мы воюем. Пенино-село, слышал, может?

— Пожгли его, бают?

— Сволочь народ! Как есть все село, паря-батюшка, попалили, вот и ушли мы в сопки!

Партизаны собрались вокруг, заговорили:

— Одну му́ку принимаем! Понятно!

Седой мужик продолжал:

— Ехали они двое, мериканцев-то! На трашпанке в жестянках молоко везли! Дурной народ: воевать приехали, а молоко жрут с щиколадом. Одного-то мы сняли, а этот руки задрал. Ну и повели. Хотели старосте отдать, а тут ишь — целая компания!

Американец стоял, выпрямившись по-солдатски, и, как с судьи, не спускал глаз с Вершинина.

Мужики сгрудились.

На американца запахло табаком и крепким мужицким хлебом.

От плотно сбившихся тел шла мутившая голову теплота и поднималась с ног до головы сухая, знобящая злость.

Мужики загалдели:

— Чего-то!

— Пристрелить его, стерву!

— Крой его!

— Кончать!..

— И никаких!

Американский солдат слегка сгорбился и боязливо втянул голову в плечи, и от этого движения еще сильнее захлестнула тело злоба.

— Жгут, сволочи!

— Распоряжаются!

— Будто у себя!

— Ишь, забрались!

— Просили их!

Кто-то пронзительно завизжал:

— Бе-ей!..

В это время Пентефлий Знобов, работавший раньше на владивостокских доках, залез на телегу и, точно указывая на потерянное, закричал:

— Обо-ждь!..

И добавил:

— Товарищи!

Партизаны посмотрели на его лохматые, как лисий хвост, усы, на расстегнувшуюся прореху штанов, через которую виднелось темное тело, и замолчали.

— Убить завсегда можно! Очень просто. Дешевое дело — убить. Вон их сколь на улице-то наваляли. А помоему, товарищи, распропагандировать его и пустить. Пущай большевицкую правду понюхают. Во-о как я полагаю!..

Вдруг мужики густо, как пшено из мешка, высыпали хохот:

— Хо-хо-хо!..

— Хе-кче!..

— Хо-о!..

— Прореху-то застегни, черт!

— Валяй, Пентя, запузыривай!..

— Втемяшь ему!

— Чать, тоже человек...

— На камне и то выдолбить можно.

— Лупи!..

Крепкотелая Авдотья Стещенкова, подобрав палевые юбки, наклонилась и толкнула американца плечом.

— Ты вникай, дурень, тебе же добра хочут.

Американский солдат оглядывал волосатые краснобронзовые лица мужиков, расстегнутую прореху штанов Знобова, слушал непонятный говор и вежливо мял в улыбке бритое лицо.

Мужики возбужденно ходили вокруг него, передвигая его в толпе, как лист по воде, громко, как глухому, кричали.

Американец, часто мигая, точно от дыма, глазами, поднимая кверху голову, улыбался и ничего не понимал.

Окорок закричал американцу во весь голос:

— Ты им там разъясни! Подробно! Нехорошо, мол!

— Зачем нам мешать!

— Против своего брата заставляют идти!

Вершинин степенно сказал:

— Люди вы хорошие, должны понять. Такие же крестьяне, как и мы, скажем, пашете и все такое. Японец, он што, рис жрет, для него по-другому говорить надо!

Знобов тяжело затоптался перед американцем и, приглаживая усы, сказал:

— Мы разбоем не занимаемся, мы порядок наводим. У вас поди этого не знают за морем-то, далеко, да и опять и душа-то у тебя чужой земли...

Голоса повышались, густели.

Американец беспомощно оглянулся и проговорил:

— I don't understand [1].

Мужики враз смолкли.

Васька Окорок сказал:

— Не вникат. По-русски-то не знат, бедность!

Мужики отошли от американца.

Вершинин почувствовал смущенье.

— Отправить его в обоз, что тут с ним чертомелиться,— сказал он Знобову.

Знобов не соглашался, упорно твердя:

— Он поймет!.. Тут только надо!.. Он поймет!..

Знобов думал.

Американец, все припадая на ногу, слегка покачиваясь, стоял. Чуть заметно, как ветерок стога сена, ворошила его лицо тоска.

Син Бин-у лег на землю подле американца, закрыв ладонью глаза, тянул пронзительную китайскую песню.

— Мука мученическая,— сказал тоскливо Вершинин.

Васька Окорок нехотя предложил:

— Рази книжку каку?

Найденные книжки были все русские.

— Только на раскурку и годны,— сказал Знобов,— кабы с картинками.

Авдотья пошла вперед, к возам, стоявшим у поскотины, долго рылась в сундуках, наконец принесла истрепанный, с оборванными углами, учебник закона божия для сельских школ.

— Може, по закону? — спросила она.

Знобов открыл книжку и сказал недоумевающе:

— Картинки-то божественны! Нам его не перекрещивать. Не попы.

— А ты попробуй,— предложил Васька.

— Как его. Не поймет, поди!

— Может, поймет. Валяй!

---

[1] Я не понимаю *(англ.)*.

Знобов подозвал американца:

— Эй, товарищ, иди-ка сюда.

Американец подошел.

Мужики опять собрались, опять задышали хлебом, табаком.

— Ленин,— сказал твердо и громко Знобов и как-то нечаянно, словно оступясь, улыбнулся.

Американец вздрогнул всем телом, блеснул глазами и радостно ответил:

— There's a chap! [1]

Знобов стукнул себя кулаком в грудь и, похлопывая ладонью мужиков по плечам и спинам, прокричал:

— Советская республика!

Американец протянул руки к мужикам, щеки у него запрыгали, и он возбужденно закричал:

— What is pretty indeed! [2]

Мужики радостно захохотали:

— Понимает, стерва.

— Вот сволочь, а!

— А Пентя-то, Пентя-то по-американски кроет!

— Ты ихних-то буржуев по матушке, Пентя!

Знобов торопливо раскинул учебник закона божия и, тыча пальцами в картинку, где Авраам приносил в жертву Исаака, а вверху на облаках висел бог, стал разъяснять:

— Этот, с ножом-то,— буржуй. Ишь, брюхо-то выпустил, часы с цепочкой только. А здесь, на бревнах-то, пролетариат лежит, понял! Про-ле-та-ри-ат.

Американец указал себе рукой на грудь и, протяжно и радостно заикаясь, гордо проговорил:

— Про-ле-та-ри-ат! We! [3]

Мужики обнимали американца, щупали его одежду и изо всей силы жали его руки, плечи.

Васька Окорок схватил его за голову и, заглядывая в глаза, восторженно орал:

— Парень, ты скажи та-ам. За морями-то...

— Будет тебе, ветрень,— говорил любовно Вершинин.

Знобов продолжал:

— Лежит он — пролетариат, на бревнах, а буржуй его режет. А на облаках-то японец, американка, англичанка,— вся эта сволочь империализма самая сидит.

---

[1] Вот это парень!

[2] Вот что действительно прекрасно!

[3] Мы.

Американец сорвал с головы фуражку и завопил:

— Империализм! Away!..[1]

Знобов с ожесточением швырнул фуражку оземь.

— Империализм с буржуями — к чертям!

Син Бин-у подскочил к американцу и, подтягивая спадающие штаны, торопливо проговорил:

— Русики ресыпубылика-а. Китайси ресыпубылика-а. Мерикансы ресыпубылика-а — пухао. Нипонсы, пухао, нада, нада ресыпубылика-а. Крыа-а-сна ресыпубылика нада, нада...

И, оглядевшись кругом, встал на цыпочки и, медленно подымая большой палец кверху, проговорил:

— Шанго.

Вершинин приказал:

— Накормить его надо. А потом вывести на дорогу и пустить.

Старик конвоир спросил:

— Глаза-то завязать, как поведем? Не приведет сюда?

Мужики решили:

— Не надо. Не выдаст.

IX

Партизаны с хохотом, свистом вскинули ружья на плечи.

Окорок закрутил курчавой рыжей головой, вдруг тонким, как паутина, голоском затянул:

Я рассею грусть-тоску по зеленому лужку,
Уродись, моя тоска, мелкой травкой-муравой.
Ты не сохни, ты не блекни, цветами расцвети...

И какой-то быстрый и веселый голос ударил вслед за Васькой:

Я рассеявши пошел, во зеленый сад вошел —
Много в саду вишенья, винограду, грушенья.

И тут сотня хриплых, порывистых, похожих на морской ветер мужицких голосов подняла и понесла в тропы, в лес, в горы:

Я рассеявши пошел,
Во зеленый сад вошел.
— Э-э-эх...
— Сью-ю-ю...

---

[1] Долой!..

Партизаны, как на свадьбе, шли с ревом, гиканьем, свистом в сопки.

Шестой день увядал.

Томительно и радостно пахли вечерние деревья.

В ГОРОДЕ

X

На широких, плетенных из гаоляна циновках лежали кучи камбалы, угрей, похожих на мокрые веревки, толстые пласты наваги, сазана и зубатки. В чешую рыб ныряло небо, камни домов. Плавники хранили еще нежные цвета моря — сапфирно-золотистые, ярко-желтые и густо-оранжевые.

Китайцы безучастно, как на землю, глядели на груды мяса и пронзительно, точно рожая, кричали:

— Тле-епанга-а!.. Капитана луска! Кла-аба!.. Тлепанга-а! Покупайло еси?.. А-а?

Пентефлий Знобов, избрызганный желтой грязью, пахнущий илом, сидел в лодке у ступенек набережной и говорил с неудовольствием:

— Орет китай, а всего только рыбу предлагает.

— Предлагай, парень, ты!

— Наше дело рушить все! Рушь да рушь, надоело. Когда строить-то будем! Эх, кабы японца грамотного найти!

Матрос спустил ноги к воде, играя подошвами у бороды волны, спросил:

— На што тебе японца?

У матроса была круглая, гладкая, как яйцо, голова и торчащие грязные уши. Весь он плескался, как море у лодки,— рубаха, широчайшие штаны, гибкие рукава. Плескалась и плыла набережная, город...

«Веселый человек»,— подумал Знобов.

— Японца я могу. Найду. Японца здесь много!

Знобов вышел из лодки, наклонился к матросу и, глядя поверх плеча на пеструю, как одеяло из лоскутьев, толпу, звенящие вагоны трамваев и бесстрастные голубовато-желтые короткие кофты — курмы китайцев, проговорил шепотом:

— Японца надо особенного, не здешнего. Прокламацию пустить чтоб. Напечатать и расклеить по городу. Получай! Можно по войскам ихним.

Он представил себе желтый листик бумаги, упечатанный непонятными знаками, и ласково улыбнулся:

— Они поймут! Мы, парень, одного американца до слезы проняли. Прямо чисто бак лопнул... плачет...

— Может, и со страху плакал?

— Не сикельди. Главное, разъяснить жизнь надо человеку. Без разъяснения что с него спросишь, олово?

— Трудно такого японца найти.

— Я и то говорю. Не иначе, как только наткнешься.

Матрос привстал на цыпочки. Глянул в толпу:

— Ишь сколь народу! Может, и есть здесь хороший японец, а как его найдешь!

Знобов вздохнул:

— Найти трудно. Особенно мне. Совсем людей не вижу. У меня в голове-то сейчас совсем как в церкви клирос! Свои войдут, поют, а остальная публика только слушай. Пелена в глазах.

— Таких теперь много.

— Иначе нельзя. По тропке идешь, в одну точку смотри, а то закружится голова, ухнешь в пядь! Суши там кости. Кайся.

Опрятно одетые канадцы проходили с громким смехом. Молчаливо шли японцы, похожие на вырезанные из брюквы фигурки. Пели шпорами серброгалунные атамановцы.

В гранит устало упиралось море. Влажный, как пена, ветер, пахнущий рыбой, трепал волосы. В бухте, как цветы, тканные на ситце, пестрели серо-лиловые корабли, белоголовые китайские шкуны, лодки рыбаков.

— Кабак, а не Расея!

Матрос подпрыгнул упруго. Рассмеялся:

— Подожди, мы им холку натрем.

— Пошли? — спросил Знобов.

— Айда, посуда!

Они подымались в гору Пекинской улицей.

Из дверей домов пахло жареным мясом, чесноком, маслом. Два китайца-разносчика, поправляя на плечах кипы материй, туго перетянутых ремнями, глядя на русских, нагло хохотали.

Знобов сказал:

— Хохочут, черти! А у меня в брюхе-то как новый дом строют. Да и ухни он! Дал бы нормально по носу, суки!..

Матрос повел телом под скорлупой рубахи и кашлянул.

— Кому как!

Похоже было — огромный приморский город жил своей привычной жизнью.

Но уже томительная тоска поражений наложила язвы на лица людей, на животных, дома. Даже на море.

Видно было, как за блестящими стеклами кафе затянутые во френчи офицеры за маленькими столиками пили торопливо, точно укалывая себя рюмками, коньяк. Плечи у них были устало искривлены. Часто опускались на глаза тощие, точно задыхающиеся веки.

Худые, как осиновый хворост, изморенные отступлением лошади, расслабленно хромая, тащили наполненные грязным бельем телеги. Его эвакуировали из Омска по ошибке, вместо снарядов и орудий. И всем казалось, что белье это с трупов.

Ели глаза, как раствор мыла, пятна домов, полуразрушенных во время восстания.

И другое, инаколикое, чем всегда, плескалось море.

И по-иному, из-за далекой овиди[1] — тонкой и звенящей, как стальная проволока,— задевал крылом по городу зеленый океанский ветер.

Матрос неторопливо и немного франтовато козырял.

— Не боишься шпиков-то? — спросил он Знобова.

Знобов думал о японцах и, вычесывая западающие глубоко мысли, ответил немного торопливо.

— А нет. У меня другое на сердце. Сначала боялся, а потом привык. Теперь большевиков ждут, мести боятся, знакомые-то потому и не выдают.— Он ухмыльнулся.— Сколь мы страху человекам нагнали. В десять лет не изживут.

— И сами тоже хватили!

— Да-а!.. У вас арестов нету?!

— Троих взяли.

— Да-а. Иди к нам в сопки.

— Камень, лес. Не люблю... скучно.

— Это верно. Домов из такого камню хороших можно набухать. Прямо — Америка. Валяется без толку, ни жрать, ни под голову. Мужичку ничего, а мне тоже скучно. Придется нам, однако, в город наступать.

— Валяйте. Вершинин как мыслит?

— Вершинин — туча, куда ветер — там и он с дождем. Куда мужики — значит, и Вершинин...

---

[1] Горизонт.

XI

Председатель подпольного революционного комитета товарищ Пеклеванов, маленький веснушчатый человек в черепаховых очках, очинял ножичком карандаш. На стеклах очков остро, как лезвие ножичка, играло солнце и будто очиняло глаза, и они блестели по-новому.

— Вы часто приходите, товарищ Знобов,— сказал Пеклеванов.

Знобов положил потрескавшиеся от ветра и воды пальцы на стол и туго проговорил:

— Народ робить хочет.

— Ну?

— А робить не дают. Объяростели. Гонют. Мне и то неловко, будто невесту богатую уговариваю.

— Мы вас известим.

— Ждать надоело. Хуже рвоты. Стреляй по поездам, жги, казаков бей... Бронепоезд тут. Японец чисто огонь — не разбират.

— Пройдет.

— Знаем. Кабы не прошло, за что умирать? Мост взорвать хочут.

— Прекрасно. Инициативу нужно, нужно. Чудесно...

— Снаряду надо и человека со снарядами тоже. Динамитного человека надо.

— Пошлем. И человека и динамит. Действуйте.

Помолчали. Пеклеванов жарко, истощенно дышал:

— Дисциплины в вас нет.

— Промеж себя?

— Нет, внутри.

— Ну-у, такой дисциплины теперь ни у кого нету...

Председатель ревкома поцарапал зачесавшийся острый локоть. Кожа у него на щеках нездоровая, как будто не спал всю жизнь, но глубоко где-то хлещет радость, и толчки ее, как ребенок в чреве роженицы, пятнами румянят щеки.

Матрос протянул руку, пожал, будто сок выжимая. Вышел.

Знобов придвинулся поближе и тихо спросил:

— Мужики все насчет восстанья, ка-ак?.. Случай чего, тыщи три из деревни дадим сюда. Германского бою, стары солдаты. План-то имеется?

Он раздвинул руки, точно охватывая стол, и устало зашептал:

— А вы на японца-то прокламацию пустите. Чтоб

ему сердце-то насквозь прожечь... Мы тут американца одного до слезы...

У Пеклеванова впалая грудь, говорит слабым голосом, глаз тихий — в очках.

— Как же, думаем... Меры принимаем.

Знобову вдруг стало его жалко.

«Хороший ты человек, а начальник... того...» — подумал он, и ему захотелось увидеть начальника — здорового бритого человека и почему-то с лысиной во всю голову.

На столе валялась большая газета, а на ней хмурый черный хлеб, мелко нарезанные ломтики колбасы, а поодаль, на синем блюдечке, две картошки и подле блюдечка кусочек сахару.

«Птичья еда»,— подумал с неудовольствием Знобов.

Пеклеванов, потирая плечом небритую щеку снизу вверх, говорил:

— В назначенный час восстанья на трамваях со всех концов города появляются рабочие и присоединившиеся к ним солдаты. Перерезают телеграфные провода и захватывают учреждения.

Пеклеванов говорил, точно читая телеграмму, и Знобову было радостно. Он потряс усами и заторопил:

— Ну-у!.. А не сорвется опять? Вы верите уже...

— Все остальное сделает ревком. В дальнейшем он будет руководить операциями.

Знобов опустил на стол томящиеся силой руки и спросил:

— Все?

— Пока да.

— А мало этого, товарищ... Ей-богу, мало... Ну, возьми...

Пальцы Пеклеванова побежали среди пуговиц пиджака, веснушчатое лицо́ покрылось пятнами. Он словно обиделся.

Знобов бормотал:

— Мужиков-то тоже так бросить нельзя. Надо позвать. Выходит, мы в сопках-то зря сидели, как куры на испорченных яйцах. Нас, товарищ, много... тысячи...

— Японцев сорок. Сорок тысяч.

— Это верно,— как вшей, могут сдавить. А только пойдет.

— Кто?

— Мир. Мужик хочет.

— Эсеровщины в вас много, товарищ Знобов. Землей от вас несет.

— А от вас колбасой.

Пеклеванов захохотал каким-то пестрым смехом.

— Водкой попотчую, хотите? — предложил он.— Только долго не сидите и правительство не ругайте. Следят.

— Мы втихомолку.

Выпив стакан водки, Знобов вспотел и, вытирая лицо полотенцем, сказал, хмельно икая:

— Ты, парень, не сердись — прохлаждайся. А сначалу не понравился ты мне, что хошь.

— Прошло?

— Теперь ничего. Мы, брат, мост взорвем, а потом броневик там такой есть.

— Где?

Знобов распустил руки:

— По линии... ходит. Четырнадцать там, и еще цифры. Зовут. Народу много погубил. Может, мильон народу срезал. Так мы ево... того...

— В воду?

— Зачем в воду? Мы по справедливости. Добро казенное, мы так возьмем.

— Орудия на нем.

— Опять ничего не значит. Постольку поскольку выходит, и никакого черта...

Знобов вяло качнул головой:

— Водка у тебя крепкая. Тело у меня, как земля,— не слухат человечьего говору. Свое прет.

Он поднял ногу на порог и сказал:

— Прощай. Предыдущий ты человек, ей-богу.

Пеклеванов отрезал кусочек колбасы, выпил водки и, глядя на засиженную мухами стену, сказал:

— Да-а... предыдущий.

Он, весело ухмыльнувшись, достал лист бумаги и, сильно скрипя пером, стал писать инструкцию восставшим военным частям.

XII

На улице Знобов увидал у палисадника японского солдата.

Солдат, в фуражке с красным околышем и в желтых крагах, нес длинную эмалированную миску. У японца был жесткий маленький рот и редкие, как стрекозьи крылышки, усики.

— Обожди-ка! — сказал Знобов, взяв его за рукав.

Японец резко отдернул руку и строго крикнул:

— Ню! Сиво лезишь?

Знобов скривил лицо и передразнил:

— Хрю! Чушка ты. К тебе с добром, а ты с хрю-ю! В бога веруешь?

Японец призакрыл глаза и из-под загнутых, как углы крыш пагоды, ресниц оглядел поперек Знобова — от плеча к плечу, потом оглядел сапоги и, заметив на них засохшую желтую грязь, сморщил рот и хрипло сказал:

— Лусика сюполочь. Ню?..

И, прижимая к ребрам миску, неторопливо отошел.

Знобов поглядел вслед на задорно блестевшие бляшки пояса. Сказал с сожалением:

— Дурак ты, я тебе скажу!..

КИТАЕЦ СИН БИН-У

XIII

Через три дня в отряд Вершинина, разламывая телом плетенную из тростника тележку, примчался матрос Анисимов.

Лоб у него горел волдырями, одна щека тонула в ссадине, а на груди болтался красный бант.

Матрос кричал с трашпанки:

— В городе, товарищ-щи, восстанье!.. Крой... Броневик капитану Незеласову приказано туда в два счета пригнать... Чтоб немедленно. Рабочие бастуют, одним словом — крой, и никаких гвоздей!.. А броневик вам, значит, вручаем... А я милицию организую.

И ускакал в сопки — веселый матрос.

Облако над сопками — словно красная лента...

XIV

Эта история длинная, как Син Бин-у возненавидел японцев. У Син Бин-у была жена из фамилии Е, крепкая манза [1], в манзе крашеный теплый кан [2] и за манзой желтые поля гаоляна и чумизы [3].

А в один день, когда гуси улетели на юг, все исчезло.

---

[1] Хижина.

[2] Деревянные нары, заменяющие кровать.

[3] Род китайского проса.

Только щека оказалась проколота штыком.

Син Бин-у читал Ши-цзинь[1], плел циновки в город, но бросил Ши-цзинь в колодец, забыл циновки и ушел с русскими по дороге Хун-ци-цзе[2].

Син Бин-у отдыхал на песке, у моря. Снизу тепло, сверху тепло, словно сквозь тело прожигает и калит песок солнце.

Ноги плещутся в море, и когда теплая, как парное молоко, волна лезет под рубаху и штаны, Син Бин-у задирает ноги и ругается.

— Цхау-неа!..

Син Бин-у не слышал, что говорит густоусый и высоконосый русский. Син Бин-у убил трех японцев, и пока китайцу ничего не надо, он доволен.

От солнца, от влажного ветра бороды мужиков желтовато-зеленые, спутанные, как болотная тина, и пахнут мужики скотом и травами.

У телег пулеметы со щитами, похожими на зеленые тарелки, пулеметные ленты, винтовки.

На телеге с низким передком, прикрытой рваным брезентом, метался раненый. Авдотья Стещенкова поила его из деревянной чашки и уговаривала:

— А ты не стони, пройдет!

Потная толпа плотно набилась между телег. И телеги, казалось, тоже вспотели, стиснутые бушующим человечьим мясом. Выросшие из бород мутно-красными полосками губы блестели на солнце слюной.

— О-о-о-у-у-у!..

Вершинин с болью во всем теле, точно его подкидывал на штыки этот бессловный рев, оглушал себя нутряным криком, орал:

— Не давай землю японсу-у!.. Все отымем! Не давай!

И никак не мог закрыть глотку. Все ему казалось мало. Иные слова не приходили.

— Не да-ва-й!..

Толпа тянула за ним:

— А-а-а!..

И вот на мгновенье стихла. Вздохнула.

Ветер нес запах пота.

Партизаны митинговали.

Лицо Васьки Окорока, рыжее, как подсолнечник,

---

[1] Книга стихов, чтение которой указывает на хорошую грамотность.

[2] Дорога Красного знамени, восстаний.

буйно металось в толпе, и потрескавшиеся от жары губы шептали:

— На-ароду-то... Народу-то мильёны, товарищи!..

Высокий, мясистый, похожий на вздыбленную лошадь, Никита Вершинин орал с пня:

— Главна: не давай-й!.. Придет суда скора армия... советска, а ты не давай... старик!..

Как рыба, попавшая в невод, туго бросается в мотню, так кинулись все на одно слово:

— Не-е да-а-авай!!

И казалось, вот-вот обрушится слово, переломится, и появится что-то непонятное, злобное, как тайфун.

В это время корявый мужичонка в шелковой малиновой рубахе, прижимая руки к животу, пронзительным голосом подтвердил:

— А верю, ведь верна!..

— Потому за нас Питер... ници... пал!.. и все чужие земли! Бояться нечего... Японец — что, японец — легок... Кисея!..

— Верна, парень, верна! — визжал мужичонка.

Густая, потная тысячная толпа топтала его визг.

— Верна-а!..

— Не да-а-ай!..

— На-а!..

— О-о-оу-у-у!!

— О-о!!!

XV

После митинга Никита Вершинин выпил ковш самогонки и пошел к морю. Он сел на камень подле китайца, сказал:

— Подбери ноги, штаны измочишь. Пошто на митингу не шел, Сенька?

— Нисиво,— проговорил китаец,— мне ни нада... Мне так зынаю — зынаю псе... шанго.

— Ноги-то подбери!

— Нисиво. Солнышко тепыло еси. Нисиво — а!..

Вершинин насупился и строго, глядя куда-то подле китайца, с расстановкой сказал:

— Беспорядку много. Народу сколь тратится, а все в туман... У меня, Сенька, душа пищит, как котенка на морозе бросили... да-а... Мост вот взорвем, строить придется.

Вершинин подобрал живот, так что ребра натянулись под рубахой, как ивняк под засохшим илом, и, наклонив-

шись к китайцу, с потемневшим лицом выпытывающе спросил:

— А ты... как думаешь... А? Пошто эта, а?..

Син Бин-у, торопливо натягивая петли на деревянные пуговицы кофты, оробело отполз.

— Не зынаю, Кита. Гори-гори! Не зынаю!..

Вершинин, склонившись над отползающим китайцем, глубоко оседая в песке тяжелыми сапогами, как у идола, тоскливо и не надеясь на ответ, спрашивал:

— Зря, что ль, молчишь-то?.. Ну?..

Китайцу показалось, что вставать никак нельзя, он залепетал:

— Нисиво... нисиво не зынаю!..

Вершинин почувствовал ослабление тела, сел на камень.

— Ну вас к черту!.. Никто не знат, не понимат... Разбудили, побежали, а дале что?..

И, осев плотно на камне, как леший, устало сказал подходившему Окороку:

— Не то народ умом оскудел, не то я...

— Чего? — спросил тот.

— На смерть лезет народ.

— Куда?

— Броневик-то брать. Миру побьют много. И то в смерть, как снег в полынью, несет людей.

Окорок, свистнув, оттопырил нижнюю губу.

— Жалко тебе?

Подошел Знобов, под мышкой у него была прижата папка с бумагами.

— Подписать приказы!

Вершинин густо начеркал на бумаге букву В, а подле нее длинную жирную черту.

— Ране-то пыхтел-потел, еле-еле фамилию напишешь, спасибо, догадь взяла, поставил одну букву с палкой — и ладно... знают.

Окорок повторил:

— Жалко тебе?

— Чего? — спросил Знобов.

— Люди мрут.

Знобов сунул бумажку в папку и сказал:

— Пустяковину все мелешь. Чего народу жалеть? Новой вырастет.

Вершинин сипло ответил:

— Кабы настоящи ключи были. А вдруг, паре, не теми ключьми двери-то открыть надо.

— Зачем идешь?

— Землю жалко. Японец отымет.

Окорок беспутно захохотал:

— Эх вы, землехранители, ядрена-зелена! И-их!..

— Чего ржешь? — с тугой злостью проговорил Вершинин.— Кому море, а кому земля. Земля-то, парень, тверже. Я сам рыбацкого роду...

— Ну, пророк?

— Рыбалку брошу теперь.

— Пошто?

— Зря я мучился, чтоб в море идти опять. Пахотой займусь. Город-то омманыват, пузырь мыльнай, в карман не сунешь.

Знобов вспомнил город, председателя ревкома, яркие пятна на пристани — людей, трамвай, дома — и сказал с неудовольствием:

— Земли твоей нам не надо. Мы, тюря, по всем планетам землю отымем и трудящимся массам — расписывайся!..

Окорок растянулся на песке рядом с китайцем и, взрывая ногами песок, сказал:

— Японскова микадо колды расстреливать будут, вот завизжит, курва. Патеха-а!.. Не ждет, поди, а, Сенька? Как ты думаешь, Егорыч?

— Им виднее,— нехотя ответил Вершинин.

Над песками — берега-скалы, дальше горы. Дуб. Лиственница. Высоко на скале человек, в желтом — как кусочек смолы на стволе сосны — часовой.

Вершинин, грузно ступая, пошел между телегами.

Син Бин-у сказал:

— Серысе похудел-похудел немынога... а?

— Пройдет,— успокоил Окорок, закуривая папироску.

Син Бин-у согласился:

— Нисиво.

XVI

Корявый мужичонка в малиновой рубахе поймал Вершинина за полу пиджака и, отходя в сторону, таинственно зашептал:

— Я тебя понимаю. Ты полагаешь, я балда балдой. Ты им вбей в голову, поверют и пойдут!.. Само главно — в человека поверить... А интернасынал-то?

Он подмигнул и еще тихо сказал:

— Я ведь знаю — там ничего нету. За таким мудреным словом никогда доброго не найдешь. Слово должно быть простое, скажем — пашня... Хорошее слово.

— Надоели мне хорошие слова.

— Брешешь. Только говорил и говорить будешь. Ты вбей им в голову. А потом лишнее спрятать можно... Это завсегда так делается. Ведь которому человеку агромаднейшая мера надобна, такое племя... Он тебе вершком, стерва, мерить не хочет, а верста. И пусь, пусь мерят... Ты-то свою меру знашь... Хе-хе-хе!..

Мужичонка по-свойски хлопнул Вершинина в плечо.

Тело у Вершинина сжималось и горело. Лег под телегу, пробовал уснуть и не мог.

Вскочил, туго перетянул живот ремнем, умылся из чугунного рукомойника согревшейся водой и пошел сбирать молодых парней.

— На ученье, айда. Жива-а!..

Парни с зыбкими и неясными, как студень, лицами собирались послушно.

Вершинин выстроил их в линию и скомандовал:

— Смирна-а!..

И от крика этого почувствовал себя солдатом:

— Равнение на-право-о!..

Вершинин до позднего вечера учил парней.

Парни потели, злобно проделывая упражнения, посматривая на солнце.

— Полу-оборот на-алева-а!.. Смотри. К японцу пойдем!

Один из парней жалостно улыбнулся.

— Чего ты?

Парень, моргая выцветшими от морской соли ресницами, сказал робко:

— Где к японсу? Свово б не упустить. У японса-то, бают, мо-оря... А вода их горячая, христьянину пить нельзя.

— Таки же люди, колдобоина!

— А пошто они желты? С воды горячей, бают?

Парни захохотали.

Вершинин прошел по строю и строго скомандовал:

— Рота-а, пли-и!..

Парни щелкнули затворами.

Лежавший под телегой мужик поднял голову и сказал:

— Учит. Обстоятельный мужик, Вершинин-то...

Другой ответил ему полусонно:
— Камень, скаля... Большим комиссаром будет.
— Он-то? Обязательна.

ПРАПОРЩИК ОБАБ

XVII

Казак изнеможенно ответил:
— Так точно... с документами...
Мужик стоял, откинув туловище, и похожая на рыжий платок борода плотно прижималась к груди.
Казак, подавая конверт, сказал:
— За голяшками нашли!
Молодой крупноглазый комендант станции, обессиленно опираясь на низкий столик, стал допрашивать партизана:
— Ты... какой банды... вершининской?..
Капитан Незеласов, вдавливая раздражение, гладил ладонями грязно пахнущую, как солдатская портянка, скамью комендантской и зябко вздрагивал. Ему хотелось уйти, но постукивавший в соседней комнате аппарат телеграфа не пускал:
«Может... приказ... может...»
Комендант, передвигая тускло блестевшие четырехугольники бумажек, изнуренным голосом спросил:
— Какое количество?.. Что?.. Где?..
Со стен, когда стучали входной дверью, откалывалась штукатурка. Незеласову казалось, что комендант притворяется спокойным.
«Угодить хочет... бронепоезд... дескать, наши...»
А у самого внутри такая боль, какая бывает, когда медведь проглатывает ледяшку с вмороженной спиралью китового уса. Ледяшка тает, пружина распрямляется, рвет внутренности — сначала одну кишку, потом другую...
Мужик говорил закоснелым, смертным говором и только при словах: «Город-то, бают, узяли наши» — строго огляделся, но опять спрятал глаза.
Румяное женское лицо показалось в окошечке:
— Господин комендант, из города не отвечают.
Комендант сказал:
— Говорят, не расстреливают — палками...
— Что? — спросило румяное лицо.
— Работайте, вам-то что! Вы слышали, капитан?

— Может... все может... Но ведь, я думаю...

— Как?

— Партизаны перерезали провода. Да, перерезали, только...

— Нет, не думаю. Хотя!..

Когда капитан вышел на платформу, комендант, изнуренно кладя на подоконник свое тело, сказал громко:

— Капитан, арестованного прихватите.

Рыжебородый мужик сидел в бронепоезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина.

Когда в него стреляли, солдатам казалось, что они стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат приказал до расстрела:

— А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись.

Обыклым движением мужик сдернул сапоги.

Противно было видеть потом, как из раны туго ударила кровь.

Обаб принес в купе щенка — маленький сверточек слабого тела. Сверточек неуверенно переполз с широкой ладони прапорщика на кровать и заскулил.

— Зачем вам? — спросил Незеласов.

Обаб как-то по-своему ухмыльнулся:

— Живность. В деревне у нас — скотина. Я уезда Барнаульского.

— Зря... да, напрасно, прапорщик.

— Чего?

— Кому здесь нужен ваш уезд?.. Вы... вот... прапорщик, Обаб, да золотопогонник и... враг революции. Никаких.

— Ну? — жестко проговорил Обаб.

И, отплескивая чуть заметное наслаждение, капитан проговорил:

— Как таковой... враг революции... выходит, подлежите уничтожению. Уничтожению!

Обаб мутно посмотрел на свои колени, широкие и узловатые пальцы рук, напоминавшие сухие корни, и мутным, тягучим голосом проговорил:

— Ерунда. Мы их в лапшу искрошим!

На ходу в бронепоезде изнурительно душно. Тело исходило потом, руки липли к стенам, скамейкам.

Только когда выводили и расстреливали мужика с рыжей бородой, в вагон слабо вошел хилый, больной ветер и слегка освежил лица. Мелькнул кусок стального неба, клочья изорванных немощных листьев с кленов.

Тоскливо пищал щенок.

Капитан Незеласов ходил торопливо по вагонам и визгливо, по-женски ругался. У солдат были вялые длинные лица, и капитан брызгал словами:

— Молчать, гниды. Не разговаривать, молчать!..

Солдаты еще более выпячивали скулы и пугались своих воспаленных мыслей. Им при окриках капитана казалось, что кто-то, не признававший дисциплины, тихо скулит у пулеметов, у орудий.

Они торопливо оглядывались.

Стальные листы, покрывавшие хрупкие деревянные доски, несло по ровным, как спички, рельсам — к востоку, к городу, к морю.

XVIII

Син Бин-у направили разведчиком.

В плетенную из ивовых прутьев корзинку он насыпал жареных семечек, на дно положил револьвер и, продавая семечки, хитро и радостно улыбался.

Офицер в черных галифе с серебряными двуполосыми галунами, заметив радостно изнемогающее лицо китайца, наклонился к его глазам и торопливо спросил:

— Кокаин есть?

Син Бин-у плотно сжал колпачки тонких, как щели, век и, точно сожалея, ответил:

— Нетю!

Офицер строго выпрямился.

— А что есть?

— Семечки еси.

— Жидам продались,— сказал офицер, отходя.— Вешать вас!

Тонкогрудый солдатик в голубых обмотках и в шинели, похожей на грязный больничный халат, сидел рядом с китайцем и рассказывал:

— У нас в Семипалатинской губернии, брат китаеза, арбуз совсем особенный — китайскому арбузу далеко.

— Шанго,— согласился китаец.

— Домой охота, а меня к морю везут, видишь.

— Сытупай.

— Куда?

— Домой.

— Устал я. Повезут — поеду, а самому идти — сил нету.

— Семичика мынога.

— Чево?

Китаец встряхнул корзинку. Семечки сухо зашуршали, запахло золой от них.

— Семичики мынога у русика башку. У-ух.. Шибиршиты...

— Что шебуршит?

— Семичика, зелена-а...

— А тебе что же, камень надо, чтоб в голове-то лежал?

Китаец одобрительно повел губами и, указывая на серый френч проходившего плоского офицера, спросил:

— Кто?

— Капитан Незеласов, это, китаеза, начальник бронепоезда. В город требуют поезд, уходит. Перережут тут нас партизаны-то, а?

— Шанго... Пу шанго...

— Для тебя все шанго, а мы кумекай тут!

Русоглазый парень с мешком, из которого торчал жидкий птичий пух, остановился против китайца и весело крикнул:

— Наторговал?

Китаец вскочил торопливо и пошел за парнем.

Бронепоезд вышел на первый путь. Беженцы с перрона жадно и тоскливо посмотрели на него, зашептались испуганно. Изнеможенно прошли казаки. Седой длиннобородый старик рыдал возле кипяточного крана, и, когда он вытирал слезы, видно было — руки у него маленькие и чистенькие.

Солдатик прошел мимо, с любопытством и скрытой радостью оглядываясь, посмотрел в бочку, наполненную гнило пахнущей, похожей на ржавую медь водой.

— Житьишко,— сказал он любовно.

Китаец в гаолянах говорил что-то шепотом русоглазому парню.

XIX

Ночью стало совсем душно. Духота густыми непреодолимыми волнами рвалась с мрачных чугунно-темных полей, с лесов — и, как теплую воду, ее ощущали губы, и с каждым вздохом грудь наполнялась тяжелой, как мокрая глина, тоской.

Сумерки здесь коротки, как мысль помешанного. Сразу — тьма. Небо в искрах. Искры бегут за паровозом, паровоз рвет рельсы, тьму и беспомощно жалко ревет.

А сзади наскакивают горы, лес. Наскочат и раздавят, как овца жука.

Прапорщик Обаб всегда в такие минуты ел. Торопливо хватал из холщового мешка яйца, срывал скорлупу, втискивал в рот хлеб, масло, мясо. Мясо любил полусырое и жевал его передними зубами, роняя липкую, как мед, слюну на одеяло. Но внутри по-прежнему был жар и голод.

Солдат-денщик разводил чаем спирт, на остановках приносил корзины провизии, недоумело докладывая:

— С городом, господин прапорщик, сообщения нет.

Обаб молчал, хватая корзинку, и узловатыми пальцами вырывал хлеб и, если не мог больше его съесть, сладострастно тискал и мял, отшвыривая затем прочь.

Спустив щенка на пол и следя за ним мутным медленным взглядом, Обаб лежал неподвижно. Выступала на теле испарина. Особенно неприятно было, когда потели волосы.

Щенок, тоже потный, визжал. Визжали буксы. Грохотала сталь — точно заклепывали...

У себя в купе, жалко и быстро вспыхивая, как спичка на ветру, бормотал Незеласов:

— Прорвемся... к черту!.. Нам никаких командований... Нам плевать!..

Но так же, как и вчера, версту за верстой, как Обаб пищу, торопливо и жадно хватал бронепоезд — и не насыщался. Так же мелькали будки стрелочников, и так же, забитый полями, ветром и морем, жил на том конце рельс непонятный и страшный в молчании город.

— Прорвемся,— выхаркивал капитан и бежал к машинисту.

Машинист, лицом чернявый, порывистый, махая всем своим телом, кричал Незеласову:

— Уходите!.. Уходите!..

Капитан, незаметно гримасничая, обволакивал машиниста словами:

— Вы не беспокойтесь... партизан здесь нет... А мы прорвемся, да, обязательно... А вы скорей... А... Мы все-таки...

Машинист был доброволец из Уфы, и ему было стыдно своей трусости.

Кочегар, тыча пальцем в тьму, говорил:

— У красной черты... Видите?

Капитан глядел на закоптелый глаз машиниста и воспаленно думал о «красной черте». За ней паровоз взорвется, сойдет с ума.

— Все мы... да... в паровоз...

Нехорошо пахло углем и маслом.

Вспоминались бунтующие рабочие.

Незеласов внезапно выскакивал из паровоза и бежал по вагонам, крича:

— Стреляй!..

Для чего-то подтянув ремни, солдаты становились у пулеметов и выпускали в тьму пули. От знакомой работы аппаратов тошнило.

Явился Обаб. Губы жирные, лоб потно блестел. Он спрашивал одно и то же...

— Обстреливают? Обстреливают?

Капитан приказывал:

— Отставь!

— Усните, капитан!

Все в поезде бегало и кричало — вещи и люди. И серый щенок в купе прапорщика Обаба тоже пищал.

Капитан торопился закурить сигаретку:

— Уйдите... к черту! Жрите... всё, что хотите... Без вас обойдемся.

И визгливо тянул:

— Пра-а-порщик!..

— Слушаю,— сказал прапорщик,— вы что ищете?

— Прорвемся... я говорю — прорвемся!..

— Ясно. Всего хватает.

Капитан снизил голос:

— Ничего! Потеряли!.. Коромысло есть... Нет ни чашек... ни гирь... Кого и чем мы вешать будем!..

— Да я их...

Капитан пошел в свое купе, бормоча на ходу:

— А... Земли здесь вот... за окнами... Как вы... вот пока... она вас... проклинает, а?..

— Что вы глисту тянете? Не люблю. Короче.

— Мы, прапорщик, трупы... завтрашнего дня. И я, и вы, и все в поезде — прах... Сегодня мы закопали человека, а завтра... для нас лопата... да.

— Лечиться надо.

Капитан подошел к Обабу и, быстро впивая в себя воздух, прошептал:

— Сталь не лечат, переливать надо... Это ту... движется если... работает... А если заржавела... Я всю жизнь, на всю жизнь убежден был в чем-то, а... Ошибся,

оказывается... Ошибку хорошо при смерти... А мне тридцать ле-ет, Обаб. Тридцать, и у меня ребеночек — Ва-а-алька... И ногти у него розовые, Обаб...

Тупые, как носок американского сапога, мысли Обаба разошлись в стороны. Он отстал, вернулся к себе, взял папироску и тут, не куря еще, начал плевать — сначала на пол, потом в закрытое окно, в стены и на одеяло, и когда во рту пересохло, сел на кровать и мутно воззрился на мокрый живой сверточек, пищавший на полу.

— Глиста!..

XX

На рассвете капитан вбежал в купе Обаба.

Обаб лежал вниз лицом, подняв плечи, словно прикрывая ими голову.

— Послушайте,— нерешительно сказал капитан, потянув Обаба за рукав.

Обаб повернулся, поспешно убирая спину, как убирают рваную подкладку платья.

— Стреляют? Партизаны?

— Да нет... Послушайте!..

Веки у Обаба были вздутые и влажные от духоты, и мутно и обтрепанно глядели глаза, похожие на прорехи в платье.

— Но нет мне разве места... в людях, Обаб?.. Поймите... я письмо хочу... получить. Из дома, ну!..

Обаб сипло сказал:

— Спать надо, отстаньте!

— Я хочу... получить из дома... А мне не пишут!.. Я ничего не знаю. Напишите хоть вы мне его, прапорщик!..— Капитан стыдливо хихикнул: — А... незаметно этак, бывает... а...

Обаб вскочил, натянул дрожащими руками большие сапоги, а затем хрипло закричал:

— Вы мне по службе, да! А так мне говорить не смей! У меня у самого... в Барнаульском уезде...

Прапорщик вытянулся, как на параде.

— Орудия, может, не чищены? Может, приказать? Солдаты пьяны, а тут ты... Не имеешь права...

Он замахал руками и, подбирая живот, говорил:

— Какое до тебя мне дело? Не желаю я жалеть тебя, не желаю!

— Тоска, прапорщик... А вы... все-таки... человек!

— Жизненка твоя паршивая. Сам паршивый... Онанизмом в детстве-то, а... Ишь, ласки захотел...

— Вы поймите... Обаб.
— Не по службе то.
— Я прошу...
Прапорщик закричал:
— Не хо-очу-у!..
И он повторил несколько раз это слово, и с каждым повторением оно теряло свою окраску; из горла вырывалось что-то огромное, хриплое и страшное, похожее на бегущую армию:
— О-о-а-е-ггты!..
Они, не слушая друг друга, исступленно кричали, до хрипоты, до того, пока не высох голос.
Капитан устало сел на койку и, взяв щенка на колени, сказал с горечью:
— Я думал... камень. Про вас-то... А тут — леденец... в жару распустился!
Обаб распахнул окно и, подскочив к капитану, резко схватил щенка за гривку.
Капитан повис у него на руке и закричал:
— Не сметь!.. Не сметь бросать!
Щенок завизжал.
— Пу-у!..— густо и жалобно протянул Обаб.— Пу-усти-и...
— Не пущу, я тебе говорю!..
— Пу-усти-и!
— Бро-ось!.. Я!..
Обаб убрал руку и, словно намеренно тяжело ступая, вышел.
Щенок тихо взвизгивал, неуверенно перебирал серыми лапками по полу, по серому одеялу. Похож на мокрое, ползущее пятно.
— Вот, бедный,— проговорил Незеласов, и вдруг в горле у него заклокотало, в носу ощутилась вязкая сырость. Он заплакал.

XXI

В купе звенел звонок — машинист бронепоезда требовал к себе.
Незеласов устало позвал:
— Обаб!
Обаб шел позади и был недоволен мелкими шажками капитана.
Обаб сказал:
— Мостов здесь порванных нету. Что у них? Шпалы разобрали... Партизаны... А из города ничего. Ерунда!

Незеласов виновато сказал:

— Чудесно... мы живем, да-а?.. А до сего момента... не знаю, как имя... отчество ваше, а... Обаб и Обаб?.. Извините, прямо... как собачья кличка...

— Имя мое — Семен Авдеич. Хозяйственное имя.

Машинист, как всегда, стоял у рычагов. Сухой, жилистый, с медными усами и словно закоптелыми глазами.

Указывая вперед, он проговорил:

— Человек лежит.

Незеласов не понял. Машинист повторил:

— Человек на пути!

Обаб высунулся. Машинист быстро передвинул какие-то рычаги. Ветер рванул волосы Обаба.

— На рельсах, господин капитан, человек!

Незеласова раздражал спокойный голос прапорщика, и он резко сказал:

— Остановите поезд!

— Не могу,— сказал машинист.

— Я приказываю! Я...

— Нельзя,— повторил машинист.— Поздно вы пришли. Перережем, тогда остановимся.

— Человек ведь! Что?

— По инструкции не могу остановить. Крушение иначе будет.

Обаб расхохотался:

— Совсем останавливаться ни к чему. Мало мы людей перебили. Если из-за каждого стоять, мы бы дальше Ново-Николаевска не ушли.

Капитан раздраженно сказал:

— Прошу не указывать! Остановить после перереза! Прошу!..

— Слушаюсь, господин капитан,— ответил Обаб.

Ответ этот, грубый и торопливый, еще больше озлил капитана, и он сказал:

— А вы, прапорщик Обаб, идите немедленно, и чтобы мне рапорт, что за труп на пути.

— Слушаю,— ответил Обаб.

Машинист еще увеличил ход.

Вагоны напряженно вздрогнули. Пронзительно залился гудок.

Человек на рельсах лежал неподвижно. Виднелось на желтых шпалах синее пятно его рубахи.

Вагоны передернуло железными лопатками площадок.

— Кончено,— сказал машинист.— Сейчас остановлю, и посмотрим.

Обаб, расстегивая ворот рубахи, чтобы потное тело опахнуло ветром, соскочил с верхней площадки прямо на землю. Машинист спрыгнул за ним.

Солдаты показались в дверях. Незеласов надел фуражку и тоже пошел к выходу.

Но в это время толкнул бронепоезд лес гулким ружейным залпом. И немного спустя еще один заблудившийся выстрел.

Прапорщик Обаб вытянул вперед руки, как будто приготовляясь к нырянию в воду, и вдруг тяжело покатился по откосу насыпи.

Машинист запнулся и, как мешок с воза, грузно упал у колес вагона. На шее выступила кровь, и его медные усы точно сразу побелели.

— Назад!.. Назад!..— пронзительно закричал Незеласов.

Дверцы вагонов хлопнули, заглушая выстрелы. Мимо вагонов пробежал забытый в суматохе солдат. У четвертого вагона его убило.

Застучали пулеметы.

РЕЛЬСЫ

XXII

Похоже, не мог найти сапог по ноге и потому бегал босиком. Ступни у лисолицего были огромные, как лыжи, а тело, как у овцы,— маленькое и слабое.

Бегал лисолицый торопливо и кричал, глядя себе под ноги, словно сгоняя цыплят:

— Шавялись. Шавялись. Ждут...

И, для чего-то зажмурившись, спрашивал проходившие отряды:

— Сколько народу?

Открывая глаза, залихватски выкрикивал стоявшему на холме Вершинину:

— Гришатински, Никита Егорыч!

У подола горы редел лес, и на россыпях цвел голый камень. За камнем, на восток, на полверсты — реденький кустарник, за кустарником — желтая насыпь железной дороги, похожая на одну бесконечную могилу без крестов.

— Мутьевка, Никита Егорыч! — кричал лисолицый.

Темный, в желтеющих измятых травах стоял Вершинин. Было у него лохмоволосое, звериное лицо, иссушен-

ный долгими переходами взгляд, изнуренные руки. Привыкшему к машинам Пентефлию Знобову было спокойно и весело стоять близ него. Знобов сказал:

— Народу идет много.

И протянул вперед руку, словно хватаясь за рычаг исправной и готовой к ходу машины.

— Анисимовски, сосновски!

Васька Окорок, рыжеголовый, на золотошерстном коротконогом иноходце подскакал к холму и, щекоча сапогами шею у лошади, заорал:

— Иду-ут! Тыщ, поди, пять будет!

— Боле,— отозвался уверенно лисолицый с россыпи.— Кабы я грамотный, я бы тебе усю риестру разложил. Мильён!

Он яростно закричал проходившим:

— А ты каких волостей?!

У низкорослых монгольских лошадок и людей были приторочены длинные крестьянские мешки с сухарями. В гривах лошадей и людей торчали спелые осенние травы, и голоса были протяжные, но жесткие, как у перелетных осенних птиц.

— Открывать, что ли? — закричал лисолицый.— Ждут...

И хотя знали все: в городе восстание, на помощь белым идет бронепоезд № 14-69, если не задержать, восстание подавят японцы,— все же нужно было собраться, и чтоб один сказал и все подтвердили:

— Идти... Сказать всем, всем — слышать.

— Японец больше воевать не хочет,— добавил Вершинин, слезая с ходка.

Син Бин-у влез на ходок и долго, будто выпуская изо рта цветную и непонятно шебуршащую бумажную ленту, говорил, почему нужно сегодня задержать бронепоезд.

Между выкрашенных под золото и красную медь осенних деревьев натянулось грязное, пахнущее землей полотно из мужицких тел. Полотно гудело. И было непонятно — не то сердито, не то радостно гудит оно от слов человечков, говорящих с телеги.

— Голосовать, что ли? — спросил толстый секретарь штаба.

Вершинин ответил:

— Обожди. Не орали еще.

Зеленобородый старик с выцветшими, распаренными глазами, расправляя рубаху на животе, словно к его жи-

воту хотели прикладываться, шипел исступленно Вершинину:

— А ты от бога куда идешь, а?

— Окстись ты, дед!

— Бога ведь рушишь. Я знаю! Никола-угодник являлся — больше, грит, рыбы в море не будет. Не даст. А ты пошто народ бунтуешь?.. Мне избу надо ладить, а ты у меня всех работников забрал.

— Сожгет японец избу-то!

— Японца я знаю,— торопливо, обливая слюной бороду, бормотал старик,— японец хочет, чтоб в его веру перешли. Ну, а народ-то — пень: не понимат. А нам, от греха дальше, взять да согласиться, черт с ним — втишь-то можно... своему богу... Никола-то своему не простит, а японца завсегда надуть можна...

Старик тряс головой, будто пробивая какую-то темную стену, и слова, которые он говорил, видно было, тяжело рождены им, а Вершинину они были не нужны.

И он, выливая через слабые губы, как через проржавленное ведро влагу, опять начал бормотать свое.

— Уйди! — сказал грубо Вершинин.— Чего лезешь в ноздрю с богами своими? Подумаешь... Абы жизнь была — богов выдумают...

— Ты не хулись, ирод, не хулись!..

Окорок сказал со злобою:

— Дай ему, Егорыч, стерве, в зубы! Провокатёры тиковые!

Вскочив на ходок, Окорок закричал, разглаживая слова:

— Ну, так вы как, товарищи?.. Галисовать, что ли?

— Голосуй! — отвечал кто-то робко из толпы.

Мужики загудели:

— Валяй!..

— Чаво мыслить-то!..

— Жарь, Васька!

Когда проголосовали уже, решив идти на броневик, влево, далеко над лесом послышался неровный гул, похожий на срыв в падь скалы. Мохнатым громадным веником выбросило в небо дым.

Толстый секретарь снял шапку и по-протокольному сказал мужикам:

— Это штаб постановил — через Мукленку мост наши взорвали. Поезд, значит, все равно не выскочит к городу. Наши-то сгибли, поди, пятеро...

Мужики сняли шапки, перекрестились за упокой. Пошли через лес к железнодорожной насыпи окапываться.

Вершинин пошел по кустарнику к насыпи, поднялся кверху и, крепко поставив, будто пришив, ноги между шпал на землю, долго глядел в даль блестящих стальных полос на запад.

— Чего ты? — спросил Знобов.

Вершинин отвернулся и, спускаясь с насыпи, сказал:

— Будут же после нас люди хорошо жить?

— Ну?

— Вот и все.

Знобов развел пальцами усы и сказал с удовольствием:

— Это их дело. Я думаю, обязаны, стервы!

XXIII

Бритый коротконогий человек лег грудью на стол — похоже, что ноги его не держат,— и хрипло говорил:

— Нельзя так, товарищ Пеклеванов: ваш ревком совершенно не считается с мнением Совета союзов. Выступление преждевременно.

Один из сидевших в углу на стуле рабочих сказал желчно:

— Японцы объявили о сохранении ими нейтралитета. Не будем же мы ждать, когда они на острова уберутся. Власть должна быть в наших руках, тогда они скорее уйдут.

Коротконогий человек доказывал:

— Совет союзов, товарищи, зла не желает, можно бы обождать...

— Когда японцы выдвинут еще кого-нибудь.

— Пойдут опять усмирять мужиков?

— Ждали достаточно!

Собрание волновалось. Пеклеванов, отхлебывая чай, успокаивал:

— А вы тише, товарищи.

Коротконогий представитель Совета союзов протестовал:

— Вы не считаетесь с моментом. Правда, крестьяне настроены фанатично, но... Вы уже послали агитаторов по уезду, крестьяне идут на город, японцы нейтралитетствуют... Правда!.. Вершинин пусть даже бронепоезд задержит, и все же восстания у нас не будет.

— Покажите ему!

— Это демагогия!..
— Прошу слова!
— Товарищи!
Пеклеванов поднялся, вытащил из портфеля бумажку и, краснея, прочитал:
— Разрешите огласить следующее: «По постановлению Совета Народных Комиссаров Сибири — восстание назначено на двенадцать часов дня шестнадцатого сентября тысяча девятьсот девятнадцатого года. Начальный пункт восстания — казармы артиллерийского дивизиона... По сигналу... Совет Народных...»
Уходя, коротконогий человек сказал Пеклеванову:
— За нами следят! Вы осторожнее... И матроса напрасно в уезд командировали.
— А что?
— Взболтанный человек: бог знает чего может наговорить! Надо людей сейчас осмотрительно выбирать.
— Мужиков он знает хорошо,— сказал Пеклеванов.
— Мужиков никто не знает. Человек он воздушный, а воздушность на них, правда, действует. Все же... На митинг поедете?
— Куда?
— Судостроительный завод. Рабочие хотят вас видеть.
Пеклеванов покраснел.
Коротконогий подошел к нему вплотную и тихо в лицо сказал:
— Мне вас жалко. А без вас они выступать не хотят. Не верят они словам, а человека увидеть хотят. Следят... контрразведка... Расстреляют при поимке,— и видеть хотят. Дескать, с нами ли? Напрасно затеваете.
Пеклеванов вытер потный веснушчатый лоб, сунул маленькие руки в карманы короткополого пиджака и прошелся по комнате. Коротконогий следил за ним из-под выпуклых очков.
— Сентиментальность,— сказал Пеклеванов,— ничего не будет!
Коротконогий вздохнул:
— Как хотите. Значит, заехать за вами?
— Когда?
Пеклеванов покраснел сильнее и подумал: «А он за себя трусит».
И от этой мысли совсем растерялся, даже руки задрожали.
— А хотя мне все равно. Когда хотите!

Вечером коротконогий подъехал к палисаднику и ждал. Через кустарник видна была его соломенная шляпа и усы, желтоватые, подстриженные, похожие на зубную щеточку. Фыркала лошадь.

Жена Пеклеванова плакала. У нее были острые зубы и очень румяное лицо. Слезы на нем были не нужны, неприятно их было видеть на розовых щеках и мягком подбородке.

— Измотал ты меня. Каждый день жду — арестуют... Бог знает потом... Хоть бы одно!.. Не ходи!..

Она бегала по комнате, потом подскочила к двери и ухватилась за ручку, просила:

— Не пущу... Кто мне потом тебя возвратит, когда расстреляют? Ревком? Наплевать мне на них всех, идиотов.

— Маня! Ждет же Семенов.

— Мерзавец он — и больше никто. Не пущу, тебе говорят, не хочу! Ну-у?..

Пеклеванов оглянулся, подошел к двери. Жена изогнулась туловищем, как теснина под ветром; на согнутой руке, под мокрой кожей, натянулись сухожилия.

Пеклеванов смущенно отошел к окну.

— Не понимаю я вас!..

— Не любишь ты никого... Ни меня, ни себя, Васенька! Не ходи!..

Коротконогий хрипло проговорил с пролетки:

— Василий Максимыч, скоро? А то стемнеет, магазины запрут.

Пеклеванов тихо сказал:

— Позор, Маня. Что мне, как Подколесину, в окошко выпрыгнуть? Не могу же я отказаться: струсил, скажут.

— На смерть ведь. Не пущу.

Пеклеванов пригладил низенькие жидкие волосенки.

— Придется.

Пошарив в карманах короткополого пиджака и криво улыбаясь, стал залезать на подоконник.

— Ерунда какая... Нельзя же так...

Жена закрыла лицо руками и, громко, будто нарочито, плача выбежала из комнаты.

— Поехали? — спросил коротконогий. Вздохнул.

Пеклеванов подумал, что он слышал плач в домишке. Неловко сунулся в карман, но портсигара не оказалось. Возвращаться же было стыдно.

— Папирос у вас нету? — спросил он.

XXIV

Никита Вершинин верхом на брюхастой, мохнатошерстой, как меделянская собака, лошади объезжал кустарники у железнодорожной насыпи.

Мужики лежали в кустах, курили, приготовлялись ждать долго. Пестрые пятна рубах — десятками, сотнями росли с обеих сторон насыпи, между разъездами — почти на десять верст.

Лошадь — ленивая, вместо седла — мешок. Ноги Вершинина болтались, и через плохо обернутую портянку сапог больно тер пятку.

— Баб чтоб не было,— говорил он.

Начальники отрядов вытягивались и бойко, точно успокаивая себя военной выправкой, спрашивали:

— Из городу, Никита Егорыч, ничего не слышно?

— Восстание там.

— А успехи-то как? Военны?

Вершинин бил каблуком лошадь в живот и, чувствуя в теле сонную усталость, отъезжал.

— Успехи, парень, хорошие. Главно — нам не подгадить!

Мужики, как на покосе, выстроились вдоль насыпи. Ждали.

Непонятно-незнакомо пустела насыпь. Последние дни один за другим уходили на восток эшелоны с беженцами, солдатами — японскими, американскими и русскими. Где-то перервалась нить, и людей отбросило в другую сторону. Говорили, что беженцев грабят приехавшие из сопок мужики, и было завидно. Бронепоезд № 14-69 носился один между станциями и не давал солдатам бросить все и бежать.

Партизанский штаб заседал в будке стрелочника. Стрелочник тоскливо стоял у трубки телефона и спрашивал станцию:

— Бронепоезд скоро?

Около него сидел со спокойным лицом партизан с револьвером и глядел в рот стрелочнику.

Васька Окорок подсмеивался над стрелочником:

— Мы тебя кашеваром сделаем. Ты не трусь!

И, указывая на телефон, сказал:

— С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?

— Ничо не поделаешь, коли правда.

Мужики вздохнули, поглядели на насыпь.

— Правда-то, она и на звезды влезет.

Штаб ждал бронепоезда. Направили к мосту пятьсот мужиков, к насыпи на длинных российских телегах привезли бревна, чтоб бронепоезд не ушел обратно. У шпал валялись ломы — разобрать рельсы.

Знобов сказал недовольно:

— Все правда да правда! А к чему — и сами не знаем. Тебе с луною-то, Васька, для чего говорить?

— А все-таки чудно! Может, захочем на луне-то мужика построить.

Мужики захохотали.

— Ботало.

— Окурок!

— Надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?

— Возьмем!

— Это тебе не белка — с сосны снять!

В это время приехал Вершинин. Вошел, тяжело дыша, грузно положил фуражку на стол и сказал Знобову:

— Скоро ль?

Стрелочник сказал у телефона:

— Не отвечают.

Мужики сидели молча. Один начал рассказывать про охоту. Знобов вспомнил про председателя ревкома в городе.

— Этот, белобрысый-то? — спросил мужик, рассказывавший про охоту, и тут же начал врать про Пеклеванова, что у него лицо белее крупчатки, и что бабы за ним, как лягушки за болотом, и что американский министр предлагал семьсот миллиардов за то, чтоб Пеклеванов перешел в американскую веру, а Пеклеванов гордо ответил: «Мы вас в свою даром не возьмем».

— Вот стерва! — восторгались мужики.

Знобову было почему-то приятно слушать это вранье и хотелось рассказать самому. Вершинин снял сапоги и начал переобуваться. Стрелочник вдруг робко спросил — в трубку:

— Во сколько? Пять двадцать?

Обернувшись к мужикам, сказал:

— Идет!

И словно поезд был уже подле будки, все выбежали и, вскинув ружья, залезли на телеги и поехали на восток к взорванному мосту.

— Успеем! — говорил Окорок.

Вперед послали нарочного.

Глядели на рельсы, тускло блестевшие среди деревьев.

— Разобрать бы — и только.

С соседней телеги отвечали:

— Нельзя. А кто собирать будет?

— Мы, брат, прямо на поезде!

— В город вкатим!

— А тут собирай.

Окорок крикнул:

— Братцы, а ведь у них люди-то есть!

— Где?

— У Незеласовых-то? Которые рельсы ремонтируют — есть-то люди?

— Дурной, Васька, а как мы их перебьем? Всех?

И, разохотившись на работу, согласились:

— Эта можна... Перебьем!..

— Нет, шпалы некому собирать.

Все время оглядывались назад — не идет ли бронепоезд. Прятались в лес, потому — люди теперь по линии необычны,— бронепоезд несется и обстреливает.

Стучали боязливо сердца, били по лошадям, гнали, точно у моста их ждало прикрытие.

Верстах в двух от домика стрелочника, на насыпи, увидали верхового человека.

— Свой! — закричал Знобов.

Васька взял на прицел.

— Снять его. Свой?

— Какой черт свой, кабы свой — не целился б!

Син Бин-у, сидевший рядом с Васькой, удержал:

— Пасытой, Васика-а!..

— Обождь! — закричал Знобов.

Человек на лошади подогнал ближе. Это был мужик с перевязанной щекой, приведший американца.

— Никита Егорыч здеся?

— Ну?

Мужик, радуясь, закричал:

— Пришли мы туда, а там — казаки. Около мосту-то! Постреляли мы их, да и обратно.

— Откуда?

Вершинин подъехал к мужику и, оглядывая его, спросил:

— Всех убили?

— Усех, Никита Егорыч. Пятеро — царство небесное!

— А казаки откуда?

Мужик хлопнул лошадь по гриве.

— Да ведь мост-от, Никита Егорыч, не подняли. Целой.

Мужики заорали:

— Чего там?

— Провокатор!

— Дай ему в харю!

Мужичонка торопливо закрестился.

— Вот те крест — не подняли. У камня, саженях в триста, сами себя взорвали. Должно, динамит пробовать удумали. Только штанину одну с мясом нашли, а все остальное... Пропали...

Мужики молчали. Поехали вперед. Но вдруг остановились. Васька с перекосившимся лицом закричал:

— Братцы, а ведь уйдет броневик-то! В город! Братцы!

Из лесу ввалилась посланная вперед толпа мужиков. Один из них сказал:

— Там бревна, Никита Егорыч, у моста навалены, на насыпь-то. Отстреливаются от казаков. Ну, их немного.

— Туда, к мосту, идти? — спросил Знобов.

Здесь все разом почему-то оглянулись. Над лесом тонко стлался дымок.

— Идет! — сказал Окорок.

Знобов повторил, ударил яростно лошадь кнутом:

— Идет!

Мужики повторили:

— Идет!

— Товарищи! — звенел Окорок.— Остановить надо!..

Сорвались с телеги. Схватив винтовки, кинулись на насыпь. Лошади ушли в травы и, помахивая уздечками, щипали.

Мужики добежали до насыпи. Легли на шпалы. Вставили обоймы. Приготовились.

Тихо стонали рельсы — шел бронепоезд.

Знобов тихо сказал:

— Перережет — и все. Стрелять не будет даже зря!

И вдруг, почувствовав это, тихо сползли все в кустарники, опять обнажив насыпь.

Дым густел, его рвал ветер, но он упорно полз над лесом.

— Идет!.. Идет!.. — с криком бежали к Вершинину мужики.

Вершинин и весь штаб, мокрые, стыдливо лежали в кустарниках. Васька Окорок злобно бил кулаком по земле. Китаец сидел на корточках и срывал траву.

Знобов торопливо, испуганно сказал:

— Кабы мертвой!

— Для чего?

— А, вишь, по закону,— как мертвого перережут, поезд-то останавливается. Чтоб протокол составить... свидетельство и все там!..

— Ну?

— Вот кабы труп. Положили бы его. Перережут и остановятся, а тут машиниста, когда он выйдет,— пристрелить. Можно взять тогды.

Дым густел. Раздался гудок.

Вершинин вскочил и закричал:

— Кто хочет, товарищи... на рельсы чтоб и перережет!.. Все равно подыхать-то. Ну?.. А мы тут машиниста с поезда снимем! А только вернее, что остановится, не дойдет до человека.

Мужики подняли головы, взглянули на насыпь, похожую на могильный холм.

— Товарищи! — закричал Вершинин.

Мужики молчали.

Васька отбросил ружье и полез на насыпь.

— Куда? — крикнул Знобов.

Васька злобно огрызнулся:

— А ну вас к...! Стервы...

И, вытянув руки вдоль тела, лег поперек рельс.

Уже дышали, гукая, деревья, и, как пена, над ними оторвался и прыгал по верхушкам желто-багровый дым.

Васька повернулся вниз животом. Смолисто пахли шпалы. Васька насыпал на шпалу горсть песка и лег на него щекой. Песок был теплый и крупный.

Неразборчиво, как ветер по листве, говорили в кустах мужики. Гудели в лесу рельсы...

Васька поднял голову и тихо бросил в кусты:

— Самогонки нету?.. Горит!..

Палевобородый мужик на четвереньках приполз с ковшом самогонки. Васька выпил и положил ковш рядом.

Потом поднял голову и, стряхивая рукой со щек песок, посмотрел: голубые гудели деревья, голубые звенели рельсы.

Приподнялся на локтях. Лицо стянулось в одну желтую морщину, глаза как две алые слезы...

— Не могу-у!.. Душа-а!..

Мужики молчали.

Китаец откинул винтовку и пополз вверх по насыпи.

— Куда? — спросил Знобов.

Син Бин-у, не оборачиваясь, сказал:

— Сыкуучна-а!.. Васика!

И лег с Васькой рядом.

Морщилось, темнело, как осенний лист, желтое лицо. Рельс плакал. Человек ли отползал вниз по откосу, кусты ли кого принимали,— не знал, не видел Син Бин-у...

— Не могу-у!.. Братани-и!.. — выл Васька, отползая вниз.

Слюнявилась трава, слюнявилось небо...

Син Бин-у был один.

Плоская изумрудноглазая, как у кобры, голова его пощупала шпалы, оторвалась от них и, качаясь, поднялась над рельсами... Оглянулась.

Подняли кусты молчаливые мужицкие головы со ждущими голодными глазами.

Син Бин-у лег.

И еще потянулась изумрудноглазая кобра — вверх, и еще несколько сот голов зашевелили кустами и взглянули на него.

Китаец опять лег.

Корявый палевобородый мужичонка крикнул ему:

— Ковш тот брось суды, манза!.. Да и ливорвер-то бы оставил. Куда тебе ево?.. Ей!.. А мне сгодится!..

Син Бин-у вынул револьвер, не поднимая головы, махнул рукой, будто желая кинуть в кусты, и вдруг выстрелил себе в затылок.

Тело китайца тесно прижалось к рельсам.

Сосны выкинули бронепоезд. Был он серый, квадратный, и злобно-багрово блестели зрачки паровоза. Серой плесенью подернулось небо; как голубое сукно были деревья...

И труп китайца Син Бин-у, плотно прижавшийся к земле, слушал гулкий перезвон рельс...

СМЕРТЬ КАПИТАНА НЕЗЕЛАСОВА

XXV

Прапорщик Обаб остался лежать у насыпи, в травах.

Капитан Незеласов был в купе, в паровозе, по вагонам. И всем казалось, что он не торопится, хоть и говорил, проглатывая слова:

— Пошел!.. Пошел!..

На смену прибежал помощник машиниста. Мешаясь в рычагах, обтирая о замасленную куртку руки, сказал:

— Сичас... нельзя так... смотреть!..

Закипели водопроводные краны.

Разыскивая в паровозном инструменте зубило, узкогорлый зашиб голову и вдруг от боли закричал.

Незеласов, пригибаясь, побежал прочь.

— Ну вас к черту... к черту...

Поезд торопился к мосту, но там на рельсах за три версты лежали бревна, огромная лиственница. И мост почему-то казался взорванным.

Бронепоезд, лязгая буферами, отпрыгнул обратно и с визгом понесся к станции. Но на повороте в лес, где убили Обаба, были разобраны шпалы...

И на прямом пути стремительно взад и вперед — от моста до будки стрелочника было шесть верст,— как огромный маятник, метался взад и вперед капитан Незеласов.

Били пулеметы, били вагоны пулеметами, пулеметы были горячие, как кровь...

Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху тяжело раненные партизаны. Они теперь не боялись показаться лицом.

Но тех, кто был жив, не было видно, так же гнулся золотисто-серый кустарник, и в глубине темнел кедр. Временами казалось, что бьет только один бронепоезд.

Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фитилей.

Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воздухе.

Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал: «Сами знают!»

И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.

Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали издали, и будто костры были широкие, величиной с крестьянские избы. Бронепоезд бежал среди этих костров и на пламя усиливал огонь пулеметов и орудий. Так, по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев. Капитану казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, а он бежал на середину и думал, что машинист уйдет к партизанам, а в будке машиниста, что позади, отцепляют солдаты вагоны на ходу.

Капитан, стараясь казаться строгим, говорил:

— Патронов... того... не жалеть!..

И, утешая самого себя, кричал машинисту:

— Я говорю... не слышите, вам говорят!.. Не жалеть патронов!

И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой:

— Главное, капитан... стереотипные фразы... «патронов не жалеть».

Капитан схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен?»

Но тут: «Хорошо бы капитану влюбиться... бороду завести в пол-аршина!.. Генеральская дочь... карьера... Не смей!..»

Капитан побежал на середину поезда.

— Не смей без приказания!

Бронепоезд без приказаний капитана метался от моста — маленького деревянного мостика через речонку, которого почему-то не могли взорвать партизаны,— и за будку стрелочника, но уже все ближе навстречу, как плоскости двух винтов, ползли бревна по рельсам, а за бревнами мужики.

В бревна били пули, навстречу им стреляли мужики.

Бронепоезд, слепой, боясь оступиться, шел грудью на пули, а за стенками из стали уже перебегали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов, вытирая потные груди, и говорили:

— Прости ты, господи!

Незеласову было страшно показаться к машинисту. И, как за стальными стенками, перебегали с места на место мысли, и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, капитан кричал:

— Сволочи!..

И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук, покрытых гусиной кожей.

Капитан прибежал в свое купе. Коричневый щенок спал клубком на кровати.

Капитан замахал рукой:

— Говорил... ни снарядов... ни жалости!.. А тут сволочи... сволочи!..

Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке, щенок отскочил, раскрыл рот и запищал тихо.

Капитан наклонился к нему и послушал.

— И-и-и!..— пикал щенок.

Капитан схватил его, сунул под мышку и с ним побежал по вагонам.

Солдаты не оглядывались на капитана. Его знакомая широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала с тихим визгом. И солдатам казалось, что визжит не щенок, а капитан. И не удивляло то, что визжит капитан.

Но визжал щенок, слабо царапая мягкими лапами френч капитана.

Так же, не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражавшиеся у костров камни, и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.

Капитан чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.

Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз:

— А-а-о-е-е-е-и.

XXVI

Мужики прибывали и прибывали. Они оставляли в лесу телеги с женами и по тропам выходили с ружьями на плечах на опушку. Отсюда ползли к насыпи и окапывались.

Бабы, причитая, встречали раненых и увозили их домой. Раненые, которые посильнее, ругали баб матерной бранью, а тяжело раненные подпрыгивали на корнях, раскрывали воздуху и опадавшему листу свои полые куски мяса. Листы присыхали к крови выпачканных телег.

Рябая маленькая старуха с ковшом святой воды ходила по опушке и с уголька обрызгивала идущих. Они ползли, сворачивали к ней и проползали тихо, похожие на стадо сытых, возвращающихся с поля овец.

Вершинин на телеге за будкой стрелочника слушал донесения, которые читал ему толстый секретарь.

Васька Окорок шепнул боязливо:

— Страшно, Никита Егорыч?

— Чего? — хрипло спросил Вершинин.

— Народу-то темень!

— Тебе что — ты не конокрад. Известно — мир!..

Васька после смерти китайца ходил съежившись и глядел всем в лицо с вялой, виноватой улыбочкой.

— Тихо идут-то, Никита Егорыч; у меня внутри неладно.

— А ты молчи — и пройдет!

Знобов сказал:

— Кою ночь не спим, а ты, Васька, рыжий, а рыжая-то, парень, с перьями.

Васька тихо вздохнул:

— В какой-то стране, бают, рыжих в солдаты не берут. А я царю-то почесть семь лет служил: четыре года на действительной да три на германской.

— Хорошо, мост-то не подняли...— сказал Знобов.

— Чего? — спросил Васька.

— Как бы повели на город бронепоезд-то? Даже шпал не хотели разбирать, а тут тебе мост. Омраченье!..

Васька уткнул курчавую голову в плечи и поднял воротник.

— Жалко мне, Знобов, китайца-то! А думаю, в рай он уйдет — за крестьянскую веру пострадал.

— А дурак ты, Васька.

— Чего?

— В бога веруешь.

— А ты нет?

— Никаких!..

— Стерва ты, Знобов. А впрочем, дела твои, братан. Ноне свобода, кого хошь, того и лижи. Только мне без веры нельзя — у меня вся семья из веку кержацкая, раскольной веры.

— Вери-ители!..

Знобов рассмеялся. Васька тоскливо вздохнул:

— Пусти ты меня, Никита Егорыч,— постреляю хоть!

— Нельзя. Раз ты штаб, значит, и сиди в штабной квартире.

— Телеги-то!

Задребезжало и с мягким звоном упало стекло в стрелочной. Снаряд упал рядом.

Вершинин вдруг озлился и стукнул секретаря:

— Сиди тут. А ночь как придет, пушшай костер палят. А нето слезут с поезда-то и в лес удерут, либо черт их знает, што им в голову придет.

Вершинин погнал лошадь вдоль линии железной дороги вслед убегающему бронепоезду:

— Не уйдешь.

Лохматая, как собака, лошаденка трясла большим, как бочка, животом. Телега подпрыгивала. Вершинин встал на ноги, натянул вожжи:

— Ну-у!..

Лошаденка натянула ноги, закрутила хвостом и понесла. Знобов, подскакивая грузным телом, крепко держался за грядку телеги, уговаривая Вершинина:

— А ты не гони — не догонишь. А убить-то тебя за дешеву монету убьют.

— Никуда он не убежит. Но-о, пошел!

Он хлестнул лошадь кнутом по потной спине.

Васька закричал:

— Гони! Весь штаб делат смотр войскам! А на капитана етова с поездом его плевать. Гони, Егорыч!.. Пошел!

Телега бежала мимо окопавшихся мужиков. Мужики подымались на колени и молча провожали глазами стоящего на телеге, потом клали винтовки на руки и ждали проносящийся мимо поезд, чтобы стрелять.

Бронепоезд с грохотом, выстрелами несся навстречу.

Васька зажмурился.

— Высоко берет,— сказал Знобов,— вишь, не хватат. Они там, должно, очумели, ни черта не видят!

— Ни лешева! — яростно заорал Васька и, схватив прут, начал стегать лошадь.

Вершинин — огромный, брови рвались по мокрому лицу:

— Не выдавай, товарищи!

— Крой! — орал Васька.

Телега дребезжала, о колеса билась лагушка, из-под сиденья валилось на землю выбрасываемое толчками сено. Мужики в кустарниках не по-солдатски отвечали:

— Ничего!..

И это казалось крепким и своим, и даже Знобов вскочил на колени и, махая винтовкой, закричал:

— А дуй, паря, пропадать так пропадать!

Опять навстречу мчался уже не страшный бронепоезд, и Васька грозил кулаком:

— Доберемся!

Среди огней молчаливых костров стремительно в темноте серые коробки вагонов с грохотом носились взад и вперед.

А волосатый человек на телеге приказывал. Мужики подтаскивали бревна на насыпи и, медленно подталкивая их впереди себя, ползли. Бронепоезд подходил и бил в упор.

Бревна были как трупы, и трупы как бревна — хрустели ветки и руки, и молодое и здоровое тело было у деревьев и людей.

Небо было темное и тяжелое, выкованное из чугуна, и ревело сверху гулким паровозным ревом.

Мужики крестились, заряжали винтовки и подталкивали бревна. Пахло от бревен смолой, а от мужиков потом.

Пихты были как пики, и хрупко ломались о броню подходившего поезда.

Васька, изгибаясь по телеге, хохотал:

— Не пьешь, стерва. Мы, брат, до тебя доберемся. Не ускочишь. Задарма мы тебе китайца отдали!

Знобов высчитывал:

— Завтра у них вода выдет. Возьмем. Это обязательно.

Вершинин сказал:

— Надо в город-то на подмогу идти.

Как спелые плоды от ветра, падали люди и целовали смертельным последним поцелуем землю.

Руки уже не упирались, а мягко падало все тело и не ушибалось больше — земля жалела. Сначала падали десятки. Тихо плакали за опушкою, на просеке бабы. Потом сотни — и выше и выше подымался вой. Носить их стало некому, и трупы мешали подтаскивать бревна.

Мужики все лезли и лезли.

Броневик продолжал жевать, не уставая, и точно теряя путь от дыма пустующих костров, все меньше и меньше делал свои шаги от будки стрелочника до деревянного мостика через речонку. Потом остановился.

Тогда-то, далеко еще до крика Вершинина: «Пошел!.. Та-ва-ри-щи!..» — мужики повели наступление.

Падали, отрываясь от стальных стенок, кусочки свинца и меди в тела, рвали грудь, пробивая насквозь, застегивая ее навсегда со смертью в одну петлю.

Мужики ревели:

— О-а-а-а-о!!

Травы ползли по груди, животу. О сучья кустарников цеплялись лица, путались и рвались бороды, из их потного, мокрого волоса лезли наружу губы:

— О-а-а-а-о-о!!

Костры остались за спиной, а тут недалеко стояли темные, похожие на амбары вагоны, а не было пути к людям, боязливо спрятавшимся за стальными стенками.

Партизан бросил бомбу к колесам. Она разорвалась, отдаваясь у каждого в груди.

Мужики отступили.

Светало.

Когда при свете увидели трупы, заорали, точно им

сразу сцарапнули со спины кожу, и опять полезли на вагоны.

Вершинин снял сапоги и шел босиком. Знобов, часто приседая, почти на четвереньках, осторожно и почему-то обходя кусты, полз. Васька Окорок восторженно глядел на Вершинина и кричал:

— А ты, Никита Егорыч, Еруслан!

Лицо у Васьки было веселое, и только на глазах блестели слезы.

Броневик гудел.

— Заткни ему глотку-то! — закричал пронзительно Окорок и вдруг поднялся с колен и, схватившись за грудь, проговорил тоненьким голоском, каким говорят обиженные дети: — Господи... и меня!..

Упал.

Партизаны, не глядя на Ваську, лезли к насыпи, высокой, желтой, похожей на огромную могилу.

Васька судорожно дрыгал всем телом, как всегда торопясь куда-то. Умер.

Партизаны отступили.

На рассвете приехал Пеклеванов. В портфеле у него лежали прокламации, и одно стекло очков было сломано наполовину.

XXVII

Мокрые от пота солдаты, громыхая бидонами, охлаждали у бойниц пулеметы. Были у них робко торопливые и словно стыдливые движения исцарапанных рук.

Поезд трясся сыпучей дрожью и был весь горячий, как больной в тифозном бреду.

Темно-багровый мрак трепещущими сгустками заполнял голову капитана Незеласова. От висков колючим треугольником — тупым концом вниз — шла и оседала у сердца коробящая тело жаркая, зябкая дрожь.

— Мерзавцы! — кричал капитан.

В руках у него был неизвестно как попавший кавалерийский карабин, и затвор его был удивительно тепел и мягок. Незеласов, задевая прикладом за двери, бегал по вагонам.

— Мерзавцы! — кричал он визгливо.— Мерзавцы!

Было обидно, что не мог подыскать такого слова, которое было бы похоже на приказание, и ругань ему казалась наиболее подходящей и наиболее легко вспоминаемой.

Мужики вели наступление на поезд.

Через просветы бойниц, среди далеких кустарников, похожих на свалявшуюся желтую шерсть, видно было, как перебегали горбатые спины и сбоку их мелькали винтовки, похожие на дощечки. За кустарниками леса и всегда неожиданно толстые темно-зеленые сопки, похожие на груди. Но страшнее огромных сопок торопливо перебегающие по кустарникам спины, похожие на куски коры. И солдаты чувствовали этот страх и, чтобы не слышно было хриплого рева из кустарников, заглушали его пулеметами. Неустанно, не сравнимо ни с чем, ни с кем, бил по кустарникам пулемет. Капитан Незеласов несколько раз пробежал мимо своего купе. Зайти туда было почему-то страшно, через дверки виден был литографированный портрет Колчака, план театра европейской войны и чугунный божок, заменявший пепельницу. Капитан чувствовал, что, попав в купе, он заплачет и не выйдет, забившись куда-нибудь в угол, как этот где-то визжавший щенок.

Мужики наступали.

Стыдно было сознаться, но он не знал, сколько было наступлений, а спросить было нельзя у солдат — такой злобой были наполнены их глаза. Их не подымали с затворов винтовок и пулеметных лент, и нельзя было эти глаза оторвать безнаказанно — убьют. Капитан бегал среди них, и карабин, бивший его по голенищу сапога, был легок, как камышовая трость. Уже уходил бронепоезд в ночь, и тьма неохотно пускала тяжелые стальные коробки. Обрывками капитану думалось, что он слышит шум ветра в лесу... Солдаты угрюмо били из ружей и пулеметов в тьму. Пулеметы словно резали огромное, яростно кричащее тело. Какой-то бледноволосый солдат наливал керосин в лампу. Керосин давно уже тек у него по коленям, и капитан, остановившись подле, ощутил легкий запах яблок.

— Щенка надо... напоить!..— сказал Незеласов торопливо.

Бледноволосый послушно вытянул губы и позвал:

— Н'ах... н'ах... н'ах...

Другой, с тонкими, но страшно короткими руками, переобувал сапоги и, подымая портянку, долго нюхал и сказал очень спокойно капитану:

— Керосин, ваше благородие. У нас в поселке керосин по керенке фунт...

...Их было много, много... И всем почему-то нужно было умирать и лежать вблизи бронепоезда в кустарниках, похожих на желтую свалявшуюся шерсть.

Зажгли костры. Они горели, как свечи, ровно, чуть вздрагивая, и не видно было, кто подбрасывал дрова. Горели сопки.

— Камень не горит!

— Горит!..

— Горит!..

Опять наступление.

Кто-то бежит к поезду и падает. Отбегает обратно и опять бежит.

— Это наступление?

Ерунда.

Они полежат — эти, в кустарниках, встанут, отбегут и опять.

— ...Побежали!..

Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев.

— О-о-у-о-о!..

И тонко-тонко:

— Ой... Ой!..

Солдат со впавшими щеками сказал:

— Причитают... там, в тайге, бабы по ним!..

И осел на скамью.

Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы прорвала дыру с кулак.

— Почему видно все во тьме? — сказал Незеласов.— Там костры, а тут, должно быть, темно. И дым: они выкуривают нас дымом, чувствуете?

Костры во тьме, за ними рев баб. А может быть, сопки ревут?

— Ерунда!.. Сопки горят!..

— Нет, тоже ерунда, это горят костры!..

Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.

Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.

Капитан хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки. А у капитана в городе есть невеста... она теперь...

Карабин становился тяжелей, но надо для чего-то таскать его с собой.

У капитана Незеласова белая мягкая кожа, и на ней, как цветок на шелку,— глаза.

Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки женщины влажны от сна...

Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:

— Туды!.. Туды!..

И какую книгу можно читать в эту ночь?

От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов около своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями.

Потом забыл об этом. Многое забыл в эту ночь... Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести... тяжело...

И вдруг тишина...

Там, за порогами вагонов, в кустарниках.

Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер. Не нужно помнить все дни...

Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачканные в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.

А здесь на глаза — тьма. Ослеп капитан.

— Это от тишины...

И глазами и душой ослеп. Показалось даже весело.

Но тут все почувствовали, сначала слегка, а потом точно обжигаясь,— тишину терпеть нельзя.

Бледноволосый солдат, поднимая руки, побежал к дверям.

Тьма! В тьме не видно его поднятых рук.

И капитан сразу почувствовал: сейчас из всех семи вагонов бросились к дверям люди. На песке легче держаться. И можно куда-то убежать... Люди задыхались от дыма в стальных коробках... Им душно!

На мгновение стошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках и в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногами капитан почувствовал траву, и колени скосились.

Впереди себя увидел капитан бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса...

...Его, капитана Незеласова, мясо...

«Котлеты из свиного мяса... Ресторан «Олимпия»... Мексиканский негр дирижирует румынским... Осина... Осень...

Благодарю тебя, Россия... мир... все славянство... за тишину... Тишина по всей земле...»

— Кро-ой, бей, круши...

Крутится, кружится, крошится крушина...

Поезда на насыпи нет. Значит — ночь. Пощупал под рукой — волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка, прореха, гвоздем разорвало...

...Кустарник — в руке. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.

Через плечо карабин! Значит, из поезда ушел?

Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился пояс с патронами поверх френча.

Чему-то поверил.

Рассмеялся и, может быть, захохотал.

Вязко пах кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул ветвями длинными и мокрыми. Может быть, мокрые в крови...

Дальше прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифе были похожи на колеса телеги.

Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:

— Прикажете выезжать?

— Пошел к черту!

Беженка в коричневом манто зашептала в ухо:

— Идут! Идут!..

Капитан Незеласов и сам знал, что идут. Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм, поднял карабин и выстрелил.

Но одной руки, оказывается, не хватает. Одной рукой неудобно. Но можно на колено. С колена мушки не видать... Почему не стрелял в поезде, а здесь...

Здесь один, а ползет... ишь их сколько, бородатые, сволочь, в землю попадают, а то бы...

Так стрелял торопливо капитан Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны.

Потом отложил карабин, сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, умер.

ПЕНА

XXVIII

В жирных темных полях сытно шумят гаоляны.

Медный китайский дракон желтыми звенящими кольцами бьется в лесу. А в кольцах перекатываются, звенят, грохочут квадратные серые коробки...

На желтой чешуе дракона — дым, пепел, искры...
Сталь по стали звенит, кует!..
Дым. Искры. Гаоляны. Тучные поля.
Может быть, дракон китайский из сопок, может быть, леса.
Желтые листья, желтое небо, желтая насыпь.
Гаоляны!.. Поля!

У дверцы купе лисолицый старикашка, примеряя широчайшие синие галифе прапорщика Обаба, мальчишески задорным голосом кричит:
— Вот халипа!.. Чисто юбка, а коленко-то голым-голо — огурец!..
Пепел на столике. В окна врывается дым.
Окна настежь. Двери настежь. Сундуки настежь.
Китайский чугунный божок на полу, заплеван, ухмыляется жалобно. Смешной чудачок.
За насыпью другой бог ползет из сопок, желтый, литыми кольцами звенит...
Жирные гаоляны, черные!
Взгляд жирный у человека, сытый и довольный.
— О-хо-хо!..
— Конец чертям!..
— Буде-е!..
На паровозе уцепились мужики, ерзают по стали горячими хмельными телами.
Один в красной рубахе кулаком грозит:
— Мы тебе покажем!
Кому? Кто?
Неизвестно!
А грозить всегда надо! Надо!
Красная рубаха, красный бант на серой шинели.
Бант!
О-о-о-о!..
— Тяни, Гаврила-а!..
— А-а-а!..
Бант.
Бронепоезд «Полярный» за № 14-69 под красным флагом. Бант!..
На рыжем драконе из сопок — на рыжем — бант!.. На рыжем!
Здесь было колесо — через минуту за две версты, за две. Молчат рельсы, не гудят, напуганы... Молчат.
Ага!..

Тщедушный солдатик в голубых французских обмотках, с бебутом.

— Дыня на Иртыше плохо родится... больше подсолнух и арбуз. А народ ни злой, ни ласковый... Не знаю — какой народ.

— Про народ кто знат?

— Сам бог рукой махнул...

— О-о!..

— Ну вас, грит!..

— О-о!..

Литографированный Колчак в клозете, на полу. Приказы на полу, газеты на полу...

Люди пола не замечают, ходят — не чувствуют...

— А-а-а!..

«Полярный» под красным флагом...

Ага!

Огромный, важный — по ветру плывет поезд — лоскут красной материи. Кровяной, живой, орущий: о-о-о!..

У Пеклеванова очки на нос пытаются прыгнуть, не удается, куда-то сам пытается прыгнуть и телом и словами.

— В Америке — со дня на день!

Орет Знобов:

— Знаю... Сам с американским буржуем пропаганду вел!..

— Изучили!..

— В Англии, товарищи!

Вставай, проклятьем заклейменный...

— О-о-о!..

Очки на нос вспрыгнули. Увидели глаза: дым, табак, пулеметы на полу, винтовки, патроны — как зерна, мужицкий волос, глаза жирные, хмельные.

— Ревком, товарищи, имея задачей!..

— Знаем!..

— Буде... Сам орать хочу!..

Салавей, салавей, пташечка,
Канареючка!..

На кровати — Вершинин, дышит глубоко и мерно, лишь внутри горит — от дыхания его тяжело в купе, хоть двери и настежь. Земляной воздух, тяжелый, мужицкий. Рядом — баба. Откуда пришла — подалась грудями вперед вся, трепыхает. Настасьюшка. Жена!

Орет Знобов:

— Нашла? Он парень добрай!..

Эх, шарабан мой, американка...

. . . .

табак скурился,
правитель скрылся...

За дверями кто-то плачет пьяно:

— Ваську-то... сволочи, Ваську — убили... Я им за Ваську пятерым брюхо испорю — за Ваську и за китайца... Сволочи...

— Ну их к... Собаки...

— Я их... за Ваську-то!..

XXIX

Ночью опять пришла жена, задышала-запыхалась, замерла. Видны были при месяце ее белые зубы — холодные и охлаждающие тело — и то же тело, как зубы, но теплое и вздрагивающее.

Говорила слова прежние, детские, и было в ней детское, а в руках сила не своя, чужая — земляная.

И в ногах — тоже...

— А та-та-та!.. Ах!.. Ах!..

Это бронепоезд — к городу, к морю.

Люди тоже идут.

Может быть, туда же, может быть, еще дальше...

Им надо идти дальше, на то они и люди...

Я говорю, я.

Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!

Знаю — и радуюсь... Верю...

Пахнет земля — из-за стали слышно, хоть и двери настежь, души настежь. Пахнет она травами осенними, тонко, радостно и благословляюще.

Леса, нежные, ночные, идут к человеку, дрожат и радуются — он господин.

Знаю!

Верю!

Человек дрожит — он тоже лист на дереве огромном и прекрасном. Его небо и его земля, и он — небо и земля.

Тьма густая и синяя, душа густая и синяя, земля радостная и опьяненная.

Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить.

Все так надо и так будет — всегда и в каждом сердце!

— О-о-о!

— Сенька, Степка!.. Кикимора-а!..

— Ну!..

Рев жирный у этих людей — они в стальных одеждах, радуются им, что ли, гнутся стальные листья; содрогается огромный паровоз, и тьма масленым гулом расползается:

— У-о-у-а... у-у-у!..

Бронепоезд «Полярный»...

Вся линия знает, город знает, вся Россия... На Байкале небось и на Оби...

Ага!..

Станция.

Японский офицер вышел из тьмы и ровной, чужой походкой подошел к бронепоезду. Чувствовалась за ним чужая, спрятавшаяся в темноте сила, и потому, должно быть, было весело, холодновато и страшновато.

Навстречу пошел Знобов. Сначала была толпа знобовых — лохматых, густоволосых, а потом отделился один.

Быстро и ловко протянул офицер руку и сказал по-русски, нарочно коверкая слова:

— Мий — нитралитеты!..

И, повышая голос, заговорил звонко и повелительно по-японски. Было у него в голосе презрение и какая-то непонятная скука. И сказал Знобов:

— Нитралитет — это ладно, а только много вас?..

— Двасать тысись...— сказал японец и, повернувшись по-военному, какой-то ненужный и опять весь чужой, ушел.

Постоял Знобов, тоже повернулся и сказал про себя шепотом:

— А нас — мильён, сволочь ты!..

А партизанам объяснил:

— Трусют. Нитралитеты, грит, и желаем на острова ехать — рис разводить... Нам черт с тобой, поезжай!

И в ладонь свою зло плюнул:

— Еще руку трясет, стерва!

— Одно — вешать их! — решили партизаны.

Плачущего, с девичьим розовым личиком, вели офицера. Плакал он тоже по-девичьи — глазами и губами.

Хромой, с пустым грязным мешком, перекинутым через руку, мужик подошел к офицеру и свободной рукой ударил его в переносицу.

— Не ной!..

Тогда конвойный, точно вспомнив что-то, размахнулся и, подскочив, как на ученье, всадил штык офицеру между лопаток.

Станция.

Желтый фонарь, желтые лица и черная земля.

Ночь.

На койке в купе женщина. Жена. Подле черные одежды.

Поднялся Вершинин и пошел в канцелярию.

Толстому писарю объяснил:

— Запиши!..

Был пьян писарь и не понял:

— Чего?

Да и сам Вершинин не знал, что нужно записать. Постоял, подумал. Нужно что-то сделать, кому-то как-то...

— Запиши...

И пьяный писарь толстым, как он сам, почерком написал:

— Приказ. По постановлению...

— Не надо,— сказал Вершинин.— Не надо, парень.

Согласился писарь и уснул, положив толстую голову на тоненький столик.

Тщедушный солдатик в голубых обмотках рассказывал:

— Земли я прошел много и народу всякого видел много...

У Знобова золотые усы и глаза золотые — жадные и ласковые. Говорит:

— Откуда ты?

Повел веселый рассказ солдатик, и не верили ему, и он сам не верил, но было всем хорошо.

Пулеметные ленты на полу. Патроны — как зерна, и на пулеметах сушатся партизанские штаны. На дулах засохшая кровь, похожая на истлевший бордовый шелк.

— А то раз по туркестанским землям персидский шах путешествовал, и встречается ему английская королева...

XXX

Город встретил их спокойно.

Еще на разъезде сторож говорил испуганно:

— Никаких восстаний не слышно. А мобыть, и есть — наше дело железнодорожное. Жалованье маленькое, ну и...

Борода у него была седоватая, как истлевший навоз, и пахло от него курятником.

На вокзале испуганно метались в комендантской офицеры, срывая погоны. У перрона радостно кричали с грузовиков шоферы. Из депо шли рабочие.

Около Вершинина суетился Пеклеванов.

— Нам придется начинать, Никита Егорыч.

Из вагонов выскакивали с пулеметами, с винтовками партизаны. Были они почти все без шапок и с пьяными узкими глазами.

— Нича нету?..

— Ставь пулемету...

— Машину давай, черпай!

Подходили грузовики. В комендантской звенели стекла и револьверные выстрелы. Какие-то бледные барышни ставили в буфет первого класса разорванное красное знамя.

Рабочие кричали «ура». Знобов что-то неразборчиво кричал. Пеклеванов сидел в грузовике и неясно сквозь очки улыбался.

На телеге привезли убитых.

Какая-то старуха в розовом платке плакала. Провели арестованного попа. Поп что-то весело рассказывал, конвойные хохотали.

На кучу шпал вскочил бритоусый американец и щелкнул подряд несколько раз кодаком.

В штабе генерала Спасского ничего не знали.

Пышноволосые девушки стучали на машинках.

Офицеры с желтыми лампасами бегали по лестницам и по звонким, как скрипка, коридорам. В прихожей пела в клетке канарейка и на деревянном диване спал дневальный.

Сразу из-за угла выскочили грузовики. Глухо ухнула толпа, кидаясь в ворота. Зазвенели трамваи, загудели гудки автомобилей, и по лестницам кверху побежали партизаны.

На полу — опять бумаги, машинки испорченные, может быть, убитые люди.

По лестнице провели седенького, с розовыми ушками генерала. Убили его на последней ступеньке и оттащили к дивану, где дремал дневальный.

Бежал по лестнице партизан, поддерживая рукой живот. Лицо у него было серое, и, не пробежав половины

лестницы, он закричал пронзительно и вдруг сморщился.

Завизжала женщина.

Канарейка в клетке все раскатисто насвистывала.

Провели толпу офицеров в подвал. Ни один из них не заметил лежащего у лестницы трупа генерала. Солдатик в голубых обмотках и бутсах подумал сентиментально, что хорошо б красной подкладкой шинели прикрыть труп героя.

Но герои закопаны в гаолянах...

Солдатик в голубых обмотках стоял на часах у входа в подвал, где были заперты арестованные офицеры.

В руках у него была английская бомба — было приказано: «В случае чего, крой туда бомбу — черт с ними».

В дверях подвала синело четырехугольное окошечко и ниже — угловатая, покрытая черным волосом челюсть с моргающим мокрым глазом. За дверью часто, неразборчиво бормотали, словно молились...

Солдатик устало думал: «А ведь когда бомбу бросить, отскочит от окна или не отскочит?..»

Не звенели трамваи. Не звенела на панели толпа. Желтая и густая, как дыхание тайфуна, томила город жара. И как камни сопок, неподвижно и хмуро стояли вокруг бухты дома.

А в бухте, легко и свободно покачиваясь на зеленовато-синей воде, молчал японский миноносец.

В прихожей штаба тонко и разливчато пела канарейка, и где-то, как всегда, плакали.

Полный секретарь ревштаба, улыбаясь одной щекой, писал на скамейке, хотя столы были все свободны.

Тихо, возбужденно переговариваясь, пробежали четверо партизан. Запахло мокрой кожей, дегтем...

Секретарь ревштаба отыскивал печать, но с печатью уехал Вершинин; секретарь поднял чернильницу и хотел позвать кого-то...

...Далеко с окраины выстрелили. Выстрел был гулкий и точно не из винтовки — огромный и тяжелый, потрясающий все тело...

Потом глубже к главным улицам, разрезая радостью сердце, ударили улицы пулеметами, винтовками, трамваями... заревела верфь...

Началось восстанье.

И еще — через два часа подул с моря теплый и влажный темно-зеленый ветер.

...Проходили в широких плисовых шароварах и синих дабовых рубахах — приисковые. Были у них костлявые лица с серым, похожим на мох, волосом. Блестели у них округленные, привыкшие к камню глаза...

Проходили длиннорукие, ниже колен — до икр, рыбаки с Зейских озер. Были на них штаны из налимьих шкур и длинные, густые, как весенние травы, пахнущие рыбами волосы...

И еще — шли закаленным каменным шагом пастухи с хребта Сихотэ-Алинь с китаеподобными узкоглазыми лицами и с длинноствольными прадедовскими винтовками.

Еще — тонкогубые с реки Хора, грудастые, привыкшие к морским ветрам, задыхающиеся в тростниках материка рыбаки с залива Св. Ольги...

И еще, и еще — равнинные темнолицые крестьяне с одинаковым, ровным, как у усталого стада, шагом...

На автомобиле впереди ехал Вершинин с женой. Горело у жены сильное и большое тело, завернутое в яркие ткани. Кровенились потрескавшиеся губы и выпячивался сквозь платье крепкий живот. Сидели они неподвижно, не оглядываясь по сторонам, и только шевелил платье такой же, как и в сопках, тугой, пахнущий морем, камнями и морскими травами ветер...

На тумбе, прислонившись к фонарному столбу и водя карандашом в маленькой записной книжке, стоял американский корреспондент. Был он чистый и гладкий, быстро, по-мышиному оглядывающий манифестацию.

А напротив, через улицу, стоял тщедушный солдатик в шинели, похожей на больничный халат, голубых обмотках и английских бутсах. Смотрел он на американца поверх проходивших людей (он устал и привык к манифестациям) и пытался удержать американца в памяти. Но был тот гладок, скользок и неуловим, как рыба в воде.

1922

ЦВЕТНЫЕ ВЕТРА

I

Бей дрофу в голову! В крыло или в грудь ударишь — соскользнет пуля, и летит птица умирать в камыши.

Забыл это Семен, промазал птицу.

Рвет злобно нога его алый мышиный горошек, золотую куриную слепоту — нежные девичьи травы.

Траву ли тут жалеть?

В долине пахнет по-праздничному теплыми листьями. Сосна смолью течет с гор; небо камнем, как шарфом, обложено, и гудят в Чаган-Убинском урочище синие кедры.

Идет, прихрамывает на одну ногу.

На ногах бродни икры давят, тело трут в паху штаны, мокрые от пота, а до поселка четыре версты — Чаган-Убинское урочище надо еще перевалить.

— Порох вздорожал — не найдешь, а дрофа — в тридцать фунтов. Бей дрофу в голову!

— Кикимора!

Заяц перед ним монгольский, зеленоглазый — талай, выскочил на дорогу, уши поднял, смотрит. Даже заяц-талай и тот понимает — дорог порох.

Налево в синих камышах в сытом гоготе гуси. По привычке вскинул он ружье, пошел, но вспомнил, свернул на старую дорогу.

— Бей дрофу в голову!

И никогда так не случалось — сплутал он.

Смотрит — мочажина тускло-синяя, болотина, из мочажины ударил в небо черныш-утец.

— Тьфу ты, пропастина!

Стал Семен свертывать на тропу, а тут перед грудью елань — поляна. На елани высокий, лилово-мшистый камень, а подле камня трое сидят. Еловую сухостоину жгут, на треножнике — чайник.

В шинелях трое те, в грязных, оборванных. Лица мутные, земельно-синие, а глаз кипит беспокойно по небу, по травам, по камню.

Смотрит — чужие, в его волости таких нет. Один высокий, длинный, как сосна, а лицо медно-желтое — спокойно, и только глаз, как у всех...

И будто затопилось радостью что внутри у Семена. Палец еле курок поднял.

— Неужто, восподи?.. Ане?..

Они! На земле, подле костра, темно-синие красногвардейские шапки. Винтовки к камню прислонены.

Выбрал Семен которого потолще. Взял на этот раз под ухо. Верностно.

Выстрелил.

Пал красногвардеец, рукой прямо в костер, а двое других прыгнули в чащу. Не успел патрона сменить...

Обождал Семен, с какой стороны валежник затрещит.

Жук грузно валится с ветки на пенек. Чирок в мочажине крякнул.

Не слыхать, куда бегут. Плюнул.

— Лихоманка вас дери! Ну и одново хватит!

Подобрал он винтовки, два узелка с бельем, книжку какую-то, а убитого за пояс оттянул от костра, прикрыл в кустах хвоей.

Вышел по тропе в Чаган-Убинское урочище. Тяжело винтовки нести, но от радости — ничего, терпеть можно.

— Вот те и мочажина,— сказал весело.

«А главное,— подумалось еще злобно,— у дрофы перо серое, крепкое — пуля не берет, бить дрофу надо в голову, в глаз...»

II

Пахло из огорода теплым назьмом. У плетня плескалась выше головы суровая, иззелена-синяя крапива. За плетнем стремительно разговаривали.

Семен спустил винтовки передохнуть. Достал шелковый кисет.

Женский голос спрашивал тревожно:

— А кабы куда хоть, Листрат Ефимыч? Прямо сердце сгорело!.. Попрекают, попрекают!.. Роблю я плохо, што ли?..

Низко отвечали назьмы:

— Терпеть, должно, надо. Больше што я скажу? Я, Настасьюшка, много вер прошел, все бают: терпеть. Ну, терпеть так терпеть! Муравей вон терпит, и поди ты, мразь колючая, какие хоромины воздвигает!

Встал Семен, раздвинул крапиву локтями. Поднимая голову над плетнем, сказал досадливо:

— Батя, опять хороводишься тут?.. Мочи с тобой нету, по волости всей послух... Наложниц завел, хахаль, едрена мышь!

Калистрат Ефимыч, туго поглаживая твердую и прямую поясницу, не спеша отозвался:

— А ты иди, иди... Отцу у те спрашиваться?..

— Хороводиться удумал на старости лет-то! Срамота по народу на дом-то... Хахаль!..

Угловато Семен взглянул на помятые гряды, на гладкие губы женщины. Выдвинув вперед острые локти, пошел.

— Гряды перемнут, жеребцы!.. Пёрся бы в чужой огород... Терпеть, грит, надо, а сам терпит, ишь?..

Подымая винтовки, крикнул:

— Батя! Домой иди — Каурку упречь надо, краснова я там подбил...

— Соболя, што ль?..

Остро млела в жару земля. Ползли запахи — сухие и тревожные. Грязно-синеватые бежали гряды.

Колыхалась у Настасьи Максимовны твердая, порывистая грудь, словно бился под шеей подстреленный черныш-утец. Сизая, атласистая кофта. Капли крови по чернышу-птице — алые пуговицы.

— Прямо хоть шепотом говори, Настасьюшка!

Ответила гладкими, мягкими, совсем девичьими губами Настасья Максимовна:

— Шепотом-то... надо в ночь...

И улыбнулась смертоносно, по-девичьи.

Костлявый, впалый лоб у Калистрата Ефимыча, а тело широкое, тяжелое,— и длинна тяжелая впроседь борода. Пристально поглядел на ее гладкие и мягкие губы.

Низко протягивая к земле огромные руки, оглянулся, сказав:

— Ишь...

И не понимала Настасья Максимовна — радоваться в плаче или плакать в радости?..

А Семен в это время у старосты.

В грязном и заплеванном поселковом, как всегда, мужики на что-то жаловались.

Блестели старостины веселые, легкие, синеватые глаза. Желтели напускные на сапоги шаровары.

— Семену Калистратычу бога за пазуху!..

Сказал Семен:

— У те приказ-то далеко?

— Это которой? — веселился староста.— Ноне народ беда любит приказывать. Приказов этих тьма!..

— Што третьеводнись читал сходу.

— Длиннай?..

Досадливо махнул рукой Семен.

— Далеко спрятан, должно?.. А ты найди!

Староста захохотал.

— Писарь, найди тот, што за новой печатью. Как ни правитель, так печать!

Достал писарь из стола бумажку. Семен просит:

— Читай.

— Читай,— согласился староста.— Это, должно, насчет красных.

Прочел писарь:

— «Разбежавшиеся красногвардейские банды терроризуют население, уничтожая скот, поджигая леса и убивая... Вследствие вышеизложенного... принимая лично все меры... вызвать охотников... назначая наградой за каждого убитого — сорок рублей...»

— Будя,— сказал резко Семен.— А подпись какая?

Посмотрел писарь в конец, похвалил:

— Подпись настоящая — полковника Седлова. Хороший полковник: канцелярия у него в полтораста человек и все георгиевские кавалеры...

Пощупал бумажку Семен.

Выпрямил согнувшийся козырек фуражки.

Закурил писарь папироску и спичкой горючей муху на приказе прижег. Староста заговорил о хлебах. Слова у него были похожи на кряканье утки, все одинаковые.

Сказал Семен:

— Ты мне удостоверенье, писарь, напиши. На краснова-то, по приказу.

— Аль убил? — спросил староста.

— У Чаган-Убинского... трое было, да двое-то улетели...

— Чаща,— сказал один из мужиков.— Уйти легко.

Велел староста написать бумажку в волость.

— Там тебе выдадут,— сказал он.— Ты сам ужо вези. Дай-ка, писарь, шпентель.

Подфамиливая бумагу, сказал:

— Из-за твоих сорока рублей сколько хлопот.

В словах старосты егозила зависть.

Мужики не спеша говорили о дешевеющих деньгах, о привезенных из Владивостока товарах, о том, что можно идти в тайгу сбирать «керенки».

— На это надо счастье,— сказал староста.

Под навесом Семена ждала запряженная в ирбитскую телегу лошадь. Калистрат Ефимыч сидел на наваленных бревнах. Фекла выбивала на крыльце одеяло.

— Какова зверя-то поднял? — торопливо спросила она.— Видмедь осенний-то дешев. Тридцать пять в Улее давали в прошлом году. Видмедя, што ль?

— Садись,— сказал Семен.

Баба тряхнула широкой ситцевой юбкой и ушла.

Калистрат Ефимыч открыл скрипящие тесовые ворота.

В синевато-зеленый поздний вечер приехал из армии младший сын Дмитрий. Был он низенький, с толстыми угловатыми челюстями, с твердо посаженной головой. Устало висела длинная солдатская шинель.

Прибежала жена из пригона, с подойником, крепкотелая, бойкая Дарья. Не снимая шинели, Дмитрий прошел за женой на сеновал. Долго там слышалось его прерывистое дыханье и охрипший солдатский голос.

Потом с плачем, оправляя волосы и платье, вбежала в избу Дарья, запыхавшись, спросила:

— Самогон есть?.. Самогону просит.

В горнице плакала на голбце слепая старуха Устинья. По столу лапил таракана белоглазый котенок.

— Брысь,— со стоном сказал Дарья.— Самогонки-то нет, баушка?..

— Не знаю, Дарьюшка, не знаю. Митенька, бают, с войны приехал... А?..

Дарья порылась в сундуках, в своем, Феклином, и растерянно оглянулась.

— Нету, баушка, самогону!

Плакала старуха, широко раскрыв бельма мокрых глаз, похожих на бабочек на тонком, замшелом пне.

— Не знаю, Дарьюшка, не знаю...

— Пойти поселком разве?.. К попу, што ль?..

Вошел Дмитрий, он был все в той же шинели, только на ноги вместо солдатских штиблет надел большие пимы-чесанки.

— Нашла? — громко и хрипло спросил он.

И был точно пьян долгим хмелем. Размахивая руками, шумно проговорил:

— Пашла!.. Жива-а!.. Баловать вам без мужей-то!.. Чтоб в два счета — марш!..

Заметив старуху, подсел на голбчик.

— А ты плачешь все, баушка?..— громко, точно пугаясь чего-то, проговорил он.

Старуха утерла рот концом платка и сквозь слезы, часто кашляя, заговорила:

— Народу-то бьют — страсть... А тебя, Митенька, не ранили?

Дмитрий захохотал во весь голос:

— С раной, баушка, с раной... обязательно... На войне усех ранили, нет такого человека, чтоб не раненый... Верна, бабка, а?

— С кем воевали-то?.. Бают, с австрийским царем?

— Не помню!.. Много воевали — с немцем, с австрийцем воевали, с Калединым... Всех царей перебили, себя били, а теперь с чехами воюют. Нас через фронт: валяй, грит, ползи домой... Теперь в Рассеи-то большевики, мать, сам выбирал их!..

Старуха мотнула большой головой и подобрала ноги. Пахло в горнице салом от светильни, хлебом и березовыми вениками.

Густая и жаркая синь спала за окнами.

— Не знаю, Митенька, темный я человек... не вижу...

— Тебе сколько лет-то, баушка?.. Поди, сто или полтораста?

— Кто их считал... считать-то некому... А я сама-то не ученая.

Дмитрий, матерно выругавшись, захохотал.

Напившись самогонки, Дмитрий показывал Георгиевский крест без ленточки, лез целоваться со старухой, Калистратом Ефимычем. Беспокойно, точно в казарме, кричал:

— Мир со всей землей, брест-литовский мир. А тут чехи царя хочут. Батя! Желаю я хозяйством заняться, пахотой, ну?.. Ленточку я уничтожил — революция, а крест — на, носи, на шее носи, потому теперь крестов больше нательных не приказано вырабатывать... Батя, Калистрат Ефимыч, товарищ... Господи!..

Часто гас светильник, тогда Дарья, наклонившись над печуркой, выдувала из угля огонь. Молчаливый, рослый и неясный сидел на скамье Калистрат Ефимыч.

Плакала на голбце старуха, а похоже было в темноте, что плакала печь.

А рядом отходили в расплывчато золотисто-синей тьме по Чиликтинской долине к Тарбагатайским горам вековые избы, тучные пашни, ясные горные речки и с ними — люди...

III

Рано утром возвратился из волости Семен. Прерывающейся походкой, прихрамывая, подбежал он раскрывать

ворота и заметил под навесом Дмитрия, подмазывавшего тележку.

— Приехал? — спросил он.— В городе-то, бают, склад с сельскими машинами открыли. Надо зубья у косилки сменить.

Дмитрий оставил черепок с маслом и хрипло ответил:

— У вас тут чудно! Вот Сибирь так Сибирь — сливочным маслом телеги мажут... В Рассеи-то и во сне отучились видеть ево...

— Мази нету. Землей не будешь мазать.

Фекла сняла ботинки, торопливо пошла в дом, оглядывая на ходу Дмитрия.

— Подтянуло тебя. На экой жизни подтянет. Тут вот полсапожки на ногах пока только на телеге, а как на землю — сымай. При экой жизни не напасешься...

Дмитрий пощупал гладко остриженную голову и вдруг, широко разевая рот, захохотал:

— А ты тут зверя красново подстрелил?.. Хо-о!.. В Рассеи-то не стреляют еще...

— Придется и там...

— Придется,—ответил Дмитрий, и его толстые угловатые челюсти, похожие на лемехи, медленно зашевелились.

Розоватая жаркая дымка радовалась над поселком. Блестящие желто-синие падали на землю с золотисто-лазурных облаков Тарбагатайские горы. Пахло из палисадника засыхающей, спелой черемухой.

— Керенку выдали?

— Не хотели было, свидетелей, грит, надо...

— Ишь, стервы, свидетелей. Тут, можно сказать, дело полюбовное. Да!.. А коли подумаем: сто тысяч этих красных да по керенке за глаз...

— Большие деньги...

Прошла в пригон Фекла, дебелая, туго поворотливая, как дрофа. С глазами маленькими, серыми, как у дрофы, в мутной пленочке.

Дмитрий подмигнул на нее, по-солдатски выругался.

— Баба у тебя годна...

Прижимался незаметно к щекам у Дмитрия широкий и желтый утиный нос с маленькими, в спичечную головку, ноздрями, но дыхание выходило сильное и едкое.

Размашистым шагом, неучуянным, волчьим, вошел с улицы Калистрат Ефимыч.

— Пьешь ты, Митьша, здорово,— сказал он.— Сколь вчера самогонки вылакал. Объявилась в Рассеи, бают, новая вера?..

— У солдата одна вера — бей, и никаких гвоздей! Про большевицку веру спрашиваешь?

Калистрат Ефимыч посмотрел на Семена и, махнув, словно отстраняя рукой зелень на мочажине, сказал:

— У всякова своя вера, а какая — не пойму!.. Какая народу вера нужна, не знаю...

Он плотно закрыл губы и наклонил лицо к руке.

— Какие вины кому даны, столько те и познают. А коли на самом деле у кого забьется под сердцем большая вина,— жутким-нажутко, Митьша... Пот от страху, чисто слеза. Кто взвесить ее умеет...

— Можешь ты?

— Боюсь весить. Перекалишь железо — не будет ни серпа, ни долота, ни заслонки.

— Обитал у нас, батя, в полку унтер-офицер, Ермолин по фамилии,— коли, грит, ухристосуюсь по-настоящему,— придет ко мне лютый зверь... как бумага смирная. Ладно. А стояли мы на Польшах...

Семен вытер с твердых и впалых щек пот и нетерпеливо сказал:

— Ты хоть о верах-то брось... Поди, ко крале своей ходил. Завел тут, понимаешь, Митьша, кралю, а сам о верах все... Самому чуть не шесть десятков, а туда же... Тьфу ты!..

Дмитрий глухо, с прерывающимися взвизгиваниями захохотал:

— Ты подожди жениться! Ну так вот, тот Ермолин...

Семен плюнул и, сжав кулаки, сильно размахивая руками, ушел под навес.

В обед приехал киргиз Алимхан. Не слезая с седла, он спросил:

— Эй, мурза, не придумал ешшо?

Семен и Дмитрий стали торговаться. За поправку ворот киргиз просил пятнадцать рублей, а ему давали десять.

Киргиз соскочил с седла и, махая длинными рукавами рваного бешмета, яростно просил больше:

— Тиба диньга даром достался — раз пальнул — сорок салковых — на-а!.. Моган-мина пятьдесь день работать нужьна. Тиба один раз стриляй, мина тыщ канча мын — топором рубить надо?.. Эй, мурза! Сенькe!..

Морщилось у него усталое, матовое, раскосое лицо. Дмитрий закричал, заматерился на него.

Алимхан тревожно метнулся на седло и вскрикнул:

— Уй-бой!.. Красной — козыл урус калатил, белай — урус калатил — сапсем плохой царя пошел!..

Сговорились на двенадцать.

А когда начал Алимхан потесывать вокруг ворот, показалась из-за угла тощая лошаденка с жидким, вылинявшим, похожим на голый прут, хвостом. Задевая ногу за ногу, она тащила плетеный коробок. Поодаль в лисьих малахаях ехали четверо киргизов.

Поселковые парнишки, улюлюкая, кидались гальками в киргизов. Дикие степные лошади шарахались от стен, от мальчишек, а киргизы не оглядывались. Лица у них обобранные, желтые, жалились утомленно и тоскливо, как степь в жару.

— Кого они,— спросил Калистрат Ефимыч,— везут?

Алимхан выпустил топор, сложил руки на груди и, наклонив голову, вздохнул:

— Уй-бой!..

В коробке завернутый в рваные овчины лежал киргиз с черными спутанными волосами. Мутнело его желто-синее лицо, но глаза были длинные, жесткие и темно-зеленоватые, как у рыси.

Алимхан втянул губы, опустил руки и сказал:

— Бальшой веры мулла, у-ух!.. Апо шаман... Шаман Апо, большой шаман — всех чертей-шайтанов знат и богов всех... Как баран в стаде!

IV

В эту ночь дул в Тарбагатайских горах с севера, с далекого моря, синий, льдистый ветер. Нес он запахи льдов и холодил души.

Ныли под ним кедры, били ему в лицо костлявыми и могучими сучьями, хватали за синие волосы и трепали по земле, среди скал и каменьев.

И, злого, холодного, втискивали его в ущелье Исык-Тау, что на Чиликтинской долине,— камень широкий и упрямый.

Дул в Тарбагатайских горах синий ветер. А в ущелье Исык-Тау приходил он с запахами кедров, глухих, нечеловеческих болот и, необузданный и едкий, мял и жег камни.

А пряталось за камнями двое русских. Прикрывались кедровыми ветками, ноги обложили мхами и молчали, как камни. В эту ночь говорил только ветер, густым и нечеловеческим голосом.

Сыро дышали камни. Мокрые кедровые ветви не грели. Мох — холодный и жесткий.

Земля чужая и холодная. Камни чужие, холодные, как эта синяя ночь с синим, льдистым ветром.

Один из беглых — маленький, мягкий — колотил кулаками по камню, ломал ветки, царапал ими тело. Но тело устало и покорно отдавалось ветру, тогда русский ощупывал другого, высокого, жилистого и неподвижного.

Тот, вытянув ноги и руки, лежал за камнем, и только, когда рука маленького ощупывала лицо, у него яростно сжимались горячие губы.

Утром русские бежали дальше, на юг, пробирались камнями.

Ушел ветер, и пахла земля горячими травами. Низко трепыхалось в горных речушках блекло-синее небо, как огромная синяя рыба.

А вершины гор были как красные утки в синих облаках.

А тело человека просила земля — твердо и повелительно. А душу его просили горы.

Люди же эти, радостно, как хлеб, ели жирные, распадающиеся на губах травы. Но не питала земля, и не было силы двигаться. Цепляясь за кустарники, тащили на руках свое тело. Срывали кустарники одежды — голыми хотела взять их земля.

Шли русские.

...Схватила с неба земля синюю ночь. Нежно и тепло вздохнули горы...

А еще на другой день ели грибы, били палками шилохвостей в мочажинах. Срывались шилохвости с воды, с хитрым утичьим хохотом, передразнивая горы, спускались в долину.

Никли две головы, беспомощны и голодны.

А еще шли день. Уже туман в теле, туман — тело слабое и не свое. Манила голая русалка — земля в короне зеленой, с грудью теплой.

Ползли по каменным тропам на юг. В день проползли два рысьих прыжка.

Молчал длинный, жилистый, с твердым, звериным взглядом из-под надвинутых на глаза бровей. Молчал и второй.

V

Лохматая, впрозелень голова у попа Исидора. И голос глухой, прерывистый, пахнущий зеленью болот. Идет он

широко, в темно-зеленой рясе. Кочка — осокистая голова, кочки — лохматые руки. Подземная вода — глаза, ясные и пристальные.

А в горнице холодно, чужое все для зеленоволосого тела лесного попа Исидора, и ходит он не как хозяин, а возле стен,— широкое зеленое пятно.

И будто хозяин тут Калистрат Ефимыч. Сел важно на деревянный крашеный диван, сказал уверенно:

— У те, отец Сидор, жилье плохое! Быть бы тебе пасечником. А ты в попы на мир лезешь.

Глухо вздохнул поп:

— Я, чадо, понимаю!.. На заимке, в черни у меня благодать: воздухи — мед... трава там, скажем.

Оглянулся — на стене картинки, мухами засиженные, лампа в розовом абажуре. В соседней комнате — попадья, тонкая, хрящеватая, в розовом ситцевом платье, как в абажуре.

— А нельзя — семейство питать там... одежа!.. Самогону хошь?

Упрямо переспросил его Калистрат Ефимыч:

— Про новую веру не слышал, отец?.. Новая вера, бают, объявилась...

— Не слыхал. Ты все ходишь, веру пыташь? Оно хорошо бы, новую веру. Мне тоже, может быть, новую веру надо, а не слыхал...

— Тебе и со своей ладно, управляться только. Ты в себя не смотри, поп, туда еще окна нету. Там — темень. Заблудится поп. Кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним... Знаешь? Ты, Сидор, будь как есть, твое дело знать...

Отделился поп от стены. Лохматую кочку наклонил к Калистрату Ефимычу. Пахло травами болотными, облили холодком подземные воды — глаза.

— Ты думаешь — я верю? Ты, Калистрат Ефимыч, молчи: а только я, как в леса попал, не верю!.. Почему бог про леса забыл? Почему в писании про это не упомянуто? Потому что там свой бог и подвижники-то, святители-то наши, рассейские...

Он сел на диван, рядом, и шепотом из зеленоватой бороды прогудел:

— Святители-то хрестьянскому богу не верили, Калистрат Ефимыч!.. Я как в леса-то попал, узнал. Стало мне, чадо, стра-ашно... Загорелось на душе моей пламя, держу его, не пуская!.. А выпущу — все леса пожгу.

Метнулся вдоль стены — лохматый, травоподобный.

— Ма-ать! Попадья, Фелицата Семеновна! Нельзя ли нам самоварчик поставить?

Все такая же, как и раньше, плыла на улице зеленоватая жара. В тени амбара спали, склонив голову, лошади, ноги у них были вялые, и вяло шевелились круглые животы.

А в комнатах попа было сыро и холодно.

— Осень все ж,— сказал Исидор,— скоро колодки с пчелой убирать буду. Ты, Калистрат Ефимыч, на заимку не поедешь?

Калистрат Ефимыч отвечал низким голосом:

— У меня по хозяйству сыны... с войны пришел один, Митрий...

— Слышал. Это который красново убил?

— Другой.

— Та-ак... Дело житейское. Одобряешь?

— Нет.

— И не надо. Я бы, чадо, тоже не одобрил, а нельзя — политика, а потом — дело мирское... Кабы богохульство али что...

— Это какое богохульство?

Исидор развел руками и захохотал. Смех у него был трескучий, словно раскалывалось дерево. Зубы показывались острые и желтые, как сосновые клинья.

— Ты меня, Калистрат Ефимыч, прости... Язык у меня лесной, шевелится туго...

— А как молишься-то?

— Молюсь?

Исидор оглянулся и, наклонившись, пахнул на Калистрата Ефимыча истлевшими травами.

— Я... только вслух... в алтаре молюсь... А так я молчу... Понял?..

Встал Калистрат Ефимыч, руки к бороде поднял, провел ими, и зазвенела тоской борода:

— Ты-то вот, по-оп!.. Молчишь? А нам-то как же?

— А не знаю, чадо... Я ведь тебе по совести, ты не говори... Никому. Молчи и ты...

— И будем все молчать?.. Нехорошо мне, отец Сидор, звери у меня на душе бегают...

Ушел Калистрат Ефимыч. Остался один у окна волосатый в зелень поп Исидор, а внутри у него юркали маленькие, как мыши, мысли: о пчелах, о пасеке, о мужике — высоком, синебородом и непонятном.

Вздохнул поп и сказал глухо:

— Меда... воздухи!.. А тут вслух... сказать надо.

Ходила подле ворот, щупая землю тонкими, как перья гуся, пальцами, Устинья. В рваный передник сбирала щепки, но они не удерживались там, проваливались, зияя на черной земле желтыми, смоляными ранами.

Беспокойно хохотал Дмитрий:

— Собирай, баушка,— умрешь — поминки справлять будем, на варево хватит. Эх!..

Алимхан рубил ворота.

Семен собирался за сестрой Агриппиной на заимку. Фекла приготовляла ему, подсевая мелкое зерно, на самогонку.

Твердые, впалые щеки Семена натянулись. Он сказал досадливо:

— Батя, ты бы хоть обутки зашил, разошлись!.. Шляешься без толку, поди, у крали своей все?

Остро взглянул он на подходившего к амбару Дмитрия.

— Чего, Митрий? Заперто там!

— У те ключи-то где? — спросил стремительно Дмитрий.— Зерно хочу посмотреть!

Семен пошарил в карманах штанов и ответил:

— Затерялись где-то. Не найду!

Дмитрий, порывисто махая руками, пошел в избу.

— Прах с тобой, хромоногий! Думаешь — пропью? Нужно мне твое зерно. Дарья-я!..

Из пригона торопливо прибежала, опуская подоткнутую юбку, Дарья.

Семен посмотрел на дверь и сказал:

— Тоже, подумаешь, инерал... заломался!..

Бродила по двору медленно, как больная курица, Устинья.

Уехал Семен. По-солдатски командовал в избе Дмитрий. Калистрат Ефимыч стоял среди двора. Спустив жилистые, длинные руки вдоль ног, дышал твердо, спокойно, тонким запахом подзноя.

В соседних дворах кричали петухи.

Алимхан смотрел на неподвижного, с жесткими глазами мужика. Придумывал, что сказать ему приятное. Наконец заложил за щеку кусок табаку и проговорил:

— Тиба, мурза, карошо — борода большой, жирнай. Маганмина — сколь сотня годов растить такой борода нада?..

Истомленные под зноем, возвращались туговымные коровы с мутно-зелеными глазами. И густое, точно каша, несли бабы молоко в подойниках.

В этот вечер Семен привез с заимки Агриппину.

Длинная, в темном платье, в горнице положила она сорок стремительных и жгучих поклонов перед ликом икон.

— За греховодников!.. за мучителей!.. за христопродавцев!..

Но шел от ее тела резкий запах кислой кожи, мялись плотски жадные губы. Плотские, ползучие по чужому телу глаза.

Сказал с хохотом Дмитрий:

— Надо тебе, мученица, мужика, во-о!..

Агриппина неподвижно и тревожно смотрела на отца. А тот был тоже неподвижен, темен и зеленоглаз.

— Жениться, бают, хошь? — спросила она, сильно сжимая пламенные, сухие губы.

Калистрат Ефимыч отвечал неспешно:

— Как придется. Может, и женюсь. Она баба хорошая, Настасьюшка-то!..

Агриппина закричала остро и больно. Подпрыгивали на ее сухом и жилистом теле тонкие в широкой кофте руки.

Вокруг стола стояли Семен, Фекла и Дарья, а на голбце рядом с Устиньей сидел Дмитрий. Были у всех угловатые, зыбко-зеленые лица.

— Восподи!.. да ведь тебе, почесть, шесть десятков — в монастырь надо, душу спасать?.. а он бабу в дом вводить удумал? Мало у нас баб-то в дому? Мать-то в гробу переворачивается, поди!.. И диви бы каку... А то шлюха! С каким она солдатом не спала. Митьку возьми!

Дмитрий захохотал.

— Приходилось!.. У нас раз-раз — и в дамки... Жива-а.

— По всей волости, восподи!.. В городе таскалась-таскалась... В деревню с голодухи приперлась. Всех мужиков испоганила. Позарился тоже... Прости ты меня, владычица и богородица!..

...Пахли травы молоком. А небо низкое, густое и зеленое, как травы. В травах шумно дышали стреноженные лошади, и шумно, хорошо дышали люди.

Мягкие и гладкие губы Настасьи Максимовны, мягкие и гладкие травы. Тепла неутолимой радостью земля.

К земле прижимаются люди, телом гибким, плодоносным и летним.

— Листратушка... ишь, вот... ты-ы...

И губами перебирала зеленую его бороду, пахнущую спелыми деревьями, и зубами перебирала — больно и остро — его душу.

— Листратушка...

...Откинулся устало и горячо. Небо увидел низкое, зеленое и теплое.

А еще ниже — земля, зеленая и теплая.

Сказал потом, из трав выпутываясь:

— Веру надо... а какую кому — неведомо...

Голосом пристальным, в душу заглядывающим, Настасья Максимовна сказала:

— Веру?.. Какую тебе веру, окромя любви, надо?..

VI

При закате солнца летели с легким криком рябки на водопой.

— Бульдьрр... бульдьрр...

Спустившись к воде, они замерли. Трепыхались перышки на вытянутых шейках, и тревожился зеленоватый глаз.

Смелков наметился и швырнул камень. Камень задел рябка в плечо, он, колыхая крылом, побочил в таволгу.

— Нету? — спросил возвратившегося Смелкова Никитин.

— Где убьешь!

Смелков лег у костра головой к огню и жалобно сказал:

— Покурить бы, а там — черт с ними, пусть хоть шкуру сдирают!

Никитин быстро сжал твердые и расширенные зубы. Стоял он длинный, суровый, в грязной шинели на голом теле. Тело же было исцарапанное, искусанное комарами и загорелое, как пески.

Смелков, почесываясь, рассказывал, как разбили их отряд, как перебили комиссаров, как убили третьего товарища. Голос у него был тоскливый и острый.

— Какая, скажи ты мне, разница между тобой и чехом? — спрашивал он серба Микешу.— Пошто один большевик...

Микеш молчал. Он растирал кедровым суком кору на камне.

В светло-голубой австрийской тужурке лежал на земле мадьяр Шлюссер.

Шлюссер и Микеш подняли красноармейцев на песча-

ном оползне и укрыли с собой в овраг. Хлеба в овраге не было.

Выходить боялись — недалеко в лесу мужицкие заимки, а по долине и в горах — атамановские отряды.

Смелков заплакал маленьким, тощим плачем:

— Да что я, зверь? ну?..

Никитин молча, пристально взглядывал вдоль по оврагу.

Бился овраг в таволге, таволга металась в блестящих, как вода, травах. Мутно пахло влажной землей, грибами.

Молчал Никитин так же, как он молчал в первый день бегства, когда догнал Смелкова. Были те же у него жесткие, как сухостой, руки, животный, пристальный взгляд.

Смелков нарвал трав и одну за другой начал их пробовать, которая съестнее.

Серб Микеша поднялся вверх на гребень оврага и долго стоял там, глядя на юг.

— Тоскуешь! — тонко и жалобно сказал Смелков.— Поись бы хоть, а он тут... тосковать...

Потом серб сварил толченую кору в котелке. Красногвардейцы ели ее поочередно одной ложкой.

Смелков проглотил хлебок, выпустил ложку. Прижимая руки к груди, лег. Плакал.

Микеша поднял ложку и, хлебнув, передал Никитину.

Полежав, Смелков рыл коренья перочинным ножом. Нашел в пне пахнущие псиной грязно-желтые грибы и украдкой, торопливо съел. После грибов рвало.

Шлюссер и Микеша тихо переговаривались по-немецки.

Шлюссер в овраге нарвал большой пук зеленовато-золотых трав и долго варил похлебку. Попробовал ложку, плюнул и выплеснул на землю всю похлебку.

А вечером, сгибая колени и ударяя каблук о каблук, ушел Смелков на пашню воровать зерно в колосьях. Не возвратился.

Ели какие-то сладкопахучие коренья, корни аира. Шлюссер поймал рубахой в потоке двух мальков величиной с палец. Мальков разделили и съели.

Было сыро и душно в овраге. По ночам бродила зеленовато-золотистая мгла.

Трещал таволожник. Казалось им, что крадутся мужики. Вскакивал Микеша и, ступая на пальцы, убегал в тьму. Потом возвращался, и голос у него был тихий:

— Тумал... пьют... мена!..

Двенадцатый день тусклые и густые облака низко, как полог, висли над оврагом.

Из пади кверху по травам шел сырой и дождливый ветер. Свистели сучья шиповников.

Кипятили котелок с кореньями, когда раздвинулись кусты таволожника и резкий голос сказал:

— Бог на помощь! А только огонь-то раскладываете зря!..

Стоял человек, низенький, как дитя, большеголовый. Вместо ног — культяпки в две четверти длиной. Схватил было Микеша сук, но, увидав его культяпки, отвернулся.

Зло рассмеялся человечек и сказал:

— Думаешь — не донесу? Очень просто!.. За троих сто двадцать целковых дадут.

Никитин подошел к человеку и, отставляя ногу в сторону, спросил порывисто:

— Донесешь?

Подковылял бойко человечек к костру. Котелок на огонь опрокинул.

— Дураки!.. Прет дым на нос. Ладно — овраг, низко дым идет, я только учуял. А ростом выше меня пойдет?

Снял он пиджак рваный, серенький картузишко без козырька. Постелив на землю пиджак, сел.

— Не донесу! Потому мне троих где убить? А мужики, коли убьют, не поделятся керенками. Опять и надоело мне, паре, добро людям делать... Ну их к лешаку!

Оглядел их уверенно и хитро и, закуривая от тлеющей головни, сказал:

— Я, парни, тридцать лет правду искал. К бродягам в тайгу пошел, баяли, там есть правда, а они меня к кедру привязали и ноги до колен сожгли... Не верю я людям, сволочи они и звери...

Но тут выхватил из кармана кусок хлеба и кинул в траву.

— Жрите!..

Микеша упал лицом на кусок, зарычал. Подбежал Шлюссер, теребя серба за плечо, слабо просил:

— Микеш, Микеш.

Никитин же, приподнявшись на локте, глядел в сторону на куст шиповника за культяпым человечком.

— А ты что ж?..— спросил Никитина человечек.

Никитин с трудом поднялся, подошел к человечку. Ногой ударил его в зубы. Человек закрылся руками.

Никитин хотел отойти, но запнулся и повалился на куст.

Человечек вытер окровавленные губы, сплюнул. Проговорил протяжно:

— А это ты правильно!..

VII

Случилось так на пригоне.

Семен долго и беспокойно глядел в опухшие веки Дмитрия, хитростно сказал:

— Батя — мужик хозяйственный, он это зря притворяться не будет. У него тоже собака голову не съела!.. Тут, брат!..

Дмитрий стоял, плотно, по-солдатски, сжав ноги. Мычал в стойле теленок. Угарно ложились на грудь запахи гниющего навоза.

— По-вашему выходит, машинка? — бойко спросил он.— Согласен. Я как был на действительну призван, да почесть восемь лет отчехвостил, думаю — спятил старик в эти времена!

Семен, прихрамывая, отнес вилы в угол.

— Мы тут удумали,— тихо и убежденно проговорил он,— с Феклой, она у меня баба — куда хошь. Удумали мы так — не будет зря старик болтаться, хозяйственный человек! И насчет веры выходит тут тово!.. Народ-то в вере колеблется, надоело, ну, он тут... свою и придумал. Старик-то.

Дмитрий хрипло кашлянул, поглядел на теленка. Закивал опухшей головой.

Семен, придыхая слова, говорил:

— Нам-то он ни за што не скажет — комерцеский человек. У нево отец-то какого товару, бывало, привезет — никак не покажет!.. А?

— Тут надо стратегически!..

Семен, обрадованно передернув плечами, оправил рубаху на груди. Постучал в грудь Дмитрия:

— Ты, Митя, одно пойми — торговать счас опасно — за товарами в Маньчжурию надо ехать!.. И разбойник народ!.. Раз!..

— Народ — сволочь. Били сколько лет и не перебили.

— А торговому человеку такая жизнь — могила. Он и... Вера!..

Дмитрий восторженно выматерился. Семен отогнал теленка, кинул ему сена и пошел.

Дмитрий постоял, поглядел на поветь с тугими свет-

ло-зелеными стогами сена... Вдруг начал проделывать, приседая, гимнастику.

— Ра-аз!.. Два-а!.. Раз!.. Два!..

После обеда Семен отозвал Алимхана за ворота, сказал:

— Ты мне, немаканай, келью срубишь? На манер святова!..

— Ни? — переспросил киргиз.

Семен плюнул, мотнул плечом и, прихрамывая, побежал догонять отца на улице.

— Я тебе тут, батя,— сказал он,— келью заказал, Алимханка, он ничего, срубит. Красить, жалко, не умеет!

Калистрат Ефимыч остановился, посмотрел в сторону, на радужные окна зеленоватых изб. Согласился.

— Мне, што ж, коли!.. Агриппина-то замуж не сбирается? Раз келью...

Семен подмигнул.

— Обождет. Мы ей попа подыщем. Погоди, вот!.. Я понимаю.

В сенях Алимхан прорубил окно, сделал двойную перегородку из плах. Дмитрий сколотил широкую постель на деревянных козлах.

Пришла в клеть Агриппина, сухая, темная, как слежалое сено. Она долго исступленно оглядывала стены, потолок.

— Баб водить будет сюды? — пренебрежительно спросила она.

Дмитрий похлопал ладонью стены, подоткнул в пазы мох и похвалил:

— Хоть Николаю-чудотворцу туда же!.. Молись!

Через три дня Калистрат Ефимыч перешел в келью. Забежал, прихрамывая, Семен, мелко подергивая рукой, перекрестился и спросил беспокойно:

— Молишься, батя?..

Калистрат Ефимыч лежал на кровати, заложив жилистые руки за голову. Ответил твердым, широким голосом:

— Нет.

Семен потоптался, оглянул пол и, заметив валявшуюся щепку, сунул ее в карман.

— Добротна келья!.. Хошь игумену! — И добавил досадливо: — А ты молись... Я ведь знаю — ты молишься... Без молитвы какой хрестьянин! Пыль!.. А, батя, верна-а?..

Был у него просящий, мелкий, как пшено, голос. Калистрат Ефимыч посмотрел на его жесткое лицо с потрескавшимися, точно древнее дерево, губами и, отворачиваясь к стене, выговорил:

— Спать хочу.

В тот же день на сходе Дмитрий шумно и оголтело кричал мужикам:

— Каки ваши дела!.. Резервный вы люд — и никаких... Листрату Ефимычу, родителю моему, виденья видятся... Всю ночь на коленах стоит! Келью срубил, молится! Обязаны за вас мы молиться? Ну? Вы как?..

И долго путано рассказывал про виденья отца. Вспомнил генералов: Радко-Дмитриева, Рузского, предателя Ренненкампфа и вставил их в видения.

За грязной дверью присутствия повис на дрожащих и желтых ветвях черемухи лиловый клочок неба.

Мужики непонятно молчали, остро глядя в двери зеленоватыми глазищами.

Агриппина, прижавшись к стене у крыльца, придушенно спросила Дмитрия:

— Настасья-то как будет, она вить безверная?..

Дмитрий, подымавшийся на крыльцо, остановился. Сильно постукивая каблуками, сказал:

— А там мы бога ей прикомандируем!..

VIII

Святой Евтихий пришел, тихий и мягкий. Возили золотые, пахнущие медом снопы овса. Пахли медом тихие, тучные лошади с зыбкими, зелеными глазами.

Мягко, осторожно мялся на камне водопад.

Пересекая дорогу, из тальников выходили на мостик и шли в горы арбы киргизов. Скот прогнали, от него до полуночи свертывала земля жирные клубы пыли. Шла орда на запад мимо деревни Талицы.

Калистрат Ефимыч у мостика глядел на киргизов.

Тревожно перекликался с арбами Алимхан. Пахло от арб верблюдами и кизяком. Лица у киргизов были беспокойные, грязные, узкие глаза боязливо оглядывались на юг.

— Куды они? — спросил Калистрат Ефимыч.

Алимхан вздохнул:

— Байна! Кыргыз байна не любит. Кыргыз хороший царя нада!

— Война?

Увешанного амулетами и звенящими бубенчиками, провезли шамана Апо.

Ревели, шумно отплевываясь, верблюды. Нежные, тонконогие, звонко пробежали мостом жеребята.

— Байна! — помолчав, сказал Алимхан.— Белый генерал байна зовет, красный генерал не хочет... Сапсем плоха!..

От водопада летели на киргизов зеленоватые брызги.

Как племя злобных рыб, пойманных в сети, билась в камнях вода. Голубое, нежное, как мех песца, стояло небо.

Катились арбы. Было их много, как птиц на перелете. Тревожно и резко скрипели они.

На возу, тесно наполненном снопами овса, ехал Дмитрий. Увидав отца, он, указывая на киргизов, крикнул:

— Киргизы-то бегут!.. Они, как мыши, гарь чуют. Не убежишь, курва!

Калистрат Ефимыч медленно пошел домой. На крыльце сидела рябая баба с ребенком на руках.

— Чего ты? — спросил ее Калистрат Ефимыч.

Баба положила ребенка на ступеньку и, поддерживая рукой живот, тяжело опустилась на колени.

Подымая худые и мокрые от слез щеки на Калистрата Ефимыча, она хрипло сказала:

— Помолись... Помират...

Калистрат Ефимыч отступил. Густо засинели глаза, быстро вышедшие из тугих, острых век.

— Кто это тебя,— сказал он жестко,— послал?

Баба, передвигая худыми коленями под ветхой юбкой, хрипела:

— Помолись!.. Бают, у те вера новая... Помолись!

У дверей, упершись ладонью в косяк, стояла Фекла. Глядела она на бабу радостно.

— А ты к фершалу,— сказал Калистрат Ефимыч.— Он те и полечит. А я што?

Баба вскочила, стягивая с ребенка грязные пеленки, кричала:

— Не хошь! Другим молишься, а бедным не хошь! Ты посмотри, посмотри!..

Серое, в липкой кровяной чешуе тельце ребенка. Тыча ему под грудь пальцем, причитала:

— Сыночек ты мой, милай, никто тебя не пожалеет, не приголубит!.. Дудонька ты моя, яровейчатая!..

С тонким, прерывающимся писком напряженно дышал ребенок. Баба, протягивая, хрипела:

— Помолись!.. Тебе что? Помолись!..

Калистрат Ефимыч сказал:

— Не умею. Не молюсь.

— А ты по-своему, по-новому!..

Калистрат Ефимыч наклонился над ребенком, прочитал про себя «Отче» и сказал, отодвигая дитя:

— Неси.

Баба понесла было, но вернулась.

— А ты перекрести хоть!

— Неси,— сказал Калистрат Ефимыч и вдруг неожиданно для себя сказал радостно: — Выживет!

Баба, держа ребенка на далеко выдвинутых руках, шла слепым, срывающимся шагом к воротам.

Сторожко, подбирая юбки, пошла за ней Фекла.

В ужин Дарья принесла Калистрату Ефимычу блинов, сметаны в холодной кринке. Остановившись у стола, сказала:

— Ты, если што — калитку-то мы теперь запирать не будем.

Не понимая, спросил Калистрат Ефимыч:

— Куда мне ее?

— Мало ли... Може, и захошь... позвать Настасью!..

Улыбнулась. Хищно и плотски шевельнула грудями. Медленно вышла, выгибая спину.

Тонко пахло из пазов мхом. В горнице громко говорил Дмитрий.

Смертоносно таяло сердце, и хотелось холодного зимнего воздуха...

Синеглазый, веселый староста торопливо обходил поселок, постукивая в окна, кричал:

— Бабы, выходи!.. Девки — о-обязательна!..

Весело оправляя платья, выбегали бабы, становились в ряд. Писарь держал коротенький фиолетовый карандаш. Позади него хохотали парни.

— Дарья Смолина!.. Жена законная, двадцать семь лет — ядрена баба — айда!

Оттолкнул Дарью направо. Дарья покраснела; закрылась рукавом. Веселый староста кричал:

— Фекла Смолина. Жена законная, сорок лет!..

Посмотрел на нее, на писаря, подумал.

— Лошадь надобна — уборка. Налево пожалуйте!

Фекла плюнула и, резко крича, пошла в ворота.

— Да што меня мужики не хочут? Комитет — подумашь!.. Выбрали понимающих!..

Парни захохотали. Староста, весело щуря глаза, кричал:

— Гриппина Калистратовна Смолина. Целка!.. Двадцать пять — направо жарь!..

— Не хочу! — стремительно сказала Агриппина.— Не поеду!

Староста пошел к другой избе.

— Твое дело,— сказал он.— Казацкого захотелось, оставайся... У нас и так лошадей нету, на уборку надо. А тут баб в чернь увози. Оставайся!

Вечером в таежные заимки уходили прятаться подводы с бабами. На гумнах затопили самогоночные аппараты. Стрелки пошли бить птицу. Старухи пекли блины и шаньги.

Проскакала селом тележка. В ней культяпый Павел, стегая взмыленных лошадей, торопливо перекрестился левой рукой на церковь.

В субботу в поселок приехали атамановцы.

IX

Пили самогонку и, пьяные, в обнимку, уходили в тайгу, махая остро опущенными шашками. В день приезда выбежали из тайги три кабана. Атамановцы схватили их в шашки.

Ждали еще кабанов.

Желтые, тугие лица с темными, напуганными зрачками. Ходили всегда по нескольку человек. А ночью в душных, жарких избах говорили долго, неустанно, по-пьяному.

Офицеры, трое, посланы были вербовать киргизов в отряды Зеленого знамени. Киргизы не шли.

Вечером горькое, оранжевое небо покрывало тайгу, Тарбагатайские горы.

Потом атамановцев, большую часть отряда, услали куда-то. Говорили, к Семипалатинску. Остались самые молодые.

Пригнали мужики скот. Бабы вернулись с заимки.

Горели медленно розовые, нежные и тягучие, как мед, дни.

В один такой день встретила Агриппина поручика Миронова. Был он большой, розовый, с волноподобно переломанными бровями, оттого казался всегда смеющимся.

Остановил ее в переулке, сказал:

— У тебя, говорят, отец святой?

Исступленно взглянула Агриппина, ответила:

— Не знаю. Чудес не видала.

Офицер пошел с ней рядом.

— А ты какая, из святых? У вас тут на каждую девку парень есть — не подступишься!

Говорил он торопливо, точно догоняя кого рысью, но голос вертелся круглый и румяный.

— Ты с кем гуляешь?

Вытягивая вперед ногу в побуревшем лаковом сапоге, он рассмеялся. И так шел до самого дома, смеясь.

Ночью, густой, зеленой, как болотные воды, Агриппина металась по кровати и шептала:

— Прости ты меня, заступница!.. Аболатская, нерукотворная!.. Восподи!..

Перед лицом стоял он — темноликий, сухой, как святые на иконах. Поднимал медную руку и говорил звонкие, повелительные слова. И от его слов жгло и дымилось гарью сердце, как степь в весенние палы.

Но был офицер румяный, словно не ходил по тайге в ловлях. И только веки были в резких, угловатых морщинах. Хотелось видеть его таким, каким подходил он к постели, ночами. Строгим, повелительным.

Агриппина сторонилась, молчала.

Злобно кричала она на приходящих убогих и жалующихся:

— Молиться надо, молиться, нехристи вы и злодеи!..

Мутнели души убогих, как весенние воды. Опуская глаза, говорили протяжно:

— Грешны, Гриппинушка, грешны, нетронутая. Молились!.. Наши-то молитвы не подымаются — будто градом колос... Грешны!..

Коноплянники тошно-душные — людские лица. Нельзя в них смотреть, дышать ими. Марева в голове пойдут — облачные, радужные, неземные...

Спросила Агриппина офицера Миронова:

— Ты в бога-то веруешь?

— Верую,— строго ответил офицер и вдруг постарел, морщины с век пали на все лицо.— Верую. У меня вера осталась — одна.

— А как веруешь? — торопливо спросила Агриппина.

Замолчал офицер. Подумал. Как плуг в целых землях, путались и резали коренья души знакомые слова:

— Бог-то, бог-то, как у всех. Некогда мне было думать! — Тяжело передвигая губами, проговорил: — Семь

лет воевал: на германской, здесь. Всю душу снарядами разворотило. Некогда думать.

Засмеялся вдруг, орозовел и, подпрыгнув, схватил Агриппину за груди. Она тихо отстранилась и сказала:

— А ты подумай!

Миронов двинулся за ней. Опять говорил что-то весело и запыхиваясь. Гимнастерка была широкая, пахла мылом, но под мышками был пот. Дышать Агриппине было тяжело и тесно.

Повторила она:

— Подумай...

Потом в пригоне Дарья, пронося в широком подойнике молоко, сказала ей задорно:

— Афицер-то за тобой кобелится. Ты валяй — може, в город возьмет. Так издыхать... в девках, что ли?

Агриппина, не взглянув на нее, мимо. В горнице перед иконами говорила молитвы, тягучие, жалобные.

Растоплялось, занимало всю грудь широкое, как весенняя туча, сердце.

Плакала она, шептала слова в плаче, пересыпные и мелкие, как степные пески:

— Восподи!.. Восподи!.. Как это!.. Владычица и заступница Аболатская, просвети и помилуй!..

Шли мужики самотопом — в ряд, по кустам — и вспугивали птицу. На опушке колка сидел в шалаше офицер, бил кренившихся к нему птиц.

Желтые и жирные, точно коровье масло, горели кусты в розовых полях. Ветер шебуршал жнивьем.

Собаки у офицера не было, Дмитрий сбирал птицу. Он взвешивал каждую куропатку на руке, говорил торопливо:

— А эта, ваше благородье, еще тижалей — чисто пушка!

Гукали мужики. Розовело у офицера бритое, упрямое лицо. В колке при выстрелах шумно срывались с берез галки.

Сладкая, мягкая была у куропаток кровь. Как мед, лепила она пальцы. Хмельно, утомленно сказал Миронов:

— Ставь чайник... будем на вольном воздухе чай пить...

— А мужики, господин поручик?

— Пущай берут птицу и уходят. Мне ее не надо!

Гуськом, точно в церкви ко кресту, подходили мужики и брали по куропатке. Последнему досталось три. До-

гоняя остальных, он незаметно швырнул двух в куст и ушел, неся одну птицу.

Поднимая высоко медный котелок, повязанный полотенцем, вошла Агриппина. Она поставила котелок на землю и, остро глядя на офицера, сказала:

— Обед вам.

— Кто велел? — закричал хрипло Дмитрий.— Сколь птицы набили, а она обед!

Миронов хмельно развел сведенными от долгой стрельбы руками. Пух куропаток прилип к выпачканным в крови сапогам.

— Ничего,— вяло сказал он, подымаясь.

— Правила, господин поручик: охотнику не полагается обед из дому носить... Стыдна, однако, и обида!..

Повернулась Агриппина в колок. Длинная синяя шаль звенела желтыми травами. Тянулись по туго натянутой щеке серебристо-розовые нити осенних паутин.

Офицер, твердо и уверенно ступая на пятки, догнал ее:

— Тебя почему нигде не видно?

Агриппина молчала.

Тревожно и сладко пахло клубникой. Лиловато блеснув шкуркой, шмыгнула через сапог ящерица.

— Я о тебе скучаю,— сказал офицер неуверенно.— К Дмитрию сколько раз заходил, думал, тебя встречу.

— Не ходи,— сказала Агриппина.

Офицер взял ее за руку, помял и проговорил лениво:

— Пойдем в колок!.. Устал... отдохнуть надо...

Агриппина молча уходила в травы. Он набросился на нее, стал срывать кофту и юбки.

Агриппина опустилась под ним, порывисто дыша ему в лицо хлебом и какими-то пряными ягодами. В лицо ей уперлось мягкое и теплое плечо офицера. Она заметила лопнувшую у подмышки рубаху. Просвечивало розовое, кисло пахнущее тело.

Агриппина схватилась руками за травы, чувствуя под зубами упругое тело, укусила. Офицер сипло, нутром вскрикнул.

Агриппина, закрыв глаза, тянулась зубами по рукаву.

Офицер вскочил и сказал злобно:

— Вот собака!..

Темная и неподвижная лежала в травах Агриппина. На потных висках прыгало оранжевое солнце.

Миронов, щупая укушенное место, проговорил:

— И поиграть со скотом нельзя!.. Чего ради, спрашивается, укусила?.. Сама виснет!..

Он, так же твердо опираясь на пятки, ушел.

В клети у Калистрата Ефимыча говорила Настасья Максимовна:

— Я не знаю, Листратушка, а вот, бают, вера у те другая, хоть бы сказал мне. Я поверю. А то не знаю, как и верить, может, и не по-твоему. Ты скажи?

Поднялся Калистрат Ефимыч, высокий и прямой. Туго провел тяжелой и волосатой рукой по костлявому, впалому лбу и сказал:

— Нету у меня веры и не было.

Настасья Максимовна отвечала мягкими, атласисто-розовыми губами:

— Ну и не надо ее!.. А только у меня, Листратушка, кажись, ребеночек...

X

Послух шел поселками, волостями, синими Тарбагатайскими горами:

— Обрелся человек новой веры в Талице.

Ездил Чиликтинской долиной культяпый Павел, сказывал:

— Сам видел — праведной жизни мужик. И силищи агромадной, в сто пудов камень подымат.

Шли больные, падучие, сглаженные. Сколько их в этих осенних ясных горах?

Из каких падин-расщелин, какими ветрами темными вынесло?..

Сначала по двое, по трое, а потом десятками стали приходить.

Густая была осень, грязная. С полуночной страны накатил синий ветер. Пахло сыростью, мхами, улетающими птицами.

Люди гнулись, как сломанные деревья. У ворот встречала их Фекла, отводила на край поселка. Здесь в маленькой избушке принимал даяния Семен, говоря беспокойно:

— А ты о деньгах молчи, он не любит. Молчи!

Вечерами лошадь с сытой шеей и сонными глазами привозила даяния в амбары Семена...

Торопливо крестясь, вползали убогие на скрипучее крыльцо. Вытирая грязные руки о половик, проползали в келью. Кисли острыми запахами звериных логовищ плоские хрящеватые уши, отрепья одежд.

— Ну, чего вам, чего? — говорил низко, тревожно Калистрат Ефимыч.

Знали убогие, порченые, что без просьбы ничего не дается. Надо просить новую веру, долго и упорно просить. Калеки хрипло, визгливо никли, ныли:

— Батюшка... помолись!.. Калистрат Ефимыч, помолись!..

Матово-зеленый, пахнущий людским убожеством воздух в келье. Мелкие, зеленоватые глаза у святых на иконах. Кто-то свечу зажег перед образами.

Глядел Калистрат Ефимыч в глубокую тьму за окном. Ныли убогие. Выл тоскливым, волчьим воем на пригоне синий полуночный ветер.

Льдами несло с полуночи, льдами.

И лед шел на сердце, холодные глыбы с острыми больно режущими краями.

Говорил Калистрат Ефимыч:

— Кому мне молиться-то, а?

Отвечали убогие:

— Сам знаешь!

Раскрыла настежь окна. Несло летом, ветра по улице прыгали розовые, желтые и голубые. Медоносными травами пахло.

Дни пахучие, медовые, розовые.

Был офицер большой и мягкий.

Но не приходил он больше. И ныло, как рысь зимой, тонкосвистяще сердце.

Хотела видеть ночами старых, грозных и омраченных богов. Горели грузные ризы, чужие стояли бога, не спускались из темных одеяний на цветные половики горницы.

Плакалась слепая Устинья:

— Ты хоть бы за меня-то помолилась, Грипиинушка! Не останавливается слеза — течет.

Но у самой Агриппины не останавливалось, текло сердце.

Ночи текли медленные и широкие, как сибирские реки. Ревели, просили любви в Тарбагатайских горах звери — кабаны, медведи и сохатые.

Избы плыли огромные, тянулись к небу зеленые деревья. Как темные цветки, отражая звезды, пахли людьми окна. Выли, тоскуя по горам, лохматые, волчеглазые собаки. Были у них огромные, желтые клыки, и, как клыки, рвали синие тучи Тарбагатайские белки — вершины.

Нет, никому не молилась Агриппина.

Такой ночью приметнулась к школе, где жили офицеры. Постучала в окошко. Вышел Миронов, большой, теплый.

Сказала Агриппина:

— Звал, что ли?

Засмеялся офицер.

— Конечно, звал! Чего долго не приходила?

Повел ее за собой.

В тесной учительской двое офицеров играли в карты. На Агриппину не взглянули.

— На пять — десять минут можно вас попросить, господа? — спросил весело Миронов.

Низенький, длинноусый проговорил:

— Пожалуйста, Николай Матвеич, располагайтесь. Мы в классной доиграем.

Они собрали карты, взяли бутылки под мышки и вышли...

И опять дни такие же непонятные и долгие. Уехал куда-то в степь офицер. Возвратясь, ничего не говорил, не приходил, не звал.

Ныли у крыльца зеленоликие убогие. Шелестели руками, сухими, как осенние травы.

— Не сердись, Гриппинушка, нетронутая... не сердись, молитвенница!

Выходил на крыльцо Калистрат Ефимыч, говорил:

— Уходите вы, ради бога... Ничего у меня нету!

Ползли за ним по высокому крыльцу убогие. Протяжно и озлобленно:

— Помолись... помолись!..

Под наметанным сеном гнулись пригоны.

Гнулась в тоске душа. Ночью выходила Агриппина за ворота. Теплые и низкие, как коровы, дышали темнозеленые избы. Ветер дул пахучий и непонятный...

XI

Лохматый, травоподобный, вполз в келью отец Исидор и, шумно дыша, сказал:

— Ты тут, чадо, какую это новую веру выдумал? Расскажи-ка!..

Округло поднял руку для благословения. Сел он почему-то не на стул, а на кровать. Точно спеша куда, заговорил:

— Не таи — все говори. Никто открывать про тебя не хочет. Какая это вера?

Но в голосе его была почтительность, словно говорил с благочинным. Калистрат Ефимыч посмотрел на него и спокойно сказал:

— Не знаю. Никакой у меня веры нету. Расту.

Поп шумно вздохнул, захохотал. Хохотали зеленоватые, пахнущие илом волосы, широкие одежды.

— Вот это-то и есть настоящая вера? Нет, ты в самом деле, Калистрат Ефимыч?.. Скажи! А у те средства от падежника нету? Пчела мрет.

— Не занимался пчелой.

— Напрасно! Много смиренья приобрести можно. Совсем напрасно!

Калистрат Ефимыч молчал. Поп, строго постучав ребром ладони по кровати, сказал:

— Баптист ты, должно, али хлыст. Христом себя считаешь?

— Нет.

Лохмато заорал поп:

— А ты назовись! Чего молчишь? Тогда я скажу — имеешь ты право за людей молиться или не имеешь! Зачем ты беспокойство мне причиняешь? У меня, быть может, оттого и пчела дохнет!.. Мне из города пишут — сообщи, что за пророк такой, а что я сообщу — сам, мол, он ничего не знат.

— Не знат.

— Брешешь! Не могу я так написать. За такую бумагу в три шеи вытурят меня... Ты разъясни.

— Про веру-то?

— Да, ну.

Калистрат Ефимыч наклонился и заглянул попу в глаза. Поп опустил лохматые брови, потно дыша, сказал испуганно:

— Ты не томи, у меня сердце слабое...

Калистрат Ефимыч поднял руку и проговорил не спеша:

— А коли... я тебе... по рылу дам... Или...

Поп Исидор, слюнявя слова, заплетаясь руками:

— Молчи... молчи!.. Богохульник!..

Большое травоподобное пятно загородило двери. Пахнуло болотами и смолой сосновой.

Укоризненно прогудел поп:

— Предатель ты, Иуда!..

XII

Как будто всем телом хромал Семен. Голос хромой, прерывающийся.

— Жениться хочет батя-то на шлюхе городской. И женится. Ребенок у ней, бает. Брешет, не от него, поди!

— Ну?

— Не пойдет народ... Какой, скажет, святой — с потаскушкой живет. Женился еще!.. Тут нада...

Оглядел беспокойно Семен розовато-желтое тело Феклы. Пахло в предбаннике золой и вениками. Банные, бесстыжие глаза у Феклы, и смотрит на Семена по-иному. Засмеялась.

— Чего ты?

— А ты в баню с такой речью пришел? Про потаскуху таку опричь бани-то где можно придумать?

И туго колыхая большим животом, точно выталкивая бесстыдство, хохотала Фекла. Скрипя, отошла дверь; пахло из бани томящей жарой.

— Што мычишь-то, корова!

— Ты народу-то про нее бай — епитимья, мол!.. Епитимью за грехи свои наложил Калистрат Ефимыч!.. Поклонов, мол, мало, так он шлюху себе в жены берет.

— Не поверют.

Завертелась перед баней желтая, бесстыдная пыль. Плотно сжимая губами клок соломы, весело проскакал теленок. Нехотя двигая толстыми бедрами, вошла Фекла в низенькую дверь.

Из бани вместе с новым клубом томящей жары крикнула:

— Коли верят... ничего!.. Скажут — так и надо!

А вечером на перине сказала Семену:

— Ты за Митрием-то следи... Он даяния-то получать-то получает, да должно... кажинный день на карачках ползат... Пьет.

Калистрат Ефимыч попа Исидора просил о венчании. Выслушал тот и сказал:

— Ну тебя, искусителя, к дьяволу! — Махая широкими рукавами, густо рявкнул: — Пошел из моего дома, чтобы моментально! Раз у тебя новая вера — не буду, не желаю! В город напишу — еретика не хочу!.. не желаю.

И шумный, как падающее дерево, долго гремел в маленьких, тесных комнатках, точно две пчелы, копошились в лохматом зеленом волосе маленькие, чужие, ясные глаза.

Обдуло поселками, волостью, Тарбагатайскими горами — наложил епитимью за грехи свои Калистрат Ефимыч Смолин в Талице:

— Женится на потаскухе городской.

На Сергия вышел как-то Калистрат Ефимыч из кельи в горы. Ярко-золотые перстни — скалы и камни неведомые на них — лиственницы. Шелковисто-розовые снега в белках. Дышит земля осторожно и чутко, как собравшийся в далекий путь странник.

И как стрепет в небо, бьет к горам душа.

Вздохнул Калистрат Ефимыч.

— Перелет ведь у птиц, поди... Летят! А тут сижу, милостыню раздаю...

Зашуршала трава, заговорила. Камешки по откосу покатились. Смотрит, выковыляла на тропу старуха древняя, лицо в лохмотьях, пала на колени, гнусит:

— Батюшка, Калистрат Ефимыч!..

А дальше и разобрать нельзя. Наклонился он к ней.

— Ты ко мне домой приходи, старуха, чаем напою, поговорим...

Гнусит старуха, заплетается губами, как и ногами.

— Нельзя ведь, родной... Денег-то нету, а у меня... дочка-то, Маша-то... батюшка!..

Сказал Калистрат Ефимыч, как научился говорить с убогими, тихо и ласково:

— Какие деньги мне, баушка?.. Не надо...

— Сыны, сыны твои берут... просют, а мне что, кабы... да нету, нету, батюшка!..

Отошел он от старухи и по тропам незнамо куда побрел. Не заметил, как на скалу вышел, что в горах, в кедрах, в соснах.

А на скале стоят молодые талицкие парни кучкой, смотрят на запад, говорят тихо, а над ними на сосновой жерди болтается на ветру кумачовая тряпка.

— Чего вы? — спросил их Калистрат Ефимыч.

Сорвал боязливо один кумачовую тряпку, в карман сунул и ответил сердито:

— Та-ак...

Калистрат Ефимыч спросил:

— Семена не видали?

Не видали парни Семена. Да и не мог он тут быть. Незачем.

Есть снаряд такой охотничий — срубце. Делают его из жердей, узкий в горлышке, широк донцем, как бутылка. А закрывают стеблями овса необмолоченно-

го — корни к донышку, а колосья свяжут крышей вместе.

Садится птица на конец крыши, проваливается вниз, а кверху как? Не расправить крыльев ей, не вылететь.

Вот под скалой увидал такой снаряд Калистрат Ефимыч, овес раздвинул, а там меж прутьев напуганные, голубовато-розовые птичьи глаза...

Опустил стебли Калистрат Ефимыч, выпрямился и сказал:

— Та-ак?.. Сидишь?

XIII

Приезжали к офицерам киргизы. Денщики варили баранов и подливали для крепости в кумыс спирта. Киргизы напивались, обещали офицерам привести в отряды джигитов.

Однажды пьяные офицеры и поп Исидор пошли к Калистрату Ефимычу. Постояли у ворот, но во двор не зашли из-за грязи. Глубоко, по колена оседая в темную, жирно пахнущую землю, вышла за ворота Агриппина.

— Чего не заходишь? — спросил торопливо офицер.

Исступленно тлели розоватые зрачки Агриппины. И от темной земли еще суше казалось ее тело. Офицер отвернулся.

— Хлысты! — сказал он.

С того дня Агриппина ходила каждый вечер к офицерам на другой конец села. В большой классной комнате офицеры лежали на кошмах.

Сушились на партах шкуры убитых волков. Пахло кислыми шкурами, кумысом и табаком.

Агриппина напивалась пьяная и, обняв ноги Миронова, пела матерные, солдатские песни. Так и засыпала.

Он, тихонько вытянув ноги из сапог, обувал бродни. Захватив бутылку спирта, офицеры уходили на охоту.

Утром Фекла ругалась. Дарья, озорно подмигивая, говорила:

— Завидки берут!..— И, поймав Агриппину в сенях, совала ей за пазуху какие-то травы.— Пей с парным молоком, всю жизнь ребят не будет. На Феклу плюнь...

Калистрат Ефимыч не выходил из кельи и не пускал убогих и жалующихся. А их было много.

Объявляли наборы воевать с большевиками, а парни не шли. Кого-то расстреливали... Говорили о восстаниях.

Дни были тугие и смолистые, как кедровые шишки.

Кололи птицу. Приготовляли на зиму пригоны.

Скот ходил сытый, вялый и сонный.

Зверь в Тарбагатае был тоже сытый и сонный. Медведь таскал в берлогу сено.

А на голбце плакала ночью и днем слепая Устинья, и на слезы ее не смотрели, как на горный ручей — течет и пусть течет.

XIV

Раскиданы в долине среди трав огромные, словно пятистенные избы, серые каменные глыбы. А речушка Борель издали с гор кажется совсем матово-черной. Пахнуло из долины вверх сухими листьями. Рдяно пылала перед глазами рябина внизу.

Никитин и Микеш лежали на скале и глядели в долину.

— Сэрбиа!..— гортанно и низко говорил Микеш.— Виноград, вино привозят!.. Здэс мягкий народ. Нэ хорроший!

Он подтянул винтовку ближе, стал свертывать папироску. Глаза, впавшие, бурые, с резким взглядом, рыхло оглядели долину.

— Сделаем крепким,— отрывисто проговорил Никитин.

Солдатские штаны и рубаха плотно обтягивали его тощее тело. Босые ноги утомленно лежали на высохшей траве. И, желтое, все тело было как один большой, рваный лист растения.

— Мужик — другой. Колчак — плох, глуп. Мужик понимает!..

— Дран, граз!.. Мужык дран! Ганал, ганал, тэпэр плакат, стрэлал, стрэлал!..

Серб плюнул. Протяжно затянулся махоркой, передавая папироску Никитину, отодвинул винтовку и встал.

— Ты... ты!..— жгуче запинаясь, выговорил он.— Ты рразговарриват хочэшь? Стрэлат — в лоб каждый! Ты — рразговарриват? — Он порывисто зашагал прочь, бормоча на ходу: — Нэ хочу рразговарриват! — Но вернулся тотчас же и вязко опустился на камень.— Скущна? Хощу Сэррбиа рреволюциа делат. Здэс наррод мягкий!

Темная плавится внизу, по долине, в камнях, Борель. Глыбы мутные и тяжелые виновато выходят из трав. Ползут, цепляясь за камень, на скалу сосенки и не могут забраться. Дышат измученно и смолисто.

Затаенно проговорил Никитин:

— Простить можно все.

И пощупал клочковатую — вниз и вверх растущую,— как валежник, спутанную бороду. Щуря глаза, чуть заметно улыбнулся.

— Побриться бы...

Серб всунул в карман руку, вытащил горсть табаку. Поглядел на него, плюнул:

— Смэлков убил! Табак прринес, дран мужик! Брасат нада, нэ могу — куррит нада!

И он яростно завернул папироску.

Горные запахи, нагруженные лугами и падями,— неослабные и медвяные. Гудит наверху в белках камень. Орет зверь какой-то остро и жалобно.

— Мэдвэд деррет! — сказал серб.— Сэрба рреволюциа сделам, еду медведа суда стррелат.

Заколыхалось волнами под скалой в логу большетравье. Испуганно нырнул в него рябок.

— Едут,— сказал Никитин.— Они.

Раздвинулись травы. Верхами четверо подъехали к скале. Долго привязывали к соснам лошадей. Мягко ступая обутками, гуськом поднялись по тропе.

Были у мужиков истомленные, виноватые лица. На широких шароварах и азямах цеплялись колючки — ехали далеко и быстро. Мокрые лоснились от пота околыши суконных татарских шапок.

Один, маленький, красноволосый, как горный волк, сказал протяжно:

— Здорово живете! — И, протягивая руку, спросил: — Это ты Микитин-то будешь? Сказывал Павел, сказывал!

Беспокойно оглянулся на мужиков, ухмыльнулся вверх от бороды к желтым глазам:

— Вот мы и тово... пришли... Поговорить, значит, с тобой. С Микитиным, ну, и с другими.

Он продолжительно посмотрел на серба. Мужики сели на камни. Красноволосый спросил:

— Вы как, большавитской партии будете?

— Будем! — резко ответил Никитин.

— Трое?

— Все.

Мужики одобрительно переглянулись и в голос сказали:

— Ладно!

Красноволосый вертляво достал малиновый кисет, набил плоскую китайскую трубочку.

Вышел из-за камня Шлюссер, вежливо раскланялся и остался на ногах.

Краснобородый высохшим, точно осенняя трава, голосом заговорил, близко наклоняясь к красногвардейцам:

— Нам, видишь, Павел сказал... Давно! Мы хлеба вам посылали, дескать, что же — народ чужой, не бить же их на самом деле. А потом винтовки послали. Я и то баял вот им!..

Он указал на мужиков. Мужики сняли шапки, высморкались, пригладили мокрые на висках волосы.

— Сгодятся, мол, бог с ними. Ну, и сгодились! У нас сыны-то, Микитин, воевать не хочут.

Он вдруг подозрительно оглядел Шлюссера и торопливо спросил:

— А этот откуда?

— Из Венгрии.

— Та-ак. А другой-то?

— Из Сербии.

— А ты чьих будешь земель?

— Я из Петербурга.

— Русской, значит. То я и смотрю — хрестьянская фамилия. Крещеной, што ль, облик-то какой-то?..

— Нет, русский.

— Изголодал, значит! Мы тоже рассейские.

Он вытряс трубку и, оживленно помахивая кисетом, продолжал:

— Парней-то призывают к Толчаку этому самому служить, а они не хочут. А ну его к праху, чех-собака, и земли все хочет отбирать.

— Отберет,— уверенно прогудели мужики.

— Павел и то бает — вот, мол, есть. Поднимай восстанью. Я и говорю: «Айда, ребята, в чернь, в тайгу, выходит — восстанье палить». Ладна. А они мне говорят: «Хорошо, мол, а только коли придут настоящи-то большаки и не поверют — брешете, скажут, и никаких».— «Опять,— говорю,— Омск заберем али другой город — чего там делать будем?» Они мне говорят: «Товары отымем — краснова товару нету». Ладна. А только я говорю: «Без большацкого правления наша погибель. Давай, мол, из камню большаков к восстанью тащить».

Он снова набил трубочку. Мужики заговорили разом:

— Питерский, настоящий большак!..

— Опять и разных земель!

— Пойдем, ребя, на восстанье!

Никитин отрывисто спросил:

— А зачем врешь?

Краснобородый путано заерзал желтыми глазами.

— Эта насчет чего?.. Насчет чего?

Никитин, злобно всовывая в глаза мужиков резкие, кремневые слова, поднялся на ноги.

— Об восстании зачем врешь? Две недели восстали. Назад две недели. Сколько в горах расстреляно? Убито сколько? Трусите?

Мужик пухло осел на камень и пухло проговорил:

— А ты, Микитин, не сердись. Ей-богу, не от дурной мысли-то. Бают: ты, паря-батюшка, ему скажи, вот, мол, восстанья подыматся, может, меньше запросит. А раз уж знаешь дело — чего тут!

Он, вздохнув, уныло махнул рукой. Мужики дышали тяжело. Пахло от них потом — с потом вываливалась мысль.

Фыркали у скалы лошади. Шуршала трава шепеляво под ногою Никитина. Узкогрудый мужик, похожий на киргиза, проговорил мягко:

— Тут, канешно, всякий антирес свой блюдет. Зря-то ведь как... нельзя зря! По-мому, соглашайся ты, Микитин,— и никаких! Идут, значит, наши парни под твое начальство и под остальных двоих большаков-то. Жалованью какую положим — воюй!

— Воюй,— сказал торопливо красноволосый.— Воевать тут легко — горы. Народ молодой, веселый. Чаво вам троим тут сидеть... Воюй, пока из Рассеи не придут, а там — куда хошь поезжай. Войско наберешь — валяй с войском. В Китай там, к японцу — откуда они, товарищи-то твои.

— Воюй,— сказали мужики.— Нам, парень, тоже слaбоду надо. Землю вон отберут...

— Валяй!..

Никитин подошел к мужикам, проговорил:

— Согласен. Жалованья не надо. Но чтоб не рассуждать!

— Известно. Дисциплина... Знам...

Отвязывая от сосны лошадь, узкоглазый сказал весело:

— Сердитой, леший! Я думал, в рыло даст. Страсть зол. А большак настоящий!..

— Из Питера,— подтвердил красноволосый.— Настоящие большаки... Из другой страны есть тоже. Тощие только, как прутья.

— Подкормятся, ничего. А жалованье и не знат, како просить?

— Деньга-то каждый день растет. Счету не счесть. Придет, узнает — скажет!..

Лошади нырнули в большетравье.

Мягко шипя, лепились по ногам, по телу легкие осенние стебли. Темно-бурая, как мох зимнего медведя, спала в камнях, травах Борель.

Вечером красногвардейцы переехали на Лисью заимку.

XV

Фекла садила хлебы в печь. Плескались у ней замутившиеся, как опара, глаза. Облеплял ноздри запах горелой муки. Розово тлели в загнете угли.

Семен сидел на лавке, тупо водил глазами по широким белым хлебам.

— Не пускат! — обозленно сказал он.

Фекла взмахнула выпачканной в муке лопатой и сказала жарким, сыпучим голосом:

— Пищишь тут под руку!.. Все к бабе да к бабе!.. Без бабы ничего не знат. Прости ты меня, мать пресвятая богородица! Дай хоть мягки-то посадить.

— Сади! — остыло выговорил Семен.— Я так...

— Да иди ты на пригон, чо в кути-то торчишь! — закричала Фекла.— Братец-то вечно пьяный.

Семен, передернув плечом, вяло сплюнул в носок сапога. Не попал и плюнул еще. Фекла бросила лопату за печку, сердито оборачиваясь к Семену.

— Уйди ты, ради бога.

Семен пододвинулся за стол, потрогал пальцем хлебы.

— Неделю уже ни одного убогова не было. Не пускат. Матерится ишшо. И чо деять, не знаю?..

— Не знаю, не знаю! Да ты мужик или чо? Я за тебя должна знать?

— Настасья, надо быть, сказала ему, вот и не пушшат. Дескать, берем поборы с люда, а с ней не делимся. Завидно суке!

Фекла, хлопнув себя по ляжкам, нетерпеливо сказала:

— Ну, и ступай к ней!.. Моченьки с вами нет. Один день-деньской пьет, другой — сосунок, третья — потаскуха!

Семен, встряхивая волосы, поднялся. Прихрамывая, достал с полатей шапку. На голбце проснулась Устинья и, всхлипывая, проговорила:

— Семушка, какой ноне день-то?

Фекла закричала из-за печи:

— Лежи, ради Христа! Вот смертоньки-то на кого нету!

Старуха, вязко перебирая мокрыми губами, заплакала. Семен перекрестился, вышел.

Фекла, посадив хлебы, подмела шесток. Прикрыла заслонкой печь. Спуская засученные рукава, прошла в горницу. На плетенном из лоскутьев половике лежал слетевший с цветка желтый лист. Фекла, расстегивая кофту, подняла лист, положила на подоконник.

Стянула с себя кофту и юбку. Достала из сундука чистую рубаху, переоделась. Вытерла полотенцем под мышками и под туго поднявшимися грудями. Пригладив волосы, проговорила недовольно:

— И тут мне... Вечно сама... Вечно самой улаживать. Прости ты меня, владычица и богородица! Грешишь!

Натянув на рубаху азям, вышла босая в сени. По голым, подпрыгивающим икрам ее потянуло со двора холодком. Грубый азям щекотал вспенившееся пупырышками тело.

Фекла, высунув голову в дверь, оглядела двор.

Гоготал, гоняясь за курицей, рыжехвостый петух. Ветер гонял раскиданную по двору солому. Под навесом лаяла в угол, на крысу должно быть, собачонка.

— Нет штоб двор подмести!

Она затянула не закрывавший груди азям, подошла к двери кельи Калистрата Ефимыча.

Мягко, торопливо прерывая дыханье, билось в груди широкое сердце... Фекла, перекрестившись мелко, дернула дверь...

Калистрат Ефимыч лежал на кровати головой к дверям. Большие, заросшие синим волосом руки тоже на подушке. Похоже было — лежали три волосатые головы.

— Чего там? — не оборачиваясь, снизкоголосил он.

Фекла кашлянула и зябко ответила:

— А я это, Листрат Ефимыч...

— Ну?

Калистрат Ефимыч убрал руки с подушки, протянул их вдоль тела.

Пахла келья мужицким духом. Розовато-синее трепетало окно.

— Ты чего? — переспросил Калистрат Ефимыч, спуская ноги и оборачиваясь.

Фекла шагнула к кровати. Калистрат Ефимыч посмотрел на ее зардевшееся лицо. Фекла поглядела на его руки, дернула завязку азяма.

И вдруг сразу увидал Калистрат Ефимыч раздвинувшие рубаху крепкие груди.

Всполоснулось остро под горлом. Проглотил слюну. И точно от слюны той распустилось по телу острое, теплое и томящее.

— Зачем ты?..— мелея голосом, сказал он.

Еще шагнула Фекла. Скинула плечом рубаху. Тело желтовато-розовое, в пупырышках от холода, и все тугое, как грудь. Запахло вязко бабьим телом.

Жарко в келье, в голове жарко, а горло как деревянное, липнет по нему слюна. Руку — на лицо, на колено свое положил — большое жаркое колено. И сердце теплое, огромное, как эта баба.

А кровь прибывала, прибывала. Голова — сплошное кровяное пятно. Руки жмутся: «Может, уйдет». Ноги к кровати до боли прижимаются.

Алые куски мяса перед глазами. Мясо крепкое, дрожит, алеет...

Натянулись жилы, заныли руки. Сердце заныло.

А Фекла глядит на ноги его. Лицо у ней мокрое, скачут губы, бормочут неодолимые слова:

— Листрат... Ефимыч... любо ведь?.. Сенька-то, он... щука!.. Давно... к тебе, Ефимыч!..

Сбились волосы на глаза, розовые они, горячие. Совсем осела она на кровать.

— Э-эх!..— крикнул было Калистрат Ефимыч. От кровати отскочил, схватил ее за плечо, подвел к дверям — нет сил, не толкает, а ползет по телу рука, к грудям, к спине — кусковатой и тугой.

Истомленно выговорил:

— Уйди!

Заходило под рукой ее тело — больше его в руку хочет войти, бьется, в пальцы просится. Ноет и молит тело, к ногам подбирается, к крови.

— Ефимыч... о-о-о!.. Ефи-и...

— А нет!..

Кверху руки и грудью толкнул ее в голую и размякшую грудь.

— Поди-и!..

Взвыла дверь. Холодом на язык, на глаза его пахнуло из сеней. Осел он вялым, одряхлевшим телом на кровать. А по шее и за ушами — липкий, пахучий пот.

У дверей в горницу, загораживая ручку,— Агриппи-

на. Лица не видно, но выкидывает оно острый дух самогона. Толкая холодными, тонкими, как сосульки, пальцами голое тело Феклы, закричала:

— Бегашь! Попалась, сука! На меня кричала. Я девка — я могу! Я завсегда за себя отвечу.

Тек через щель по телу сухой холод. Розовая кружилась в щели пыль. Пахло куделей, мхом.

Толкалась, как слепая, Фекла:

— Пусти, Гриппинушка, пусти...

Пьяным, охрипшим самогоном кричала дверь:

— Пусти? Проси сильней, стерва, проси! Я, по-твоему, шлюха, а ты — мужняя жена?.. Снохачеством занимаешься!.. Я вижу... я все вижу!

И вдруг тычком, локтем ударила Фекла в бок Агриппину. Отшатнулась. Ворвалась в избу Фекла, заревела визгливо:

— Сам он, мамонька, сам!.. Рубаху сорвал, опоганить хотел!.. Опозорить, матушки!..

Бороздя ногами половики, догнала ее в горнице Агриппина. Сорвала клетчатый темный платок, высоко подымая руки, подскочила к Фекле. Встряхивая острой, сухой челюстью, заволочила пьяные слова:

— Я — паскуда?.. Я честная, я богу за вас всех молилась. Я тебе... курве!..

И она, вяло ударяя рукой в воздух, поймала волосы Феклы в пальцы. Поймала, дернула, взвизгнув, вцепилась в них руками, а зубами в плечо.

Повалилась Фекла на половик и, дико вскидывая вверх ноги, завыла:

— А-а-а!..

Пришел Дмитрий. Остановился у порога, поглядел на дерущихся баб и хрипло захохотал.

XVI

Ветер желтый с запахами от падающих листьев несся вверх по пади. Ночью зеленый, густой туго падал с белого, как олений мох, неба.

На Лисью заимку привезли выкраденные в городе слесарные станки. Поставили их в баню — темную и тяжелую, точно ржавый кусок железа. Завизжала сталь. Запахло гарью.

Слесаря приехали из деревни. Были у них не обгоревшие от стали мягко-мускульные щеки, и к станкам они подошли, точно к норовистой лошади.

Приготовляли бомбы. Вокруг бани молчаливо ждали мужики. Двор был тесно набит ими. Как тугой пояс на теле, гудели, потрескивали заплоты. Пахло пылью, пóтом далеких дорог.

Вышел Никитин. Желтое солнце лежало на его острых скулах, темных, подгоревших глазах. К первому станку. Схватил бомбу, развертел капсюль, сосчитал:

— Раз, два, три!

И бросил за баню в крапиву. Ухнула, завизжала, зашипела крапива. Свистнул, лопаясь, пень.

Ко второму станку. Так же резко и немного присвистывая:

— Раз, два, три!

И опять за баню. Еще гуще загудела земля.

К третьему станку. Бледный, с мокрым подбородком, стоял слесарь. Когда брал Никитин бомбу, слесарь зажмурился и вдруг от лба к подбородку покрылся потом. Порозовело лицо.

Разорвалась бомба.

К четвертому. Слесарь, тонкий, с девичьим розовым лицом, весело улыбаясь, подал бомбу. Царапнул железный капсюль.

Кругло метнулась рука, и круглые взметнулись слова:

— Раз, два, три!

Молчит крапива. Несет из-за бани порохом, землей.

Никитин схватил другую бомбу, кинул. Подождали. Уже не порох пахнет — земля, густая, по-осеннему распухшая.

Никитин кинул третью бомбу. Ничего.

Шумно, как стадо коров от волка, колыхнулись и дохнули мужики.

— Ы-ы-х... ты-ы!..

Никитин, вытянув руку, взял винтовку. Резко, немного присвистывая в зубах, сказал:

— Становись.

Слесарь с девичьими, пухлыми губами мелко закрестился. Подошел к банной стене.

Никитин приподнял фуражку с бровей, приложился и выстрелил.

XVII

Эх, земли вы мои, земли! Ветер алтайский пахучий! Медоносные пыли на душе, и язык, как журавль на перелете, тоскует!..

Курочка каменная, серая, в полдень спускается по

тропе к ручью — пить. А дальше — по камню обратно вверх. И ловок и радостен шажок. И мутен радостью вертлявый оранжевый глаз.

А небо густое и теплое, как беличий мех!

XVIII

Избенка у Настасьи Максимовны пьяная, на боку. А вокруг трубы черемуха обвилась, труба темная, точно большой сук.

Сидит Настасья Максимовна на краешке табуретки. Семен в переднем углу. Самовар тоже на боку, пьяный, подмигивает, косоглазит.

Пухлые руки. Голос у ней протяжный. Подумал Семен: «Поди, в городе так баяла».

— Вы, Семен Калистратыч, скажите — детей-то он жалел?

— Которых? — досадливо спросил Семен.— У него детей много было. Законных любил. Ничего! Тебе-то куды? У вашего сословия детей, бают, не бывает.

— Отчего же? Такой же, поди, человек...

Треснул рукавом чашку, отставил и сказал нетерпеливо:

— Ты вот что, я с тобой безо всяких. Хошь в наш дом — приму, обвенчат не Сидор, так другой. Попов много. Пушшай, ради бога, он, батя-то, народ принимат. Идут ведь... За эту неделю, скажи ты мне, сколько убытку потерпели?

— Я скажу,— мягко проговорила Настасья Максимовна.— Не послушат, поди. Боюсь я его... и говорить как следует не говорила. Как медведь овцу задерет. Где тут спрашивать?..

Семен кинул ногу из-за стола, пошевелил скатерть. Оглядел выбеленные стены, пол, исскобленный мытьем.

— У нас скатертей многа. Ишшо дед скупал. Я тебе на свадьбу-то две дам. Из посуды тоже. Не поломай только, у вас, у городских, руки-то — что вилы. С добром отучились обращаться. Ишь, и чашки-то жестяные. Из жестяных чашек кто чай пить будет?

Постучал кулаком в стены, отворил и захлопнул дверь. Потряс ногой половицы, ощупал матицу и сказал досадливо:

— Думал, под курятник избенка годна, хотел перевезти. Все равно, куды те ее, раз со стариком жить будешь...

Семен протянул согнутую, как птичий коготь, руку.

— До свиданья, Настасья! Заходи в гости.

Остро взглянул на нее, вздохнул и на пороге сказал:

— Ты ему пожалобней. Пушшай не дурит, не маленький. Коли так, то начинать не к чему... Эх ты, господи, времена тоже!..

Дмитрий на крыльце, глубоко втягивая дым, курил трубку. С одной ноги он скинул сапог и, мотая ногой, раскручивал портянку. Увидав Семена, путано захохотал:

— Я у твоей-то, Сеньша, все как есть высмотрел!.. Их, лешак дери, потеха! Чисто свиньи, хрюкают, визжат, а ничто не поймешь. Фекла-то, как плешь, голая на полу... Хо-хо-хо!.. Во-ет!.. Гриппина-то!..— Он засморкался, выронил трубку и, мотая плечами, с трудом проговорил: — На ней, лупит! Пьяная!..

Твоя-то... О-ох!..

Семен прошел мимо. Дмитрий поднялся, волоча портянку, за ним. Фекла у печи вынимала хлебы. Увидав мужа, она, оставив лопату, завыла:

— Сам он, мамонька, сам!.. Снохач треклятый! Сам, Сенюшка, да-авно привязывался!..

Семен сбросил шапку на голбчик к Устинье. Дмитрий запер дверь на крючок.

Из горницы вышла Дарья. Влажные, встрепенувшиеся глаза и сухие губы. Прижав руку к сердцу, она покачала головой, вздохнула.

Фекла, закрыв руками голову, выла:

— Сенюшка!.. Солнышко... камень ты мой самоцветный!.. Ле-езет старик-то!

Семен спокойно, как бьют лошадь, ударил Феклу в шею. Фекла качнулась. Он быстро левой рукой ударил снизу в подбородок. Изо рта у ней на выпачканную в муке кофту прыснула густая кровь.

— Д-дай ей! — высохшим голосом торопил Дмитрий.

Семен отскочил и ногой ударил Феклу в живот. Фекла тяжело повалилась на стол, задела хлебы. С караваем упала на пол. Каравай облило кровью.

Семен схватил хлеб, кинул его на лавку. Дарья обтерла с каравая кровь. Фекла, вязко трепыхаясь, остро визжала:

— Уби-ил, мамонька, уби-ил!..

Семен с наскоку ударил ее сапогом в глаз. Фекла схватилась за сапог, хрипела протяжно.

— Так им, сукам! — осипло сказал Дмитрий и вдруг, обернувшись к Дарье, ударил ее в скулу.

Дарья схватилась за косяк и оползла на пол...
Пахло в избе кровью, хлебами и овчинами...
И не слышно было тихого плача слепой Устиньи.

Калистрата Ефимыча в келье не было. Семен стоял, дожидая его за воротами. Дмитрий плел на руку браслет из растущей у ворот травы и отяжелело рассказывал:

— Я, парень, за солдатчину-то больше сотни баб заразил. Пушшай ходют — докторам прибыльнее. И думал-надумывал подхватить княжну и нацепить, болтайся...

— Княжна не пойдет.

Дмитрий сплюнул.

— Очень просто! У нас фильтфебель в роте полюбовницей графиню имел, а у ней, брат, шестеро ребят. Семья. Письма присылала — печать-то в ладонь, рыжая!..

Семен запахнул азям, прихрамывая, исправил соскочивший с крюка ставень. Ошаривая стену, он разозленно крикнул брату:

— Старик-то наш заместо бы Настасьи-то княжню каку подцепил. Лучша! Им вот, бают, поместья Колчак обратно отдаст?

— А ты к Настасье ходил?

— Ходил. Я ей говорю: коли што — так я те и в дом не приму.

— А она?

— Она, знамо, напугалась. Провалиться, грит, на этом месте, а будет старик народ примать...

Желтая, перевисая к избам травами, строгая, важная шла улица. На середине ее бродил, помыкивая, вислобокий теленок. В церкви благовестили.

Семен перекрестился.

— Праздник седни, Митьша?

Дмитрий, прислонившись к заплоту, сказал:

— Знал бы, бабу не лупил! Лучше б блинов спекла. Давно блинов не ел.

Подтягивая на колена голенища, мечтательно протянул:

— Хочу я, Сеньша, френчу сшить, как в городах... А народу пошивного нету. Работашь, работашь, а отдыху нет!

— Заработался, прости восподи!..

Из переулка вышел Калистрат Ефимыч. Дмитрий втянул голову в плечи и свистнул.

— Ты его бей под сердце — здоровай, верзила-а!.. Коли сразу не собьешь...

Был Калистрат Ефимыч особенно росл и грузен. Взрыхляли ноги желтую землю. Из переулка корчевался за ним запах поднятой земли.

Семен метнулся руками, налепил на лицо злобливость, быстро шагнул к отцу.

Дмитрий подбоченился. Калистрат Ефимыч остановился. Синяя перелетала на груди борода. Лило от него землей и травами.

Вертляво отбежал Семен и вдруг полоснулся в крике:

— Да я тебе, стерва!.. Как же?..

Низко, жилисто протянул Калистрат Ефимыч:

— Ты чего хочешь?

Твердые щеки Семена побурели, и он закричал:

— Людей-то пошто не примашь? Деньгу любишь?..

Дмитрий, часто кашляя, захохотал. Семен, размахивая сжатыми кулаками, кричал:

— Желаем мы подобру с тобой!.. Раз ты так, мы что, маленькие? Мы тебе не работники!.. Ты думашь, один надумал веру-то?.. Кабы не я, так ты-то... мыкал. Я...

Дмитрий достал из кармана бумажку, расправив ее на колене, сказал с хохотом:

— У нас тут приходы-расходы записаны. Прямо канцелярия. Самогонки только нету. Самогонку я не написал — выпил.

Семен, перебивая его, кричал, что купил коров, а тут убытки — не идет народ. Денег нету, покупать сена не на что. Дмитрий сипло говорил о френче.

Проехали на тележке мужики с заимки в церковь.

— Баял я вам,— устало сказал Калистрат Ефимыч.— Ничево нету у меня... ни веры... а народу мне не надо, не приму. Пушшай куда хочет идет.

Семен, отскакивая, с визгом кричал:

— Брешешь! Я знаю, чо у те на уме! Ты думашь, меня омманешь? Однако я не пень. Ты другим пой.— Он беспокойно оглянулся, тоскливо сказал: — А на бабу плюнь... черт с ней... потаскуха — и только. Чо у те, баб мало? Я прощу, только...

В церкви забили «Достойную». Семен закрестился.

— Пойдем чай пить. Аль нам на улице-то, как собакам, лаяться?

XIX

Настасья Максимовна нашла Калистрата Ефимыча в пригоне. Пахло зеленым, взрыхленным сеном, теплым дыханьем скотины. В колоде лежала темно-синяя глыба со-

ли. Голубоглазая корова лизала глыбу мягким розовым языком.

Настасья Максимовна села подле, натягивая на плечи шаль, сказала дремотно:

— Ты все маешься? Семен-то жалится — убогих, грит, не примашь.

— Знаю.

— А ты как думашь?

— Я сам убогий. У меня всю душу замуслили. Мне идти некуда.

— А я-то?..

Положил ей руку на колено. Корова зашебуршала сеном. На край колоды сел воробей и удивленно взглянул блестящим глазком на соль, на человека.

— Ты душа другая. У те мед на сердце...

— А ты перестань!

— Надо. Сызмальства так... По баптистам ходил, всем богам молился. Кабы больной я был, может, и легче мне было бога найти, а тут нету ево. Никогда я не болел... Бают, в болестях находют. Поп Сидор вон лесного бога нашел.

Настасья Максимовна вздохнула.

— Лесной бог легкой. Сосной пахнет, пчелу любит.

— А я пчелу не люблю, пустая птица, хуже мужика.

— Пчела медушко дает.

— И мужик медушко дает. Я вот меду не давал. Сыны вон выдумали с меня взять. Меду всем хочется... И бог-то будто мед, а мне какого бога надо? Не знаю. Медового не надо. Я одних людей видал, они в дырку молились. Провертит в стенку дырку и шепчет туда. Доволен. А остяк вон своего бога порет.

Настасья Максимовна придвинулась теснее, положила голову на грудь. Глаза у ней мягкие, зеленовато-желтые, дремотные.

— Коли не даст медведя — порет, а даст — по губам салом мажет!.. Отец-то у меня сердитый был, пил нещадно, а меня восемнадцати лет взял да и женил. А жизнь-то я в сорок почти разбирать стал.

Шло от Настасьи Максимовны тепло. И оседало оно в ногах, уходить ему не хотелось. Тонко пахла колода долголетними сенами. Дерево было древнее, звонкое, как молитва.

— Разбирал-разбирал, до сего дня не разобрался. Ране-то до войны этой шли селами странники. Рассказывали чудеса все... Пошел. Такая же земля, народ такой же

везде злой. Прошел я пешком до Катиринбурга почти, может, три тысячи верст, плюнул и вернулся. И забыл всех... не понравилось, забыл. Будто и не был нигде... А народ все ищет, ишь как ко мне хлынули, думали — нашел. Сначала-то убогие, завсегда они сначала. А потом пришли и здоровые. А у меня, милена, ничево на душе-то нету. Тундра. Ты вот, как горносталь... Спишь, что ли?..

Сонно раскрыла глаза Настасья Максимовна, сонно проговорила:

— Я-то?.. Нет... Я так...

И опять закрыла.

Подошла корова. Шумно вздохнула круглыми, как куриное яйцо, ноздрями. Сунулась холодным носом в ладонь и вдруг стала облизывать шершавым, теплым языком солоноватую его руку.

XX

Той же ночью покинул Калистрат Ефимыч Талицу. Прохлада дремала на дороге. Фыркал конь.

Плыли вдали серебристо-фиолетовые горы. Ревели в белках медведи или ревели водопады — непонятно.

Всхлипывала Настасья Максимовна. Говорила вздрагивающим прохладным голосом:

— Ничево там нету, а оставлять жалко... Охаяли, наизголялись, а слеза так и течет, так и течет, Листратушка...

Нырнула лошадь, а потом колеса под увал — повторила эти слова Настасья Максимовна. И так в каждом логу повторяла.

Устало погрохатывала телега. Молчал Калистрат Ефимыч. Фиолетовая полутемень извивалась по плечам, шипишником пахло с логов — тоскливо и неприветливо.

Подходили лога за логами. Травы в логах мягкие, как соболиный мех. Дорогу под колеса подбрасывает, как шкуры,— задремала Настасья Максимовна.

Снились ей медведи, поп Сидор и птичий гогот.

А гогот пошел на рассвете от озер. Гоготали гуси, чибисы голубоногие разрывали камыши.

Запахло от озер амином — холодными озерными травами...

И зеленый озерный бросился ветер — метнул к розово-фиолетовому небу лошадиную гриву, оправил шлею и синий волос Калистрата Ефимыча примял.

Тогда-то услыхали они из камышей:

— Здорово живете!..

Сидит в седле культяпый Павел — стремена подняты почти к самой луке.

Резко, как чибис, кричит:

— Откедова?.. Куды?..

Не отвечает Калистрат Ефимыч. Лицо багровое от ветра, что ль. А глаз глубоко, как сом в водах, незаметен.

— Тпру!..

Остановились лошади. Скосились глазами и весело, почеловечьему заржали.

Скатился Павел с седла в телегу, чембырь к грядке привязал, достал кисет, говорит:

— Погоняй!.. Я с тобой!

— Не по пути, Павел.

Высек Павел из кремня огонек, раздул. Выкидывая из бороды камышинки, выговорил:

— Мне со всеми по пути. Одно — надоели мне все человеки! Я, Ефимыч, по-твоему правду искал...

— Ну?

— Плюнул! Какое мне дело, пушшай сами ищут, а я за них отдувайся... Сёдни мужики, которы восстали, со мной в волость гумагу послали. Целу ночь камышами да болотинами пер, не поеду дале!.. Да чо я им на самом деле, малайка?..

— Надоело?

— Аж пуп травой пророс, Калистрат Ефимыч, надоело.

Затрясся у него на бороде камышиный пух. Повел щекой Павел на Настасью Максимовну, сказал:

— Спит?.. Ты, паря, бабу-то добру подцепил. Однако мне так не везло!.. Кто за правдой-то идет, кляп проглотит. Оно... самогону нету у те?

— Нет... А как ты о боге?..

Завертел тот на щеках улыбочку хитрую. Голова стала коротенькая, культяпая.

— Етова я тебе сказать не могу. За ето мне князь Таврический ноги велел отрубить.

— А говорил — видмедь отгрыз?

— Так то я охотнику баял, врал.

Он кинул шапку под голову. Лег на спину.

— Я пока усну, а там, когда я те надоем, разбуди. Которые так храпу мово не обожают, храплю я здорово... Как князь-то отрубил ноги...

— У те семья есть?..

Потупил Павел глаза в волос:

— Кажись, есть, Ефимыч... Не знаю. Дикие они, выгнали меня... А може...

Он вдруг густо, по-лошадиному, захрапел. Лошадь обернулась, взглянула удивленно и зарысила.

Проснулась Настасья Максимовна. Поглядела мягкими, сохранившими еще ночную фиолетовость зрачками,— от толчков катавшееся по сену тело, как бревешко. Заплакала.

— Во-от маяться, владычица!..

Встретился мужик, серобородый, на вершине. Поравнялся с телегой и вытянул хворостиной Павла.

Павел раскрыл глаза и крикнул:

— Брось, не балуй! Я всю ночь не спал.

Мужик повис над телегой. Пискливо, по-ребячьи, проговорил:

— Ступай домой. В волость-то меня послали!..

Павел начал материться вслед умчавшемуся:

— А я не могу?.. Не могу?.. Ну, ладно, я в другу волость отвезу, волости все одинаковы.

И обиженно сказал Калистрату Ефимычу:

— Я целу ночь тресся — всю задницу отбил, а они другова... Что? Значит, не доверят?.. Народ пошел... Раньше лучше были, Ефимыч?

— Не знаю.

— Нет, и раньше так же... Вот восстанью поселили в тайгу, большаки там из Питера явились. Царь послал, чтоб народу легше было...

— Какой царь?

— Ну, наследник. Под каким мы царем находимся, я почем знаю? Мне он ноги не сделат. Лешева мне от нево?..

— В Омске-то, бают, свой царь завелся,— сказала Настасья Максимовна.

— Толчак-то?.. Это Гришка Отрепьев, а не царь. В Омске-то бардака хорошева нету, не то что царя. Я там был...

Он опять лег, а затем подполз к Калистрату Ефимычу. Сказал значительно:

— Ты на заимку свою?

— Сам не знаю.

— Поезжай на заимку. В черни-то восстанье селится. Как, грит, соберем обчество, так усех богатых мужиков перережем!.. А может быть, передумают, сами в буржуи перейдут. Неизвестно.

Он сплюнул.

— А ты, Ефимыч, от греха подале — поезжай на заимку! Я те самогон хороший научу варить.

— Не хочу.

Павел лег на спину и поглядел в небо.

— Алимхана видел: силки по долине ставит. Лисица белая, грит, рассердилась — в Китай ушла... Это к побою... Воевать будем.

Желтые по дороге таволожники. Выбиваются на дорогу корни — твердые, крепкие, как рога горного козла.

Дорога в камышах, налево лиственничник пошел. За ним — бронзовый Югунтос — наваленный камень.

Хвоей запахло.

Грохочет навстречу с увала телега. Размахивает вожжами, как водорослями, лохматый, облакоподобный поп Исидор. Ревет за полверсты:

— Сторро-нись!.. Раздавлю!..

Поравнялся поп, осадил лошадь, заорал через всю степь:

— Здорово, мужики!.. У меня, паре, пчела в меду тонет — горы!.. А мед в городе — и не подступиться. Цены! Божеское дело!..

Сказал Павел протяжно:

— Довези до села, батя? Всю холку вытер, прямо как язык на сковороде.

Широко захохотал поп:

— Мм-могу, чадо!.. Садись!

Соскочил с телеги, взял на руки Павла, перенес. Потом отвязал лошадь. Павел говорил в телеге:

— Что значит священное звание: на руки посадил... У меня самово отец-то ссыльно-каторжный семинарист был.

Поп хлопнул лошадь по боку и сказал:

— Таких семинаристов нету.

— А он был. Царь велел. Самодержавец. Понял?

Телега загрохотала вниз.

Гольцы пошли в лишаях, холодные. Ветер по ним дул синий и крепкий. Лошади были в усталой розоватой пене.

Лицо Настасьи Максимовны веселилось.

— Камень,— протяжно сказала она. Зрачком затомилась, мягким и ласковым.

Густо и радостно отвечал Калистрат Ефимыч:

— Камень, Настасьюшка.

А душа цвела иная — невысказанная, необъемлемая, не каменная.

Кормили лошадь в горах. Пообедали.

Под вечер, когда белки подымались в небо, как красные зайсанские медведи, догнали по тропе черноглазого, горбоносого.

— Садись,— сказал Калистрат Ефимыч.

Человек сел и спросил не по-русски:

— Кудда эдэшчи? Ддамой?..

— Не знаю,— ответил Калистрат Ефимыч. Улыбнулся глубоко, всем телом.

Посмотрел человек ему в лицо, положил грузную, как камень, руку на грудь.

— Пэрвый р-раз встрэтил — не знаэт, куд-да эхать... Да!.. Поэдом ко мнэ?..

XXI

Спит лиса лениво в лесах. Хвост у ней — китайского золота. Глаза голубоватые — белки тарбагатайские.

Зовется — Лисья заимка купцов Калмыковых. Купцов в городе расстреляли — буржуи, а на заимке восстание.

Осинник елань обегает — мохнатый, низкий, рыжий. Пахнет из осинника грибом.

А черно-лиловые пятна на пушистом желтом хвосте — амбары, избы, пригоны.

И дым от костров желтый, тягучий, как сосновая смола. В светло-золотом небе течет, плавится густое желтое пятно солнца.

Бронзоволосый мужичонко затряс рукавами рваного азяма. Сорвал шапку.

— Калистрату Ефимычу нижайшее! Заворачивай к штабу, я тебя чаем угощу.

Заскочил на грядку. Бойко ухмыляясь, дернул левую вожжу:

— Сюды, Ефимыч. По торговле али так?

— Так.

— Ну и ладно! А то тут двое каких-то из городу торговать приехали, може, шпиены? Ладно, ребята догадались — пристрелили... Сами-то ничо торгуем, а чужих нельзя. Ты как думаешь?

— Думаю — нельзя.

— Но, но!.. — согласился мужичонко.

Распахнул ворота, пригладив у лошади мокрую шерсть, стал распрягать. Рассупонивая хомут, крикнул из-под шеи:

— А ты в горницу проходи, Калистрат Ефимыч! Я вот скотину-то обряжу, самовар доспею.

Настасья Максимовна спросила робко, протяжно:

— Черноусатый куды нас завез, Листратушка? Страшна... Завез, а сам соскочил да убег. К разбойникам, что ли?

Калистрат Ефимыч, легкой походкой подымаясь на крыльцо, крикнул:

— Баба-то, Наумыч, спрашиват: к разбойникам, что ли, привезли?

Мужичонко, освободив лошадиную гриву из хомута, сказал неразборчиво. Лошадь устало, радостно потягиваясь телом, ржанула.

Тонко пахло в горнице кожами, воском. Вбежал мужичонко, суетливо полез под кровать.

— Прямо без бабы беда! Щепу на растопку нащепать не из чего.

— А баба-то где? — спросила Настасья Максимовна.

Мужичонко вытер ладонью пот со лба; кривя поочередно щеками, ответил:

— Убили, Максимовна, как есть убили. Всю голову развалило. Разрывная пуля, бают, а бабы нету.

— Да кто?..

— Волость наша бунтовала, под Толчака не шла. Казаки, что ли? Не видал.

Вошел серб. За ним длинный, бритый, с подпаленными глазами, в короткой, до колен, английской шинели. Длинный человек, не снимая фуражки, остро пожав руку Калистрата Ефимыча, сел за стол.

Бронзоволосый Наумыч втащил самовар.

— А ты, Максимовна, за хозяйку — разливай давай!

Серб, указывая на длинного, сказал:

— Никитын. Начальник...

— Микитин — рассейский, бойкий! — подскочил Наумыч.— Ты с ним, Ефимыч, про веру свою поговори...

Никитин спросил:

— Из Талицы?

— Оттуда, парень...

И резко, словно дробя камень, спрашивал длиннолицый подпаленными серо-фиолетовыми глазами:

— Кого привел? Кого дашь?

— Сам... Никого у меня нету.

— Никого? А там?.. Вера твоя?

— У веры моей странные да убогие калеки были.

— Не надо таких.

Помолчал Калистрат Ефимыч. Твердая синяя борода у него, голос потвердел.

— Приехал я, парень, посмотреть. Дом-то я бросил... А тут...

— Посмотри... Убежишь, донесешь — убьем.

Отставил стакан, поднялся — длинный, в светло-зеленой шинели. Серб темным глазом по нему повел. Калистрат улыбнулся радостно.

Вышел он, неслышно ступая, как лист по земле.

Хитро подмигнул Наумыч, сказал:

— Вот сосватал! — Поднял кверху кулак и добавил: — Гора!

Расплывчато пахло кожами и овчинами, подвешенными у потолка, на жерди. Светло-желтые у мужиков головы. В широкие двери виднелись привязанные на выстойку лошади.

В амбаре заседал штаб.

Калистрат Ефимыч сидел на ребре закрома. Мужики лежали на кошмах. Молодой белоусый парень говорил торопливо:

— Офицеры, те, значит, у новосел кабинетские земли отымают и кыргызам дают, потому кыргызы для Колчака полки диких дивизий сооружают. А новоселы воевать с Рассеей не хочут — родина, грит, и потому никаких не хочу!..

— Ета правильно! — весело сказал рыжебородый Наумыч.

Старик с зыбкими зелено-золотистыми глазами заговорил:

— Однако... надо, паре-батюшка, по новоселам-то гитатера послать... Штобы насчет восстанья и на Лисью звал... Однако без етова ничего не будет, понял?..

Сверху, с жердей, кисло пахло овчинами. Рыжебородый толкнулся локтем.

— Овчина-то, Ефимыч, от Калмыкова осталась. Мы уберегли... а ты гришь, разбойники! — И вдруг визгливо закричал: — Это ты, Митрич, правильна! Новосел, он — што хмель! Вьется, а без толку! А прямо-то он, может, и на небо угодил бы! Очень проста, едрена лопатка!

Мужики заговорили разом. Торопливо докуривая цигарки, вошли еще трое.

Никитин, прислонившись к стене, упорно разглядывал Калистрата Ефимыча. От яркого света лицо его казалось зеленовато-желтым. Блекли тонкие, как лепестки, веки.

Выходя из амбара, рыжебородый восторженно сказал Калистрату Ефимычу:

— Каку машину завел, а? Я им баял, ета настоящий большак, во-о! А они, видмеди, не верют.

Он снял шапку и, хлопнув себя по розовой лысине, воскликнул:

— У меня тут — башка.— И, наклонившись к уху, шепнул: — Я те, Ефимыч, вижу. А только ты в свою веру ево, Микитина-то, не перетянешь. Хитрай, стерва!.. Я тебе вот што — ты тут оставайся, я мужикам-то скажу, чтобы они тебе часовню али монастырь там построили... Молись! Нам что? Мы, Ефимыч, все можем!

Он, швыркая по сухой траве обутками, побежал догонять мужиков.

Светло-лимонная пыль клубилась в калитке. С опушки несло осиной. У мужиков тугие и тяжелые лица, словно сбирались они на весенний сев.

Никитин, твердо, широко, как сваи, поставив ноги, ждал у крыльца.

— Зачем приехал? — резко, но тихо спросил Никитин.

— Не знаю, парень,— неспешно сказал Калистрат Ефимыч.— Жаловаться не умею. Может, и придумал бы что... Жаловаться мне не годится!

И проговорил:

— А ты меня по новоселам возьми. Меня, парень, знают... Вы люди незнамые, а меня... ничего... уважают. Вы там говорите, а я посмотрю...

Никитин, враждебно сузив губы, отвернулся. Помолчал.

— Хорошо. Я не боюсь. Поедем.

Голубая стала земля. Темно-голубые томятся глаза у Настасьи Максимовны. Пройдется по горнице, сядет, вздохнет.

— Тут и будем зимовать, Листратушка?

— Тут.

— Эх, восподи!.. Народ-то чужой, бездомный — ни лопотины, ни скотины.

— Пригонют.

— И не прибрано, не угояно!

Синие шепчутся со двором сени. Храпит по-лошадиному густо-синий двор.

— Угоится!

— Я и то подмела тут два раза днем-то. И все равно что не метено... опять сор. Сору-то по всей елани!

Фиолетовая борода у Калистрата Ефимыча. Голос черный, далекий.

— Ничего, пройдет...

— Тут родить-то — поди и бабки-повитухи не найдешь... Восподи!

Черно-синий метнулся по небу ветер. Пробежал по горам и нырнул в тайгу, спать, в валежники, замшелые и теплые.

Осень!

XXII

Рвалась долина желтой и твердой грудью. Но жали, приминали бока крутые лесистые горные склоны. Трещали сухостоями кабаны и медведи.

Новоселы встречали на площадях сел и деревень посланных из Лисьей заимки. Сбирались густо пахнущие людским потом толпы. Пыль цвела над площадью.

Цвели желтыми пятнами соломенные незнакомые крыши. Лица же были свои — пыльные и волосатые, крепко пахучие.

Темно и густо ревели сотни глоток.

— Не замай!..

— Верна-а!..

— Не дадим землю-ю!..

И вечерами длинные железные ходки по твердому каменному тракту шли в горы, в Лисью заимку.

Поселки уходили за поселками. Меняли агитаторам тонконогих лошадей.

По отлогому спуску еланями и редким оранжево-золотистым лесом спускались они в долину Копой.

Рассказывали — где-то в долине ищет их конная милиция и отряды атамановцев.

— Трусишь? — спрашивал Никитин.

Калистрат Ефимыч отвечал неспешно:

— Смотрю.

Спали в лесу. В поселке боялись. Калистрат сушил на суке над костром портянки. Фыркали стреноженные лошади. Ночи стояли холодные и синие.

Сказал как-то Никитин:

— Серб говорит — мужик дрянь. Верно. Мужик — тесто.

— А ты что же, парень, дрожжи? — спросил Калистрат Ефимыч.

— Я — квашня. Дрожжи другое...

— Кумыния твоя?..

Никитин, протягивая к огню озябшие руки, ответил:

— Сам знаешь. Ты другой. Ты не тесто. Поезжай обратно. Что с нами?

— Не хочу,— упорно и туго проговорил Калистрат Ефимыч.— Не поеду.

XXIII

Пили в пустой школе чай. Никитин подошел к висевшей карте и, указывая трубкой, сказал:

— Петербург.

Калистрат Ефимыч подошел к стене и спросил:

— Где? Тута? Та-ак... А нашева поселка Талицы?..

— Нет.

— Нету? — переспросил Калистрат Ефимыч.— Совсем нету? Ето зря.

Помолчал, вздохнул, возвращаясь к столу.

— А может, и на самом деле не надо ево... Поселок-то!

Вечером сказал Никитину:

— Поеду я, парень, на заимку. Подумать надо. Ничево не пойму. Кричат, сбираются, люду тьма. Я все больше у себя на пригоне мозговал.

Никитин сухо улыбнулся:

— Поезжай. По бабе скучаешь?

Мягко ступая, отошел от него Калистрат Ефимыч. Лицо строгое и, как кусты над оврагом, нависли брови.

— И по бабе скучать не всякий умеет. Ты, поди, не скучашь?

— Нет.

— Тоже зря. Надо о чем-нибудь скучать.

— Я скучаю.

— Знаю.

Медленно и лениво зевнул.

— Ты, Микитин, по человеку скучашь, а я по вере... Тебе легче — у те человек-то под рукой.

И, поглаживая прямую поясницу, прошелся по комнате. На опрокинутых партах густо лежала пыль. Сурово, неустанно шевелили деревья стены школы.

— Около вас-то, Микитин, я разговаривать учусь. А только нет у вас какова-то гвоздя в душе...

— Какого?

— Самого главного. Может быть, на котором подпорка держится... Тут тебе народ жалится, а ты гришь — бей.

— Бей! Только...

Вбежал рыжеволосый Наумыч и еще в сенях заорал:

— Кузька-а приехал, братаны!

Был Кузьма — борец, высокий, под потолок, круглоголов, с плоским и широким, как пельмень, носом. Звонко, точно лось, ступая башмаками, прошел в передний угол.

Медленно оглядел комнату своими узенькими глазами. Спросил Калистрата Ефимыча:

— Ты Микитин-то, што ль?

— Нет.

Кузьма опустил коротко остриженную голову, хотел, должно быть, что-то подумать, но, вяло шевеля толстыми губами, сказал:

— Ладно, коли... Меня мужики привезли. Микитина, грит, надо... мне. А на кой, не знаю. У вас тут поись нету?

Глухо положил толстые и темные, как кедровые сучья, руки на лавку. Потными, скользкими буграми подымалось тело под рубахой. Шеи у него не было, и круглая голова сонно дремала на кочковатых плечах.

Густо запахло в комнате спелым овсом и мхами.

Рыжеволосый Наумыч сказал ласково:

— А ты, Кузя, вздремни пока.

Кузьма покорно закрыл глаза. Наумыч крепко, как по стулу, стукнул его в плечо:

— Ты, Микитин, его не знашь? Кузька эта, батырь первый, борец по-городскому-то. Он, парень, в прошлом лете хребет видмедю сломал.

— Ну?

— На байгу привезли. В Чиликтинску долину баи кыргызов сгоняют. Байга — праздник будет. И будет такой кыргыз — батырь Докой. Он, парень, в Бухаре и по всей Азии кроет. А мы на нево Кузьку... Понял?

— Нет.

— Ишь! Как же это ты не понял? Кузька-то с ним бороться будет.

— А потом?

— Поборет — и нам кыргызов лупить можно.

— Зачем?

Рыжебородый стукнул нога о ногу. Никитин надевал шинель. Калистрат Ефимыч сел в угол, подле поломанного шкафа.

— Чудак ты, паре-батюшка. Однако ничо не понял. Я те по пальцам раскладу... Кыргызов лупить надо, потому им офицеры с Толчаком кабинетские земли отдают. Ето раз! Баи, ихни богачи по-нашему, дикие дивизии, мо-

жет, сто дивизий сооружают с Рассеей воевать... из кыргызов. Ето два.

Никитин поправил под шинелью револьвер, сказал резко:

— Наш отряд не пойдет.

— Куды?

— Киргизов бить.

Наумыч взял Кузьму за плечо, потряс.

— Кузя, Кузя. Микитин-то здесь!

Кузька повел редкими бровями и поднялся.

— Который? — медленно, как прорываясь через чащу, спросил он.

Наумыч указал. Кузька, как из омута, далеко посмотрел на Никитина и протянул:

— Ты, што ль, Микитин-то?.. Меня мужики привезли...

Он засопел. Наумыч сказал Никитину шепотом:

— С ним только со сна и баять можна!

Кузька, пришепетывая, медленно проговорил:

— Кыргызы-то, бают, землю отымать будут... Так ты тово!.. не давай!.. А я кыргыза-то тово... борца-то ихнева... убью!

Он вытер со скулы пот и опустился на лавку. Наумыч проговорил заботливо:

— А ты, Кузя, усни!

Кузьма сонно забормотал:

— Не хочу. Поись дай!

Наумыч согласился.

— Пойдем.

Кузя шумно, как вода, прорвавшая плотину, вздохнул. Звонко ступая огромными башмаками, вышел. Тройка отъехала от крыльца.

Никитин снимал и надевал фуражку. На лице его лежала пыль, и утомленно, точно подымая пуды, двигались тонкие веки.

— Ну? — спросил лукаво Наумыч.

Никитин упорно взглянул на Калистрата Ефимыча.

— Вернемся на заимку.

Было у Калистрата Ефимыча усталое и радостное лицо, точно он вышел из тайги после плутанья. Пригладил сонно тяжелую бороду и сказал:

— Пойдем, парень, лучше. Нечего рассказывать — сами придут.

Наумыч подтвердил торопливо:

— Обязательно.

И в сенях сказал Калистрату Ефимычу:

— Микитин — башковитый парень! Люд-то сразу начальника почуял. Я им, лешакам, весной говорил, не надо убивать — сгодятся!

Длинный и легкий, как сухостойное дерево, Никитин. И только словно утомленные птицы, устало махая крыльями, летели темные глаза.

— И сгодились, паря!

XXIV

Рыжебородый, обжигаясь, дул в блюдечко, говорил:

— Сахару нету, плохо. Поди так, Микитин, года через два возьмем мы Омску?

— Раньше.

— Раньше? Значит, и сахар будет. Там японец товару понавез многа. А тебе, Ефимыч, товару на бабу тоже надо!

Глаза у него теплые, рыжие, как чай. Все в избе теплое, широкое — лавки, полати, печка. А за окном желтый осинник лопочет: дорога — точно золотая тряпица по ветру.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Любовь надо для люду. Без любви не проживут.

— Не надо любви,— отрывисто, точно кидая камни, отозвался Никитин.

— Нэ надда...— подтвердил серб Микеш.

Шлюссер вежливо, мелко улыбнулся.

Калистрат Ефимыч оглядел их. Довольные, сытые, и голос у него тоже стал довольный, тягучий.

— Без любви вечно воевать будут. Нельзя так.

— Пусть воюют. Надоест — хорошую жизнь устроят.

Рыжебородый, поднимая ко рту мягкий ломоть хлеба, подтвердил:

— Ета ты, Микитин, правильно!.. Бьешь, бьешь когда бабу — и то спокойной жисти захочется... а во скус вошел — бросать неохота!

— Воевать надо!.. Буржуа бить надо!..

Молчит Настасья Максимовна. Робко, ласково подает угощенье — пироги с калиной, молотую черемуху. Молчит — она знает все, ей говорить не нужно.

Спросил Калистрат Ефимыч Никитина:

— Вот к тебе приходят, жалуются, спрашивают... Ты что им отвечаешь?

— Знаю, что ответить.

— Всем? Без любви?

— Без.

Весело протянул к нему большую волосатую руку.

— Крепкой ты, парень, чудно мне таких-то видеть! Не видал. Таких-то у нас не водилось.

— Есть.

Вздохнул Калистрат Ефимыч.

— Мимо, значит, прошли. Зря прошли... Надо бы мне их.

Желтые, сытые, осенние голоса. Небо дремлет. Гуси сизоперые летят на юг. И летят, гулко перекликаясь, неведомо куда, белогрудые Тарбагатайские горы...

...Отстал от гостей рыжебородый Наумыч, отводя Калистрата Ефимыча, спросил:

— По семье-то не тоскуешь?

— Нет.

— Де-ело... Семья у те тяжелая! Семен-то, сказывают, офицеров к себе поселил. Потому по народу послух идет — в восстанью ты переселился... боится — убьют офицеры-то. А ты не мыслишь на уход?

— Не мыслил.

Наумыч поднялся к уху, проговорил торопливо:

— А ты веру-то ищи, ищи!.. Не вечно воевать будем. Она тогда и сгодится. Он ведь, Никитин-то, в Китай али к японцу уедет, с сербами-то своими... А ты не уходи!.. Мужики и то бают — не надо, грит, сейчас твоёй-то, выходит, веры... Помешат, дескать, сейчас, воевать хочут.

— Хочут? Воевать?

— Нельзя, Ефимыч, как есть нельзя. Вот и ты повоюй!.. Придется повоевать тебе. А то Толчак-то самый помещщика особова обучат, школы, бают, таки открыл, чтобы значит — потом... зажать... во!..

Он желтым пятном поплыл к двери. Бормотал по дороге непонятно, сухо. В кути перемывала горшки Настасья Максимовна.

Прошелся по горнице Калистрат Ефимыч.

— Все они помыслы мои знают.

Ласково отозвалась Настасья Максимовна:

— Кто, Листратушка?

— Люди... мужики...

— А без этова нельзя. Как же, коли помыслы твои не знать? Как они верить тебе будут?

— Не надо мне ихней веры...

— Чево же тебе от них надо, Листратушка?

...В штанах из желтых овчин, в самокатаных белых шапках, в длинных, выше колен, броднях, строились му-

жики. Загорелые, цвета кедра, лица. Выцветшие под солнцем грязно-желтые волосы.

Строились. Проходили рядами мимо. Длинные, тяжелые ряды. Шел с ними кислый и зеленый запах овчин и болот.

Беловатые, как солонцы, глаза. На овчинах повисла хвоя, словно продирались они через непроходные чащи.

И как огромная, недубленая овчина растянулось над горами небо, прорывают его белые клыки Тарбагатайских белков.

— Смирна-а!.. Равнение направа-а!..

Строгий, легко и твердо ступая, прошел рядами Никитин. Широко улыбаясь — за ним рыжебородый.

— Товарищи! — резко, как кидая железный лист.

Колыхнулись мужики. Глухо упало на осинники, в тайгу:

— О-о-о!.. а-а!..

И, вытянув сухие, темные руки, он, упрямо повторяя по нескольку раз слова, нес в толпу:

— Товарищи!.. Наш первый полк!.. Наше восстание!..

Густели кроваво, как свежие раны, белесые, выцветшие глаза мужиков. Давили землю потные, широкие ступни. Пахло тягучей, липкой слюной.

Высоко над тайгой, перегибая небо, пронесся оранжевый горный ветер. Подхватил стаю журавлей, как сухие листья, унес их за горизонт.

Посмотрел растерянно Калистрат Ефимыч на землю и сказал Настасье Максимовне:

— Как же ето так?.. Почто?..

Не слушалось его, мягко раздвигая грудь, радостно неслось, плыло, таяло, следом за мужиками, широкое, как телега, сердце.

— Как же это?.. Чево мне в них-та?.. Чево?..

XXV

Поручик Миронов переселился к Семену. В келье, где жил Калистрат Ефимыч, развесили хомуты и заячьи шкуры. Привезли из города казаки кипы воззваний на киргизском языке.

Читая как-то бумагу, полученную из города, Миронов спросил:

— У тебя, Семен, отец где?

— На заимке, в черни. Пасеку разводит... Наш род-то пчеловодницкий...

Офицер вяло переспросил:

— Пчеловодницкий?.. На пасеке?.. А когда он приедет?

— Должно, усю зиму проживет.

Офицер румяный, как осенняя рябина. Оглядел грудь Семена, подогнутую, как сук, хромую ногу, сказал угрюмо:

— Смотри!

Вечером, в кровати, Семен шепотил жене:

— Должно, гумагу из города-то получил... про батю. В восстании, дескать...

— А мы-то при чем?

— Скажут: помогаете. Восстанщикам-то!

Потрескивали полати. Всхлипывала во сне Устинья. Тяжело пахло печью. Сползла с кровати Агриппина, прилипая потными ногами к крашеному полу, тихо прошла к офицеру в горницу.

Фекла, нагревая дыханьем волосы Семена, отозвалась:

— Поползла!.. Надо Гриппину попросить да попу иконы батины передать... Поп попросит ахфицера...

— На ризах-то сирибра сколько. Снять, что ли?..

— Пусть прападат. Тут же хозяйство, а он об ризах. Надо иконы-то в церковь передать... пушшай... Может, ничего, не тронут.

Семен ворочался, не спал, Фекла сердито толкнула его локтем:

— Да дрыхни ты, прости господи!

Семен вздохнул.

— Пойду я к бате...

— Куды ишшо?.. Спи...

— На восстанью пойду. Позаву ево. Хозяйству пропадать, что ли?

— Кончат те восстанники-то...

— Чево я им?

— А краснова-то убил!.. Наши парни и то хвастаются: придет, грит, наша власть — кончим Семена.

Семен сбросил одеяло с потевшего тела. Фекла, засыпая, сказала:

— Митрия пошли... А только зря... Настасья-то не пустит... старика...

Семен не спал ночь. Утром напоил скотину, пошел к попу Исидору.

Поп, закрывая широкими ладонями глаза лошади, смотрел, как работник подталкивает телегу.

— Объезжать учу...— тихо сказал он.

Лошадь, как от ветра палатка, испуганно дрожала животом. Семен подошел под благословенье.

— Батины иконы в церковь хочу отдать.

— Не приму! — сказал поп и вдруг, как падающее, подрубленное дерево, зашумел:

— Отой-ди!.. Садись!..

Лошадь, лягаясь, понесла в ворота. Повисая на вожжах, кричал в телеге работник:

— Э-э-эй!.. Отой-й-ди-и!..

Поп, отфыркиваясь широкими, как у лошади, ноздрями, пошел в дом.

— Не приму! — сказал он в сенях и в горнице добавил: — Очистить их надо!

— Иконы древлие...

— Знаю. А ты знашь, что он над ними делал? Не знашь! Я и сам не знаю!.. Может или нет быть, что он над ними изгалялся.

— Однако висели они... святые...

Поп сел на диван, впуская зеленые, кочковатые руки в волосы, сказал:

— Неси. Освящу!.. Измаяли вы меня, молиться не могу. Неси.

Дмитрий пьяный лежал на сене. Увидев поднимающегося на сеновал Семена, сказал гнилым, как водянистое бревно, голосом:

— Я, Сеньша, братан, пьяный... Почем зря я...— И вытер рукавом грязные, как поганые грибки, слезы.— Робить не могу, Сеньша... Думал, братан, пять лет... подряд!.. Приду домой, пороблю... Не могу, Сеньша, я!..

— Обветрит...

Дмитрий вскочил и, размахивая руками, хрипло закричал:

— Я, брат, ничего не боюсь!.. Да!.. Ты, поди, думашь — боюсь...

— Ну, ступай к бате,— сказал Семен неуверенно.

— К какому?

— К Листрату... В восстанью... Скажи, пушшай идет. А то бают мужики, в восстанью переселился Листрат Ефимыч. Тоды ведь нам кабала, парень.

— Я?.. Я, брат, не боюсь! Я могу! Я, парень, пойду! А кабала тебе будет, а мне никогда... Я, паря, в милисыю перейду! Наймусь! Я стрелять умею... Налево, круго-ом, ма-арш!.. Левой!..

XXVI

...Как туча, обняла небо душа. Как травы — обняла землю. Костры вы мои желтые, птицы перелетные — глаза; голос — ветер луговой, зеленый и пахучий.

У каждого сердца плакал и смеялся. Буреломами, песками, болотами пахнут хмельно они.

Бороздит рыба ил речной. Река бороздит усталую землю.

Какие камни падают в тучу? Какие лиственницы на камнях?

Эх, горы вы мои, горы Тарбагатайские! Эх, брат мой, волк красношерстный!

Сердце ваше целовал.

XXVII

Ползет по крутосклону человек. За плечами желтый мешок, фуражка солдатская.

К чему бы? Тропа в заимку одна.

«Шпиён»,— подумал рыжебородый.

Встал на шипишник и, как зашебуршал листвой человек, вышел из куста — винтовку поднял, говорит:

— Обожди.

Расправил тот усы под опухшими серыми щеками, мешок за плечами подкинул, ответил:

— Ладно. Думал — ни стречу, а у вас дозоры — честь честью. Вот лешаки!

— Ты куда?

— Я-то? Я, парень, к Листрату Ефимычу.

Шипишника ягода, как кровь, алая, тугая. Пахнет мокрым, гниющим листом. Камень — как мужик — смотрит упрямо и скупо.

Рыжебородый поправил пояс, спросил:

— А ты по каким делам?

— Дела семейные. Сын я ево, Митрий.

— Та-ак!.. Отца, значит, навестить. Ето дело хорошее. Валяй, Митьша. Давай я те провожу.

Борода желтая, смеется. Камень от листвы золотой, а под тропой — падь, пропасть, и рвется там кверху голубым телом ручей.

— Ты чо с дозору уходишь?

— А ну их к лешаку с дозором! Поеду я лучше за сеном. Коров, поди, пригнали.

— Дисциплины нету.

— А я, скажу, тебя в плен взял. Могу я уйти, чудак, раз я с пленным? У вас как ноне сена-то?

— Сена ничего, дождя не было. Не сгноили. А ваши как?

— Атамановцы пожгли, а сено, парень, было — прямо хлеб. Хоть шти вари. Старики не упомнют.

— На Копае, бают, травы страсть.

— Там завсегда, там пчела-то с воробья.

На заимке промеж изб и амбаров — палатки, фургоны-ходки, накрытые кошмами. Скот бродит. Ребятишки из-за фургонов подкрадываются к лошадям дергать из хвоста волос на лески.

Бабы у колодцев ругаются.

— Цельно опчество! — сказал Дмитрий.

— У нас, парень, куды хошь. Кузька один што стоит.

Довел до дома. Снял шапку — лысина розовая, и глаза тоже розовые — довольные.

— Прошшай, Митьша!.. Попу Сидору кланяйся. Хороший поп, и на пчелу ему везет.

Калистрат Ефимыч спросил из горницы:

— Здорово, Митьша. Ты чо явился-то?

— А к тебе, батя.

— Ну, ладно, самовар, коли, надо согреть. Настасьюшка!

Мягко и быстро, как за ягодами пригибаясь, ходила Настасья Максимовна. Юбка красная. Грудь, как курица-черныш подстреленная.

— Как у вас хозяйство-то? — спросил Калистрат Ефимыч.

— Плохо.

— Чего так?

— Офицера поселили — жрет многа. Все птицу любит. То и дело полевать ходи. Торговать Семен хотел — люди в городе новые — не верют. Доходы у нас знаешь каки!.. Белянка отелилась, а молока дает мало — сглазили, што ли. Прямо руки опускаются, беда!..

— Подати опять, бают, в закон вошли.

— Моченьки нет. С четырнадцатого года, грит, плати — и никаких. А где таки деньги найдешь?

— Трудно.

— Я и говорю...

Томительно вздохнула Настасья Максимовна. Оглянулся на нее Калистрат Ефимыч и, поспешно вставая с лавки, спросил:

— Ты зачем пришел?

Дмитрий надел и снял фуражку, подернулись быстрые, как у зверя, глаза.

— За тобой...

— Ну?..

— Буде дом срамить. Айда к себе. Что тут со шпаной-то вязаться? И Настасья пусть идет... коли што...— И, разевая широкий и серый, как шинель, рот, заговорил беспокойно: — Иди!.. Смеются поселком-то — в разбойники, грит, и душегубы! У нас семья, слава богу!..

Тихо пахло в избе хлебами. Тяжело, свободно лежало на широких лавках оранжево-золотистое солнце.

Калистрат Ефимыч, стягивая, слипая слова, как смолой, сказал:

— Зря. Не пойду. Живите одни.

Дмитрий озлобленно мотнул головой, громко стуча сапогами, подошел к дверям тушить цигарку.

Задевая порог, вошел рыжебородый Наумыч.

— Здорово живете. Пойдем, Митьша. Как ты есть, так я тебя и заарестую... Никаких.

— Куда?

— В штабу. Там тебя судить будут.

Дмитрий скинул фуражку и закричал:

— Не желаю я судиться! Не признаю я вашева правительства! Какой суд?

— А там тебе скажут. Айда! Ты не ори, у нас мужики веселые, может, простят.

XXVIII

На хомутах сидели мужики. Были у них тускло-зеленые, как кочки в сограх, лица. Остер, точно осока, неуловим взгляд.

Все те же шкуры на жердях. Пахло в амбаре конским потом.

Никитин спросил:

— Как имя?

— Дмитрий Смолин,— быстро, по-солдатски отвечал Дмитрий.— Поселка Талицы, Алейской волости. А только я тово...

— После. Товарищ Микеш, в чем обвиняете?

Серб отделился от синевато-зеленого простенка. Была на нем розовая узорная рубаха, за поясом торчала ручная бомба. Мужики заулыбались. Он, точно притворно делая злое лицо, заговорил:

— Убил!.. Такой аршин, малэнкой! Убил! Дэнга сорро ррублей, починел воррота!.. Такой сволочь — дран!.. Я эст кончил.

Мужики захохотали.

— Оратель!..

— Кончил!..

Серб наклонился и, точно уминая что руками, сказал с усилием:

— Стрелять! Такой дран...

Угловатые челюсти Дмитрия опотели. Рука сорвалась, побежала по телу к козырьку. Побежали ноги около закрома.

— Товарищи!.. Братцы!.. Не я ведь, брат это, Семен!.. Я ведь говорил: отдай деньги-то!.. Тут, хоть вам, ну! Не хочет!.. А я что же! Восподи!

Никитин, не глядя на него, сказал:

— Ваше слово, гражданин Смолин.

Дмитрий замолчал. Обшлага опотели, и он, поддернув рукава кверху, сел на закром. Ноги же продолжали бежать.

— Гражданин Смолин, ничего?.. Ваше слово...

Дмитрий бессильно шевельнул широкими, точно разваленными челюстями. Мужики отвернулись от него, как от дурного запаха.

Натруженным голосом сказал Калистрат Ефимыч:

— А ты, Микитин, мне сказать дай. Вишь, закоптили человека.

Мужики кашлянули, харкнули, согласились.

— Говори, Листрат Ефимыч!

Неослабные, тенью зашли его глаза. Тело большое и черное, как весенние земли, оттолкнуло лавку. Протянул к мужикам волосатые, твердые руки. Голос нутряной, зыбью по телам идущий.

— Сын ведь! Небось думаете — брехать буду? Не поверите... Не убивал, говорю: не убивал! На душу греха не берите! Другой убил, а не этот!.. Мне что! Не люблю я их, ушел от них — душу замуслили!.. А зря человека зачем убивать, православные?

Здесь пискливо, не по-человечески залился Дмитрий. Тычась мокрым, опухшим лицом в синюю тьму, близ стола, пищал он неразборчиво. Только выхлестывались, как камни в потоке, слова:

— Ваша благородие... ваша благородие...

Никитин посмотрел на мужиков:

— А ты выйди, Калистрат Ефимыч.

Черный и холодный голос как зимние воды. И лед — далекие волосатые глаза Калистрата Ефимыча.

— Не пойду! Хочу я знать, кто моего сына убьет.

Как проснувшись, взглянул Дмитрий.

— Батя!

Соболезнуя, сказал кто-то из угла:

— Не оживет!..

Вышли за дверь. У телеги посовещался штаб. По бумаге прочел Никитин. Холодный и жестокий клок бумаги, как кусок замороженного снега. Злые и насупленные стены амбара.

«По приказу временного штаба революционных войск... за предательственное убийство борцов революции... высшей мере наказания — расстрелу».

Отопрелые, скользкие Дмитриевы руки. Грудь опухшая. Точно скидывая грязь, трясутся колени.

— Эх, трус! — сказал мужик с винтовкой.— Держись! Скотина при смерти и та не мокнет.— И, протягивая ковш самогонки, добавил: — Пей — крепче будешь!..

Никитин, дотрагиваясь горячей длинной рукой до поясницы Калистрата Ефимыча, огустело сказал:

— Не томись, Ефимыч! Нельзя иначе.

Как лемех в черной земле, блестели у того зубы. Завило желтым ветром черную длинную бороду; голос завило петлей предсмертной:

— Знаю!.. Я тебе помешал, сына-то пошто угоняшь? Не уйду я от тебя, понял? Убей ты меня сразу — куда ведешь?

— Не томись.

— Убей, говорю, сразу! На свою голову меня держишь! Отпусти!.. Жалко ведь — сы-ын!..

Желтая, широкая, как осина, шинель. А тело из нее растет выше, тянется глаз неодолимый, глубокий, как тайга...

— Не знаю, зачем он пришел. Не приходил бы! Кто-то убил, в ответ надо убить. Убьем!

Отгибая, отламывая сучья, напролом, как сохатый, уходил Калистрат Ефимыч. Желтая звенела под ногой земля, еще сильнее звенело сердце.

— На свою гибель!.. не пускашь!..

— Не могу!

Вытянулся, засох, вырастая из зеленой шинели, Никитин. Тоскливая вздыхала земля — запахами горькими, чужими. Желтой лисицей шмыгнул, шевельнув кусты, ветер.

Вдруг схватил сук сосновый, подломившийся, оторвал, с силой ударил по кусту. И еще, еще.

Тихо хряпая, отлетали, вонзались в землю острые щепы. Переломился сук, из средины волной опала полевая пыль.

Выпрямил Никитин сухую спину и ровной походкой пошел к амбару.

— Постановление исполнено?

Мужики, сплевывая, играли в карты. Рыжебородый доиграл банк и, тасуя карты, отвечал:

— Ето обязательно!

И, подымая колоду для снимки, спросил:

— Тебе сдавать, Микитин?

— Нет.

— Ладно... Вот ба-анк!.. Четыре керенки! Но, кто?

XXIX

Беспокойно пели камнем твердые глаза людей — камнем в ветрах и вьюгах. Огромные, жирные туши гор дымились на солнце.

Рыжебородый Наумыч говорил:

— Кыргызья, братаны, сгоняется — тьма!.. За неделю съехались... Праздник будет однако!

Из-за долин, из-за Тарбагатайских гор текли в котловину Копай киргизы.

А с другой стороны: из тайги, черни, с долин — новоселы, кержаки-старожилы.

Среди фургонов, рыдванов и телег, как огромный подсолнечник, плавал Наумыч. Выпачканы дегтем полы азяма и шаровары.

— Байга, братаны, на Покров назначается. Жива-а!.. До Покрова неделя — собирайся!

Сладко резали грузные телеги жирную и мягкую, как кулич, землю. Вяло, как пьяные, играя крупами, топтали сытые лошади горные тропы.

Словно золото, звенели тропы, словно золото, звенели кусты.

— Едешь, Листрат Ефимыч? — спросил ласково рыжебородый.

— Поеду.

Рыжебородый оперся грудью о телегу, сказал протяжно:

— А ты поезжай, може, и сгодишься.

— Я-то?

Рыжий глаз втянул всю телегу, запел:

— Ты очень просто сгодиться можешь — я тебя на уме имею. Пойдем, хочешь?

Поддержал его за руку с телеги и, как взвешивая, одобрил:

— Тижолай! Ума выйти может много.

В светло-желтую пену ныряли в долину рыдваны и телеги, как огромные рыбы. Плескались внизу водоросли — деревья алые, медно-желтые.

— Я те семейникам покажу!

Гнется телега под тремя — седые головы как снопы пакли. Азямы словно дырявые мешки, и будто не тело в прорехах видно, а седую паклю.

— Семейники!.. Смотри.

Пахнут семейники-старцы древними, тугими запахами, и голоса тиховейные — лен шелестит.

— Ты, что ли, Калистрат Ефимыч?

— Я, старик.

Видят плохо — выкатил один белый седой зрачок,— взглянул и утонул опять зрачок.

— Ты блюди!.. Мы тут в восстанью приехали, посмотреть как и что!.. Ты за домашностью блюди! Чтоб не измотался народ...

Вздохнули все единым вздохом, легким, так бы и младенцу не вздохнуть.

— Люд на соблазну скор. Ты им старую веру за новую выдаешь, бают? Так им и надо, коли старова не хочут.

И древние годы не выдерживая, отошла телега, к земле пригибаясь. Древность звала земля.

Завертелась в хохоте рыжая борода, хохот присвистывающий в волосяной сети заплутался.

— Вот она, сила-то!.. Понял! Тут мы ее берегем. Без старика нельзя, старик только один может дело направить.

И повел Калистрата Ефимыча промеж телег. Пахла земля дегтем, телеги — мхами осенними, как паутина, тонкими. Смотрят черные колеса, как зрачки — неподвижно, по-звериному.

Калистрат Ефимыч сказал:

— Куда ведешь-то?

— Пойдем... Покажу ешшо. Смотри, как мужик идет.

— Не надо... ничего.

Оттолкнулась борода. Нога за телегу зацепила.

— Не хошь? Трусишь?

Калистрат Ефимыч хотел крикнуть, но смолчал. Вернулся к своей телеге молча.

А у телеги рыжебородый уже с Никитиным беседует.

— Проведем,— говорит рыжебородый,— мы здеся железную дорогу со всеми припасами.

Никитин отвечает:

— Проведем.

— Обязательно. Однако в бухфете водки чтоб в три тысячи градусов.

Никитин сказал:

— Мы с тобой, Калистрат Ефимыч, в телеге будем.

— Где это?

Метнулся рыжебородый вдоль телеги, ось ощупал, оглобли. Сказал досадливо:

— Опять же на байге! Потому штаб постановил — начальство и важных людей на люд не выводить. Атамановцы заарестуют, очень просто.

— А в телеге нет?

— В телеге мы тебе кошемный навес с дыркой вроде отверстия сделаем. Сиди и смотри. И чтоб ведро самогонки, потому душна... Пей.

Так и поехал Калистрат Ефимыч с Никитиным на байгу.

Каменная тропа звонкая. На душе тропа тяжелее — не взберешься, не оглянешься. Молчи и подымайся, а не то пропасть. Гибель.

Висел культяпый Павел на шее лошади, как толстый репей. И волосы на голове как пушинки. Голосок легкий — не держится на душе, уносит ветром.

— Плюнь, Листрат Ефимыч, уйди ты от них. Я те, батя, понимаю. Однако очень просто не одолеешь...

Натянул повод, на руках в седле приподнялся, попону поправил.

— Люд — сволочь! Чо те с ним валандаться! Достану я тебе лошадь, приходи завтра ко мне. Уедешь... прямо, паре, к баям в аул доставлю. Живи! И бабу!..

— Не хочу.

Шевельнул тот, как языком, поводом, вдавалась лошадь в желто-розовые кусты. И легонько отозвались кусты:

— Зря, Ефимыч.

А потом, когда вечер поравнялся с телегой, подъехал Павел и, почесывая между ушей лошадь, спросил:

— Дождусь я, Микитин, али не дождусь, штоб мог я те в харю ногой залепить?.. Как ты мне раз залепил, а?

— Когда ноги вырастут.

Над телегой Павловы длинные отрепанные руки тянули.

— Ране-е, Микитин, ране-е!.. Дождусь.

Тащит телега синюю тяжелую темноту в легкую лунную пену. А за дорогой такие же синие глыбы тьмы шелестят, а над глыбами дальше — еще глыбы.

Пахнет дорога не камнями — золой, а ветер коричнево-серый — корой осиновой.

Молчит Калистрат Ефимыч.

На передке, как пень, мужичонко, от него к черной копне, похожей на лошадиную голову, две ленточки. Фыркает копна.

Никитин с другого конца телеги сказал:

— Нужно от выступления удержать. Поехал ты зачем?

— Смотреть хочу, парень. Байга эта из года в год. Ране-то я тоже боролся было...

— А теперь на печку?

— Лисья заимка-то печь? В печь калёну лезу, а не на печь.

Откинул Калистрат Ефимыч одеяло. Отыскав среди сена коленки Никитина, дотронулся:

— Ты, Микитин, баловать-то брось...

— Ну?

— Думаешь — малой я, ребенок, дитё? Дай ты мне раз по сердцу тебе сказать?

— Говори.

Шевельнулось сено, широко, как одеяло, вздохнуло. Голос — запахи земные, густой.

— Не давай ты мужикам кыргызов бить. Пушшай посмотрют и разъедутся. Не надо кровопролитья-то, парень. Мало крови тебе, ну?

— Мне не надо. Я для всего мира. Последняя кровь.

— Ты ето с телеги говори, а в телеге брось... Боя-то с кыргызами не надо, понял? Ну, подерутся, отряды атамановские понаедут — выжгут все горы.

— Не выжгут.

— Па-арень! Сам знаешь — выжгут! Скотов угонют, людей перебьют.

— Потому и еду — не допустить.

Стоном пошла телега. Оглянулся пень с передка, сморкнулся и опять к ленточкам прильнул.

— Допустишь ты, Микитин, допустишь.

— Нет.

— Убил ты мово сына... Прощу!.. Хочешь ты всю округу в восстанью втянуть... вижу!.. Мертвый ты человек, мертвых и призываешь.

Резко, как роняя железо, сказал Никитин:

— Стой!..

Протянул пенек:

— Тпру-у!..

Повернул Никитин Калистрата Ефимыча за плечи, в обрат, сказал:

— Видишь?

Косогором в блекло-малахитовых порослях по откосам в котловину, дребезжа, катились, как камни, глыбы телег. Охая, отдавали горы лохматые мужицкие песни. Ревели кусты:

Э-эй, ты...
Лисы-ынька...
Белая-я
Горносталь...

Туго звенела земля. Из котловины солоновато несло солонцами. Вдалеке мерцали бледно-оранжевые костры киргизов.

Никитин спустил руки и лег в сено:

— Молись, чтоб возвратились.

— Я?

Закрылся Никитин с головой, не ответил.

Коричнево-серый пенек на передке, спустив вожжи, дремал. Проваливалось в дорогу лиловатое пятно телеги.

Схватив задок волосато-горячими пальцами, глядел назад Калистрат Ефимыч. Видел.

Таежными гулами пели телеги. Голоса раскатистые, как рев зверей. Звериные, сторожкие запахи шли с трав, с гор...

XXX

Пахло в горнице бараньим салом. На кошмах, поджав ноги, сидели толстые, низкие, как юрты, баи. Баланки-мальчишки в зеленых ичигах-сапогах разносили баранину на деревянных подносах.

Миронову сидеть на корточках было трудно, он притащил из кухни полено.

Плосколицый, как степное озеро, бай, распуская чембары, говорил:

— Плакой чаман пичать пошел!.. Раньше бумаги — полена толстый; пичать — тарелка. Чаман! Карашо!

И, пропуская бумагу в сальных пальцах, обронил ее на кошму.

— Моган — нам большой приказ надо. Кабинетская земля — бери кыргыз, новосел — пшёл... В Рассею! Такой приказ надо, бай!..

Белое вареное сало шмыгало по пальцам в рот. Глаз был как кусок сала — пьяный, сытый. Семен раскупорил пиво.

— Сколько дадите джигитов? — спросил Миронов.— Наши Пермь взяли, к Вятке подходят!..

Бай Джаусей одобрил:

— Пермяк ладной кала-город. Народ жирный, пошто воюет?.. Пермяк раз взял, джигит пойдет, может, вся герман-война пойдет, многа!

Рыгнул бай Кошкир, пощупал худой и твердый, как седельная лука, подбородок, подтвердил:

— Будет байга. Какай, многа джигит придет, все к тебе придут. Бойна так бойна!.. Джигит бойна любит!

Агриппина раздувала в кухне самовар. На голбце, вытянув толстые отекшие ноги, спала Устинья. Семен, задев за ноги, выругался.

— Митрий не приходил?

— Нету.

— Что он, в восстанье остался, что ли?

Фекла, подтирая пол у порога, ворчала:

— Наследили-то, немаканы, восподи!..

Были у ней крутые, как стог сена, бедра, и проходивший бай Кошкир, проглотив слюну, рыгнул:

— Ладный той!.. Апицер Мирошка чаксы!.. жирный баба!..

Вечером баи, напившись пива, пели протяжные и визгливые, как степной ветер, песни. Миронов ходил среди них. Вяло, как лопатой в грязи, ворочая языком, говорил:

— У меня дедушка фельдмаршалом был и женат на внучке Суворова. А вы звери...

— Берна, берна,— соглашались баи.

Двое офицеров, обнявшись, спали у кровати. Баи обещали подарить Миронову лошадь. Бай Кошкир показывал выложенное серебром седло.

— Сто царей настоящих видал, а теперешних царей счету нет. Дарю, отдай бабу ночевать.

Миронов, обвисая пьяными боками галифе, говорил:

— Мучаюсь, мучаюсь, а на фронте я бы генералом был...

— Берна...

Тут вызвал Семена из горницы веселый синеглазый староста:

— Митрия-то в восстанье мужики порешили. Прислали — надо коли, грит, тело по-христьянски погребать — берите. Потому попа у них не водится.

Безутешно причитала во дворе Дарья. Плакала хрипло, точно кашляя, Агриппина.

Семен угрюмо спросил:

— За что ево?

— Да вот ведь краснова-то ты тут как-то подстрелил... Они-то, восстанщики, бают — Митрий. Ну, и кончили!

— А батя?

— Листрат Ефимыч? Неизвестна. Поедешь, что ли?

— И меня кончат?

— Кончат. Ну, не то мальчонка какого пошли. Сколько дашь?

— Заплатим.

— Найдем мальчонка!

Лохматый, шумливый, как срубленный кедр, несся поп Исидор. Разом, будто прорывая насквозь уздой лошадь, остановил телегу.

— Ты чево-о, муторной!.. Митьшу, говорят, покончили?

— Покончили.

— Царство небесное, веселый мужик был!

Размахнулся над лошадью, над телегой кочковатыми руками, и голос — телегу вверх вихрит.

— Помолюсь, чадо, помолюсь! Даром! Гроша не возьму!.. Заупокойные обедни хошь петь — отслужу.

Волосом, в четверть, зеленым, жестким обросла лошадь. Ноги короткие, в земле скребутся.

— Пчела идет, чадо! Здорово пчела идет! А мне тут бумагу прислали — кто желает в дружину Святого Креста?

Везде будто не лошадь, а поп Исидор. Телега как изба, колеса с двери. Гремит, грохочет.

— Прям на паперть и дьячка тяни. А я к утру приеду, на поминки дарю тебе меду десять фунтов. Царство небесное!

XXXI

Койонок, Койонок, где твой голубой конь, спина которого — змея в середине лета, а искры от копыт — звезды?

Ушел дух на Абаканские горы, и пути его замело снегом.

Отпали от бубна сосцы — обички.

Вот как это случилось.

Пришли к шаману Апо джатачники — рвань рванью. Одежда у них как листья зимой — гнилье.

Сказали:

— Думают ак-урус — белый русский — большой отряд из джигитов составить. Воевать на Югорской земле. А козыл-урус — красный русский — не хочет отряда.

— Не надо идти джигитам,— сказал Апо.

Сказали джатачники:

— Мы люди бедные, коров у нас нету, кумыс не пьем — айран... Никто нас не слушает, как весеннюю траву косят.

Сказал Апо:

— Надо жить в мире, травы растут большие — скот растет будто туча. Не надо воевать. Пусть русский воюет.

Сказали джатачники:

— Мы так думаем — не надо воевать. Говорит ак-урус: кабинетские земли получай, воюй. Скота в тысяча раз больше будет. Как делать?

Голубой шелковый бешмет надели на Апо. Серебром выложенный чекмень — пояс обтянул тощий живот Апо.

Сказал Апо, всем шаманам шаман:

— Много скота — счастье человеку. Мало скота — смерть. Кабинетский земля — даст много скота. Ладно. Буду думать.

— Думай,— сказали джатачники.

Вынес в решете золу из юрты, опрыскал землю из синеносого чайника. Лежал на кошме. Серая с алой каймой кошма. Думал.

Ходил шаман Апо, всем шаманам князь, по тайге ходил. Духи у тайги злые, надо злых духов просить. Железом стращать, в бубен бить, на топшуре-балалайке играть. С духом вести себя строго, как с человеком.

Над всеми духами — дух Ерлик-хан; над шаманами — шаман Апо.

Так, видно, надо! Так, видно, будет!

Прель осенняя в тайге пахнет мокро. Травы, мокрые, сырые, плачут (умирать кому охота?).

Дерево, старое дерево (может, Ерлика-хана в люльке видело) дребезжит, стынет.

Сказано — осень!

Робко шамана просили:

— Думай...

Духи железа боятся — на поясе железные планки; в губах Апо стальной кобыз дребезжит.

На русских больших духов просить надо в помощь. Больше духов тайги, чтоб им тайга как солома была, шипела, ломалась. Тут Тенгрихи — вторые духи — не помогут; тут.Онгоны — души дедов и стариков — совсем, как сырье для костра, не годятся.

На русских духов каких позвать?

Елани — поляны хиреют, как лошади в джут. Травы, точно шерсть, вылазят.

И ветер тут рыжебородый, русский, злой!

Ходит шаман Апо, кафтан да кустарники, кустарники да кафтан. Всем, даже деревьям, нужен шаман. Большой шаман, как наводнение, как мороз.

Одно — Апо имя ему. Как казенная винтовка, как водка — крепкое имя.

Всех духов умилостивить трудно.

Сказал Апо в ауле:

— Буду камлать. Буду с железом, с ножом стальным, с плетью за духами гоняться. Всех духов сгоню — настращаю, просить буду. Напугаются — скажут правду!

Сказали аксакалы шаману:

— Великий бог — Кутай, Аллах. Великий Махмет — пророк его. Нету Аллаха, ушел от киргизов. Как дети без молока — мы без бога. Проси, гоняй старых духов, Апо.

— Старые боги — сытые боги, жирные, сколько лет их никто не тревожил — отдохнули. Аллах устал, плюнул на киргизов. Гоняй, бери укрючину, Апо.

Так сказали джатачники, потому что у них брюхо тонкое. Джатачники бедны, как зима теплом.

Дни бежали голые, в лохмотьях, синие от холода.

Собрались с аулов пригнанные из степных кочевий офицерами русскими киргизы.

Собралось много, как комара в сырое лето. Вокруг юрты шамана Апо стали, ждут.

Разложили костер смолистых священных щеп. Бросали священные травы, угодные духам, как кумыс — человеку. Дым от трав оранжевый, запах от трав — водка и тихий мед.

Небо над юртой зеленое, лица вокруг юрт жадные. Глаз вокруг юрт желтый.

Зазвенела тойгур-балалайка на двух струнах. Ударил одной ногой шаман Апо, вокруг костра пошел.

— Эй, эй, духи Онгоны на березовых лодках с медными веслами! Спускайтесь с Абаканских гор, сюда!.. Э-эй!.. Губы у вас жирные и масленые, будто у молодого барана, волос у вас седой, вырос,— долго не тревожили! Э-эй-й!..

Всякая тайга воет вокруг — зеленая, голубая и черная. Всякие люди вокруг — стада, табуны людей, как скот весной траву — жуют.

Другой ногой ударил шаман. Заревела, обиделась земля, заревели люди:

— Э-эй, гони богов, шаман! Нечего на богов смотреть! Гони!

Взял стальной кобыз шаман. Зазвенел язык стальной, заревел, как лось со стрелой в боку. Быстро-быстро, точно жеребец у стада, догоняет огни шаман. Бешмет мокрый от пота, шея мокрая, амулеты мокрые — очень хорошо собирает духов Апо.

— Э-эй... Восьмибородые Тенгрихи на Абаканских горах, где снег, как русский сахар, а березы с листьями китайского золота! Надевайте узду на синегривых коней, отбрасывайте на ледники троны — сюда, в долину Копай! Всех Тенгрихов буду плеткой бить, железом гнать, э-эй!.. Точу нож на сердце своем!.. Э-эй!.. Стальной нож, добрый нож, заплатил русскому три соболя... Э-эй!..

Юрту давят киргизы, воет юрта. Дым в юрте, жиром пахнет, курдючным, хорошим жиром — боги любят жир. Духи человека не любят, не идут. А костер гоняет шаман, а огонь палит шамана, а дым в ушах и ноздрях, как водка, как мед.

Бьет в бубен-тенгур шаман. Ревет, как медведь холостой, бубен-тенгур, за пять верст в тайге слышно. За пять верст киргизы молятся — камлает шаман Апо.

Ревет, говорю, бубен, как синий ветер в Тарбагатайских горах, все ревет и ревет!

— Эй-эй!.. Ерлик-хан, над духами киргиз! Самый богатый князь, у тебя подпруга из шелка, а узда из реки Абан сплетена!.. А конь у тебя с гривой больше кедра! А чембырь из китайского гаруса! Седлай, Ерлик, лошадь, седлай, не корми! На голодной лошади выезжай, Ерлик, торопись!.. Шаман Апо из рода Чекменя, всем шаманам отец, говорит, гони!..

Лебедь всеми двенадцатью струнами поет. Топшур в обе ладони гнется — звенит. Бубенцы на шамане, как волки, оскалились.

Нет, не подымается на небо шаман!

Нет на губах священной синей пены!

Нет на амулете стянутых, догоняющих бога, пальцев!

Не летит над тайгой шаман!

Гнется юрта, стонет, ревет:

— Гони, гони богов, шаман! Всех старых богов гони!

И опять побежал за костром Апо.

Бубен и кобыз, и лебедь, и голос резкий шамана:

— О-о о!.. ё-ё-ё — э-э-э!

И жаром пахнет и потом беговым — священнейшим. И дым, как вода, густой. И рев — как поток весенний.

Нет духов, не подымается шаман.

Сказал Апо:

— Не берут меня боги к себе, не пускают! Бубен сломал — десять шаманов каждый раз подымались над тайгой, над Абаканскими горами...

Ревут киргизы:

— Молись, сбирай старых богов, шаман!

Изнемог, голову у костра уронил, бубен в огне горит, и, как тающая головня, тихо сказал Апо:

— Плюнули духи, не хочут, не боятся! Надо русских богов звать, русским богам, крупным богам молиться...

Вышел к костру Алимхан, сказал:

— Работал у русских, всех богов видел. Большого русского шамана Калистрат видел. О-о, шаман — ростом в кедр. Давай повезу. Молись сколько хочешь.

Запрягли тележку, и в тьме, в мохнатых, сырых лесах бежал шаман Апо молиться русским богам.

Прель из черни — черная, гнилая. А под соснами, как амулет, срывается и падает луна...

Убирал колодки пчел поп Исидор. Работник Максим, из новоселов, был скудорук, неумел. Носился среди колодок поп сам, как мшистая, зеленая колода, шумно дышал на ульи, сердился:

— Ничего не умеете делать, черти! Чему вас учили в Рассеи, в Сибирь поперлись?

Увидал за оградой в тележке черную, прямоволосую с желтым глазом голову Апо.

— Кыргызскому священнослужителю почтение!

Поворочал в руке сухие пальцы шамана, облокотился на тележку и, дыша медом в бешмет, спросил:

— По каким делам? Слышал — кыргызы от магометанской религии уходят на старую веру?.. Опять шаманам доход!

Заходили проворные, как блохи, глазенки, запрыгали.

Устало подымая голо из тележки, спросил шаман:

— Тибе бог какой, покажи? Время тяжелой — псех богов собирать надо!.. Солай...

Влезая в тележку, ответил поп Исидор:

— Верно! Окаянное время, сам многого не вижу, слепну. А у нас бумага из города — Зеленое знамя, отряды религиозные для киргизов... Священная война... Понял?

— Бойна — плохо. Бойна не надо — лучша.

— А для русских — дружина Святого Креста.

Погнал с пасеки к дому поп лошаденку. Наклонясь над неподвижным, как снежное поле, лицом шамана, говорил шумно:

— Никто не понимат! Тебе каких богов надо — Исуса, Марию или Саваофа?

— Псех!.. псех лучша! Большой бог, как верблюд!

Захохотал поп. Закрыл прозрачные веки шаман, и за ними глаз просвечивает, как огонь в золе.

Отвернулся Исидор, долго хохотал в лес, на деревья.

А в комнате бродил возле стен, похожий на клуб зеленого дыма. Сидел на корточках Апо, сгорбившись, в грязном бешмете, увешанном амулетами. Пахло от него айраном и дымом костров.

— Каких тебе надо богов? Наш бог — «иже еси на небеси». Понял? На небе, та-ам!..

— Не надо!.. ближе надо. Толстый бог надо.

— В христианскую веру перейти хочешь?

И вдруг, опрокидывая стулья, понесся по комнатам, орал радостно:

— Переходи в христианскую, всем табуном! Я вас в реке крестить буду, как Владимир равноапостольный!.. Водою окроплю! Сколько вас тысяч! И тогда один отряд будет — Святого Креста,— бей большевиков по-православному!

Взял со стола толстый молитвенник, раскрыл и над головой шамана, стуча кулаком по крышке, кричал:

— Креститесь! Вера наша большая, крепкая.

— Вера сильный, кыргыз псе время бьет.

— И будем бить — креститесь! А тогда сам будешь басурманов бить.

— Чаксы!.. харашо!..

— Я молитву целый день читать буду, в воде святой, я читаю... мало? Вечер еще читать могу, мало? А ты как думаешь?

И понесся по комнатам, ища попадью.

— Мать, а мать! Может, меня в архиереи произведут!.. Может, я на пасеке монастырь выстрою!

Оглянулся в комнате шаман — никого нет. Вскочил, схватил молитвенник за пазуху. Опять сел у дверей.

Вбежал поп, раскидывая толстые, как коряжины, слова:

— Согласен креститься? Ты баям своим объясни, поп Исидор не врет!

Указал шаман на иконы.

— Веселый бог, богатый... Алтын-золота сопсем торговля нету, а по нем бешмет золотой.

Пощупал пальцами, щелкнул.

— Веселай бог!.. Камлать такой бог мошно! Больше бог есть? Как лошадь, как арба?..

— Есть,— сказал поп,— пойдем в церковь. Ознакомлю. Раз ты изъявил желание, а я будто патриарх константинопольский... и Владимир равноапостольный!.. Пошли!..

Стоят возле стен в ризах серебряных с глазами усталыми — давят тяжелые ризы — святители большие и малые.

Обрадованно сказал шаман:

— Хорошай бог! Куды хочешь бог!

— Крестись, пока река не застыла.

Провел ладонью по стенам Апо, обошел иконы.

— Настоящие, старые иконы! Вот эти!.. Мотри, немаканый.

Ногтем длинным и грязным царапнул шаман.

— Кафтан чаксы — корошай, настоящий серебро, не польской. Сколько кобыл возьмешь?

— Чево-о?..

— Продай бога! Сколько кобыл возьмешь? У меня кобыл многа. Баран хочешь — баран могу. Проси!..

Закрестился поп, отошел к дверям, заорал:

— Кабы не святое место, я бы тебе башку расшиб, стерве!.. Иконы немаканому продай. Да ты одурел, парень. Печку топить будешь?

— Зачем топить печку! Время тяжелый, брюхо болит — молиться хочем!

— Иконы дареные. Калистрат Ефимыч, предводитель разбойничий,— сам, может, раскается впоследствии,— подарил. Ценность! Ничего ты не понимаешь.

— Мы понимам. Зачем не понимам! Торговаться хочешь. Калистрат знам, большой купец будет, кыргыз лупить хочет. Э-эх!..— Вздохнул и, легонько дергая попа за рясу, сказал робко: — Слушай, баба тебе надо, десять мо-

лодых баб дадим, цха-а!.. Чакчы баба — девка! Кумыс бочка, каждый утро-вечер — баран, козы ешь! Минь шаман Апо умират — шаман будешь — ходи с богом своим!

— Это ты мне? С нехристями, немакаными?..

Из тележки уже сказал шаман:

— Твой цена очень большой! В мой башка не влазит, не понимай...

XXXII

С воем, причитом бежала у плетня Агриппина. Волосы по плечам, по груди, как пена, а голос, как камни в пене,— режется:

— Ой, чует мое сердечко — разрывается... на беду едешь... Солдатушек с вами пять десяточек — побьют вместе что с батюшкой восстанщики с гор. Восподи!

Земля плакала, слезилась. Туча — как бельмо в небе.

Офицер в седле, сонный, как увядающий цветок. И только губы — алым-ало.

Сказал Миронов:

— Не комедничай. Какая беда! На байге отряды в тысячи сберем. А восстанщики ваши только от податей бегают. Выпорем — перестанут.

Как хмель по кедру, заплетаясь в плетнях, причитала Агриппина. Молодело лицо, глаза молодели.

— И за што ты, восподи, наказываешь, за што ты гневаешься?.. Батюшка в разбойники-грабители пошел; милый с батюшкой на сабельки... Владычица ты моя Аболатская!

— Будет!

Ударил лошадь плетью меж глаз. Прыгнула она к туче и, отскакивая злобно от дороги, понеслась. Сапог лаковый: в нем выглянувшее из туч солнце. Клок грязи — как воронье крыло на плетне.

Нет офицера Миронова.

Прутья плетневые отламывая грудью, билась Агриппина.

Подошел, прихрамывая, Семен, пьяный. Зачерпнул грязи в руку, в лицо ей плеснул.

— Гуляй, Грипка, пьянствуй! А я по Митрию поминки справляю. Завтра хоронить будем — привезли Митьшу.

И, плескаясь косым плечом в холодном и сером ветре, бормотал:

— Бате-то... Калистрату Ефимычу... я еще с ним сквитаюсь, мы еще ему кишки высушим. Попомнит!

Костры у киргизов желтые.

Костры у русских желтые.

Собаки лают у киргизов. Собаки лают у русских.

А перед собаками поляна песчаная. Выбегут на поляну собаки, с одной стороны — русские, с другой — киргизские, лают и воют.

Через три дня байга — знают собаки.

Знают это и люди. Потому и съезжаются: по одну сторону русские, по другую — киргизы.

Табуны по тропам идут — куда киргизы без табунов!

Ружья по тропам идут — куда русские без ружей!

А собакам весело — мясо варить будут. Много табунов, много. Мясо валяться будет (ружей много).

От костров оранжевый дым.

У костра сидит шаман Апо, приехал. Киргизы вокруг. Табак за щеками. Ребятишки голые с овчинами, накинутыми на плечи.

На волосяных арканах лошади.

С арканов сорвался ветер лимонно-оранжевый, голову в небо задрал — мечется, лает.

А может, собаки лают?

Потому — ночь. Потому — костры. Потому — молчит Апо.

XXXIII

Призвал утром джатачников всех, аксакалов всех шаман Апо.

Розовый свет на травах, розовые деревья — скалы, крепкие, как камень, воздух режут, свистят.

Сказал Апо:

— Был у русского шамана. Не продает богов, а боги хорошие, богатые, в серебряных халатах и плоские, как деньги. Хорошие боги.

— Надо богов русских,— сказали джатачники.— Надо тех богов, которые воевать с русскими любят. Ты как думаешь?

Отвечал Апо:

— Мысли мои засохли, как степь летом. Всю ночь в прохладе сидел, думал...

— Скажи, шаман?

— Не отдает богов русских самый жирный русский шаман. Не отдает, и не продает, и в шаманы к нам не хочет. У русских — водка, у русских — ящики поют, у русских — хорошо...

— Ладно!..

— Ладно!.. Думал я и скажу: надо богов у русского шамана украсть.

Поглядели джатачники на золу священного костра, на кобыз, на одеяние шаманье и глазами вздохнули:

— Бисмилля!..

Сказал самый старый, самый смелый, у которого борода — аршин бязи:

— Трудно!.. Бить русские будут, одного до десяти смертей бить.

— Трудно,— подтвердили джатачники.— Русские бьют сильно!

— Сильно,— сказал самый старый,— я только коней воровал — как били! А за богов — может, моего умершего отца бить будут... Они хитрые.

— Они хитрые!..

Замолчали.

От дыханья перегородка трепещется, жестяные сундуки запотели, зола отяжелела — горько дышат киргизы.

Снял кафтан Апо, снял куйлек-рубаху — тело показалось — темное, морщинистое, как осенняя земля.

Сказал:

— Пойду на священный камень Копай, с камня того — в озеро. Умру. Десять ли киргизов жалеть, когда умрут все, как комары в дыму?..

Отвечали джатачники, чембары подтягивая:

— Поедем, украдем богов.

— Поедем,— отвечал самый старый.

Спят самогонным угарным сном крыши Талицы. И небо над крышами спит — самогонно-синее сквозь облака, как голый мужик, в разорванных лохмотьях.

Сторожка церковная заперта — сторож на рыбалке.

Нет, ломать дверей не надо. Воровать всегда через окно надо — так старики воровали, так ведется.

Сказал Апо:

— Завешивай кошмой окно, жми.

Забили мокрой кошмой оконный лист, наставили бревно, нажали. Вместе с кошмой зыкнула решетка, и стекла — на пол.

Полыхнулись сонно в колокольне, тикнули колокола — голуби...

Сказал Апо:

— Не хочут боги идти. Прижились.

Самый старый сказал:

— Скот тоже не хочет, когда воруешь. Привыкает.

Трое джигитов, молодых и тонких, как камыш, пролезли в окно. Шаман на окне лежал на переломанных решетках. Горячим, парным голосом шептал:

— Которые покрупнее, тех богов... У стены которые. Калистраткиных богов, они драться любят.

Подавали в окно тихо звякающие доски. Шлепали половицы. Пахло из церкви смолами.

Вздохнул Апо:

— Где бы травы такой достать? Хорошая трава. Может, на эту траву и старые боги вернулись...

И тут вспомнил, затрясся на подоконнике:

— Бубен ищите, бубен...

Бросились джигиты по углам искать бубен, а никто не знает, какой у русских бубен...

Принес один ковш большой и тяжелый.

— Ладно,— сказал Апо.— Клади богов в мешки, поедем к священному камню Копай...

В ауле, в становище байговом, в белокошемной и широкой, как казачьи стога, юрте бая Тертеня пьют кумыс русские офицеры.

Подбежал мальчик, у куч кизяка встретил шамана.

— В ауле русские чиновники с золотыми тарелками на плечах...

Сказал Апо:

— Собирайте народ. Дайте русским чиновникам мяса и кумыса и хорошего рассказчика — русские любят слушать.

— Эй, эый, Апо,— сказал Алимхан,— русский офицер здесь, хочет на байге джигитов сбирать!

Отвечал Апо, всем шаманам шаман:

— Не будет джигитов сбирать. Привезли новых богов, новые боги что-нибудь выдумают.

Сбирались киргизы к юрте шамана.

Били плетьми лошадей, чтоб метались они. Пускали жеребцов к кобылицам, чтоб ржали они. Тянули за арканы телят к матерям.

Спрашивал офицер Миронов:

— Что за шум в ауле?

Отвечали люди:

— Киргизы радуются, выбирают лошадей, хочут с чиновниками вместе воевать.

Спрашивал Миронов:

— Кумыс есть?

Подавали кумыс, и мясо баранье, и баурсаки, и урюк, и кишмиш.

— Кушай, урус,— капитан-начальник...

Сказал Апо:

— Достать зеленые травы, цепкие, как масло, и укутать ими новых богов. И зарезать нового барана. И на камне Копай развести костер.

Поднял ковш — тяжелый, русский бубен, бил в него табызом шаманским. Вокруг костра шел и пел:

— Э-эй!.. Ушел Койонок-дух с Абаканских гор, и пути его занесло снегом. И льды заросли за ним, спит Койонок-дух, не знаю где! Э-эй!..

Стоят вокруг костра блестящие новые боги, держат их киргизы на руках. Потные руки, бешметы потные, аракчины скинули, кричат:

— Помогай, русский бог, помогай!..

Берет кусок мяса шаман Апо, трясет им в дыму — красном и липком, как мясо. В бубен русский бьет, поет:

— Э-эй, русские боги, хорошие боги, помогайте киргизам! У киргизов много скота: баранов, кобылиц... Сколько мы будем жертв приносить, киргизы не скупые!

— Помогайте, боги в тяжелых халатах!..

— У ваших шаманов тяжелые бешметы, прыгают они плохо, мы будем костры вам жечь — полтайги, из священного кедрового дерева. Э-эй!.. Помогайте, боги!

Вынимает книжку из-за пазухи шаман, в дыму ныряет книжка. Бьет в бубен, пляшет шаман, кричит:

— О-о-ё-ё!.. боги русские, веселые, как водка, боги!.. Толстые, скучные слова вас сгоняют, в руке тяжело их держать. Я буду кричать вам слова легкие и приятные, как кумыс!

— Во-от!.. Бросаю плетку твоих шаманов в огонь, я буду говорить с вами ласково — вы боги богатые, у русских избаловались!..

— Надо богов умилостивить, надо богам жертвы!..

Камень Копай над озером — розовый и легкий. Шаман на нем, киргизы на нем. Пляшет шаман, в пене руки.

И боги новые в травах укутаны, на руках трясутся — трусят, тоже в пене розовато-зеленой.

Бьет в бубен шаман, кричит:

— Э-э-эй, отзовитесь, пустите шамана с вами говорить, помогайте!

Бьются в пене сердца, бьются боги, скала, озеро под ней — бьется. Скот в ауле, юрты,— все кричат:

— Помогите-е!!

XXXIV

Рыжебородый Наумыч обивал кошмами верх телеги.

У потухших костров, завернувшись в тулупы, спали мужики. Телеги вздернули оглобли, и в зеленовато-желтом сумраке, казалось, рос по котловине прямоствольный тальник.

А были в котловине пески да прижухлые травы, мелкие, как песок. И еще озеро в камышах и солонцах, похожих на плиты соли.

Пришел с осмотра лагеря Никитин, одна щека была у него перевязана — болели зубы.

Наумыч сказал:

— Привезем мы вас к самой борьбе, скажем для виду-то — болящие, али что... коли спросят.

Никитин спросил:

— Оружие привезли?

Наумыч почесал молотком бок.

— Оружью?.. Ты ведь, баял, не привозить.

— Не нужно.

— Значит, не привезли. Дисциплина! Они тоже понимают!..

Калистрат Ефимыч отозвался с телеги:

— Привезли. Ты ему, Микитин, не верь.

— А ты укажи,— разозленно крикнул Наумыч,— нет, ты укажи, где оно?..

— Найдешь у вас...

— Ну и молчи!.. Раз твое дело молчать! Я штаб, я отвечаю, понял?

Полдень закружился сухой, желтолицый, яркий.

Яркие отделились от юрт офицеры. Загарцевали в лисьих малахаях баи на иноходцах. Гикали джигиты.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Байга!

И, отгибая кошму, как будто радостно отозвался Никитин:

— Байга!

Пески на поляне желтые, как масло. Люди на земле — липкие, блестящие листья. С одной стороны — киргизы, с другой — новоселы.

Желтая шелковая нить песка перед ними. Лошади дышат торопливо. Тяжел, густ человеческий пот. Ржут телеги, ржут люди; вся земля — пески ржут.

Пыль над поляной, над розовым озером.

Подвезли телегу к поляне. Мокрый, с мокрой фуражкой, тискался Наумыч, кричал:

— Не жми! Не жми! Тут болящие-е!..

Хохотали мужики.

Офицер румяноуший выехал на середину поляны и, пригибаясь к луке, говорил, сбивчиво и волнуясь, о дружинах Святого Креста, отрядах Зеленого знамени, о защите отечества.

Вороная лошадь играла мускулами. Наумыч сказал:

— Ладный конь!.. Надо приметить!..

Джигит выехал с бараном через седло и понесся. С гиканьем догоняли и рвали барана джигиты.

— Кто вырвет — выиграл,— сказал Наумыч в телегу.

Густо пахнущей тайгой стояли мужики, и ни один не выбежал на поляну. Только, как ветер листьями, шевелил мчавшийся джигит волосатые веки мужиков.

— Наших нет? Не догоняют? — спросил Никитин.

— Борьбы ждут. Ето все так... зря...

Голоспинные киргизята гнались вперегон на коротконогих лошаденках. Киргизы загикали:

— Ей! Ей!

Но так же, колыхаясь глазами, тесно стояли мужики.

Киргизы взглянули на темные пласты их тел, на неподвижную шерсть бород и, замолчав, сдвинулись.

Пахло кислой кошмой в телеге, глядеть в щель нужно через Никитина. Нельзя было охватить все поле, наполненное людьми.

Калистрат Ефимыч сказал:

— Жарко.

Точно пронизывая кошму длинными коричневыми от табака пальцами, отвечал в щель Никитин:

— Нет. По-моему, прохладно...

Подходили, подъезжали еще.

Не пески, не земля дышит — люди в овчинах, в азямах, на телегах, на лошадях. Гнется, вглубь уходит земля — темнеет. Только блещет над ними озеро, камень — скала священная — Копай.

Говорит аксакалам шаман Апо:

— Душно мне. Все внутри как плесень. Зачем жмутся и молчат русские? Зачем они не веселятся, не играют?

Отвечали аксакалы:

— Ничего. Русские сразу веселиться не умеют. Русские хотят видеть борьбу.

Говорят баи:

— Где батырь Докай? Пусть готовится.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Тяжело тут в телеге-то, парень! Только и видно, что гриву, хвост али спину киргизскую... Надо на волю.

Через кошму кричал рыжебородый Наумыч:

— Ничего. Сиди, штаб. Это не антиресно все, счас бороться будут.

И борода его над телегами — как желтый флаг.

Дышат хлебом — пьяным запахом мужики. Небо хмельное, играет над поляной. Лица хмельные, волосатые, как кустарники.

— Дава-ай!..

— Кузьма-а!..

— Борись, немаканый!

Говорит шаман Апо:

— Сердце у меня бьется, как священный бубен. Не отдадут кабинетские земли русские.

Отвечают джатачники:

— Не надо нам земли. Пусть баи ведут нас в Китай... Не хотим мы воевать!..

Кричат джигиты на иноходцах:

— Докай идет, идет Докай, с русским хочет бороться.

Говорит шаман Апо:

— Подымите меня над арбой — хочу видеть борьбу.

XXXV

Зазвенел холм, что над котловиной. Смотрят — подымаются длинные фургоны, зеленые. Лошади рослые и, взойдя на холм, не шелохнутся. Ждут.

Подмигнул за кошмой Наумыч:

— Немцы-колонисты!..

— Зачем они?

— Они-то, Микитин, очень просто. Приехали, значит, коли кыргызы нас бить будут — наше добро подбирать. Коли мы кыргызов — кыргызское.

Докай-борец, низенький, губы тонкие, как степное озеро, лыс, и во всю голову шрам. Кузьма над ним, как бык над овцой. Вытянул руки, взял за опояску, поднял на руках, потряс и на землю — а-ать!..

Ахнули мужики:

— Э-эх!..

Охнул в телеге Калистрат Ефимыч:

— Та-ак!

Нет, на ногах киргиз. Песок с ичига стряс. Лицо бескровное, желтое. У Кузьмы муть по лицу.

Уперся киргизский борец, заворочался в песке ногами. Забился и вытянулся на его руках в воздухе — Кузьма.

Загикали, засвистели киргизы:

— Солай! Солай!.. Айда, Докай, айда!

Рявкнула земля, запылилась. Пыль-песок на телегу Калистрата Ефимыча.

Нет, на ногах борцы. Опояски не выдержали — лопнули. Надо сменять опояски.

Рванул за опояску Кузьма, забороздил телом киргиз. Потащил его Кузьма, как таволожник из земли.

Не падает киргиз, держится.

Полощутся на поле мужики, густой пылью рев висит:

— Кузьма! Кузя, не выдавай!

— Кузя!.. Голубь!..

Свистят киргизы. Лошади ржут, арбы скрипят.

— Докай!.. Тэ-эк!.. Батырь!

— Айда, Докай!..

В пене, в крови борцы. В пене люди и лошади. В пене земля. Все борется, все гнется, все ломается... Ветер ли, люди ли, тайга ли!..

— Э-эй, Докай!..

— Ге-ей, Кузя!..

И только те — неподвижные, четырехугольные — вдали ждут на холмах, молчат. Немцы.

И еще оторвал от земли Кузьму Докай. И еще понес, тиская мясо и жилы.

Душно в телеге, жарко. Откинул полог Калистрат Ефимыч, в голос поднялся над телегой:

— Ку-узьма!.. Ва-ляй!..

Не слышно его голоса, все орут, землю рвут телеги.

— Ку-узьма-а!..

— Ва-ляй!

И час, и два, и до обеда ходили, тискали землю борцы.

Дышат в один мах — привыкли. Глаз тоже один — мутный, смертоносный. Руки на поясах в тело вросли, опояски кости ломают, ноги землю ломают. Не переломать ей кости, не согнуть землю.

Охрипли от рева киргизы и русские. Отхлынули от борцов.

А они в пыли, в крови и в пене — ходят. Рты не закрываются.

Мечется в телеге Калистрат Ефимыч, за руки, за плечи Никитина хватает.

— Кузя!.. Не выдавай!.. Микитин, ты-то чево? ты-то!..

Темным пламенем горит глаз. Смотрит через борцов, через юрты. Не отвечает Никитин.

— Кузя, ты ево, ты ж!..

Ходят борцы. Весь день ходят. Весь день ревут на лошадях киргизы.

Вечер.

Ушли офицеры — устали. Казаки на конях дремлют.

Солнце — усталый борец — подходит к тайге. Ветер в золотом бешмете несется по котловине, сонный ветер, усталый.

Гикают киргизы, кричат:

— Кончай, Докай, славный батырь, кончай!

Гудят, ревут мужики:

— Буде, Кузя, буде, родной!.. Крой его, стерву!

Обернулся Кузьма и, не шевеля ртом, сказал:

— Си-ча-ас...

Ослабли руки, и дернул от себя тело Докая, а потом грудью — хряс. Как щепа, переломилась пыль над головой, туман розово-золотистый.

Заревели мужики:

— Так ево, та-ак...

Кинулись к песку, пыль сорвалась — опять на земле. А на земле, скрючив руки и запрокинув голову, поборотый Кузьма.

Над ним Докай, оперся в грудь его, подняться сил нет. Пальцы скрючены в опояске.

Гикают радостно киргизы:

— Солай, э-эй!.. Поборол русского! Э-эй!..

К мужикам Наумыч. Борода красная, в крови.

— Кузя-то, парни, отошел!

— С надсады?

— Эх, ты-ы!..— крикнул Наумыч.

И ножом в усталый глаз Докая! По рукояти ползет глаз. По телу Кузьмы пополз Докай на землю.

В лошадях закричали:

— Кро-ой, православные!..

И топот. И рев в топоте, как пыль — алый...

С разбитою головою на арбе киргиз. Юрты в крови.

Небо багрово.

Лошади ржут.

Травы в криках:

— Степша-а!..

— Ре-ежь!..

— Не спрашивай!

— Режь!..

Топор в голову, как в гнилое полено. Аракчин на голове — не расколешь.

— Не бей топором в плечо — в голову бей!

— Офицера-а!.. Офицера!.. В погон ево, стерву, бей в погон!

Ра-аз! Топор по погону! Вместе с плечом погон полощется кровью.

— Получай генеральство!..

Патронов мало — бей кóлом.

— Кабинетскую землю — хочешь?

— Получай!

За юрты прячутся киргизы. За кучи кизяка, в табуны.

— Скотину не трошь!

— Скотина годна!..

В арбах скрипят. Визжат. Бегут по котловине арбы. Бегут киргизы. Как комар от дыма.

Табуны бегут. Никнут в топоте кровавые травы.

— Скотину не пушшай!..

— Ладно-о!..

— Волки задерут!

Киргизы по котловине. Киргизы в камыши.

— В камышах стреляют. Офицер!.. Солдаты!..

— Окопайсь!..

— Микитина сюды, Микитина!..

— Э-э-ой-ой, товарищи!

— Держись!..

Небо на земле. В озеро кровь льет. Кровь вяло пахнет.

Спускаются с холма медленно, неторопливо четырехугольные. Тихо позвякивают фургоны. Они объемистые, они подберут. Немцы.

И еще — степь... Бежит. Пески бегут...

Котловина, лога...

Кошма под ногами. Ноги мнут кошму. Ноги сорвали кошму.

Лошади рвут вожжи. Телега рвет землю.

Синебородый, огромный, мечется в телеге.

— Одно-о, Микитин, землю-ю!.. не дадим!.. Микитин... гони-и!..

Несется синяя телега. На колесах кровь, мясо, пески, травы...

— Гони-и!..

Гонит Калистрат Ефимыч лошадей. В крови гривы. Облака над степью — алые гривы.

— Товарищи-и!.. Тише, товарищи!..

— Гони, Наумыч, бей!

Камыши стреляют. Озеро стреляет. Над озером плачутся утки.

Руки Калистрата Ефимыча на топоре.

— Гони!..

— Землю тебе-е?..

— Кузьку-то... Кузьку!..

За телегами — телеги, телеги... Лошади... Винтовки... Пулемет...

— Зачем оружие? Как смели применить оружие? — спрашивает Никитин.

Камыши горят. Стреляют. Телеги ломаются на телах убитых, как на корнях.

Седла на земле. Кошмы.

Турсуки, овцы блеют, напуганы...

— Бе-ей!..

— Микитин, к камышам тебя. Микитин!..

По юртам телеги. Грохочут. Небо грохочет, ветер грохочет.

Камыши горят. Кровью горят бороды.

— Выживем.

— Выйдут!

Травы горят. Небо в дыму.

— Траву!..

— Не уйдешь!..

— Микитин!..

— Ми-ки-и-тин!..

Гарь в земле. Бегут киргизы, бегут. По котловинам, в степи...

— Бисмилля!.. Бисмилля!.. Уй-бой!..

— Карагым!.. Ченымау!..

— Бей!..

— Крой на мою голову!..

Из камышей с поднятыми руками офицер и солдаты. В камышах — дым, треск.

К озеру на телеге Никитин:

— Товарищи, не трогай-й!..

Офицер впереди, этот офицер впереди всегда. Раз ты впереди — получай, поручик Миронов!

— Бра-атцы!..

Топором в рот. На топоре зубы. На земле офицер.

— Чужие земли раздавать?..

На документе — поручик Миронов. И еще — в кобуре наган. Сгодится.

Никитин на телеге.

— Расстрелять!.. Самоуправство! Кто тут посмел?

Нет никого. Степь. По степи киргизы. Киргизов надо догонять.

На коленях солдаты. Руки кверху.

— Э-ей!.. Конвой!..

Какие конвои! Степь горит. Камыши горят. Треск на небе. Облака горят.

На топоре рука...

— Кро-ой...

Эй, земля хмельная, убийца! Лошади хмельно мечутся. Давай лошадь! Не эту, так другую!

— Куда, Ефимыч?

— Поеду! Все равно.

Конечно, все равно: раз небо горит. Раз озеро горит. Раз земля горит. Раз сердце земное...

Лошадь боится синебородого — несет. Топор за поясом, лошадь за поясом.

Все равно.

Медленно, спокойно шли длинные фургоны по следам. Лежали там ровно сложенные кошмы, меха, седла. Гнали четырехугольные, крепкие и немногословные люди крепкие стада: лошадей, овец. Медленно, неторопливо. Ночь длинная — зачем уставать? Волки огня боятся. Торопиться не стоит. Немцы.

XXXVI

Заперли шамана в загон. Подох в загоне теленок, выволокли его на назьмы, за заимку, волкам и собакам. Вместо теленка — шамана.

— Пленный,— сказали.

И поставили часового.

Стоит часовой, штыком глиняную стену царапает — скучно. Пошел за табаком и не вернулся.

Забыли шамана.

Снег дул тонкий и голубой. Земля была тонкая, голубая и веселая.

Жарко шаману, халат расстегнут, бегает по загону, по подмерзшему назьму.

Эх, сильно бьют русские, много крови выпустили русские, поди так целые озера. И боги русские не помогли. Сжечь надо плосколицых, темных.

В щели дует голубой снег. Щель голубая, а в загоне темно, как за пазухой.

Кровь у шамана Апо на затылке, жарко затылку, точно горячая лепешка приложена.

Ноги болят, голова болит, богов нету.

Бубна нету, да и зачем шаману камлать, когда боги убежали, как листья от снега. Не призовешь богов. А без богов — как без кумыса.

Бегает загоном шаман. Часовой обедает, затем табак крошит на трубку.

Жарко шаману, будто лисице в гоне.

Встал на колени, запел:

— Ушел дух Койонок на Абаканские горы, ушел и не вернется! Потерял конь узду, не вернется!.. Душа твоя, как белки Абаканские,— не растают!.. Койонок, Койонок!..

Голубой снег падает. Голубые деревья растут.

Вскочил шаман. Заплясал шаман. Завыл шаман. По всей заимке — как десять троек промчалось.

Бегут русские, спешат к загону.

Заметили духи шамана. Увидал их, полетел над тайгой шаман Апо.

— А-а-а?.. Поймал глазами моими, поймал, где духи были! Когда киргизов русские убивали — вы каким мясом обжирались? Зачем сейчас шаману явились? А-а-а!..

Пляшет в священной пене шаман. Руками бьет — нет бубна. Тело содрогается, потрясает, нет на теле бубенцов, нет на теле железа, нет плети.

— Бить буду! Железом гонять буду!..

Нечем бить — нет железа, нет плети. Улетают духи на малиновогривых конях.

Русские у двери хохочут широко:

— Завертелся!..

— Орет-то, как бугай весной!..

— А нос-то в пене!

— Во-от лешак!..

На плечах у русских снег, шапки снежные, широкие. И голоса как таежные сугробы. И лохматы из собачьих шкур дохи.

— Спятил!..

— Каюк!..

— Получил кабинетские земли?

— Захотели, собаки?

— Земель всем!.. С большаками воевать!

И камлал до вечера шаман — до вечера хохотали

мужики. Приходили и уходили, а смех метался у дверей плотно и неустанно, как снег.

Вечером ушли: привезли в заимку пойманных офицеров. Было их пятеро. Все без погон, без шапок. Уши у них отморожены.

Один молоденький, прижимая руки к ушам, плакал и кричал:

— Граждане! Мы же сочувствуем!.. мы вполне... случайно!..

Рыжебородый Наумыч орал:

— Верна!.. Усе вы, стервы, сочувствуете, усе! Бить вас, стервей поганых!..

В избе заседал штаб. Ревели на улице полозья. Никитин верхом объезжал отряды, а за ним мальчонка охлябью догонял и кричал:

— Дяденька Микитин, у штабу старики просют! Дяденька!

Было мальчонке весело, свистал он, колотил лошадь кнутом по ушам.

Старик с тающими глазами и с бородой, похожей на ком грязи, сказал:

— Делов многа... Атамановцы с города наступают... Пять волостей соединилось, к нам идут. Чево тут на офицеров смотреть?

— Опять народ требует, народу надо!

Штаб вынес постановление: «Расстрелять».

Офицеров повели в тайгу. Торопливо, не оглядываясь, увязая в снегу, шли офицеры.

Плотно сбившись, с винтовками наперевес, позади мужики.

Гикали мальчонки. Громко кричали мужики. На назьмах, поджав хвосты, рвали труп теленка тощие собаки.

У самой опушки заметили на дороге к тайге мчащуюся кошеву.

— Ефимыч! — крикнул мальчонка.

И, перебивая друг друга, радостно отозвались мужики.

— Листрат Ефимыч! Едет!..

— Смолин!.. Едет!

Тряслись по кошеве алые, зеленые ковры.

Звенели бубенцами пенногривые лошади, и снег был над ними, под ними — атласно-голубой.

— Ефимыч!

— Батюшка!

И один из мужиков радостно крикнул офицерам:

— Бяги! Некогда с вами тут!

Офицеры, пригибаясь, царапая руками снег, побежали.
Мужики выстрелили. Офицеры осели в снег.

Махая винтовками, с гиканьем понеслись мужики к кошеве. Шарахнулись лошади, фыркнули и, изгибая в дугу потное тело, свернули и помчали кошеву сугробами.

Поднялся в кошеве Калистрат Ефимыч в бараньем черном тулупе. Махая шапкой, кричал:

— Шеснадцать волостей. Шеснадцать, хрещены, за Советску власть!

Жарко и душно в штабе. Пахнет овчинами, сосновыми дровами.

Распахнув тулуп, в полушубке, затянутом зеленой опояской, в красных пимах-валенках, густо говорит Калистрат Ефимыч:

— На съезду Советов шестнадцать волостей, одна не хочет — расстрелять приказал усю.

Никитин вскочил:

— Прошу слова!.. Не уполномачивал!

Закричали со двора мужики:

— Обождь, Микитин, обождь! Дай Листрату!

— Дуй, Листрат, правильно!..

Широкий, как стол, тулуп. Воротник курчавый, мокрый, борода синяя оттаивает — каплет.

— Усех делегатов расстреляли — не дерзай, коли всем миром идем.

— Пра-авильна!..

— Не лезь!..

— Атамановцы с городов идут. Полки! Тьма тьмущая, надо и нам сбирать. У те как, Микитин, сбираешь?

— Побьем!

— Крой!

— Усех порежем!

Злятся, трясутся стены избы. Земля на дворе обжигает черные зубы, люди на зубах у ней, как пена.

Гудит, ширится в духоте резкий голос Никитина:

— Товарищи!.. Ячейка протестует!.. Товарищи, надо!..

— Чаво там, Листрат, дуй, бей на нашу голову!!

Мокрый бараний тулуп в дверях. На крыльце. Как бревно — над головами голос:

— Шеснадцать волостей в полку!.. Колчаковскую, значит, армию бить.

— О-о-о!..

— Валяй, Листрат!.. Валяй!..

У ворот в шали и в шубе — женщина. Липнет по во-

ротам бледно-малиновый снег. Комья его, как цветы,— на земле.

— Настасья? — спросил Калистрат Ефимыч.— Аль нет? Тебе чего тут?

Темное, сухое, как старое дерево, лицо. Руки под тулупом шарятся.

Наумыч сказал:

— Гости к тебе, Ефимыч,— Грипина.

Расталкивая снег, мечась телом, закричала Агриппина:

— Антихристы, христопродавцы! Чтоб вам ни дна ни покрышки... провалиться вам в преисподнюю, душегубы! Будь вы прокляты!

Наумыч, махая голицами, смеялся.

— Пойдем в избу,— сказал Калистрат Ефимыч,— нечо улицу срамить.

А в темных сенях зазвенели металлические ее руки.

Взвизгнул Наумыч:

— Листрат, берегись... режет!..

Мяли темноту трое.

Тыкал топор по стене. Темнота вилась и билась в крике бабьем:

— Грех... на душу, владычица Аболатская!.. Душегуба, разбойника!

— Убью!..

...Рыжебородый Наумыч притащил Агриппину к загону, где заперли шамана, втолкнул ее и разозленно сказал:

— Резаться, курва? Мы те научим!

Потрогал труп шамана, перевернул вверх лицом и, сложив ему руки крестом, сказал:

— Поди, какой ни есть, а поп. Царство небесное!

Плакала у кровати Настасья Максимовна. Грудь как сугроб, а глаза — лед ледниковый.

— Решат так тебя, Листратушка. Не один, так другой!.. Кабы не Наумыч, кончила бы она тебя, Грипина-то.

Распуская зеленую опояску, говорил Калистрат Ефимыч:

— Меня кончат не скоро. Я стожильный. У ей, вишь, наши-то полюбовника убили... А может, и я убил?

Помолчал и, ставя пимы на печь, добавил:

— Пришло время — надо убивать пошто-то. А пошто — не знаю... И Микитин не знат. А убивать приходится.

— Кабинетски-то земли отняли?

— Отняли!.. Как же!

— А теперь каки будут отымать?

— Найдется.

Взбивая подушки, сказала Настасья Максимовна:

— Я, Листратушка, мыслю пельмени доспеть и Микитина на пельмени кликнуть. Поди, так и покормить сердечного некому?

— Доспей!

...А в это время у поселка Талицы Власьевская волость давала бой атамановским отрядам.

Бежала у поселка и по долине сизо-бурая лисица — снег густой.

XXXVII

Бежал по земле снег, густой, сизо-бурый — лисица Обдорских тундр.

Били атамановцы из пулеметов, из орудий в повисшую над ними ночь. А ночь била в атамановцев — из пулеметов, из пушки древней, что вытащили из музея. Заряжали пушку гвоздями, тащили на лыжах, били в тьму.

Трещит поселок — горят пригоны. Сено вверх — в сизо-бурое небо! Алое сено вниз — в сизо-бурую землю.

Алый огонь поджигает небо — горят избы.

Трещит поселок — горит ветер от поселка, багровый! Люди бегут поселком в багровых рубахах.

— Господи!

— Владычица, спаси и помилуй!

Железо не любит разговора — железо заставляет молчать.

У каждого двора убито по бабе. У каждых ворот по бабе. Нет мужиков — бей баб. Разворочены красные мяса чрева.

Бить кого-нибудь надо.

Бей, жги!

Бей снега, жги небо!

Аспидные пригоны. Алый огонь. Поднял пригоны, потряс над землей, рухнул. Желтые искры по земле, гарь в нос!

Смолистый дым в нос, в глаза! Сизоперый дым в грудь! Кашляют люди, а стреляют.

Из-за каждого угла, из-за каждого сугроба.

На лыжах белые балахоны — как сугробы.

Орут сугробы:

— Крой, паря!

Смолистый дым — как заноза в глазу. А особенно, когда своя изба горит.

Хромой мужик бегает по двору, кричит багровым криком:

— Дарья!.. Фекла!.. Сундуки-то в погреб. Сундуки-то прячь!

Надо же какой-нибудь бабе быть убитой у ворот. Лежит Дарья.

А пулемет за улицей, пулемет на улице. Пулемет в поле.

— Товарищи-и, не поддавайся!

— Прицел шестнадцать-четырнадцать, Кондратьев!..

— Есть!..

У атамановцев черные погоны. У мужиков нет погон. Умирают на веселом, сизо-буром снегу атамановцы и мужики.

Умирай, умирай!

Бей, жги!

Сам Калистрат Ефимыч приедет завтра. За ним шестнадцать волостей идет!.. Бей, не унывай!

Хромоногий Семен на лошади, позади баба. Баба тяжелая, как воз. У лошади хребет тонкий. Лошадь боится пламени, несет, стонет.

Не нужно на лошади по улице — по пригонам — не заметят. Бежит хромоногий по пригонам.

— Митьша, эвот на лошади-то один?

— Один? Двое. Бери на мушку.

Не выдержала лошадь, перегнулся хребет — пала. Нет, это сердце у ней не выдержало — пуля его расщемила. Дерево пуля разорвет — живет дерево, а лошадь не может.

Перегнулся хребет, как сугроб под ногой,— издохла.

А в шубах те, двое, живы. Хромоногий и баба меж суметов ползут.

— Сенюшка, страсти-то какие!

— Молчи ты, сука!

А чего молчать? На улице пулемет. На каждый пулемет — десять убитых, а пулеметов всего — десять. А может, и сто убитых на пулемет?..

Горит двор дедовский, сундуки в нем вековые, сухие, как зимняя хвоя.

А скот забыли. Ревут пригоны. Горит скот — паленой шерстью пахнет. Красно-бронзовые у скота глаза.

Красно-бронзовый ветер в небе хохочет, шипит, свистит.

Смоляной дым — как рана. Смоляной дым хотя и слепые глаза проест.

Проело слепой Устинье глаза, плачет старуха.

— Пожар, что ли, Листратушка, Семушка?

Отвечает багровый ветер с неба, шипом шипит на сизо-бурый снег.

Тычется по двору Устинья — ворота ищет. Не надо ей ворот!

У ворот убита одна баба — больше не надо, у каждых ворот по одной.

Эх, ветер, ветер, пурпурно-бронзовый и тугой!

Заблудилась старуха. Дым гложет глаза. Пламя по седому волосу. Бежать старухе, бежать!

Босиком она. Зима, а тепло. Босиком старуха — в пригон. Развязала ворота, распахнула.

Ага, нашлись люди, догадались выпустить скот! А почему баба на дороге? Скоту нужно бежать из пригона.

Рогами человека, раз не уходишь!

Лежит на горячей, талой земле старуха Устинья, греется, она привыкла на голбчике. А скот рогами в заплоты, скот ревет. Ворот открыть на улицу некому.

Горят ворота. Горит скот. Горит Устинья.

Небо горит, снега горят.

XXXVIII

Эх, и голубые же снега, запашистые!

На бочке верхом ехал заимкой рыжебородый Наумыч. Как в пустую бочку, кричал по дворам:

— Товаришши, спирт отбили.

Липкое желтое пламя от смольевых щеп.

— Пей, товарищи, подходи!

Со смолья багровые капли на снег. Шипит ночь, расползается.

Эх, ковши — не ковши — ведра! Пей!

Смолой пахнет жгучий спирт, разбавляй снегом, чтоб холоднее.

В широкие, как стакан, глотки ныряют жгучие ковши. Пот по волосатому телу. Жарко!

Щепы ветер рвет, пламя над бочкой, над лошадью.

— Эй, кто там еще? Подходи!

Подходят.

Всем умирать, всем пить.

Все пьют.

Пьет Калистрат Ефимыч. Ему ковш эмалированный. Никитину — ковш медный.

— Лопай, еще везут!

Ах, и голубые же снега, голубые! Ах, и звенит же тайга, звенит! Орут громогласные песни:

Эх, распошел ты...
Мой серый конь, пошел!..

На бочке верхом рыжебородый, бьет валенками в бочку, кричит:

— Подходи!

Бабы с ковшами из шалашей, бабы с котелками из землянок, ребятишки голобрюхие — с чашками.

— Пей!

А потом с горы, с яру, катались на шкурах, на кожах.

Вся заимка Лисья катается, гуляет.

Гуляют, пьянствуют Тарбагатайские горы!

Снег над шкурами клубом. Гора клубом. Небо клубом.

— О-о-ох!..

Голова кругом, колесом, летят, шипят, сшибаются шкуры.

На горе три сосны сухостойных подожгли. На горе пламя. Все под горой, как от щепы, видно. Полыхает гора.

— Садись, Микитин!

Ледяная гора разукатистая. Ледяное небо катится. А по небу луна тоже с гор на шкурах несется.

— Садись! Э-э-э-х, ты-ы!..

Бабы визжат. Баб, когда катаешь, обнимать надо. Как снег под полозьями, визжат бабы.

Голубые бабы, мягкие!

А в штабе курчавый играет на гармошке. Курчавые все и всегда — гармонисты.

Шлюссер-мадьяр и Микеш-серб с девками кадриль ведут.

У дверей парни семечки щелкают.

Мороз щелкает избы, как семечки.

Подошел парень к бочке, сказал Наумычу:

— Девка-то та, в загоне, замерзла.

Поднял кружку со спиртом рыжебородый.

— Пей! Какая девка? Гриппина-то, што ль? Пушшай! Царство небесно!

Выпил парень, пошел. Крикнул рыжебородый:

— Ты старику не говори, скажем — убегла!.. А ты как туда попал? Кралю повел, что ли?

Хохочет парень.

Кошеву в коврах привезли. В кошеве Калистрат Ефимыч, Настасья Максимовна, Никитин.

Парни по краям. На задках парни. Смольевые щепы в руках горят. Желто-багровый огонь, веселый.

Летит кошева под гору — голубой и желтый клуб.

Смолистый дым, веселый. Смолистый дым — как спирт.

— Э-эй!.. Сторонись, тулупы!..

Вся душа в снегу, все небо в снегу — голубом и мягком.

...Здорово!..

XXXIX

Снега мои ясные — утренний глаз олений! Вся долина, вся земля — белки Тарбагатайские.

И медведь лохмокосый в берлоге, и красный волк на скалах, и лисица по хребту сугроба — ждут.

Ой, не скрипи, железо, по дороге, не вой за сугробом, волк,— сердце мое, как пурговая туча — по всему небу, по всей земле!..

Лиственницы бьются — не хотят на плечи снега. А снег на них бледно-зеленый, а хвоя бронзовая.

А ветер золотисто-лазурный в хвою уткнулся, бороду чешет.

Эх, снега мои ясные, утренний глаз олений,— ждите.

...Снега шли на запад, тащили за собою морозы.

Мужики шли на запад.

Из тайги — к городам. Из гор — к городам.

Расступитесь, снега, разомкнитесь — голубое, золотое кольцо свадебное!

Сшибаются розвальни на раскатах. Закуржавели лошади. Сшибаются закуржавелые бороды.

— Е-е-ей!..

— Ей!..

От поселка к поселку метет пурговое помело, метет. Лыжи по насту — как снежные струйки. В рукавицах топоры, винтовки, на розвальнях пулеметы.

Холодный ствол,— убьешь троих — нагреется. Руки отойдут. Душа людская отойдет — вверх.

Гонит землистоглазый старик обоз пустых подвод.

— Куды? — спрашивают.

— В городах-то возьмем!.. Бают, имущество раздавать будут!..

Хохочут старики. Все зимой старики, у самой земли — седая борода.

Города замыкаются в железо. Двери на железо — болты. Штыки за городом — болты.

— Кро-ой!..

Над тайгой зарево. Над городами таежные сполохи.

Не сиянье полярное — тайга горит. Не на льдинах белые медведи — мужики-лыжники, душегубы-охотники.

Эх, и голубые же снега, голубые, запашистые.

Нет, я иду, иду в снегах, пошел!

Любовь моя, радость неутомимая!

Эх, душа моя — кошева на повороте! А ковры туркестанские — губы.

Ковры снега мутят. Кошева на раскате. На пятнадцать верст лошадиный храп!

Так любите, люди, так!..

Плескалась по горнице мокрыми коричневыми ладонями бабка-повитуха Терентьевна. И вытаскивала из углов одной ей ведомые тряпицы.

Велеречит слова, ей нужные:

— А ты, муженек, в передний угол иди, крестись, чтоб лбу больно было... Роды тоды будут легки, как пух.

Стонала Настасья Максимовна.

Жарко в горнице, как в бане, а выскочить нельзя.

— Мамонька-а!.. Темечко-о!.. Бабонька! Бо-ольно!

Оловянный у старухи глаз, бельмовый, наводит его на роженицу.

— Кричи швырче — пройдет!.. Я как рожала-то, чуть потолок криком не разорвала. Кричи!

Вышел ребенок. Будто перенявши у матери крик, полетел им по комнатам, криком тонким и белым:

— Ы-ы-и-и-и!..

— Уйди, Листрат, на двор пойди, передохни. А как в грудях заноет — приди. Исстари так!

Юбка у Терентьевны — как стог, а голос — травинка.

— Крепка у те баба-то, будто блин съесть, родила.

В воротах мечется зеленый тулуп, шапка под тулупом высокая — колокольня. А голос двери шевелит:

— К тебе, ча-адо, Калистра-ат Ефимыч!.. Грехами и муками!..

Пробил тулупом сугроб в воротах, рукавами трясет.

— Страданьями и наказаньями в логово разбойничье принесло меня!

Растет из воротника зеленый попов волос, сел на приступочку, вздохнул:

— Аки сына блудного в дом не пускаешь?

— Баба рожат, отец Сидор.

Запахнул поп Исидор тулуп, снег стряхнул.

— Тогда сам не пойду!.. Талицу-то спалили, слышал?

— Знаю. Семена не видал?

— Не видал, чадо. Може, убили, а може, сам убился. Мне-то куда? Церковь сожгли, ульи у меня сгорели... Думал, на заимке-то ограбят, домой привез... Мед-то горел — за-апах... чисто поляна...

— Все сгорело?

— Как бумага, и золы нету. В город мне бежать нельзя.

— А ты беги.

— Скажут — беженец. Деревенски мужики поймают, повесят. У вас тут места не найдется?

— Живи.

— Не служите?

— Чево?

— Обедню, скажем, вечерю. Аль требы каки?

— Не надо.

— Ну-у!.. Поди, и дите крестить не будешь?

— Буду.

— Закон!.. А жалованье как? Не полагается, поди, уставов нету... Я и на доходах могу!..

— Живи.

— А как церкви думаете строить? Поди, так и отменят стройки. Стары-то сгорят...

Ходил поп Исидор по заимке день и два.

Гнали табуны, пойманные на еланях. Шел скот худой, одичалый, на людей смотрел, как на волков. А погонщики были тоже тощие, как волки весной.

Крестился под тулупом поп Исидор, прижимался к амбарам и был весь точно копна старого мха.

Уходил в землянку, зажигал жирницу и читал, не глядя в листы, требник. Голос у него был как у поднявшегося роя пчел.

А волости требовали людей из штаба. Никитин словно прирос к столу, и, глядя на него, казалось восстание — ворохом бумаг, поднятых ветром.

— Поезжай,— говорил он Калистрату Ефимычу.— Я здесь. Я вижу...

Неслась оснеженными полями алая ковровая кошева.

От темных изб не отчищали снега,— чтоб не заметно поселков. И были поселки как сугробы, а дороги как звериные тропы. Спал в логовах медведь, спали горы. В избах — сонные, мягкие лица.

Много было в этом году ребят, и все ребятишки не были такими, как Васька, Листратов Васька.

А Васька, мигая теплым личиком, похожим на розовую каплю, соеал большие и круглые груди.

И небо сосало из белой зимней груди голубой дым. Говорил попу Исидору Калистрат Ефимыч:

— Оглянуться некогда, несет, как лист в бурю.

Густо овчинами вздыхал поп:

— Куда бы мне уйти, чтоб пчел водить можно было?..

XL

С бубенцами пронесся рыжебородый Наумыч. Вбежал в присутствие — борода плавит снег, глаза плавят куржак на бровях.

— Листрат Ефимыч, сына твово Семена пымали с белыми.

— Иде?

— Под Воробьевской в роте ефрейтовал. Как есь весь наш отряд постановил: убили твово сына, Митрия, кончили, назначить в вознагражденье Семена командером сводкова отряда.

— Ну и ладно!

— Надо тебе ево?

— Семена-то? Не надо,— ответил Калистрат Ефимыч.

Сел в кошеву Калистрат Ефимыч, взглянул на солнце — молодое, играет.

Идут селом обозы, а людей в обозах не видно. Пригляделся — лежат в санях, будто все время от пуль берегутся.

— Куда?

— На спокойную землю.

Захохотал рыжебородый.

— Коней загоните, не найдете!

Молчат сани. Скрипит на полозьях молодое солнце. Темно-синие проруби чистит пешней киргиз. Пахнет дорогой, назьмами.

Сказал Калистрат Ефимыч:

— Зима-то какова? а?..

Расстегнул шубу Наумыч, трубку достал. Кони несут, довольные.

— Зима чешет почем зря! Однако белых утурили мы далеко. Поди, так март идет,— месяца-то, бают, отменены...

Обогнала кошева обозы, идущие на спокойную землю.

Лежали в санях люди, похожие на трупы, а ребра у лошадей торчали в шерсти, как прутья.

Розоватые и теплые, как тело ребенка, лежали снега.

Горевала у люльки Настасья Максимовна:

— Докудова жить-то тут будем?.. Сердце — и то все в золе! Не шевельнуться, не повернуться... только и знают — народ бить.

— Обожди.

Разбросил свивальники Васька, бьется в люльке, кверху ползет.

Смотрел на него Калистрат Ефимыч, долго смотрел. Вышел на крыльцо.

Сутулый парень с ведром клейстера лепил на амбар бумаги.

— Чево ты? — спросил Калистрат Ефимыч.

Парень поставил ведро и, обтирая руки о валенки, торопливо ответил:

— Муки полно ведро завел, а приказы лепить некуда... На кедры, что ли, в тайгу?

Остановил проходивший обоз и лепил приказы на сундуки. Мужики тоскливо глядели на парня и, отъехав за амбар, соскабливали кнутовищем бумагу.

«По приказу ревштаба... первой армии... мобилизация...»

Пощупал мокрый лоб Калистрат Ефимыч, шапку на затылок передвинул.

— Теплынь!

Хрупко ржали на пригонах лошади.

Таяли снега, таяли. Рождалась розовая земля. Телесного цвета, пухлые, как младенцы, бежали на облака горы.

Уходил в леса Калистрат Ефимыч. Искали его штабники — не находили. А нарочные привозили бумаги. Востроносый, как в гагьём гнезде, сидел за столом Никитин.

Сухое, как береста, сердце Калистрата Ефимыча. Сухое и жмется от дум, как береста от жара... Ноет душа, по лесам бредет.

Встретил рыжебородого Наумыча на опушке. Махал топором, как рукавицами, по деревьям зарубы.

— Куда, на каки дела?

Засунул топор за опояску. Бороду широкую, острую, как топор,— за ворот.

— Выбираю, Ефимыч, сутунки под новую избу... Намечаю. Спалено все.

— Спалено!..— отозвался глухо Калистрат Ефимыч.

А дальше — запружали мужики горную речушку Борель. Незамерзающая она, девственница. Наваливают поперек камни, хлещет холодная волна.

Кричат мужики:

— Помогай, Ефимыч!

— Запрудим да пустим!.. Лети!..

Рассказывает Наумыч, пальцем по топору звенит:

— Мается люд. Для близиру хоть пруд гонит. Душа мутится с войны. Робить...

Сосны одни да Калистрат Ефимыч с ними. Кричат над тайгой птицы, с юга возвращаются.

Отзываются, свистят им сосны. Тающей таежной прелью пышет. И как осиновая кора — бледно-зеленое небо гнется...

Дышать тут Калистрату глубоко и быстро, как полету горных рек.

Только на елани густо, перекатисто ревет.

— Видмедь встал? — сказал тоскливо Калистрат Ефимыч.— Не должен бы... рази потревожили?

Среди елани костер. Дым аспидный, жаркий, в кедрах мнется. А вокруг костра — поп Исидор в облачении, с кадилом.

Машет кадилом, поет:

— «Еще помолимся!.. преосвященнейшему нашему...»

Обождал Калистрат Ефимыч. Не перестает петь поп Исидор.

Отломил сук, кинул.

Поп выпустил кадило, на пень сел.

— Молишься? — подходя, спросил Калистрат Ефимыч.

Выкинул угли из кадила поп. Дунул, разогнал ладан.

— Молюсь, чадо-о!.. Как потерял я церковь — молиться мне хочется, а мужики-то хохочут... не признают.

— Не молятся?

— Не зовут!.. У меня душа треснула, будто молоньей раскололо. И, как бурелом, деревья гнуло, заносило их поляной. Одного синебородого в желтом овчиннике, а другого зелено-лохматого в парчовом зеленом одеянии.

Шептал поп торопливо и напуганно:

— Мозг-то у меня, мозг — жижа осенняя! Ничего не пойму! Огни вокруг и — вдруг, чадо, тьма. И ангел некий с мечом над тайгой, одеяние у него — ризы!..

— А куда идти нужно, поп? Веру я, думал, поймал, как за кыргызами гнался... Сердце в крови горело —

бей!.. За пашню зубом по кишкам рвал. Сердце-то, как ягода спелая, думал, ветром этим сорвет, опадет, буду я покоен... как Микитин!.. Нету спокоя, ну?..

Гремит по парче кадило. Пахнет парча ладаном. Смотрит с кедра белка, хвостом морду закрывает, хохочет. И на хвое снежный беличий хвост.

— Микитин-то — сталь, боюсь я ево, чадо! Убьет, как мороз пчелу... Куда мне!..

— Куда, поп? Ты учился, как человеку страдать надо, чтобы пути нашел. Тает у меня душа, оголяется...

— Земля, чадо, обнажается, земля рождает!.. А я-то, как семя бесплодное, испорченное...— Затряс епитрахилью, волос над ризой, как зеленая пена.— Какому святому молебен служить?.. Выдумай хоть ты святова, отслужу... Али тебе, Калистрату-мученику, служить? — Захохотал широко поп, кадило в карман засовывая.— Ты сам скоро молиться будешь. Какую веру удумал? Зря ты из Талицы ушел. Зачем уходил? Чево молчишь, предатель, Иуда?..

Пряча парчовую ризу в кусты, таскал на нее хвою. Жаловался дорогою до заимки:

— Попадью потерял!.. Хозяйственная попадья была... Как начали обстреливать, понесла лошадь в санях ее, так и унесла. Пожалуй, и сейчас несет... Дикая лошадь.

— Тяжело нести — остановит.

— Возможно, чадо. Трупик попадьин из-под снега оттаивает, возможно. Поставить бы хоть крест, где храм-то был.

— Куда?

— В Талице. Все-таки молились.

— На людей не хватает, а ты церковь...

И мутным глазом испуганно глядя на амбар, сказал поп Исидор:

— Мне-то, как убьют, поставь крест, пожалуйста. Да чтоб покрепче... Раньше-то нас в оградке хоронили... церковных.

Из-за амбара шел Никитин. Был он все в той же зеленоватой шинели, только на шапке цвела алая в ладонь звезда.

— Пропагандируешь, Сидор? — устало спросил он.— Валяй! Выгнать бы — мужики не хотят.

И, как стог от спички, в огне загорелся и залепетал поп:

— Грешно над стариками, гражданин Микитин!.. Я и то без семьи.

Никитин, протягивая бумагу, сказал:

— Поезжай, Ефимыч, в Сергинскую волость. Ревком просит. Любят тебя мужики, а за что?.. Тут мандат.

Достал из кармана черный камешек. Всплыла неподвижная ухмылка.

— Пласты нашел. Уголь каменный. Слышал?

— Бают, жгут. Горюч камень, выходит. Куды ево? Здесь лес вольный — жги. Угар, бают, с камня-то?..

Дробя камень пальцами, смятым, ласковым голосом говорил Никитин:

— Руды — хребты. Угля — горы. Понимаешь, старик? Заводов-то! А сейчас мастерскую. Город возьмем...

— Ты-то?..

— Я.

— За-во-ды! А где ты ране был?

Сунул бумажку в руку Никитина, пошел.

— Не поеду. Без меня люду много.

Вынесся из-за угла поп, спросил торопливо:

— Про меня не говорил?

Поймал его взгляд, тоскливый и ясный, отвел глаза.

— Говорил. Надо, грит, женить попа.

— Жени-ить?..

Взмахнул широкими рукавами поп.

— В Китай, што ли, мне скрыться?..

Волокла тощая грязная собака лошадиную ляжку, Захотел Калистрат Ефимыч кинуть камнем, нагнулся — камень легкий, как снег. А на вид — три пуда. И телом вдруг ощутил силу в руках — тугую, неуемную.

Поднял камень, еще один. Донес до ворот. Обождал. Взял и отнес обратно.

Потный, алый, как свежепеченый хлеб, вернулся домой. Хлебал радостно, быстро жирные, желтые щи.

Говорила Настасья Максимовна о ребенке:

— Подрастет, учить будешь?

— Сам научится.

Из-за стола к печи плечом попробовал:

— Повалить можно?

Улыбнулась Настасья Максимовна:

— Повалить все можно, Листратушка!

Шло от него тепло.

Теплые сапфирно-золотистые таяли снега.

Малиновые летели с юга утки.

На земле — тепло.

XLI

Было так.

Земля мычит, течет слюна — жует снега земля. Дышит в сердце человечье запахами вечными, нерукотворными.

Осилишь ли, человек?

Не осилишь!

Плечи как взбороненная земля. Грудь как стога свежие. Голос в лугах теряется.

— Листратушка... полосонька сердешная...

Голос у ней — травы весенние. Растет тревогой на душе.

Ветер зеленый плодороден и светел. Здрав будь, сладок!..

К себе землю, колебли ее и жми! Семя принесет тяжелое и розовое.

Месяц как охапка сена, подброшенная на вилы.

Не осилишь! Души не сожжешь.

Распустилось сердце, как весной снега.

Вышел на сход, поклонился Калистрат Ефимыч. Просил долго:

— Пусти, мир. На пашню...

Зеленый мир гудит. Гул оградой, скот на пригонах тревожит, ревет скот — на травы просится.

Ревет мир, не соглашается:

— Сиди!.. Надо... тебя... Сиди...

Надо человека миру. Надо и пашне человека.

Мир ревет, не соглашается:

— Этак мы все! Этак сбежим... бросим!..

Мягкие и гладкие губы у Настасьи Максимовны. Голос тревожен, разутый.

— Не держите, родимые, не майте!.. Всю жись покою не было, а может, сто лет воевать!..

Хохот, как телеги сшиблись.

Дегтем мужики пахнут. Дегтярная в небе туча. Дышат лица — пятна — пятнами земляными.

Запахи земляные, извечные. Непереносные.

Не осилишь, не выпьешь!

Покинь деревянную нору, иди к травам.

Медведь из берлоги выехал. На мохнатой шерсти — хвоя. Ревет — скалы гнутся.

Сердце из берлоги вышло. Тело мягкое, теплое, поддающееся — прижми. Земля оно, пашня.

Согласно кричат:

— Тебя, Листрат, батюшка, первова! Иди!

— Блины ись придем!

— Сей!..

Завалены кедрами тропы к Талице. Дорога в сучьях — не ездят, не идут.

Был поселок — зола. Пригоны — зола, персть и гниль. Нету Талицы. Золы, пни.

И где церковь была на холмике — крест двухсаженный, осьмиконечный. Кто его воздвиг? Поп лохматый, лесной Исидор, в каталажке.

— Пока не спокоится народ. Не тревожит пусть, не брешет.

Так сказал мир. Сидит поп Исидор, ждет, когда спокоится. Раскоряживай дороги, разметывай кедры — земли потные, земли как губы — здесь!

Трое людей. Три лошади. Три коровы!

Лилово-зеленые травы рождаются. Крести их плугом! Блекло-золотистый ветер мечется — кропи его севом!

Рождение твое празднуем, земля, рождение!

И кабан в горах роет землю. Горы роют облака — клыки у гор белые. И реки, зажмурив глаза, несутся с гор — рвут зубами пенными землю.

Обнимите дожди поля — и радуйтесь!

XLII

Вот горсть земли моей — цветет! И зрачки мои — комья земные, в травах!

Шагом легким, звериным обойду я землю и возвращусь туда, откуда пришел.

Ветер я, пыль золотая, гам зеленый, горный!

Верьте!..

Харьюз-рыба мечет икру, несется сердцем, изгибаясь против струи. И усталую родительницу уносит струя в озеро, обратно...

А в затонах песчано-клыкастый медведь гребет ее лапой на берег...

Когти мои сколько рыб выкинули на берег?

Медведь обнимал меня за плечи, помогал.

Когти мои — кедры!

Рыбы мои — облака!

А любовь моя, любовь спелая — люди, ясноголосые лебеди!

Так, горсть земли! Цветы! Оттого, что зрачки твои — комья земли, опутанные травами.

XLIII

Подымал Калистрат Ефимыч талицкую пашню.

Подъехал к борозде культяпый Павел. Стремена к луке, руки в бороденке и сам, как коряжина,— рваный и темный.

Говорит, к гриве склоняясь:

— Осенью-то в Сергинской битва была... Полем шли, позиция правильная. Однако свернули в лес.

— Пошто?

— Хлеба, грит, обобьем. Хлебов пожалели. А в лесу-то их всех перебили. Так нельзя.

— Чево?

— Народ не жалеют...

Прятал в лошадиную гриву слова тоскливые, как ветер, обивающий зерно:

— Может, и я хотел бы робить с тобой, кабы не свалились от цинги мои ноги...

— Баял иначе?

— У меня все иначе. Сам я инакий человек. Прилепили меня к восстанью, а чево я там маюсь?

— Свое место найдешь.

Пахнет плуг краской, новый плуг — мужики из города привезли. Лошадь веселым глазом поводит, а в глазу — березняк, мокрый, потный, культяпый Павел и синебородый Калистрат Ефимыч.

Говорит Павел:

— Избу рубить будешь?

— Буду.

— Позову я тебе Алимхана. Магарыч поставь. Бают — идут к тебе на Талицу строиться мужики... Одному туго.

— Пусть.

— Я и то — пусть... Микитину кланяться?

Развязал мешок Калистрат Ефимыч, ковригу достал. Голосом низким, протяжным, точно межа, ответил:

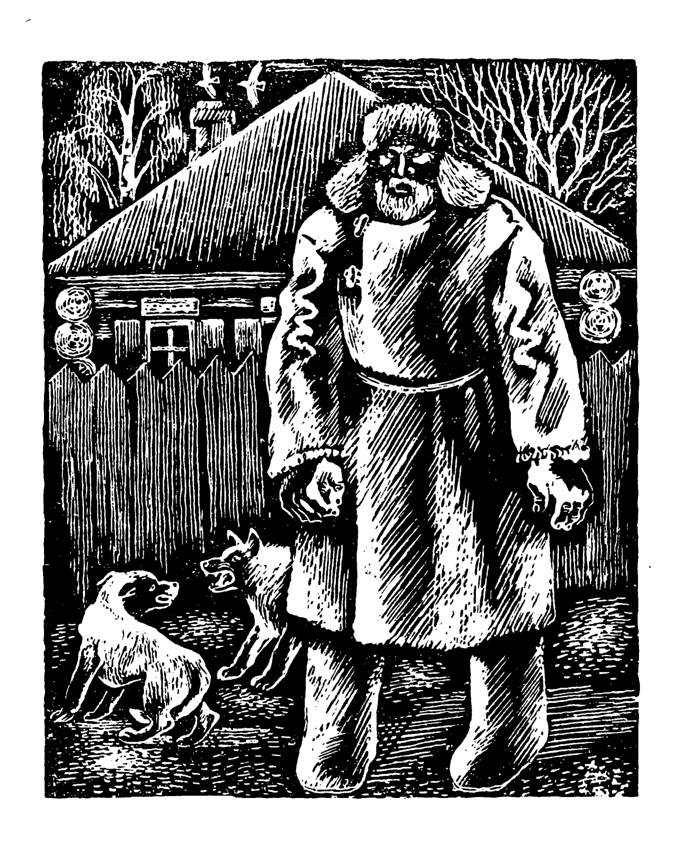
— Микитину-то?.. Скажи...

Отрезал ломоть, посыпал плотно хрупкой, синеватой солью. Медленно, как лошадь, жуя, проговорил что-то неясное...

Из мешка густо пахнуло на Павла хлебом...

1922

РАССКАЗЫ



ЧУДЕСНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ПОРТНОГО ФОКИНА

1

Город Павлодар и его окрестности, кроме мельниц

О городе Павлодаре я упоминал, наверное, тысячу раз. Мне не стыдно еще раз напомнить.

Там главное — пески, и не поймешь: на небе, на земле ли облака, и среди облаков (а они часто походят на деревянные домишки), среди облаков, государи мои,— тюрьма! Всю Расею-матушку, каторжную и бунтующую, прогнали через эту тюрьму на сибирские кровососные каторги.

Впрочем, портной Фокин о тюрьме не думал, да и какой веселый человек думает о тюрьме? Веселый человек не думает также о каменных домах, если даже и во всем его родном городе был один каменный дом, к тому же необычно названный тюрьмой, «банкой».

Портной Фокин сидел все время смирно. Был он сутул, как павлодарские заборы, криворук и на один глаз косил, да и все в нем было на один бок, так что удивлялись наши павлодарские комиссары. «И откуда у него такая достоверность в игле?!»

И вот накануне вербного воскресенья сидит Фокин, Иван Петрович, у себя на верстаке, хозяйка квартирная вербы ему принесла, рыбой праздничной пахнет, а на верстаке и на стульях френчи накроены, неимоверное количество френчей. Со всего уезда, а может, со всего Семипалатинского округа заказывали Фокину френчи.

Смотрит Фокин на френчи эти и говорит хозяйке:

— А как вы полагаете, Гликерия Егоровна, долго мне придется шить френчи?

— А френчи вам, Иван Петрович, я полагаю, шить долго придется, так как война не окончилась.

— Как так, Гликерия Егоровна, война не окончилась? Чай, завтра вербное воскресенье двадцать третьего года, а последними-то кто с нами воевал? Поляки,— это в котором году было? Вон попу, сказывают, какой-то племянник из столицы коробку папиросную прислал, и можно различить на ней гражданские моды...

— Так ведь это картинки, Иван Петрович, а вам-то все заказывают френчи. Кабы война закончилась, зачем бы им заказывать френчи?

Оглянулся Фокин, и точно: вся комната френчами заросла, даже будто дышать трудно.

— А если,— говорит Фокин,— если я, Гликерия Егоровна, френчи шить откажусь?

— Через почему вы это откажетесь, Иван Петрович?

— А через потому, что не хочу я воевать больше, Гликерия Егоровна, через потому, что хочу шить гражданские фасоны.

— Как же, Иван Петрович, воевать вам, когда вы навсегда освобождены по физическим билетам. Шейте с богом, и пускай другие в ваших работах воюют.

— Откажусь я от себя, Гликерия Егоровна, я упорный ведь.

— Насчет упорства не спорю, Иван Петрович, так как за квартиру вы платите аккуратно, а вот как бы вам заказы свои не потерять!

— И потеряю, мне ничего не жалко!

Вскочил Фокин, волос его пестрый, руки его на три пальца одна короче другой, собрал в охапку все френчи, но тут выкатилась со страху из комнаты Гликерия Егоровна, а через пять минут или того меньше знала вся Проломная улица, что пожег непонятный Фокин все френчи даже из лучших материалов.

К вечеру стали собираться со всего города заказчики. На лавочке за воротами сидела Гликерия Егоровна в новом пестротканом платке и каждому в отдельности рассказывала, как портной Иван Петрович вдруг не захотел войны. И жалко, что ли, было заказчикам своего материала, и, боясь увидеть пепел его, не входили они в дом, или достовернейше хотели знать событие, только толпа все увеличивалась, и скоро, по щиколку увязая в песке, вся Проломная улица наполнилась заказчиками.

Даже те, которые пять лет назад променяли шитые Фокиным одежды, которые слабо помнили — у Фокина

они заказывали или у кого другого, и такие, что, возможно, в другом городе встречали похожего портного. И когда лавиной опрокинули Гликерию Егоровну заказчики (песчаная эта лавина чрезвычайно пахла сапогами, крепко промазанными стерляжьим жиром), опрокинули калитку и перед входом стали было голосовать, кто больше всех пострадал и кому входить первому, весело распахнулась обитая войлоком дверь, и Фокин вышел с охапкой френчей.

— Граждане,— сказал он, наступая ногой на охапку френчей.— Граждане Проломной улицы, поднимите Гликерию Егоровну, она ни при чем, я во всем виноват, в чем и каюсь. Тут через тюрьму все граждане прошли, может, и Ленин прошел, которые создали рософесоре и мир народам. Вы же, граждане, продолжаете шить френчи, не переходите на мирное положение, втайне надеясь на войну! А я войны не хочу и вам, мирным людям, френчи шить не буду, я портной статский и жду от вас статских заказов... Возьмите свои материалы, которые даже скроены и начали пошиваться, мне ни ниток, ни работы своей не жалко!..

Первую неделю Фокин придумывал новые статские фасоны, во вторую зарисовывал, а на третью стал ждать заказчиков.

Лужи повысохли, показалась, как первый шов, робкая трава, поднялась выше, распустилась листочками. Гликерия Егоровна просила за квартиру, а заказчиков не было. Пришел вдруг кладбищенский поп и заказал подрясник, а через час вернулся и отобрал материал.

Фокин не спал ночь и только под утро увидал легкодремный сон, который всего страшнее: будто шьет он подрясники на кресты всего кладбища.

Утром спросил хозяйку:

— Не купите ли, Гликерия Егоровна, швейную мою машину фасона Зингер?

— А для чего ж вам продавать ее, Иван Петрович, я с квартирой могу подождать, а вы, может, передумаете.

— Отцы и деды мои видали многое, Гликерия Егоровна, даже одно время жили против теперешней тюрьмы, я человек упорный, я намереваюсь покинуть пределы моей жизни возможно дальше.

— Господь с вами, Иван Петрович, стоит ли обращать примету на кладбищенского попа, когда он пьяница и охальник!

— Не с попа я, а с желания мирного существования,— купите, так как уезжаю я за границу, в неизвестные дебри...

— Да что вы, китайцев не видали, Иван Петрович?

Промолчал Фокин, поглядела на его азартно вспотевший курносый кусочек тела и начала торговаться Гликерия Егоровна.

Устроил духом одним древнюю страннячью котомку Фокин, положил туда иглы, кусок яичного мыла, вздохнул,— потому что ни с одним заказчиком проститься охоты не было, съел на дорогу яйцо и пестрые волосы свои крепко забрал под фуражку.

2

Фокин в дороге и его встреча с паном Матусевичем

А в вагоне, хотя и шел он медленно (был всегда страх Фокина перед коровами и медленностью), испугался вдруг чего-то Фокин. Разговоры идут о человеке, который скупал у всех удостоверения, соскабливал чужие фамилии резинкой и вписывал свою. Большая карьера и большой почет у этого человека были. Всю дорогу почти об этом говорили, и непонятно: от зависти ли пред карьерой или большим количеством мандатов, дающих такое спокойствие человеку.

Мутно стало Фокину — удостоверений нет, паспортишко какой-то завалящий,— спросил о костюмах. Похвалили всю московскую жизнь, а о костюмах ничего сказать не могут, точно ходят там голыми. Только встретил он портняжку на затхлой какой-то станции, в Сибирь тот ехал. Шьют, говорит тот, точно, шьют в Москве статское, однако мало и преимущественно кальсоны, даже поговорка есть — материи в окнах горы, а ходят голы.

В Сибирь еду постольку, поскольку слышал — там на статское много заказчиков, Сибирь — страна хлебная, и мужик там любит, чтоб под мышками не жало!

— Сдурел мужик,— ответил ему со злостью Фокин,— либо френч заказывает, либо на дому самостоятельно шьет, а самостоятельно — черт его знает, что шьет, неизвестно,— может, противогазы...

— Я,— говорит портняжка с радостью,— я могу и френчи, и даже противогазы шить, так как френчи в Москве шьют сами военноученые портные в солдатах.

Огорчился Фокин, а тут за огорчением не заметил — московский вокзал, и суетня такая, точно вся Россия

переселяется. Влезть в такую сумятицу страшно, сам себя потеряешь, притулился в своем вагоне Фокин. А если на границе такой же город, да у поляков встречный городище, с гонору построенный, втрое крупнее,— как тут перейдешь? И в огорчении замолчал Фокин и так молчал до Изяславля, что за городом Минском, на самой польской границе.

А к храбрости Фокина станция Изяславль самая обыденная, даже по российскому обычаю станционный колокол голуби обсидели, и только меж зеленоокольшных пограничников мельтешат мельчайшие людишки.

То есть сначала не поймешь — человек ли, тень ли, или просто телесное воспоминание. Очень неудобно от разговора с таким,— ходил-ходил Фокин, поправлял-поправлял сумку, а если странник сумку поправляет, значит, неладно, потому что сумка прилаживается навечно,— эх, думает, не обойтись мне без такого человечка. Только подумал, а он тут как тут: усы в кольцо, руки в кольцо, и только неестественнейшей прямоты и длины нос.

— Разрешите,— говорит скороговорным говором,— разрешите рекомендоваться — пан Казимир Матусевич.

— Здравствуйте, пан Матусевич,— только успел ответить Фокин и чувствует: вот он уже за станцией, у какого-то прокисшего заборчика, пан на него перегарами туманными дышит, и шепот у него мельче дыханья:

— Без паспорта изволите через загражденья, мы можем рекомендовать первоклассного для пана переводчика!.. Из Сибири изволите, с Дальнего, золото в песке везут, а что ценнее — нефрит-камень, в европейских организациях большой спрос на этот камень, потому что в моде сейчас китайская физиономия Европы.

— А как же платье?

И понимает — не то надо у пана спросить, а что — не может вспомнить, потому что шипит тот, как блин, и к тому же такой же круглый и ласковый.

— В платье нефрит не прячут, больше в котомочку, вроде вашей, скажем...

— На китайский фасон теперь платье шьют разве?

Засмеялся пан Матусевич контрабандным смешком, заподмигивал, завинтились кольцами ноги его, и вот уже вечер, вот уже ветлы выпрямились и зазвенели по-птичьи, и портной Фокин в такой ночи, что слов своих не поймет, не то что ноги увидать. Идут они болотом каким-то, трава от страха словно на голове растет, и шепчет будто иглой Фокин:

— Эх, вернуться разве, пан?

Да, вернуться бы тебе лучше, Фокин, и много бы ты горечей и не увидал и не познал! Сидел бы ты у себя на родине в Павлодаре и шил бы френчи комиссарам и всем честным советским гражданам, а то вот из-за тебя работай,— мне надо ехать на Кавказ, Воронскому надо лечиться, а он должен редактировать твой путь, и Лазарь Шмидт и Зозуля в «Прожекторе» должны следить за тобой, да что Лазарь Шмидт, когда сотни тысяч читателей «Прожектора» и сотни тысяч «Правды» заинтересуются твоим путешествием, и когда Госиздат захочет издать тебя в сотне тысяч экземпляров и заплатит мне не по пятьдесят рублей с листа, а больше,— что мне делать тогда с тобой, Фокин? Многого ведь ты не понимаешь, и за многое мне стыдно,— прости меня, просвещенный читатель «Правды»,— один из нас только портной, а другой только попутчик.

И пока с вами рассуждаем, читатель, и пока смеется Воронский, пан Казимир Матусевич шепчет портному:

— Теперь поздно, теперь одна надежда, пан,— вперед!..

И вот светает, вот ветлы опять кривые пахнут алыми мокрыми листьями, такие же ветлы, как у станции Изяславль, а пан Матусевич скидывает шапку и говорит:

— Цо есть Польша, а цо есть расчет з паном!

Поклонился ему также Фокин и ответил:

— Спасибо тебе, добрый человек, укажи ты мне прямо дорогу в Варшаву и вертайся с богом.

— Вернуться-то я вернусь, а як же заплатит мне пан, чи нефритом, чи золотым песком?

— Нет у меня ни нефрита, ни золота,— все деньги на билет потратил, добрый пан Казимир, а только сейчас я уразумел: ведь надо бы еще на Изяславле объяснить тебе, зачем я поехал!

А пан хотел не объяснений причин, а денег.

— Может, пан Фока какой ни на есть организации, которых в России не водится, а в Польше, может, пан Фока даст небольшую цидульку туда, чтоб уплатили?

Обиделся Фокин, когда узнал, какие большие деньги требуются пану.

— А тебе разве правда не дороже, я всю землю теперь обойду, а найду такую страну, чтоб было там статское платье и почет статским портным, а если тебе не дороже, веди меня обиженно назад, потому что заболело мое сердце без нужды.

С визгом каким-то расставил ноги пан Матусевич, забранился так, что стыдно автору,— не в состоянии он напечатать такую великолепнейшую брань,— кулаком залез в шею, а пальцы вдруг очутились в портновской сумке.

Завертелись они на шоссе, пан хочет все в скулу, а портной под ребро, и такое жилистое ребро у пана, никак не может попасть туда портной.

Здесь, бежит из-за пригорка жандарм — совсем как царский, только будто за это время еще больше отжирел, сукнами оброс до невозможного блеска, усы золотые с пепельной сединой, и над усом розовая бородавка. И не бежит, а как поп венчанье совершает,— уже так он уверен, что никто от него не уйдет. За ним другой, почернее.

— Цо ест,— кричат,— настоящи контрабандисты... злото делят!..

Здесь-то и высказалось мельтешенье пана Матусевича, был вот — а вдруг и нету, только кусты шевелятся, да и то, возможно, от ветру. А тощий да маленький остался на шоссе; черта ли в нем — они его всегда догонят, думают жандармы, главное тут — мешок!

И, не дотрагиваясь до веревочки, нюхом узнали — пустой, и опрятно, точно не людей берут, а колбасу, наиопрятнейшие пальцы протянулись к воротнику Фокина.

А у того по телу какая-то необыкновенная муть; тот как-то изловчается, золотоусому стоптанным каблуком под сердце, ёкает тот и оседает на пол. Прыгает Фокин, изумленнейше тыкается его кулак в черный напомаженный висок, и валятся двое больше от страху. В аксельбантах путаются револьверы.

Уткнулись усами в шоссе и выговорить не могут:

— Як то случилось, что выпустили самого великого контрабандиста!

Эх, и легка же земля польская!

Легче птицы порхает портной Фокин по лугу, по кустам, по каким-то огородам, и стесняются лаять на такое чучело опрятные польские собаки, а на шоссе сидят двое, записывают в бумажку приметы, и приметы у них все необыкновенные, даже самим неловко, что в такое короткое время и таким конфузом нашли столько примет.

Велика только трудность объяснить свою необыкновенность, а дальше все достанется легко.

Будто скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается, а вот быстрее сказки пришел портной Фокин в Варшаву.

3

Разговор Фокина у дворца гетмана Дениско в Варшаве, также и лебединый сон ксендза Винда

Вот дворец такой, что зашить его в футляр и только на восход вынимать, пока все спят, посмотреть бы и опять уснуть: лучше сна дворец. Стоит у решетки ледащий мальчонка и торгует конфетками, будто смерть, а не конфеты продает.

— Как мне пройти,— спрашивает Фокин,— к портным всех фасонов?

И хоть по-русски запрещается говорить, и потому показывают больше пальцами, а мальчонка был торговец,— оттого, что ли, ответил он по-русски.

— Ступайте вы, дядько, прямо аж на улицу Ново-Липки, и на тех Ново-Липках от портных дышать невозможно.

— Так,— сказал Фокин,— а для чего же здесь дворец этот построен? Не для того ли, чтоб носить в нем гражданские фасоны, и кто в нем живет?

— А живет в нем,— ответил опять-таки мальчонка,— царь украинский и гетман Дениско.

— Ишь, сукин сын, и почему ж он так далеко от царства своего живет?

— А потому, что из своего царства его выгнали.

— А отчего ж он тогда царь?

— А оттого, что в Варшаве много дворцов, и кому в них жить, как не царям... А гражданских фасонов они не носят, им стыдно...

Подивился на умного мальчонку портной и пошел на улицу Ново-Липки.

А на улице Ново-Липки нашелся ему квартирный хозяин по прозванию Моисей Абрамыч, чрезвычайно любивший голубей — больше своих жил,— и любил он голубей не оттого, что был неимоверно толст и все свои доходы тратил на крепчайшие стулья и была у него мечта завести железный стул, а потому, что на всем его варшавском хозяйстве было это единственное чистое пятно. И, любуясь весной на своих голубей, не обращал глаз Моисей Абрамыч на грязь своего двора, а была она такая, что жирные его детишки всё порывались плыть по ней

на досках, но не осуществляли такое плаванье по причине своей тяжести.

Стоит Фокин во дворе, любуется, и подходят к нему четверо портных, у всех одинаковые бороды и пиджаки такие, только в грязь ползти.

— Ну, как живется-то? — спросил Фокин.

Переглазились портные, бог весть что подумали, и так — не говорят, и только долго спустя сказал один:

— Живется, что ж, пан Фока,— живется ничего. Упрекают у нас все, пан, что жиды правят в России, перекрестили бы вы их, а то очень дюже тяжко.

Оглядел легонько пол Фокин и, словно мечтая, сдунул с него вековечную пыль, вздохнул:

— У нас вера отменена, у нас однообразно, только непонятно, почему не хотят шить гражданских фасонов. Расскажите, какие у вас тут фасоны гражданские шьют и много ли?

— Ой, шьют, пан, и много шьют, за последнее время блузы черные стали шить, и пуговицы на тех блузах так...

И двумя пальцами изобразил варшавский портной:

— И удивительное, пан, дело, как наденет блузу, так лезет драться до рабочего классу. А что пан думает шить — смокинге, или фраку, или еще что?

И с гордостью ответил Фокин:

— А я все могу, даже пальмерстону!

Опять по-чудному переглянулись портняжки — бороденки, точно спички, такие убогие и так одна на другую походят,— переглянулись и, бороды в одну склеивая, сказали:

— Не тот, панове, не тот!..

И тотчас же разошлись поодиночке.

Веселый вернулся Фокин в номеришко, да и какой номеришко, единственное, что там и было на дверях,— номер, а все остальное измызгано, как старая подошва. Весь клопами пропах, даже мыло клопами пахло.

Думает весело Фокин: «Теперь главное — паспортишко какой ни на есть достать, и работать можно». Выглянул на радостях в окно, на двор тощий, как вздох,— ксендз лупит суковатой палкой работника Андрея, дышит ксендз, точно щепы из горла кидает,— а хозяин стоит в отдалении и глядит с сожалением — не то оттого, что сам не может побить, не то — работника жалко.

«Вот поповская пропадь»,— подумал со злостью Фокин и хотел было вступиться, вспомнил: где пробежишь,

живешь во втором этаже, паспортишка нет, да и не в России он. Здесь за ксендза кишки развесят.

Пока он так думал, ушел ксендз, работник под навесом чинил сбрую, грохотал вдалеке поезд, и вообще Варшава была опрятна, как носовой платок попадьи, и тут-то вспомнил Фокин поля песчаные, Гликерию Егоровну, широкую, как пески, и как утречком приносила она ему крынку снятого молока, да такого, что лучше сметаны!

Мужики, пожалуй, сев окончили и занимаются домашними делами, разговаривая о сенокосе.

А сумерки здесь такие же, и так же хрипло орет петух.

Но тут постучали в дверь, и входит работник, которого так усердно бил ксендз и который так усердно подставлял спину.

— А пан не спит?..

— Еще рано,— ответил портной,— на новом месте, как в новом галстухе. Садитесь, пан работник, и расскажите, за что вас так охально бил пан поп...

Сел работник, руками колени охватил, словно душу свою охватил, и говорит:

— А бьет меня ксендз Винд за то, что невзначай испортил я ему однажды лебединое дело. Теперь жениться мне надо, а он родителям невесты говорит, что я большевик, и кому же охота, судите сами, пан, кому же охота за мертвого отдавать дочку?

— Да какой же вы, пан Андрей, мертвый, когда вы быку горло перекусите легче, чем я нитку?

Потрогал его за рукав пан Андрей, точно показывая, что не был он мертвым, и была его рука горячее угля.

— А так, что всех большевиков и коммунистов кончают тут незамедлительно, и через это ждет Моисей Абрамыч, мой хозяин, ждет моей смерти и не платит мне жалованья,— родным, говорит, твоим заплачу, а родные, перепугавшись моей большевицкой смерти, возьмут и не приедут, и останется у него, пан, мое жалованье!.. И к радости скажи моей, пан, скоро русские на Варшаву пойдут?

— Неизвестно мне это, пан работник.

— А как же неизвестно, разве пана прислали не за шпионством?

Мирный же нрав у Фокина, даже подскочил на кровати от таких мыслей:

— Да что же мне каждому объяснять, зачем я пришел, я и без шпионства узнаю, как шьют гражданские фасоны.

— И выходит, быть вам, пан, мертвым напрасно, а зря мертвым быть жалко, пан. Окончательно не знаете, когда пойдут?

— Ха, да зачем мне знать, пан работник, когда пойдут на Варшаву, и зачем создаете вы мне смертельные мысли?

Но тут запридвигался к нему пан работник Андрей, зарасстегивал пиджак, а пиджак у него до колен, и сейчас только заметил Фокин — сюртук это.

— А может, это знает пан?

И вытянул кусок синей материи.

Как рыба на горох, глядел на него Фокин.

— Тут, пан, на костюм, собственно на рубаху, пан. Скройте мне по своему ремеслу такую рубаху, пан, такую рубаху, которую носят большевики.

— Комиссары?

— Та не, можно и поменьше, а як хватит у пана смелости, то и на комиссара меня.

— Скажу тебе, носят у нас комиссары френчи.

— Какие?

Не хотелось Фокину обидеть доброго парня, объяснил, хотя и приврал немного,— внизу большущие карманы, такие большие, что во всю полу,— эти карманы для мандатов.

— Буржуев резать?

А вверху — два маленьких, один для партийной книжки, а другой для профессиональной.

— И делай же мне скорее, чтоб не зря умирать,— в большом запале сказал пан Андрей,— делай, пан портной, быстро, не буду тебе мешать.

И вышел.

«Ну,— подумал Фокин,— не успел приехать, как уже и френчи шить приходится».

Вот кроит, вот шьет портной,— и быстрее машинки бежит из рук его игла. Тут рукав, там пола выскакивает, и надивиться не успеешь.

Только слышит — в соседнем номере за дощатой перегородкой кто-то тяжело дышит, точно щепы кидает,— по сухим таким вздохам сразу можно узнать ксендза Винда. Стучит о стол деревянными локтями и спрашивает коридорного:

— Скоро, говоришь, придет она?

— Так скоро, пан добродже, так скорехонько, что и ответить нельзя.

Шьет портной, и мысли всякие веселые в голову: вот и женщины к ним хорошие идут, и добрых людей они бьют, а нам от женщин какие лоскутки остаются, и за битье хотя бы и жандармов — в тюрьму садят. Какая такая справедливая выкройка!

Час сидит и шьет, два сидит и шьет, и самому удивительно — как это быстро, словно мысли, создается одежда.

А ксендз все щепками в горле играет и ждет.

«Эх, шить легче, чем ждать»,— думает портной.

Отворяет дверь работник.

— Примерить не надо ли, пан портной?

— Да что примерять, когда почти готово,— говорит Фокин,— одни пуговицы. Носи на счастье.

Надевает тому на плечи, и вдруг работник, словно другой человек, выпрямился, грудь, как волна, поднялась, и в полной радости говорит:

— Пуговицы я сам пришью, а вас, пан Фокин, не забуду.

И оголтелейше выскочил. Фокин даже полюбоваться не успел.

Разделся затем портной, погасил лампу и подумал перед сном: «Хоть бы приходила скорей ко ксендзу паненка,— не кидался бы хоть щепами из глотки».

Но только царапают ему легонько в дверь, словно пыль соскребают, и есть в этом скребете какая-то нежность, или со сна так кажется. Открыл Фокин дверь.

Лампочка тусклая в коридоре, клопам такой бы свет, а не людям. Стоит человек в кожухе работника Андрея, и поверх темно-бордовая шаль, и прямо в щель дверную лезет.

Шепчет по такому случаю Фокин:

— Эх, проходите же, пан работник, что вас так по ночам таскает...

А сам уже по-внутреннему понимает — не он.

Мелькнул кожух, скинулся кожух, и вот под руками и на руках у Фокина женщина, да такая, что по запаху (да и в темноте не стыдно мне быть банальным) — лебединая у ней шея, глаза с поволокой, и вся в такой пазушной широкой дрожи.

Бормочет она пагубными словами: «Пан милый, почему кашляете, я ж вам дала превосходные капли?»

От удивления не может Фокин сказать, что не он кашляет, а пан ксендз за перегородкой.

И к тому же будто в пене она, и русскому ли человеку понимать тут слова и спрашивать — почему?

Какие паршивые собачьи кровати со скрипом делают в Варшаве, будто качели! Кашляет кровать, словно пан ксендз за перегородкой!

Тем временем пан ксендз Винд, поправляя опрятнейший, как Варшава, воротничок и поглаживая, словно асфальтовую, лысину, рассказывал коридорному:

— Такой сон, пан коридорный, такой необыкновенный сон. Лежу я с панной, я не буду называть ее имени, лежу я у пруда на мураве, и как приласкаю однажды панну, так и плывет по пруду лебедь неизреченнейшей белизны, опять приласкаю — другой, и под утро покрылся весь пруд лебедями, даже воды не видно... Ведь не отпускает же наяву создатель такой способности человеку!..

Но недаром широко, по-степному, вздохнула панна.

— Ой, до чего ласковы вы сегодня, пан Винд!..

Все равно не понимает польского языка портной и помогает ей натянуть кожух работника; зажечь было лампу хотел, чтоб рассмотреть ее, а она, как волос меж рук,— и в дверь.

А из соседних дверей, уставший ждать, выходит тогда же ксендз Винд.

И вдруг, словно щепы посыпались из его рта, и рот огромный, как щепа,— такой рот ногой целовать нужно.

— Грешная панна Андроника, как вы смеете выходить из соседнего номера, когда вам надо быть в другом?!

Заплакала пышнорукая Андроника:

— Ой, пан Винд, пан Винд, то, значит, не вы были. Не видала ли я грешный сон в соседнем номере, куда меня ошибкой направил работник Андрей.

Помялся, помялся ксендз, заглянул в ее заплаканные очи, немного успокоился.

— Значит, там никого не было, и вы ошиблись, легкопамятная Андроника, вернемся с вашего разрешения в тот номер.

— Дурные сны снились мне там, пан Винд, не лучше ли пройти к вам?

Пробует ручку двери пан Винд.

А Фокин чувствует, вот словно вынули все кости, и там тесто.

Драться нет сил, запер на ключ дверь, распахнул окно и любуется небом. Впрочем, одна крыша виднелась над его головой, а он все-таки ухитрялся найти там звезды.

Гнет медленно дверь ксендз, медленно, дабы не было скандала, и, словно дверь, трещит:

— Там есть вор и большевик!..

Коридор визжит: «Вот, вор»,— и вдруг чувствует себя Фокин вором. «Что же я украл?» — думает он. Зажигает спичку.

Маленький огонек у спички, как душа у пана Пилсудского, а, однако, видно при нем — лежит на стуле часть дамского туалета, которую, по словам Пильняка, англичане рекламируют на облаках.

Думать в такой усталости трудно; хватает он свою сумку и прыгает в окно.

Дверь трещит, перегибается, падает; ксендз выгибается в окно, трещит, и летят на голову спускающемуся по водосточной трубе портному — стаканы, оловянные тарелки и даже чайник. Сумка у него соскользнула на голову, защищает, а только странные шипы издает она.

По трубе — а нет легче такого лета — падает Фокин в бочку с водой и от великой свежести приобретает желание драться.

Из бочки его вытягивают толстые объятия харчевника, и голос, что толще его рук, гудит над бочкой:

— И зачем вам, пан русский, надо лезть в бочку, или мало у вас бочек в России, что вы приехали в Польшу?

А Фокин оглядывается вверх, на мелкоизгрызенные, словно молью, ступеньки лестницы,— и по ним вдруг несутся ксендз и панна Андроника. «Влип»,— думает портной, а они почему-то мимо, под арку, через ворота, и вот бричка грохочет где-то далеко по улице.

Бормочет ему работник Андрей:

— То я крикнул, что вона воровка, а пан Винд испугался, что донесут на него преосвященному, и утек...

Жильцы расспрашивают портного, как его воры ухитрились выбросить в окно и даже попасть им в бочку.

— Потому, что он мелкий,— говорит один хриплым сонным голосом, и все расходятся.

Пощупал Моисей Абрамыч в темноте портного и все-таки ничего не понял, а поэтому заинтересовался профессией Фокина.

— Портной,— сказал он, все еще почему-то стоя над бочкой,— а почему это вы в первый же день приезда по-

пали в бочку и почему у вас воры, да и что, разве мало у вас за революцию пообносились, что вы в Польшу приехали? Может, вы по-простому объясните мне, зачем приходили к вам четверо очень плохих портных на улице Липки и очень любящих рассуждать о большевиках? Нас полиция и без того много беспокоит, пан; у меня с ней свои разговоры, но я не хочу из-за вас иметь своих разговоров. Не зайти ли вам ко мне и не попробовать ли пошить на моих бедных детей, или есть, лучше, у меня такой знакомый, который может дать вам работу и очень простую, нисколько не унизительную вашему знанию...

4

Фокин действует в немецкой фильме

Легко неся свое тучное тело, ведет Фокина харчевник Моисей Абрамыч к своему знакомому.

Лавочка, приступочки,— и внизу, за толстыми стенами, неизвестно для чего неимоверно толстыми,— семейство Станислава Перемышля, которое обладает такими толстыми стенами своего жира, что на Липках говорят: «Бог — и тот тоньше Перемышля».

Впрочем, не подумайте ничего скоромного про самого пана Перемышля. Он совсем не походит на знаменитую крепость,— вся вина в его супруге и в сестрах ее. Сам Моисей Абрамыч мог быть гвоздем или, вернее, перстнем на одном из ее пальцев!

Так вот, ткнула она пальцем на Фокина и словно обмазала того жиром.

Сел Фокин и начал шить.

Стосковалась, что ли, рука его по игле, или спокойствие хотел он найти в работе, только скоро словно растопилось от удивления семейство Перемышля, а сама панна Ядвига даже вытрясла откуда-то из себя изумленный смешок.

Кажется, штаны, самые верные польские штаны должны получиться вот из этого куска материи через день, а тут — смотришь — через полчаса, словно перестриг волосок,— совсем готовы штаны. Крепость их — топором не разрубить, и складка, будто тончайшая проволока вложена или острие бритвы.

Дивятся все, немеют на необыкновенного портного, а тут еще прибавляется чуда — прибегает дня через два работник Андрей и...

Эх, обождите,— забыл я вам описать работника Андрея. Я долго не задержу. Он белокур, бородку чешет в ладонь и очень любит помечтать о деревне, да и не о своей, а о русской. Там, верит он, давно коммунизм и все люди — братья. В городе много жуликов и попов, а в деревне всех попов давно перерезали. Стоило бы описать, как он проводит вечера и какие разговоры ведет с извозчиками, но об этом после.

Итак, как только умеют растроганнейше говорить поляки, начинает Андрей.

— Вы,— говорит,— спаситель мой, а также, не забуду, благодетель. Тетка меня вдруг признала, назначила своим наследником и на свадьбу прислала денег. Против такой тетки сам ксендз Винд ничего не поделает, да и нечего ему, собачьему сыну, поделывать, когда епископ узнал, что пойман он и избит мужем панны Андроники, и избит так, что у ксендза от страху на голове волосы выросли. Узнал про то епископ и выгнал его с позором из костела. Брехняком оказался ксендз, и буду я скоро жениться, и дети мои будут думать о России и о русском портном, сшившем мне счастливую блузу.

— Суеверный опиум,— сказал Фокин, а блуза того уж на дворе,— и, неизвестно отчего, еще быстрее заработал портной.

Дотронется пальцем — пуговица, глазом моргнул — и шов идет, как пламя; мерку с заказчика чует еще на улице.

И вот, от слов ли брешливых или от необыкновенной радости Андрея, вдруг пошло по несчастной улице Ново-Липки, где профсоюз мешали с потребиловкой, а коммунизм с винной монополией,— вдруг понесло, закрутило вихрем, и многие в этом вихре понимать дельное кое-что стали: пришел из России неизвестного имени портной, и как сошьет, так счастье на того, а на кого откажется,— лучше в Вислу.

Однако молчит все, потому что кто же о счастье просит,— но заказов и гордости у панны Перемышль больше, чем иголок на всех Ново-Липках.

И замечают еще одно — не заканчивает работы неимоверный портной. Начнет пару и к другой перескакивает, а заказчики не хотят, чтоб оканчивали подмастерья.

Так и ходят все около счастья, и все боятся поторопить.

Сидит он так как-то, оглядывает костюмы и все не может выбрать, который окончить, и еще-то хочется

начать. Так страстный рыболов натычет в берег десяток удочек: и по всем-то клюет — и нельзя все сразу вытащить.

Звенят в прихожей шпоры и каблуки, как молотки.

— Здесь ли живет портной, который шьет очень счастливо?

«Их, арестовать пришли»,— думает Фокин и оглядывает: успеть разве платье какое-нибудь дошить! Вспомнил заказчиков, и ни один не улыбнулся перед глазами.

— А ну их,— говорит,— к черту!

Шпоры же за перегородкой на гордые вопросы панны Ядвиги:

— Нам его надо не как военного, а как штатского.

Робко, словно в первый раз, отворяется дверь, и гуськом — жандармы, которых он встретил на шоссе под Изяславлем, и пан ксендз Винд, и панна Андроника, и даже пан Матусевич.

Но так было велико желание иметь счастье, что промолчали все о ранних встречах, и одна панна Андроника с поперхом выговорила:

— Это и есть портной.

Но тут так тесно стало от гордости панны Перемышль, что Фокин на край верстака к стенке продвинулся и смотрит оторопело на всех.

Стоят жандармы и все хотят подумать, что это, может быть, и не он, а дабы показать — не зря пришли, а за счастьем,— рассказали они свои несчастья.

Судьбу панны Андроники мы отчасти знаем, и можно лишь добавить, что выгнал ее муж за измену с ксендзом Виндом, а так как последний раз она изменяла не с ксендзом, а с портным, то была она очень обижена на мужа. О ксендзе добавлять нечего,— а жандармы со страху тогда на шоссе так много описали примет и по этим приметам арестовывали даже честных патриотов, и в жандармерии поняли, какие это дураки и как проводят их контрабандисты, и, выгнав, грозили их посадить в тюрьму. Пан Казимир Матусевич,— столь были известны его приметы и столь много стражи стояло теперь на границе, что блохе бы не проскочить,— пан не мог попасть в Россию и к тому же на последней спекуляции в Варшаве жестоко пострадал последними деньгами.

— Как же мне с вами разделаться, добрые люди? — спросил Фокин.

— А сшейте вы нам, пан Фокин, по костюму!

— Почему не сшить, сшить я могу, покажите мне материю!

И вот подала панна Андроника ту парчовую материю, которую напоследки выторговала у мужа.

Ксендз Винд надел лучшую свою лиловую рясу, в которой последний раз конфирмировал нежнейших паненок. Жандармы — превосходные свои мундиры, в которых делал им смотр сам пан Пилсудский. И, наконец, пан Матусевич — кусок синего сукна, под честное слово занятый у приятеля.

Оглядел их Фокин, и тут выдала свое раннее знакомство панна Андроника:

— И не зайти ли мне, пан портной, позже,— я очень беспокоюсь за свою парчу, я сейчас чувствую себя усталой, и моя фигура ослабла.

Посмотрел Фокин на аршин, вспомнил бочку и сказал:

— Нет, пока примерки особой не требуется, заходите все скопом через три дня, у меня дело верное, я крою в точку.

В тот же вечер привел работник Андрей четырех своих приятелей и девицу.

— Вот,— говорит Андрей,— вот, отложи свои работы, добрый человек: эти несчастные только что вышли из тюрьмы, их надо одеть, я куплю тебе материи. Они за Россию сидели...

Слетел с верстака Фокин:

— Да что вы ко мне все с Россией пристаете, я хочу мирного шитья, а вы с Россией!.. И материи мне твоей не надо!..

Мотнулся он в угол, схватил материю Матусевича, а дальше и жандармскую, и ксендза, и парчу панны Андроники, сплюнул так, что чуть угол не проломил, и сказал:

— На Иртыше,— небось, плоты ладят! Ну, становись в ряды: сейчас из этой материи шить буду.

И как примерил, так сразу забыл, чья материя.

Шьет и свистит.

Самая красивая птица в Варшаве — воробей, потому что нет там иной живой птицы.

А свистеть воробьи не умеют, в этом их портновский недостаток.

Пришли на примерку пятеро приятелей Андрея, совсем уже готово — кое-где сборки разгладить, а сборки оттого, что на грубом русском сукне попортил слегка себе руку Фокин.

В это же время входят пять заказчиков — и жандармы, и ксендз, и панна, и Матусевич. Видят свои материи на четырех здоровеннейших детинах и спрашивают:

— Это что, манекены?

Обиделся Фокин:

— Сами вы манекены, да разве на манекенах так материя лежит? Ясно, на людей шью и безо всяких там манекенов, по-павлодарски, если угодно знать.

— Тогда они на нас велики будут.

— Кто?

— Костюмы.

— Какие?

— Что на этих господах.

— То не господа, а мои заказчики.

— А как же так, что у заказчиков наша материя?

— Тут мое дело,— ответил Фокин,— я портной и могу соответствовать свой вкус на лучшие фигуры даже и во вред заказчикам. Человек есть обшитое украшение природы.

Первой обиделась панна Андроника, и обиделась не за парчу, а за свою фигуру. Случилось так, что пальцы ее очутились в волосах тюремной девицы, а пальцы девицы у нее в шее, и случилось ей закричать.

Тогда за панну Андронику вступился седоусый с розовой бородавкой жандарм: он попросту опустил свой кулак вблизи уха одного из парней. Вскоре дальнейшие разговоры перенесли в прихожую, и тут приняли участие швейные машины, швабры, легкая мебель, иголки втыкались в неподходящие места...

Очень странно иногда передвигаются вещи!

Я видел, как прилетают птицы весной и садятся первый раз на гнездовища, скажем — у озера. Это, конечно, плохое сравнение, но сейчас шесть часов утра, и я гашу лампочку в своей комнатке в «Круге», в комнатке, которую Бабель зовет предбанником. Хорошее сизое утро в моем окне, и я говорю: «Эх, весна ведь, Иван Петрович Фокин, весна и шесть часов утра, и много на свете замечательных людей, помимо нас с тобой». Ты же отвечаешь: «Катай дальше...»

...Но у людей со шпорами были свистки, и пока Андрей, сидя на одном из них, бил другого,— нижний свистел.

По приближающемуся топоту определили парни — надо бежать.

И по опрятным весенним улицам Варшавы, словно только что выпущенным из кондитерской, бежали опрят-

но одетые, даже прекрасно одетые молодые люди, женщина в парчовом платье и почему-то ксендз с окровавленной макушкой.

Люди останавливались и говорили:

— Наверное, немецкую фильму снимают, иначе кто же, кроме немцев, загримирует ксендза под ксендза Винда.

Парни волокут Фокина, топот сзади смолкает, и молочники не останавливаются и не глядят им вслед.

На перекрестке парни чистят костюмы, портной выдергивает нитки, которые называются «живульками», жмет им руки, и только они заворачивают за угол — уже слышны лобызанья и восклицанья. Они нашли радость.

Портной не интересуется знать, большая это радость или маленькая, он идет прочь из города.

У дворца гетмана Дениско стоит еще мальчуган с конфетками, Фокин бросает его ящик о панель и говорит:

— Пойдем со мной, я тебе штаны сошью, нельзя же в таких штанах ходить.

— Зачем мне ваши штаны, вот если бы вы были пан Око.

— А что?

— Нашелся из России такой портной — пан Око; так шьет: кому сошьет — тому и счастье. Я эту коробку, которую вы разбили, давно хотел грохнуть.

— Тебя как зовут-то?

— А зовут меня, пан, Оська.

Тем временем шли они мимо огородов, остановился портной прикурить и слышит: тоже говорят огородники о нужде и о чудесном портном, товарище Око.

— А куда мы, пан, направимся и как вас зовут? — спросил Оська.

— А пойдем мы, скорей всего, в Германию, так как понял я по многим причинам, не Польша это, а Польская губерния; я же хочу спокойных фасонов гражданского житья, и зовут меня, пан Оська, портным Фокиным.

— Очень рад,— наивежливейше ответил Оська,— я еще в предыдущий разговор у дворца подумал, что наверно-то вы и есть самый портной Око. Очень уж вы на жулика походите!

5

Глава в духе, соотвегствующем стране, в которой она обитает

Теперь, читатель, как я упоминал раньше, весна,— приятно ходить рука об руку, и вот дайте мне край вашего рукава, я буду прикасаться очень нежно, а возможно, и совсем не прикоснусь,— и мы с вами вслед за Фокиным пойдем по цветущим полям Германии. Многие из нас не читали Версальского договора, и я тоже не читал, и портной Фокин не читал, так что изрядно будет и нам и ему в диковинку.

Не татары и не скифы гонят стада с тучнейших пастбищ, вбивают их в вагоны, и вагоны с воем (вой животных и вой железа) мчатся во Францию; день и ночь сыплется в мешки или просто в ящики пшеница и ячмень. Щупленький секретарь дает радио: ускорить репарации,— и умирают от голода дети, девушка ложится гнить в землю, и старинные смешные колокола в городках под острыми красными черепичными крышами успевают еще отбивать отходную, пока их не увезли.

Не умеем мы говорить жалобно, и в революцию научились проходить мимо многого!

Мимо бы надо проходить Фокину, мимо, но курносый и веселый портной (в сумке у него объемистая краюха хлеба) останавливается, и мы останавливаемся с ним, потому что ни я, ни читатель и ни портной не знаем немецкого языка, и один у нас переводчик — конопатый Оська, да и тот плохой переводчик. Уговоримся же все говорить по-русски и выкинем скверный обычай, введенный серапионами, имитировать речь областную и заграничную,— у нас и так много горечей, и надо события понимать в ясности, не останавливаясь на пустяках, вроде точно переданных разговоров или, хуже того, сентенций в стиле Чуковского.

Вот о портном Фокине идет слух!

Вы думаете — сами грузятся стада в вагоны и быки исполняют обязанности машинистов. Увы, этого еще пока нет: гонят их погонщики, один останавливается и говорит:

— Вместо быков-то — пушки бы, чтоб скатить их под Парижем и развалить в один чишек собачье гнездо. Сошьет мне такое платье Окофф?

Остальные погонщики и машинист, до странности похожий на быка, кивают ему сочувственно.

А в элеваторе! Нет, не могу рассказать этой истории, хотя, признаюсь, очень хочется. Закончилась она тем, что один рабочий со вздохом сказал:

— Для исполнения такого желанья даже Окофф не сошьет платья.

Сел незамедлительно в тюрьму.

Вот и бредет Фокин от села к селу, от города к городу, направляясь к самому Берлину.

Пока шагает — весело, остановится — тоска!

Однажды (хотя в Германии краны через пять шагов) захотелось ему напиться в доме. Или слава так балует, что приятно обращаться с просьбами к незнакомым людям. Стоит у дверей девушка, и спрашивает ее через Оську Фокин.

— Разрешите,— говорит,— гражданка, напиться — утолить жажду?..

Его чаще всего через Оську узнавали.

— Что же, можно,— отвечает та и подносит ему в кружке порцию молока,— только скажите вы мне, правда ли, что русский народ послов вроде вас по всей земле, и даже во Францию послал?

Спрашивает незамедлительно Фокин:

— А чем вы страдаете и что вам нужно?

— А страдаю тем, что если послали бы такого посла, как вы, во Францию, то лучше бы вам, герр Окофф, сюда не являться. Возможно так, что я вас убью или другая... Все наше молоко Франция выпивает.

Вздохнул привычным вздохом Фокин.

6

История переводчика Оськи и его собак

«Жизнь моя, дяденька Фока, густая, будто каша.

Тятенька мой, Евграф Тимофеевич Зипа, был разбойник и браконьер: самых любимых зайцев у барина бил, а матушка у моего тятьки, по причине службы, у барина любовницей была. Мне тятька в пьяном виде сознавался.

По случаю такой игры попал я очень рано в подчиненные. Чтоб не стрелял я дичи и не имел несчастную тятькину судьбу, приходил каждый полдень и бил меня тятька, воспитывая хороший дух.

Я теперь очень точно могу время полдня определять.

Надоели мне его побои, и стал я смирнее перед барином, по прозвищу Бороздо, и чудно так получалось, что

чем больше я смирнел, тем сильнее бил меня батя. Дальше по смирению вышла бы мне смерть, потому что с каждой нашей встречей кулак его прибавлялся еще на пять фунтов. Тогда, по случаю необыкновенной моей смирности, определил меня барин ухаживать за собаками.

Избил тогда меня смертно отец; еще бы такой один побой — и не знать бы мне немецкого языка, но тут убухали его в тюрьму за расстрел любимого баринова зайца.

Били меня за людей, а чтоб хорошо к собакам относиться — такого уговора не было, однако очень я полюбил собак, и больше всего Фингала, примесь фаундлена с догом.

Зверь тебе ростом с корову, а смирный — только перед пасхой и лаял. Перед пасхой все постились, и его еще меньше, чем людей, кормили.

Так он все ждал и лаял как раз в самый момент пасхальной заутрени. Тявкнет, и в это же самое время колокол. Сбегались все на тявканье это смотреть и радостно говорили: «Скоро, значит, и скоту праздник».

Вырастил я его, и получилась большая любовь по прозванию Фингал.

Тятька у меня, очень довольный, сидел в тюрьме, мамка спала часто с барином, бить меня было некому, и смиренность моя постепенно уходила. Барин Бороздо говорил мне — настоящий я собачник и что назначит он мне совсем необыкновенное жалованье.

А я себя чувствовал очень хитрым и был сильно этим доволен: так же, как батя тюрьмой,— очень он себя не любил за разбойничество и браконьерство. Ему все церковным старостой хотелось быть.

Подарил мне барин Бороздо бархатные штаны и куртку с галунами и назвал «доезжачим».

Тут я от радости на долгое время забыл и полдень определять.

Стали меня кормить хорошо; в светлых комнатах начал появляться и хожу постоянно за барином. Впереди барин, собака Фингал, а позади я — тоже в ошейнике.

Полюбил мой барин Бороздо барыню, по прозвищу Марина. Цветы ей ношу, коробки разные, а она мне — гривенники.

Собачонка у ней постоянно под ногами таскалась, вся в курчавой растительности, зовут Аврелка. Собачонку ту целовала больше, чем барина.

Говорит мне барин Бороздо:

— Отнеси ей опять цветы, Оська.

А дело было перед пасхой; пес мой Фингал тоскует, жрать хочет, а я был очень почтительный к людям, пса жалею, но не кормлю. Ноет тот, я ему и предложил:

— Пойдем со мной, Фингал, для развлечения.

Я иду с цветами, а у пса голова больше цветочной корзины, и гордости у него больше, чем у цветов.

Заходим в дом, прислуги нет, мы прямо в гостиную. Фингал хоть никогда в гостиной не был, однако идет спокойно и только слегка аппетитно нюхтит. Кричит мне барыня из спальни:

— Это ты, Оська, с цветами? Подожди немного, я оденусь и выйду.

А Фингал у меня привык: скажешь «куш», он ляжет и может до смерти залежаться. Я ему только хотел было сказать такое слово, чтоб он у порога успокоился, и он на меня так посмотрел соответственно, как вдруг откуда-то там из-под дивана, из-под тумбочек, с привизгом, с драньем горла, выскакивает гривенничная собачонка Аврелка и под морду Фингала — шасть!

А тот от визга, от лая ее аж перетрясся весь с испуга; никогда с ним в хозяйских покоях такой истории не происходило. Там муха помирает — и то слышно за пять комнат, и лакеи бегут.

Вздрогнул Фингал от испуга за две недели до пасхи, мати боска ченстоховска, раскрыл рот и только один раз:

«Аауу!..»

И так ухнул, что сильнее, чем на пасхе!

Покачнулась Аврелка, колеском так покрутилась разиков пять и от разрыва сердца издохла.

Барыня сначала била меня цветами, дальше корзиной, а в конце и рук своих не пожалела,— у меня сейчас под глазом след есть. Ладно, что теперь, да и тогда я на нее не сердился.

И барин Бороздо бил меня. Набившись до отказу, указал рукой на дверную ручку и говорит:

— Уходи к черту, пся кревь!

Тут мое счастье, дяденька Фока, и кончилось.

Барыня барина выгнала, а он меня, а мне кого выгонять? И стал я, несчастный, гнать слезы и ездить по фронтам. Теперь вот хожу все и ищу такую же гривенничную собачонку Аврелку. Найду, принесу барыне, и тогда опять буду я иметь бархатные штаны и серебряный галун по всему воротнику и, может, дальше.

В Галитчине меня казаки пороли, спустя немного поляки шкуру содрали, я на них рассердился и ушел к карманникам. Если не на что будет мне купить собачонку, так я украду. В Париже, сказывают, собачонок много, пойдем, дяденька, в Париж. Я для такого дела не то что французский язык выдолблю,— я и все другие».

7

Фокин рассуждает и размышляет

— А если Бороздо-то разлюбил уже барыню? — спросил Фокин.

— Этого не может быть, он даже дога Фингала после такого случая убил.

— Тогда и дога тебе выращивать надо?

— Зачем же, дяденька, дога, когда будет барыня? Тогда если дог, то опять Аврелка сдохнет.

Шевельнул Фокин палкой костер, вздохнувши, посмотрел на искры:

— Вот и выходит опять-таки, Оська, бревном мне шелк шить. Зачем в тебе такое неимоверное сотрясение предрассудков и почему ты мало в России жил? Возьми, в каких инстинктах воспитала тебя среда и другие дни... Как мне с тобой поступать, любимый ты мой сейчас человек, а как я по праву советского гражданина могу окончательно из тебя раба делать и шить тебе на счастье штаны и другие сооружения!

И от жалости, и от того, будто и в родных местах, а будто и нет, заговорил Фокин с неослабным пылом:

— Для чего тогда существует земля, если так чудно устроено человеческое счастье и не могу никак в меру отмерить своего российского счастья — тебе, Оська, и другим. На заводах в мое счастье не верят, и не на что им шить новое платье. Да и какие пути портному на заводы, идут там кругом человека машины. Видно, не того человека послали из Павлодара, а кого бы можно послать вместо меня — неизвестно, будто и в самом деле некого послать... Добрые люди и товарищи немецкой земли! Говорю я вам по совести: живете неправильно, необходима разверстка на российский фасон; легче мне будет тогда шить вам счастливое платье... До чего, скажем, вот этого мальчонку изнахратили,— смотреть совестно, какого он счастья хочет... Добрые люди и товарищи!..

— Wohltatug, gut das arme Volk, Genosse! — орал за ним во весь голос Оська.

Стоял он за костром, голосом в поле, и из слова в слово в тьму и полевые запахи яростно переводил речь русского посла.

Одежонка на нем тощая, а ночь свежа, прыгал он, словно подныривая под каждое слово. Искры ныряли в листья, и гукала какая-то свирепая птица.

А Фокин говорил уже про Интернационал, хотя и знал об нем только то, что в песне. Русские песни теперь обстоятельные,— по ним многое объяснить можно, и очень многое объяснил Фокин.

В горле пересыхало, и только хотел он коснуться Красной Армии и военных фасонов, объясняя кое-что и самому непонятное,— завизжало, заулюлюкало в кустах. Ойкнул Оська:

— Втикаем, дяденька Фока, аж до самого дому втикаем!

— Да что ты, Оська, мало ли какой зверь орет по лесу!

— А есть это не зверь, а самый настоящий хозяин, дяденька Фока, и будет он нас бить за такие речи пять дней подряд или того больше! Я ж переводил-то как для рабочего-пролетария...

А Фокин от своей длинной речи пересмелел через меру, он азартно сплюнул в костер, так что зола зашипела.

— А вот и не пойду! Имею я право говорить в чистом поле для своей души и для своей храбрости. Переводи дальше!..

— Я-то переведу, дяденька Фока, только дай ты мне в кусты залезть,— тебе-то ведь слова, а мне чистые колотушки. Я тебе-то из кустов еще лучше буду переводить.

Но в кусты ему влезть-таки не удалось.

Из кустов мелькнули сначала палки, да эти палки и удалось лишь рассмотреть Фокину,— тотчас же Оська расшвырял костер, засвистел по-преисподнему всеми военными свистами.

Первую палку почувствовал Фокин где-то под ребром, вторую на затылке, а третьей не стал ждать. Мотнул он в чьи-то зубы кулаком, чья-то жирная шея скользнула и завыла у локтя,— и вот бежит он полем, огромные собаки ловят и, визжа, никак не могут поймать его обтрепанных сапог.

Вот он один, а в поле кого-то бьют — Оську, должно быть,— и в канаве под изгородью, пахнущей краской и навозом, вздохнул вслух Фокин.

— Их, ты, Оська, летяга!

— А я здесь, дяденька,— услышал он рядом с собой,— я вас здесь давно жду, долго вы гулять изволили. Пожалуй, пора нам и спать?

— Ну, как тебя, Оська, здорово били?

— Меня не побьешь, я так одного трахнул,— давно, наверное, в больнице, а другому глаз навылет. Вот вас, должно быть, тронули слегка, вы ведь с детства к этому предприятию не привыкли?

— Да нет, все мимо они,— сказал Фокин тускло,— и что за привычка драться ни свет ни заря. Там они еще бьют?

— А уж теперь они бьют самих себя, так как темно и страшно; ихняя же профессия — фашисты. Здесь поля предводителя ихнего — миллиардера Тиниха, свиные охоты тут.

— Все-то у них есть.

— Свиней, дяденька, разводят тысячу, скажем, а потом в поле их пустят и автомобилями давят, кто меньше надавит, тот и проиграл, и плохой охотник. С утра у них тут свиная охота будет, может, посмотреть желаете?

— Посмотреть-то я посмотрю, а ты вот скажи мне, как у этой сволочи «ура» кричится.

— Es lebe der, дяденька.

Фокин вспрыгнул на забор, сложил коромыслом руки и закричал в поле:

— Es lebe der, сукины дети, es lebe der Ленин, der!..

Мальчонка Оська любил больше военное, так он грудь в колесо и тоже с забора:

— Ausjeichret, herzlich!

Всюду в поле замелькали огоньки выстрелов. За каждым возгласом, словно эхо,— ружейный треск. И под конец сами они напугались, точно тоже стреляли. К тому же охрип Фокин.

А как охрип, так все понял, и стало скучно. Лег опять у канавы на траву, расстегнул пиджак.

И ночь стала известной — жаркой, такой, что задыханье свое от себя отложить нельзя.

Так промчавшиеся по дороге автомобили не входили в разум и страх, как и всадники, как и прожекторы, делившие небо.

Сообразно этому сказал Оська с восторгом:

— Ищут, сволочи, даже в небе ищут. Нас ведь, дяденька Фока, ищут.

Все эти старанья мало занимали Фокина. Смотрел он на лес, ждал, когда прожектор осветит своих, фашистов. Немало обождав, спросил:

— А ты, Оська, часом, не слыхал, как они одеваются? Не в частную ли, отразилось в моей голове, одежду? Особенно самые охотящиеся на свиней.

— Совсем, дяденька, в частную.

— Манишка и петля на вольную нитку или, единодушно сомневаюсь, ворот наглухо?

— Категорически, дяденька, одеваются, как все торговцы.

Показалось Фокину, что не он вздохнул, а все звезды. Отвернулся даже от такой обиды.

— У мирвольников плутам житье... Дома-то, пожалуй, спят теперь все. Пойдем, Оська. Теперь, наоборот, как самого главного-то зовут?

— Зовут его, дяденька, Тиних.

— Был у нас будто при царице Елизавете такой, ну, может, и не родственник, все равно. Веди ты меня к нему, хочу я его несчастья посмотреть, и, может, найдется такой человек с миллиардами, что не надо будет ему моего шитья.

(Общие места в разговорах друзей я стараюсь упускать.) Ложась, Фокин сказал (и я не успел это вычеркнуть):

— Спать, как ни спи, а проснешься — опять ничего не понимаешь.

Продолжение 7-й главы, со включением счастья швейцара Ганса Брейма

Вот на самом деле Фокин у дворца Тиниха. За версту еще начинает подбираться земля, ровняться для одного человека, и, если судить по этому,— замечательный должен быть человек Тиних. Так, например, на фронтонах такие завитки, каких самая любимая женщина под самый первый поцелуй не завьет.

У тощего швейцара настолько же впавшие и подвижные глаза, насколько блестящи и пышны его одежды. И, главное, видно, страдает от тощи и длины, видно, ест он, стараясь растолстеть, что зубы у него стесаны, как у сорокалетней проститутки тело.

И все же на ступеньках он медленнее памятника.

— А не преувеличивая, скажешь ты мне,— спросил Фокин,— скоро твой барин выйдет и скоро ли я ему понадоблюсь?

Ответил швейцар с невозможной гордостью:

— Никто моему хозяину не нужен, он всем надобен.

Всем жаром своим пошел Фокин:

— По таким сведениям, счастлив твой хозяин, и не может он мной воспользоваться.

— Видно, дело, правда, расстроится,— проходите, господин, проходите.

Будто зайчики из глаз Фокина по стенам дворца пошли. Хотел было уйти спокойно, но решил напомнить счастливому о счастье,— веселей как-то самому становится.

— Хоть и тошно мне, гражданин швейцар Ганс, тошно мне слышать, что счастливы буржуи, однако я человек добрый и говорю — слава богу. А хозяину своему передай, что был, мол, тут портной Иван Петров Фокин из Павлодара, который бесплатно всем счастье доставляет, был, мол, и ушел обратно, довольный по своей профессии, потому что очень ему трудно живется, и согласен он даже на буржуе сердцем отдохнуть.

Здесь памятник на ступеньках покачнулся осторожненько.

Быстро, словно разрывая бумажную ленточку, развел руками и так же осторожненько спросил:

— Каким же образом вы подтвердите существование свое герром Фокиным и имеется ли у вас заграничный паспорт?

— Зачем мне заграничный паспорт, стоячая твоя душа? Ничего у меня нет, только Оська может тебе подтвердить,— брехней я никогда не занимался. Иду я по земле без паспорта, добротой человеческой.

Тогда пожаловался швейцар:

— Я, что же, плохой человек, разве я сомневаюсь? Не будет ли проще, герр Окофф, зайти ко мне выпить кофе и посмотреть на мою прекрасную дочь, которой я очень счастлив?

Привык Фокин сразу чувствовать то место, куда направлялись все людские желания. Потускнели у швейцара и побледнели глаза.

У постаментных людей возбужденьица всегда крысиные.

Со скукой отошел Фокин и ответил решительно:

— Надоело мне ваше кофе, чаю кирпичного хочу.

Швейцар его за руку, швейцар ломает свой честный немецкий язык, чтоб скорей его понял русский.

— Герр Окофф, добрый герр Окофф, не лишайте меня места. Если узнает хозяин о нашей достопочтенной беседе и как реагировал я на это, немедленно же прогонит меня.

Фокин удивился.

— Да ведь он же счастлив.

Полетела с памятника вся кожура. Близко разглядишь — морщинистый, продымленный табаком нос, три дня не бритую губу и тощие остаточки зубов. Трудно разве узнать человеческую жизнь?

— Ну, не могу же я каждому оборванцу болтать, чем несчастлив мой хозяин. Он несчастливее всех людей на земле, герр Окофф, несчастнее любого турка: французы отбирают деньги, коммунисты — заводы и даже жизнь. Болезни такие, каких не продашь и не выкупишь. А также даже моя дочь выскальзывает из-под рук, и не по чему-нибудь другому, а по причине его слабости. Трудно ли соблазнить, но труднее всего стало после войны соблазн этот привести в исполнение. Не обижайте, герр Окофф, моих седин, загляните...

Отогнал швейцар Оську в сторону для размышления, выгодно ли здесь торговать папиросами, и также — часто ли будут отбирать здесь папиросы безденежные блестящие офицеры, как случалось это у дворца гетмана Дениско в Варшаве.

Вернувшись, ему пришлось переводить то же самое, что и до того:

— Загляните. Вы, конечно, странник, и некогда вам жениться на моей дочери, но со всем ее счастьем она будет ваша, сколько вы зажелаете... У меня же мыслей не будет, так как вы будете мне вторым отцом.

Чудно стало Фокину,— дочери своей не жалеет,— и спросил он, какое же великое счастье нужно Гансу-аф-Брейму.

— Есть у меня акции в других обществах, с которыми конкурирует мой хозяин. Тиних, знаете, ничего не понимает, ему просто везет. Я хочу справедливости, я хочу, чтобы акции моих обществ поднялись, я их продаю, я перекидываюсь в более выгодные предприятия, я основываю трест,— у меня уже разработан план акционерного общества концессий в России,— и вместе с вашей родиной, герр Окофф, мы разоряем эксплуататора и злодея.

Лицо его совсем стерлось от жадности, ливрея сжалась и стала похожа на фрак. Он ссутулился, и даже шапка стала походить на цилиндр.

Посмотрел на него Фокин и лениво подумал:

«А что, разве, в самом деле, сшить ему сюртук и разорить свиного охотника?»

— И на свиней охотиться будете? — спросил он.

Мотнулся тот восторженно:

— Герр Окофф, герр Окофф, только двадцать первый век, только прогресс и цивилизация позволили выдумать такое прекрасное и вполне безопасное развлечение. Я вношу дополнение, великое дополнение в эту охоту, герр Окофф. Я выращиваю йоркширов, таких, что автомобиль сможет только опрокинуть, но не раздавить. И вот, вы видите, автомобиль едет по ним, сшибает, изящный охотник наклоняется и метко стреляет в голову. «Ура, ура!» — кричат окружающие. Здесь двойное — умение шофера и глаз охотника. Такая великая мысль, герр Окофф.

— Великая-то великая,— ответил Фокин,— только не понимаю я вас, сволочей! Что же, ты на самом деле думаешь, что я на этом свете существую,— одного швейцара другим заменять?

Плюнул и пошел тихонько от дворца.

Ринулся было швейцар Ганс за ним, но у ворот зазвонило,— значит, Тиних выехал из гаража.

Открыл было ворота, затем опять захлопнул и, словно себя захлопывая, мотнулся перед Тинихом.

У каштана, на углу улицы, подле будки папиросника, интересующийся Оська, расспрашивая, задержался.

Думать Фокину все равно — стоя ли, на ходу ли.

Стоял он у дерева и ковырял легонько кору. Полицейский наблюдал осторожно за странным человеком — почему тот скребет кору ногтем. Во-первых, дерево портит, во-вторых — ногти. Подошел полицейский ближе и по раскосым глазам догадался — русский. Отошел. Русские уже многому обучены и большого вреда не делают, разве что кору поковыряют.

А ни полицейский, ни Оська, ни, наконец, Фокин не заметили, как с неимоверной быстротой промчался мимо них автомобиль и как сидели там рядом с вытаращенными глазами швейцар Ганс и миллиардер Тиних.

Оглядывались они неимоверно быстро во все стороны. Автомобиль носился неимоверными кругами, и вечерние

газеты сообщили, что миллиардер Тиних пробовал автомобиль необыкновенной конструкции «сильных ощущений», и такой, что его и слугу подбрасывало из стороны в сторону с риском выкинуть совсем. А как сконструирован он внутри и в чем суть — неизвестно.

«Впрочем,— добавляли газеты,— всякие причуды бывают у людей».

А Фокин стоял в это время пред батраками, пред нищими, пред всякими опустошенными людьми, которые ничего не могли объяснить и которым никто бы не смог ничего объяснить.

Было это в каком-то подвале. Плесенью несло и от стен и от людей, хотя и одеты они были с возможной, давным давно описанной, немецкой опрятностью.

Стоял Фокин на бочке.

Окраина как ржавый обруч на бочке, именуемой городом. Дома словно из мусора и грязи — того и гляди расползутся; воздух как гнилая тряпка.

Весь мир шатается и скрипит, как бочка под ним, и весь мир несет перегаром спирта.

— Счастье я думал найти, братишки, товарищи, в штатских фасонах. Получается кругом кукиш или, по-сибирски, фига. Наблюдаю я, наблюдаю, и мутит меня от штатского платья, которое дошло вплоть до охоты на свиней, не говоря о худших мелочах. Что ж, посмотрю я, посмотрю да и...

Впрочем, мысли его о событиях этих отступили назад пред тоскливыми до слепоты глазами слушавших. От разговора его глаза не менялись и еще более ждуще тускнели. Мотнул головой Фокин, за шею схватившись рукой, начал быстро:

— Ребятишки, товарищи, вы на меня надейтесь, я, ребятишки, не выдам, я всем там скажу про вас,— так, мол, и так, видел, мол, все портной Фокин и решил: ждать невозможно!.. Повырезать и вообще многих пустить голыми, пусть добывают сами себе фасоны. Я, может быть, самому Владимиру Ильичу скажу так, я всей Красной Армии и, может быть, за свиные их охоты, ЧК скажу. А сам я все-таки, братишки и товарищи, пойду дальше, и найдется же ведь мне, поди, случайно, какая-нибудь странишка, где можно в спокойствии шить гражданское платье. Как страна эта называется — может, и обитателям ее неизвестно, а вы, братишки, не унывайте и, вообще,— кройте. Пошил бы я вам, из жалости к ва-

шим глазам, но какую одежду пошить — нет у меня, братишки, инструкций, а без инструкций мне, по советскому своему нраву, шить совестно...

Про страну и про инструкцию, в конце концов, Оська, будучи человеком положительным, пропустил при переводе. Батраки и нищие были довольны и, потрясая опрятным тряпьем, кричали:

— Es lebe der Ленин.

А шить-то им не из чего было и не на что, и только какой-то, самый опрятный и самый смелый, подошел и спросил:

— Не проще ли будет, der Bruder Окофф, сшить нам красное знамя?

Потер смущенно ухо Фокин, руку спрашивавшего отвел.

— Ну обождите, ради бога, я еще на знамя фасона не придумал.

Ответили столпившиеся около бочки:

— Мы подождем.

8

От Нубелгайма до мельниц в Бельгии

Найдутся ведь такие люди, даже из братьев моих Серапионов (Каверин, например),— упрекнут-таки меня в отсутствии бытовых особенностей страны, в коей путешествует Фокин. Каюсь, мало их, и описаний природы тоже мало, но сильно-сильнешенько надоело мне это в России, чтоб тащить быт за Фокиным.

Дабы не обижаться на меня, возьмите, честный читатель, хороший учебник географии и найдите там Нубелгайм и все местечки, которые я буду перечислять ниже. Возможно, в учебнике, изданном Госиздатом, не найдется таких городов и местечек,— не отчаивайтесь, возьмите другого издателя, а если и там нет, поверьте мне на слово,— есть такие места, сам видел! Также прибавьте сюда — в меру своей фантазии — горя, нищеты, голода и драхму сытости,— из прежних моих книг возьмите немного красок и запахов, и мы расстанемся взаимно довольными.

А с Оськой в Нубелгайме случилось такое событие.

Отправился он в булочную за хлебом (тут вот вы бы потребовали в прежнее время описать булочную и хлеб, а я щелкнул пальцами беспечно и пошел вслед за Оськой).

Вдруг из-за угла автомобиль, обитый внутри розовым шелком, в автомобиле дама, обитая тоже шелком, но снаружи. И на коленях у ней собачонка.

Любите ли вы собак? Клянусь вам своим «кабинетом» в Петербурге, который я, кстати, мало посещаю, влюбились бы в нее, подобно Оське!

Глазенки красные, как моченая клюква, шерсть торчком, как осенняя трава, и нос — винтом.

Крякнул Оська, булки на асфальт выронил.

Дама впорхнула в магазин. Оська — в автомобиль и со всей своей прежней сноровкой уткнул собачонкины зубы в рукав (главное — зажать ей уши, тогда собаки почему-то перестают кусаться,— однако это не всегда и не всем удается). И, не подняв булки, помчался Оська со своим счастьем домой.

Заскочил Оська дорогой в общественную уборную, оглядел — такая ли собака. Такая в точности, и, если даже позвать: «Аврелка»,— хвостом машет и, главное, сейчас же, несмотря на неприличный запах, начала ластиться.

Спешит Оська, словно передала ему собака всю свою невыбеганную прыть. Квартал за кварталом, как волоски, дверь за дверью — не поймешь — одна сплошная дверь.

Нужно сказать, что затруднений за последнее время у Фокина встречалось как-то мало. К человеческому счастью стал он относиться несколько легкомысленно и вдруг ни с того ни с сего поделал по дороге некоторые пошивки. От легкости своей слегка поправился и будто посвежел.

Затруднения от такого посвежения пошли с другой стороны.

Стоит он во дворе домика приютившей их какой-то старушки, разговаривает с прислугой, девушкой. Девушка Паулина хорошо знала любовные дела и еще больше, к несчастью читателей (благодаря ей повесть похождений Фокина растягивается), и еще лучше знала, где поговорить, а где помолчать,— стояла она перед ним и как будто глядела, а как будто и касалась его вскользь.

Он же говорил руками или бровью, которая имела способность двигаться по всему его лицу, не избегая и губ.

Признаем, что господствующей чертой Фокина было стремление к покою. Ну, и как же тяжело достается, хотя бы, скажем, любовный покой.

Мнется Фокин, ерошится, говорит:

— Фокин... Око!.. Окофф... герр Окофф, леший вас дери.

А она обрадованно повторяла за ним:

— Фокинг. E, spötter!

И опять непонятно, чему радовалась. И Фокин не мог решить, какого она счастья хочет: через него или просто от него.

Так он, малостью своего роста объясняя свое трепыханье и сверлёж, чувствовал себя не Фокиным, а черт знает кем.

Солнце сушило луг, словно косить здесь должны были не траву, а прямо сено, крыши черепичные аж темнели от жары, коровы сытее неба, и девица наделена землей в изобилии всеми соками.

Да, тяжело подымать чужеязыкую землю.

Едва лишь Фокин понатужился приступить к любовным действиям от плеча или с пуговиц кофты,— из близлежащих кустов выскочили трое в черных блузах со значками, похожими на кусок изломанной тюремной решетки. Судя по их рожам, объяснение должно было следовать незаурядное.

Фокин, привыкший к вежливости, отдернул руку от девицы.

Но тут вдруг кулак одного из черных потянулся к его уху и не совсем удачно опустился у затылка. От второго, более увесистого кулака Фокин качнулся, от сотрясения во всем теле почувствовал боль под ложечкой.

— Да что вы, спятили, сукины дети! — крикнул он.— Я же Фокин!

Тогда один из черных закричал: «Веревку!» — девица оползла от страха на землю, и мельком только видел Фокин — в последний и в первый раз — некоторые результаты крепкого телесного ее воспитания.

Откуда-то бежали еще черноблузники.

«Теперь мне влетит так влетит»,— подумал Фокин, засучивая рукав (другой ему успели ободрать), и по излюбленной своей привычке заехал первому черноблузому под нос. И тут же, только успев ободрать кому-то на животе платье, обнажить волосатую заросль,— упал, и показалось ему черным небо.

Девица, неизвестно почему, орала, черноблузые дрались страшно, молча, гулко,— кулаками выговаривая по его телу:

— Окофф!.. оки!.. око!.. окофф!.. оки..

Тут-то и прибежал Оська с собачонкой.

С демонстративнейшим визгом и свистом, схватив за задние ноги собачонку, ворвался он в средину драки.

Оська кусался. Кусалась, закатив глазенки, собачонка. Фокин бил руками и ногами.

Обалдели на минуту черноблузые и слегка выпустили Фокина.

— Втикаем,— закричал Оська истошно,— втикаем, то тюремные хвашисты.

Он сунул собачонку к оголившемуся брюху в обнаженно выдранные штаны черноблузника. Собачонка вцепилась в волосатую кожу, девица Паулина заорала: «Бешеная!» — и черноблузые полезли на заборы, лестницы, чердаки.

А портной с Оськой — по улице.

Из кабаков и кафе выходят люди, смотрят вслед бегущим, пожимают плечами и говорят:

— Какие странные спортсмены!..

На веранде пустующего кафе, мимо которого бегут двое, сидят человек с толстым носом и с тонкими седыми усами и человек с тонким носом, но без усов. На обоих гетры, клетчатые кепи и пальто из коверкота.

Рядом, третий в кафе, газетный фотограф, господин Морли. Он в резиновой куртке и с аппаратом, и скорее аппаратом своим быстро произносит:

— Клянусь, это — Фокин!

Морли упоен выдумкой, он щелкает бегущих, толпу зевак, кафе с двумя посетителями, улицу, мчащиеся мимо автомобили,— он еще бы щелкал, но вспоминает редакцию.

Так, через три часа в вечерке «Sveltühig» появляются первый портрет знаменитого советского агитатора, авантюриста и разбойника Ивана Окофф, иллюстрации и портреты русского князя Михайлова и жениха дочери Михайлова, шевалье Андре де Олесью, первые граждане, хладнокровно наблюдавшие погоню.

В кафе же толстоносый спекулянт из рязанских купцов Михайлов и владелец газеты Олесь продолжают пить кофе. Так же тонко, как его нос, Олесь говорит:

— Слышали, пробежал Фокин?

Толстоносый лениво:

— Полиция арестует.

— Вам легче.

— Мне воопче наплевать. Я теперь русским вопросом не интересуюсь.

— А я интересуюсь французским и, в частности, газетой своей. Немцы выдумали очередную штуку с пророками и христами, дабы не платить репараций и иллюстрировать дружбу с Россией. Это — только начало. Задача нашей прессы — борьба за национальные задачи.

— Так.

— Фокина надо прекратить, и на прекращении без полиции увеличить тираж газеты.

— Так бы давно, об тираже. А задача всегда останется задачей, милый.

Машина гудит, в автомобиле почему-то люди всегда выпрямляются, и Олесь оказывается вдруг на целую голову выше Михайлова.

Тот говорит лениво:

— Эк вас вымахало!

— На такой жизни вымахаешь.

Автомобиль на прямых знакомых дорогах, а Фокину и Оське надо дороги свои искать в переулочках, в садах, где фонтаны походят на выпрыгивающих из воды рыб и где все танцуют неустанно: деревья, люди, скамейки. Наконец *машина* и двое потных людей встречаются.

Толстоносый, в таком румянце, что приподнятая шляпа тоже словно наполнена румянцем до краев, спрашивает наивежливейше:

— Не вы ли будете случайно герр Окофф?

Бежать дальше нет сил, и Фокин отвечает с достоинством:

— Бывает, что бываю я Оковым, по правде зовут меня Иван Петрович Фокин, павлодарский портной и гражданин, и вам спасибо, гражданин, за русскую речь. Умучили меня здесь, сукины дети, языком и, главное, не объясняют, почему я их бить должен.

Шляпы еще в воздухе, обильно пахнущем бензином. Усталый Оська просит у шофера попить.

— А не вы ли будете случайно начальником тех, что дерутся, или объясняющим все эти канители, а также как ваше имя-отчество, гражданин?

Михайлов говорит имя-отчество. Изморенно оперевшись об автомобиль, Фокин бессмысленно смотрит на Олеся, и тому почему-то неловко. «Разбойничья рожа»,— думает он и еще больше выпрямляется, и похоже, выпрямится сейчас до небес.

— Папироски нет, Геннадий Семеныч? В драке все папироски растерял, вот до чего тут драчливые нации,— даже трудно объяснить. Сегодня во славу батюшки Ильи-

ча семь носов пришлось расквасить, благо носы тут крупные, особого вреда не произойдет для организмов населения. Вам как, Геннадий Семеныч, тоже всыпают, или вы предпочитаете по старости от них на автомобилях?

Оська подходит, тянется тоже за папироской, садится на крыло машины и кричит шоферу:

— Собачонку погубил из-за девки. У нас бы в таком деле просто: линнула бы в шары кипятком, и кончено...

Михайлов опасливо шепчет Олесю: «Может, плюнуть нам на эту затею, разбойники ведь». Олесю тоже как-то не по себе, но он лезет в небо,— притом же здесь не Россия, и можно предупредить всегда полицию. Жизнь здесь — квадратики, из которых дети складывают картинки: как ни бейся, а ничего, кроме следуемых картинок, не сложишь.

Оська же юрко шепчет Фокину: «Ушел только от тебя, ты и успел подраться, а я собаку захотел».

Тогда Михайлов крепко уминает шляпу на голове и говорит небрежно:

— Есть слухи, Иван Петрович, будто бродите вы по Германии, ища штатского мирского костюма, или, иначе говоря, тишины. Мы идем к тому же в штатский комитет.

— Да что ты, постой, что ты... есть такой-таки, а?

— Есть, Иван Петрович, есть.

Хотел было перекреститься тут Фокин на радости, но, сплевывая, сказал укоризненно Оське:

— А ты мне еще брякал,— не найдем мы случайно ни государства, ни мирного фасона. А здесь имеются целые комитеты. И машина комитетова тоже, Геннадий Семеныч?

Оглядел Оська машину, посмотрел на небо, подумал: «Если может портной шить счастье, почему же не сшить ему комитет и даже целое государство». Подумавши так, хлопнул одобрительно шофера по плечу.

— Штатский комитет всех стран поручил мне свезти вас на заседание и одновременно на бал и показать вам стремления народов земли к спокойствию, миру и штатской одежде. Ближайшее заседание будет в Париже через четыре дня.

— Так,— протяжнейше сказал Фокин,— а комитет вам, часом, не заявлял, когда он власть в наши руки передаст?

— Позвольте, Иван Петрович...

— Нет уж вы мне позвольте, Геннадий Семеныч, по порядку дня и постольку, поскольку мы являемся представителями Советского Союза, и когда за нами — да... Мы к этим делам насчет организации привыкли и завсегда непорядки видим, так как представители рабочих и крестьян. Скажем, первое слово, заседание, хорошо. А при чем тут бал и бессмысленное расходование народного имущества? Загогулина!

Он посмотрел с сожалением на смущенного Михайлова и сказал решительно:

— Едем! С балом разберемся на месте, возможно — манифестация под видом бала. Еду. Крой, Оська, горе сбрось-ка!

Тот влез на сиденье рядом с шофером, стукнул в стекло, свистнул, заглушая свист машины, и запел:

Собачка моя,
Сучка-невеличка...
. . . .
. . . .

...Из старых песен рассказать разве о мельницах, лениво шевелящих крыльями, как сытые птицы на сытых холмах Бельгии. Тихие города, благовест колоколов и благость ладана в прямых, словно нащепленных церквах.

Забудем про это!

Мельницы там темные, огромные фабрики с отвратительным дымом, густой грязью перекрасившим небо. Грохот во дворах мельниц, словно мелют не зерно, а камни. В церквах служат попы, состоящие в фашистских орденах и после обедни идущие со свинчатками избивать рабочих. В Льеже, Генте, Намюре и прочих местах на неубранных полях сражений жирные буржуа сбывают свой жир в фокстроте и шимми. В Шарлеруа, в Люттихе и иных благословенных городах найдешь ты, читатель, остатки разбитых баррикад, и кое-кто расскажет тебе о красном знамени, подымавшемся и падавшем на ратушах.

Тихая земля моя, степи!

Тихий мой Фокин и смущенный Оська, почему вы в экспрессе, мчащемся на Париж, почему сонный слуга стелет вам туго накрахмаленные простыни, когда в сибирских павлодарских озерах — караси ищут клева?

Видно, не из старых песен делается теперь жизнь!

9

Фокин на балу штатских в Париже

> ...Когда касаются холодных рук моих
> С небрежной смелостью красавиц городских
> Давно бестрепетные руки...

Хм, что ни говорите, а куда легче жилось писателю в старину! Я не завидую имениям или виллам,— нет, формальный метод приучил нас к другому. Вот попробуй опиши бал! Бал! Ах ты, какое дело! То ли работа изобразить монгольские степи или, скажем, Самарскую губернию? Пустил бы я там лишний раз ободранного мужика, суслика или, на худой конец, во все мои краски раскрашенную мышь. А тут — бал! Если по совету критика Правдухина, открывшего, что к такому способу прибегали Сейфуллина и Л. Толстой, показать видимое глазами героев... вполне возможно, а вот ведь тоже скучно.

Многое, милые мои, сейчас скучно делать, оттого что очень многое мы поняли.

Стоит Фокин за колонной. Проходят мимо в покроях самого разного фасона самые разнообразные люди. Трудно упомнить все земные фасоны, но понятно одно — военных мундиров нет, но и от этого не легче портному.

Подводит к нему парижанин Михайлов девушку и говорит:

— Позвольте представить — дочь моя Вера, невеста нашего спутника Олеся.

Платье на ней из парчи, туфли на золотых каблучках и высокая грудь, как мука, вдруг посыпавшаяся из мешка. По-другому, но с таким же сожалением и завистью смотришь на сыплющуюся муку.

И даже немного оторопев, словно мука была золотая, спросил ее Фокин:

— Давно ли сюда попали и как изволите жить, гражданка Вера?.. Любопытные места кругом, и народ тоже, больше занимающийся танцами, чем мыслями о скоропроходящей жизни!..

Видит — не то язык несет: ускакал черт знает куда, и остановить невозможно, надо бы ему о другом, да и та, видимо, о другом спросить хочет.

Оська же зашел за колонну покурить и перочинным ножом вырезать на ней: «Оська и Фокин» — число и месяц. Совсем смутно портному, будто мука по рту.

— Почем же за платье берут и велика ли здесь безработица у портных, не говоря о музыкантах, которые играют непрестанно танцы?

А у той зрачки — как иглы, и чувствует — шьет она другого Фокина, и нет этому спасения, другой сейчас Фокин будет. Сухим, как нитка, голосом спрашивает:

— Почему вы ушли с родины?

Обвел вокруг себя, указывая на толпу руками, Фокин и совсем неуверенно ответил:

— А из-за этого... штатское...

У Веры же брови метнулись, как из-под ног в лесу ночная птица. И вдруг так же строго отвернулась.

И, весь в поту, подумал Фокин: «Могила, а не девка».

На возвышении стол, вокруг него народы в своих народных костюмах гражданского фасона: греки, итальянцы, испанцы, негры, англичане. Лица у всех — словно неустанно, всю жизнь танцевали этот фокстрот, который тянется нескончаемо, словно штука солдатского сукна.

Седой старик с бородой ниже земли звонит за столом в колоколец величиной с ведро и кричит по-русски:

— Го-оспода!

И чудно Фокину, и тревожно, почему же говорят все по-русски и хохочут при этом. Одна только Вера супится среди них, и одну ее не снимают бесчисленные фотографы, и одной ее ради не вспыхивают огромные лампы, похожие на молнии.

— Господа,— кричит старик,— приехал из России честный человек, знаменитый русский портной, шивший все время на засильников в Кремле. Ему надоели военные замыслы большевиков, ему надоело издевательство над православной русской церковью. Господа, представители всех народов, покажите и докажите, что не дремлет в вас стремление раздавить засевших в Москве гадов, что вы полны стремлением переменить свою штатскую одежду...

Наклонился портной к Оське и спросил шепотом:

— А ведь молчат все, Оська, ведь, значит, мы двое с тобой не согласны с ним. Что он несет, а, что?

Пожал пренебрежительно плечами Оська:

— Просто брешет от старости; послухаем еще, я тебе потом это все по-французски переведу, смешнее. Тут ведь все сплошь русские.

Старик же, путаясь руками в бороде, кричал:

— Конец приходит извергам и кровопийцам, болтаться им всем скоро на столбах... Крест скоро взметнет-

ся над Кремлем, и собакам глодать выкинутые кости, которых ни один человек не согласится хоронить.

Шепчет совсем смятенно Фокин Оське:

— Парень, да ведь это — сплошь контрреволюция и позор... Тут ведь так влипнуть можно... Нет, брат, пойдем, Оська, от греха подальше: тут такой заговор, тут такая игра, что мне ни один комиссар не только что френча — подштанники не закажет.

Обалдело вильнул он за колонну, нырнул вниз по лестнице и рад был неслыханно коврам, на которых шаги — как иголка в тесте. Оська спешил за ним, в утешение бормоча, что всех собачонок в Париже он собственной рукой перережет и что ничего ему не надо.

На углу лишь опомнился Фокин. Деревья бульвара в пыли, дождик серенький моросит, и нет нигде у фонаря Ваньки-извозца.

— Тут, брат Оська, почище уголовщины, и, главное, милицию не позовешь. Ну страна — разговоры какие допускает. Пойдем-ка поищем лучше портных в этом завалящем городе.

А рано, часов пять утра — не больше.

Улицы моют машинами, и людей в машинах не видно. К полицейскому подойти спросить про портных — опасно. Может быть, ищут их, потому что на бал-то ради них потратились, и, возможно, такие здесь обычаи, что должен сбежавший гость оплатить расходы по балу.

И вот идет мимо в промасленной куртке, по виду похожий на машиниста или кочегара с паровоза.

Подходит к нему Фокин и видит вдруг — под самым сердцем у него, от копоти совсем почти незаметная, пришпилена маленькая жестяная звездочка.

Твердо протянул ему Фокин руку и сказал:

— Братишка, умучили... очень тошно здесь, братишка!

Машинист пожал ему руку со всей охотой и спросил:

— А что, эмигрант?

— Фокин я, Иван Петрович Фокин.

Улыбнулся тот вежливейше, и, видимо, Фокин для него так же известен, как кедровые орешки.

— Если не эмигрант, то что у вас нового и почему вы здесь?

И с радости начал тут Фокин врать, и врал так, что самому стыдно до озноба стало, и оглядывался он очень часто. Оська переводил его речь с великой и ожесточенной охотой, что пятьдесят миллионов пролетариев, оде-

тых в одежду, придуманную им, Фокиным, и вооруженных танками, пойдут скоро на Европу, разденут догола всех буржуев и заселят ими киргизские степи и что, в первую очередь, будет полякам, как самым легковерным брехунам,— трейле.

Лицо у машиниста было строгое, квадратное, будто слегка и слушал он так, словно знал все это давно (хотя и не имел обыкновения читать эмигрантских газет, ибо врут они так же, как Фокин), но слушал все-таки не без удовольствия.

И под конец хлопнул его по плечу Фокин и сказал с восхищением:

— Ну, а вы как живете, туго?

— Туго,— ответил рабочий и ухмыльнулся.

Русские жалеть любят.

— И насчет одежонки, пожалуй, туго?

Промолчал машинист.

Шевельнул Фокин плечом и спросил:

— Газеты читаете?

— Читаем, товарищ.

— Так вот портреты Фокина видел?

И слегка удовлетворенно шевельнул грудь.

— Я все знаю, мне теперь все подземности известны, Я тебе... Есть у меня до тебя такое желание. Укажи ты мне, братишка, свою квартиру, и сошью я тебе новое платье.

— У меня достаточно платьев имеется. Разве у русских такой обычай, что ради гостя хозяин должен платье новое шить? Я тебя, дружище, лучше вином угощу.

— Вина мы потом выпьем, когда ты в новом платье будешь, и неизвестно, из чьих погребов ты тогда вином меня угостишь. А сейчас выбирай ты себе, парень, материю покрепче.

Рассмеялся машинист.

— Да не надо мне платья, милый друг, и нет у меня лишних на то денег.

— А ты знаешь, какие я платья-то шью?

Машинист шевельнулся подозрительно.

— У нас в газетах печатали, что при царях в Москве лучшие во всей Европе портные жили. Мне стыдно было подумать, что ты из таких портных, такому портному много найдется работы и в Бурбонском дворце...

— Я счастливое платье шью, как сошью — так человеку и счастье...

И вдруг самому стало непонятно тяжело объяснить такую простую и испытанную историю.

Тут рабочий взял его легонько за плечи, качнул его слегка и сказал:

— Мы люди взрослые, нам для чего такие сказки? Счастье, милый друг, в борьбе, и счастье мое в рабочей блузе, и больше никакой одежды мне не надо.

Оська был очень доволен и ответом, и тем, что перевел его портному совсем по-газетному. Поглядел было на того Фокин огорченно, но крепкое, словно из чугуна отлитое лицо и даже ноздри не колышутся, когда дышит.

Больше для своего спокойствия сказал:

— Чудно! И, думаю, притворяешься, парень. Однако наше дело предложить.

Позвал его было с собой рабочий, но не пошел Фокин. Уткнулся он сапогом в тумбу и думал. Оська же переводил на русский язык вывески, получалось по-глупому длинно, и он хохотал.

Но тут по бульвару пронесся автомобиль, затем вернулся, и толстоносый человек со всей вежливостью спросил найденного Фокина:

— Что ж вы, герр Окофф, покинули собрание и что могло вас так встревожить?

Молча сел Фокин в машину, молча кивнул головой на предложение Олеся — подписать под своим портретом, что не большевик он, что слухи, распускаемые немцами о нем,— ерунда и что ждет он не дождется возвращения штатской жизни в Москве.

Открывались банки и конторы, автомобили с блестящими верхами вытряхивали людей в цилиндрах, похожих на верхи автомобилей.

С гордостью рассказывал ему парижанин Михайлов, какими богатствами владеют эти банки, какие миллионы текут из Египта, Рура, Персии, Африки, какие миллионы черных войск готовы защищать черные покрышки.

Одним глазом взглянул на это Фокин и спросил с тоской:

— А какой месяц теперь в России?

— Такой, какой здесь,— август.

— Погода другая,— ответил Фокин и опять замолчал.

А Оська видел — удручен портной и уничтожен; согласен был Оська на все, чтоб только утешить его, и ничего не придумал. Посмотрел на толстоносого Михайлова, как уверенно он увозит Фокина, и подумал: «Придется, видно, и для дяди Фоки собак разводить».

В кабинете (куда провел их Михайлов, умчавшийся за фотографом, дабы запечатлеть отречение Фокина) сидел низко в кресле Фокин и не заметил даже, как вошла Вера.

И резко, точно отмыкая заржавленный замок, спросила она портного:

— Вы что тут делаете, вам не стыдно сидеть здесь?

Раскрыл уныло губы Фокин:

— Такая жизнь, голубь, такая косолапая наша жизнь!..

— Жизнь строится, а не с неба валится.

Фокин махнул рукой.

— Сегодня второй раз такое слышу!

— Почему ж вы не строите жизнь у себя в стране по-своему, зачем вы сюда приехали?

Надоели уже Фокину упреки, и ответил он с легким раздражением:

— А вы давно, барышня, из России?

— Я там не была десять лет.

Оглядел ее с легким недоумением Фокин.

— Так вы ступайте туда и попробуйте постройте! Вы думаете, жизнь строить, это пуговицы пришить?

Окна все в кабинете выходили на юг, метнулась было к ним Вера, но отошла. Глаза у ней вспыхнули, руки задрожали, и Фокин поднялся за ее словами, хотя и пропахли они насквозь запахами газеты «Накануне».

— Домой хочу, портной, домой, на родину! К полям, к просторам, к серому небу,— меня тоска ест от злости, вокруг меня льющейся на мою родину, на Россию. Я не хочу второй родины, не хочу окон на юг и лощеного, как цилиндр, моря... Я — домой!

Оська вдруг подсвистнул, подпрыгнул.

— Крой их, стервь, эх, перевести бы это кому-нибудь, мамаша! Собачонок-то ихних еще, собачонок наплодили, суки!

Выровнялся как-то от возгласа Оськина Фокин, с легонькой смелостью взял Веру за руки.

— А ты, девчонка, плюнь, и по откровенному делу сейчас садимся в аппарат и по-ошли...

Оська же предпочитал страшное, так он, выглянув в окошко, предложил:

— Дяденька, через окошко лучше на полотенце спуститься...

— Я люблю в России ее буйное начало,— сказала Вера и как-то выпрямилась (по-видимому, кое-какие при-

вычки от жениха она успела приобрести),— ты вызвал во мне все, что так давно таилось во мне, тоску и таинственность российских просторов...

Фокин не читал «Накануне» и потому ничего не понял, но сказал значительно и твердо:

— Совершенно верно, и насчет манаток буржуазных не беспокойся, проживем и без них...

— Что такое манатки?

— Манатки значит барахло.

Фотографы, думая, что так и нужно, сняли Фокина и Веру спускающимися по лестнице. Фотографии были попорчены гневным отцом, но и поломанные все-таки их вечером газеты напечатали с подробным объяснением относительно коммуниста и авантюриста Фокина, уворовавшего дочь князя Михайлова, русскую красавицу Веру.

Простите меня, друзья мои, читающие эту книгу!

Ее конец тривиален, как большинство теперешних книг, и нет ничего чудесного в возвращении Фокина,— и мне была бы такая тоска, такое одиночество написать по-иному.

Родные степи и холмы мои, Россия!

Мне ли, другому ли, но говорит, стыдясь, возлюбленная: «Не целуй и не люби мои большие груди, у тебя сердце и губы варвара».

Но в теплом лиловом ветре вечеров — не так ли женоподобны поля и холмы, прикрытые золотым колосом, и не сосцами ли кажутся там золотые костры странников?

Россия!

От женоподобной и широкой щедроты твоих полей скоро тысячи странников пойдут мимо хат, мимо городов. Их мозоли до твердости камня пропитаются твоей глубиной.

И я позавидую каждому и буду думать, что придет день, когда березовый колок распахнет предо мной пахучую березовую дорогу и конец моей палки будет шипеть по сухим стеблям трав. Палка залоснится от этого шипа и с другого конца от моих ладоней.

Или ничего такого не случится и ничего не нужно? Такая жизнь, Фокин, такая жизнь!

Почему ж ты молчишь?

10

Доказываю, что все же конец повести не в предыдущей главе

Возвращаясь, мельком на польских станциях видал Фокин старых знакомцев — пана Матусевича у самой русской границы, ксендза, сбирающего подаяния, оборванных жандармов. Бегали они все вдоль поезда, в руках у них были газеты и журналы с изображением Фокина,— и в каждом разный был изображен Фокин. Но последняя польская газета печатала чей-то портрет с надписью: «Известный русский авантюрист, выдающий себя за Христа, портной Иван Око».

А самого Фокина никто из них не мог признать, и проходил он мимо них с легкой тоской. Хотелось ему спросить про панну Андронику, но так и не подошел, да едва ли бы кто из них ответил, спросить бы лучше об ней варшавские улицы, где не однажды валялась панна Андроника, избитая сутенерами.

Больше всего был доволен Оська. Ежеминутно вбегал он в купе к портному и, тыча в окно пальцем, вопил:

— Мы ж шли тут, пан Ока, тут...

— Шли,— не глядя в окно, отвечал Фокин.

Любовь, по крайней мере европейская, очень одинакова,— и только мы, писатели, из профессионального тщеславия разнообразно описываем ее.

Любовь, конечно, мешает воспоминаниям. Любовь, конечно, мешает спать, но ехать, имея любовь, можно великолепнейше.

Так и доехал Фокин до Минска.

Здесь почему-то и пришлось ему остановиться. Не то родные у жены оказались, не то понравилась Белорусская республика,— поселился Фокин на Преображенской улице, вывесил доску, изобильно размалеванную: «Принимает заказы штатский и военный портной из-за границы Иван Фокин»,— и стал ждать заказов.

Жена быстро забыла лексикон «Накануне» и стала просто красивой женой, купившей к тому же керосинку в Металлотресте.

И заказы не замедлили.

Первым пришел томный, волоокий человек (фу-ты, господи, не умею я описывать красивых людей, и даже банальным стать не страшно), спрашивает волооким голосом:

— Знаете ли вы парижские фасоны?

— Мне ли не знать парижских фасонов,— ответил Фокин, с удовольствием взяв аршин и стал измерять волоокость.

Вера Геннадиевна тоже близ и кое в чем объясняет, и приятно Фокину, что, словно нарочно, запомнила жена парижские моды и даже может объяснения давать.

— Вот там,— говорит она,— нужно сделать поуже, а вообще для вашей шеи необходимо пустить широкий воротник, дабы оттенить полное благородство лица.

И вот стал ходить на примерку заказчик. Фамилия у него была Стрежебицкий, и уже на второй примерке стал он говорить с Верой Геннадиевной по-французски, и так, что приходилось убегать Оське, дабы, часом, не пришлось ему переводить таких разговоров.

А в конце заказа выяснилось, что платить-то платит заказчик по-честному, но вместе с костюмом парижского фасона берет с собой и жену портного, Веру Геннадиевну.

— Как же так? — спросил Фокин.— Зачем же мы приехали?

— Затем,— ответила Вера,— что ехала я сюда, думая видеть в тебе воплощение идеи русского, восставшего от векового гнета народа, а ты просто курносый портняжка.

Ничего не понял Фокин, но обиделся, и так как приобрел за границей достаточный запас гордости, то ответил с вполне отличным презрением:

— Тогда возьмите ее, гражданин Стрежебицкий, как остаток приклада.

Но не понял остроты заказчик, оттого что приклад, согласно ряда, должен быть поставлен Фокиным.

Жена быстро ушла, захватив парижский свой чемоданчик. Поглядел Фокин в окно — дождь, слякоть, осень, Заборы шатаются и вообще мокрые, как тряпки. Сказал он грустно:

— Надо и тебе, Оська, уходить, так как кому ты теперь будешь ходить на базар, запалять керосинку и покупать молоко? Со всем этим делом я один справляюсь. Иди, если хочешь, за ней, она теперь женщина будет богатая и платья будет шить у других портных.

А Оська в слезах ответил:

— Хочу я, пан Ока, учиться у вас в подмастерья.

Обрадовался Фокин, но, виду не подавая, сказал строго:

— Будь оно неладно, это штатское платье... все-то мне кажется, шью будто ладно, а заказчику все в пахах и под мышками жмет. Буду учить тебя другому, а потому и позови-ка, Оська, художника.

И приказал живописцу на новой вывеске написать неимоверной величины френч, чтобы пуговицы там были каждая со сковородку и внизу синим: «Шью точно и аккуратно. И. П. Фокин».

На этом и продолжалась его жизнь.

Пробовал было по честолюбию своему пройти на выборах в управдомы, но на общем собрании, когда начали говорить о ремонте драной крыши, вспомнил Париж, тут как-то рассказал к слову о заговоре Штатского комитета, на что и возразил ему ехидно молодой монтер, сам метивший в управдомы:

— Несмотря на седьмой год пролетарской революции, есть еще у нас такие вруны.

Кандидатура его провалилась, и с той поры потерял Фокин охоту рассказывать о загранице.

Сидит, шьет,— все собирается поехать в Москву, дабы сравнить ее с Парижем, но не то заказов много, не то уж очень хорошую наливку выпустил Госспирт, назвав ее игриво «русской горькой».

Крепости в ней совершенно достаточно, как в Алексее Максимовиче (да простят мне российские литераторы плоский сей каламбур — очень я люблю Алексея Максимовича, и вот — себя не пожалел).

Итак, пьет он наливочку и все собирается найти иностранные газеты и справиться, где ходит теперь Фокин, потому что, ехавши домой, чувствовал он, что каждая страна приобрела себе своего Фокина.

— Купить бы нам с тобой, Оська, карту планеты. Однако большая земля, насколько я помню, дорого, пожалуй, карта стоит.

— Дорого, я думаю, дяденька.

Поглядит на него хитрым пьяным глазком Фокин и хитро спросит:

— А ведь ходит где-нибудь теперь Фокин, ходит, стерва, и смущает человеческие выкройки?

— Ходит,— отвечает со всем восхищением Оська.

— И мальчонка какой-нибудь, переводчик, с ним ходит, и зовут его, возможно, Оська?

— Зовут, дяденька.

А на рождество получил он вдруг из Сибири, из Павлодара, посылку — замороженного поросенка и письмо

при нем от Гликерии Егоровны. Правда, отгрызли по дороге крысы уши поросенку, но ничего — на вкусе это не отразилось.

Пьет он настоечку и читает письмо:

«Когда вы вернетесь, Иван Петрович, стосковалась я по вашим просвещенным разговорам... Поп насчет подрясника справлялся несколько раз, и еще завелся у нас статский для вас заказчик, парикмахтер по маникюру, тот, что по воскресеньям на гулянье, на яр в белых штанах выходит и в шляпе, прозванной за безобразие цилиндрой».

Поросенок промерз до души, а такая закуска очень глубокодушно человека настраивает. Отложил письмо Фокин, подумал, подумал, посмотрел на свет рюмочку с наливкой.

Хороший, золотистый загар у наливочки.

Тогда, выпивши не спеша и не спеша закусив, дочитал: «...а я все прихварываю, и некому мне рубашку смертную сшить...»

— Нда-а...— сказал Фокин и налил еще рюмку.

Но здесь попросил позволения Оська сшить старухе рубаху и послать обменным подарком за поросенка.

Фокин, помедлив малость, согласился.

— Пошлем, однако она, старуха, нас переживет, значит, рубаху надо шить самую крепчайшую, чтоб не обидеть ее перед смертью, а то хватится, а рубаха-то сгнила и развалилась.

Разложил газетные листы Оська, делая выкройку смертной рубахи. Звякал он ножницами и подсвистывал шимми. Многое об Европе Оська забыл, и только весь квартал и все папиросники Минска научились у него ходить нараскорячку и свистеть шимми.

Поглядел на него еще Фокин, потянулся, разминая в жилах наливочку, и, сплевывая, сказал в угол:

— Давно я что-то карасей не удил. Все республики в России одинаковы, и, значит, едем, Оська, в Павлодар.

— Едем,— ответил очень спокойно Оська.

1924

КИРГИЗ ТЕМЕРБЕЙ

Темербей спал на кошме, когда прибежал сынишка и, дергая отца за рукав кафтана, прокричал плаксиво:

— Эый, апа! Лошади нету.

Темербею спать не хотелось, но все-таки он (дабы сын не подумал: сильно, мол, отец беспокоится) повернулся на другой бок и вяло проговорил:

— Уйди! Спать хочу.

Сынишка же плаксиво продолжал рассказывать, что спутал лошадь, пустил в степь, а она порвала путы и убежала. И он тряс плетенными из конского волоса путами.

— Нету лошади, апа.

Темербей полежал, сколько ему понадобилось, затем встал, пощупал жесткие путы и, повесив их на перегородку, сказал:

— Долго воевать русские будут? Штанов нету, брюхо, как арбуз, голое,— тьфу!..

Лошадь, знал Темербей, бродила недалеко, и он решил отправиться пешком, лошадь смирная, и ее можно изловить без аркана. Он подтянул пояс, хозяйственно оглянулся, взял недоуздок и пошел в степь.

Аул Темербея маленький: семь темно-серых, похожих на грибы юрт. У прикольев, полузакрыв розовыми веками влажные глаза, дремали тонконогие жеребята. Пахло кизяком и овцами.

За прикольями — степь; жгущий ноги песок и беловатое, безоблачное и жуткое поэтому небо. День только что начинался, а жара такая же, как и вчера к вечеру,— и словно не было короткой ночи.

Темербей ходил долго, думал, откуда бы достать чаю, выбирал в уме, какого барана отвезти к казакам для мены,— может, у них найдется чай. А черные зрачки в узких разрезах глаз шарили по степи — нет ли лошади. Одно время он почувствовал под пяткою в сапоге песок, он отставил кривую ногу, наклонил голову, взглянул. Как раз над пяткой у сухожилия ичиг лопнул.

— Тьу!.. — недовольно шлепнул губами Темербей.

Он сорвал пучок высохшей травы и заткнул прореху. Срывая траву, он вспомнил, что в степи засуха и что с самой весны (а вот скоро и конец лета) не было дождя. Ему стало тоскливо, и, чтобы скорее вернуться домой, он пошел быстрее.

Он исходил верст восемь, когда встреченный киргиз сказал:

— Темербей! Лошадь твою Кизмет поймал и к тебе отогнал домой.

С Кизметом Темербей давно был в ссоре, и известие такое ему не понравилось.

— Что он обо мне заботится? Сам бы нашел,— сказал Темербей, отходя от киргиза.

Знакомец хотел предложить довезти Темербея до аула, но, видя его недовольное лицо и вздернутые кверху два клочка волос на подбородке, попрощался.

— Кошь!

И слегка тронул лошадь толстой нагайкой. Лошадь весело махнула хвостом и бойко пошла иноходью.

Темербей же досадовал и на Кизмета, и на знакомца, не предложившего довезти. Он, не зная зачем, пошел дальше в степь. Так он прошел с полверсты и успокоился, а как только успокоился, то почувствовал усталость.

Он поднялся на холм и лег в густые кусты карагача. От них ложилась, правда жидкая, тень и пахло смолистостью. Темербею захотелось спать. Он заложил за щеку носового табаку, попередвигал по деснам мягкий ком и скоро почувствовал приятный туман в голове.

— Что мне! — довольным голосом сказал он, сплевывая.

Потом он снял бешмет, свернул его клубочком и остался в грязной ситцевой рубахе и в штанах из овчины шерстью наружу. Он рукой выровнял песок, положил голову на бешмет и, проговорив: «Хорошо!» — уснул.

Проснулся он от конского топота и еще какого-то странного, незнакомого ему звука, словно били чайником о чайник. Темербей взглянул вниз, в лощинку.

К холму, на вершине которого в кустах карагача лежал Темербей, подъезжали одиннадцать человек. Правда, это спросонья показалось Темербею, что они подъезжали,— двое из одиннадцати шли пешком, а один был даже без шапки. В сопровождавших этих двух пеших людей Темербей узнал нескольких знакомых из поселков казаков. Он хотел выйти из кустов и поздороваться, но странный звук повторился.

— Дьрынн!.. Дьрынн!..

Качавшийся в седле казак бил шашкой по стволу ружья и подпевал:

Волга-матушка широка,
Широка и глубока...

Лицо казака — круглое, с маленькими, цвета сыромятной кожи усиками, весело улыбалось. Ему, должно быть, доставляло удовольствие и собственное пение, и звук, производимый им ударом шашки о ружье.

Разглядывая его, Темербей заметил, что все казаки с ружьями, а двое пеших без ружей, и Темербей подумал, что лучше ему не вылезать.

Люди и лошади спустились в лощинку, и казак с бородой, блестящей и чистой, как хвост у двухлетка-жеребенка, с нашитыми на плече белыми ленточками, сказал что-то по-русски, после чего все казаки спешились. Лошадей увели в степь и спутали там.

Темербей подумал, что, вероятно, хотят варить чай, и ему опять захотелось выйти из кустов, но он подумал: «Почему сразу не вылез? Трусом назовут и будут смеяться».

Он очень уважал себя — ему стало стыдно, и он остался.

Казак помоложе принес две лопаты с короткими, плосковатыми рукоятками, он стукнул их одна о другую, сбивая присохшую на концы лопат глину, после чего передал их пешим людям.

Один из пеших — высокого роста человек, без шапки, в черных штанах, спущенных на сапоги, стоял, широко расставив ноги и насупив бритое с острым носом лицо. Концы штанов были очень широки, и сапоги почти тонули в этих больших кусках сукна. На нем была коротенькая тужурка с блестящими пуговицами, как у чиновника, и на тужурке лежал выпущенный ворот рубахи. Рубаха была из белого холста, а длинный ворот падал на спину, закрывая лопатки, и ворот этот был синий с белыми каемками. Лицо у этого человека загорело тем особенным коричневым загаром, который приобретают люди, впервые приехавшие в Туркестан. Солнце, должно быть, сильно палило ему голову, и оттого он часто поводил выгоревшими, почти белыми бровями и с силой сжимал веки.

Второй был ниже своего товарища, с рыхлым сероватым лицом. Он был курнос, и его толстые губы постоянно, словно нехотя, улыбались. Одет он был так же, как и казаки: в штаны и рубаху цвета осенней травы, на макушке торчала тесная фуражка с полинялой красной ленточкой у козырька.

Казак с белыми тряпочками на плечах отмерил три шага и, топнув ногой, сказал что-то по-русски. Маленький пеший человек подошел и ковырнул лопатой землю там, где топнул казак. Казак отодвинулся и еще топнул, пеший человек опять ковырнул лопатой. Второй пеший, отвернувшись от товарища, держал лопату под

мышкой и, почти не моргая, глядел в степь, и непонятно было Темербею, скука или что иное было на его лице.

Остальные казаки лежали и курили, горячо о чем-то рассуждая. По обрывкам киргизской речи, вставляемой время от времени в разговор, Темербей понял, что они говорят о покосе и о том, что старики неправильно роздали делянки покосов. Один казак, заметив пристальный взгляд в степь человека без шапки, поднял кулак и погрозил ему.

Человек без шапки отвернулся и стал глядеть на своего товарища. Маленький человек уже отмерил четырехугольник, и всковыренная черная земля походила на крышку широкого и длинного ящика, брошенного среди зеленой кошмы трав лощинки.

Потом двое пеших взяли лопаты и стали рыть землю. Казаки лежали там же и спорили о покосах.

Казак с белыми тряпочками на плечах сидел в трех шагах от работавших; в руках у него была винтовка, а шапку он положил на колени. Его кирпичное, с редкими усами лицо выражало скрытое удовольствие, словно он в первый раз присутствовал в гостях у какого-то большого чиновника, а с другой стороны — ему, должно быть, очень хотелось домой; надоела эта степь, горячее солнце, и хотелось тени. Он несколько раз взглядывал на кусты карагача, где лежал Темербей, но они были далеко — шагов двадцать — двадцать пять, и ему не хотелось или нельзя было идти. И он сидел по-киргизски, поджав ноги и положив грубые и грязные пальцы рук на ложе ружья.

Двое же продолжали, низко пригибаясь к земле, рыть. Влажная черная земля с блестящими нитями корней травы отлетала и жирно шлепалась. Уже появился бугорок, а Темербей все никак не мог понять, для чего роется эта яма.

Низенький человек уронил лопату, и высокий, быстро наклонившись, подал ее ему. На курносом лице низенького промелькнуло неудовольствие, что уронил лопату, и радость от услуги.

Высокий далеко отбрасывал землю и, видимо, работал неохотно, так что казак указал ему лениво рукой — поближе, мол, клади! И Темербей сразу узнал хорошего хозяина — действительно, зачем отбрасывать далеко, если землю понадобится засыпать, только лишняя работа. Высокий же не послушался и продолжал, словно со

злостью, далеко откидывать землю. Темербею такое непослушание не понравилось. Казак ничего больше не сказал, и Темербей подумал: «Наверно, работа казенная, раз так к ней относятся».

Низенький же работал лучше. Он не спеша брал полные лопаты земли и складывал их аккуратно, иногда сверху пришлепывая, и, когда стукала лопата о землю, он улыбался толстыми губами. Скоро он вспотел и, расстегнув ворот рубахи, закатал рукава. Высокий человек скинул короткую тужурку и отбросил ее в сторону. Молодой круглолицый казак, разбудивший Темербея пением, вскочил и быстро схватил тужурку. Торопливость эта показалась непонятной и жуткой Темербею, а казак понес и показывал тужурку с таким видом, словно она стала его собственностью.

У Темербея начинала болеть голова — и от неудобного положения тела в кустарниках, и от солнца, и от непривычки думать так долго. Хотелось к тому же пить, а вылезти — страшно.

Он закрыл глаза, но с закрытыми глазами было еще хуже. Казалось, войдет сейчас в кусты казак и спросит громко:

— Ты что подсматриваешь здесь, Темербей?

Он опять стал глядеть на работу двух людей.

Низенький, должно быть, устал и, вытащив из кармана грязную тряпку, отер ею пот и, как всегда при тяжелой земляной работе, глубоко и часто дыша, поднял голову и оглянулся. Лицо его искривилось болью, глаза покраснели; высокий заметил это и сурово указал на землю: дескать, работай! Низенький перервал вздох и продолжал копать.

Казакам надоело спорить о покосах; они по одному, по двое подходили к яме и, взглянув туда, громко ругались. Темербей понимал русскую брань, и, когда казаки ругались, он думал, что они, значит, недовольны медленно двигавшейся работой. Темербею тоже стало все надоедать, и он хотел, чтобы яму скорее выкопали и ушли, чтобы он мог тоже уйти домой и в прохладной юрте, на белой мягкой кошме, прислонившись спиной к ящикам, выпить чашку или две кумыса, а потом пойти к соседям и рассказать им о виденном. Или нет, соседей лучше пригласить к себе.

Но уж давно там, внутри, плескалась мысль: «А зачем они роют? Для чего? Кому?» А сейчас она поднялась, как река во время разлива, и затопила все. И толь-

ко, как сучья верхушек из-под воды, одиноко прыгали и дрожали мысли об ауле, скоте, сынишке.

И ружья в руках казаков, и лопаты, царапающие землю, и человек с белыми тряпочками — все как-то сразу соединилось и крикнуло словно в лицо Темербею гнилым словом:

«Убить!..»

Сразу как-то понял это Темербей, а когда понял, стало ему страшно. Он почувствовал себя одиноким и в то же время связанным с людьми, совершающими убийство, а сказать «не хочу» — не было силы. И показалось Темербею, что он словно ест дохлятину, и даже начинала щекотать горло тошнина.

А двое «кызыл-урус», красные русские, продолжали работать.

Уже низенький ушел по пояс в землю, а так как двоим в яме работать было тесно, то человек без шапки встал на краю ямы и глядел в степь поверх холмов и кустарников. Темербею было виднее с холма, он подумал, что высокий, наверное, ждет кого-то из степи; Темербею стало жалко их, и он, в тайной надежде увидеть кого-то там, взглянул.

Никого.

Серела редкая полынь кустарника на розовом песке. Глубоко и жарко дышало цвета жидкого молока небо, и горячий воздух был почти уловим глазом.

А высокий человек все смотрел и смотрел, словно хотел улететь глазами в степь. И Темербею было боязно глядеть на его крепкое тело, на загорелое, похожее на заношенное голенище, лицо.

Казак выругался, и высокий человек прыгнул в яму сменить уставшего. Рыхлый пеший, тоже взглянув в степь, отвернулся. Он присел на выброшенную землю, и лицо его, словно по принуждению, жалобно улыбнулось.

Казак с белыми тесемками на плечах крикнул по-русски. Остальные казаки, вдруг став сразу серьезными, вскочили, схватили ружья и выстроились в ряд, как жеребята у аркана приколья. И видно было, что стоять так и слушаться тусклого здесь крика старшего казака было им приятно. Они понимали, что скоро уедут, и лежать здесь на жаре им надоело.

Услышав крик и движение, работавшие выскочили из ямы, и высокий с силой отшвырнул лопату в сторону, так что она врезалась ребром в землю. Они почти

одновременно взглянули друг на друга и стали на краю ямы.

«Убьют»,— подумал Темербей, и ему стало стыдно знать по именам и лицам этих казаков и думать, что придется еще где-нибудь встретиться. Он, сгибая хрупкий кустарник, старался плотнее прижаться к земле. Сердце у него билось так, что казалось, стук его отдается в земле, а телу стало холодно, и голова болела, словно был самый лютый мороз.

Под руками Темербея хрустнул сучок, он весь расслаб и с открытым мокрым ртом глядел, как против двоих встали с ружьями восемь и как один самый старый встал в стороне и приготовился кричать, одергивая рубаху.

Высокий протянул руку низенькому, и тот, подержав ее, как-то нехотя опустил и отвернулся. Высокий дернул подбородком, как дергает лошадь, оправляя узду, и сделал шаг вперед. В это время старший казак закричал, а как только он закричал, восемь казаков выстрелили разом, и Темербей зажмурил глаза. Ему показалось, что выстрелили в него, и он даже ощутил большую боль в плече.

Когда он решился взглянуть, пеших уже не было, а двое казаков засыпали лопатами яму, но им надоела скоро эта работа. Они взяли лопаты и, очищая землю о подошвы сапог, подошли к лошадям и поскакали догонять уехавших в степь казаков.

Темербей долго не выходил из кустов, но вот поднялся, спустился с холма и подошел к могиле, оставляя на влажной земле следы шагов.

Убитые были почти засыпаны землей, только торчала из земли кисть руки, должно быть, человек упал на спину и вытянул кверху руку. Рука это была белая, с желтоватым отливом, и у большого пальца на ссадине темнело пятно крови.

Темербей наклонился, чтобы хотя как-нибудь засыпать могилу, но, едва он дотронулся до земли, как вспомнил эту белую руку с длинными пальцами, отскочил от могилы и почувствовал, как непослушные, вдруг вспотевшие ноги, быстро подгибаясь, понесли его в степь. Он бежал, и в то же время его всего охватывало ощущение чего-то большого, неясного,— сознание, что самое страшное начнется сейчас, что у этой могилы он похоронил прежнего, давешнего, тихого, спокойного киргиза Темербея...

1921

КАМЫШИ

I

Солнце в камышах жирное и пестрое, как праздничный халат ламы. А тина — зеленая водяная смола — пахнет карасями.

И рукам моим хочется плыть — под камышами, по тине,— лениво разгребая густые и пахучие воды.

Но я не плыву. Этот единственный день я отдал своему телу, и руки пусть лежат на траве спокойно.

Вот комар опустился ко мне на бровь; я чувствую, он расставил тонкие, как паутинка, лапки и медленно погружает в меня свое жало. Я ему сегодня не мешаю, я закрываю накаленные солнцем веки и считаю, сколько раз шипящий у моего уха лист травы коснется моих волос.

— Четыре... семь... восемь...

Если чет — меня убьют, если нет — убегу. В поселке атамановский отряд, и станичному приказано меня выдать. Выдаст ли?

— Двенадцать... тринадцать... пятнадцать...

Ерунда! Трава отбежала от моих волос, но я не верю. Я говорю ей:

— Шестнадцать!

И пригибаю ее к своей голове. Она сердится. Сломана.

Зеленоватая гагара, раздавливая воды сапфирной грудью, выплывает из протока. Она медленно опускает в воду синий клюв, перья у нее на шее редеют, тело жадно вздрагивает,— она кого-то нашла.

Здесь я сгоняю комара с брови и лениво смотрю, как, колыхая алым брюшком, наполненным моей кровью, он летит.

И в жилы мои вползают такие ленивые и тягучие воды. Сердце плывет далеко — жирный и зеленый карась. Больше всего нагрелись колени и лоб — три моих паперти.

Мысли мои идут, как монахи со свечами, медленно. Вдруг один за другим падают на руки черные капюшоны, и усатые загорелые рожи громко хохочут. Это когда я подумал о папертях.

Я глажу колени и лоб. Смеюсь.

Лама в пестром халате, похожем на солнце в камышах, говорил мне у развалин Каракорума:

— Жизнь человеческая — как камни. Ветры проходят, и остаются пески. Здесь жил Батый и Тамерлан, тебе чего нужно?

Я рассмеялся почтенному ламе в его узкие губы.

— Я иду с одним ослом и Батыем и Тамерланом не буду, а любви у меня больше тебя и больше их...

Осел, широко расставив тонкие и пыльные ноги, отвесив губу, мычал через нос. А на губе у него сидела сизая муха. Такая же муха сидела на халате ламы и у меня на плече.

Мы, выпив молока, пошли дальше, а лама остался размышлять о Батые, Тамерлане и о камнях, превращающихся в пески.

Почему я вспомнил о ламе?

Не знаю, может быть, солнце, лежащее в камышах, похоже на его халат.

От плеча до локтя в тело вдавливается палка, но мне не хочется ложиться на спину. Палка эта гнилая, и к тому времени, когда мне крикнут, она будет раздавлена. У ней — я помню — бледно-сероватая с тоненькими узелками кора,— может быть, береза. Я вспоминаю холодный березовый сок — его весной хорошо тянуть через соломинку. Земля еще холодная, но ветер тугой, теплый, гнет шею; березовый ствол дрожит от верха до черной коры корней, дрожит, отдавая свои соки. Дальше я вспоминаю березовую луку своего седла и опять смеюсь:

— Нет, атамановцы меня не поймают!

Зеленая клейкая влага трав на моих ладонях, она заклеивает те дороги, по которым прошла моя жизнь, и рука моя похожа на лист, пальцы как жилы, у их основания серые мозоли от вожжей. Кто много едет, тот знает куда!

Так идет время. Все неподвижнее и тяжелее вдавливаются в землю воды. Камыши прямеют, тянутся кверху, напряженно звеня листьями. Рыбы отрываются от дна, всплывают, их плавники в зеленоватой воде похожи на желтоватую пыль. Мне кажется, я вижу их мутно-алые сонные зеницы, рыбы подплывают к солнцу, чтобы пробудиться. Я ложусь затылком на теплые ленты травы, и лицо мое обращается к небу. Оно все такое, как и тогда, когда меня не было,— и, может быть, поэтому я не люблю на него смотреть. Здесь у меня каждый год рождаются листья, и земля — тучная и широкая — любит меня по-своему.

Опять я гляжу, как воды поглощают время. Руки мои тянутся к ним ударить широко и звонко в сонную муть, чтоб эти широкие рыбы испуганно метнулись по озеру и вдавили б в свой мозг, какое оно, их царство, маленькое.

Нужно ли это?

Сегодня будем думать, что не нужно.

Я кладу руку на траву и стараюсь пальцами узнать ее цвет. Я закрываю глаза, у меня ясно мелькает: мягкая, длинная, пахучая полоса — зеленая, у́же, жестче — зеленовато-желтая, а вот эта, почти круглая,— красная.

Я открываю глаза — круглая красная трава.

Нужно помнить — осень. В пальцах у меня круглая красная трава. Я ее ломаю и говорю:

— Осень.

Камыши темнеют. Они как нити, соединявшие облака и землю. Они как перегородка, закрывающая хозяина, перегородка в большой юрте.

Тело мое устает. Я подхожу к водам и умываюсь. Капли с моих рук тихо и тягуче, как мед, медленно всасываются озером.

В камышах свистят. Широкое копыто звучно чмокает у кочек. Я опускаю челюсть, рот у меня выпрямляется, и губы нарезают свист:

— Ссссс... сссс...

В камышах харкнули. Мягко шевеля крылом листья, взлетает над моей головой птица. Человек смеется:

— Чтобы те язвило!

Я вспоминаю палку, на которой лежал. Давлю ее каблуком.

— Лукьян, ты?

— Я, парень; птица, чтоб ее трафило, прямо в нос хвостом. Ну, ты как?

— Готов.

Он наклоняется и, откинув гриву, шлепает коня в потную шею; вытирает пот о голенища и говорит:

— Садись рядом. Ишшут вас здорово, найдут — кончут. Там, подале, я лошадь оставил, в аул Бикметжанки поедешь, знаешь?

— Нет. Где он, аул? Не знаю.

— Ну? Прямо валяй через степь, на солнце. Найдешь. Твои все тамотка, ждут.

II

Через степь — на солнце.
Через степь — на радость.
Через степь — вперед.
Пройдем и проедем степи. Пески превратим в камни. Камни — в хлеб.
Веселых дней моих звенящая пена,—
— Будь!

1922

ЛОГА

I

Уйдет она на пригон, в предбанник, скинет рубаху, смотрит на себя: плотно прижалось мясо к кости — алое, как калина, и пахнет крупным осенним мхом.

Скажет она горестно:

— С чего оно в тоске? Зачем?

А небо белое-белое, белее молока. Земля снизу его поджигает, дышит на него прелым духом.

Люди вокруг огромные, широкие, как земля, из твердого мяса сбитые. Ходят по полям победителями, высовывая из бород насмешные улыбки. Они покойны!

Хотя б муж ее Петр — у него черная, точно унавоженная борода,— земля, сто лет не паханная. И говорит, точно корни корчует:

— Нонче, паря, урожай! Бог послал!

Иль дед Емолыч — хан казанский. Лыс, как курган, хитер и слово бережет, словно клады земля. Молчит.

Бешмет у него киргизский, пестрый, на ногах ичиги, и не ходит — летает человек. Лошадь у него иноходец; трашпанка — легка, будто из бумаги.

И все дань из города привозит.

Привезет, в сундук, жестью цветной обитый, складывая, улыбается лысиной. А лицо, как темя, неподвижно.

Петр говорит ему:

— Пушшай бунтуют. У нас земля удойная, а город, ён все припрет сюды. Им бы бунтовать.

Идет Аксинья мимо мужа; в глаза ему посмотрит — как колодец степной, сух и темен глаз. А ночью, когда жмет ее, давит и зыбко дышит на ее тело,— закрывает она глаза. Тогда ей совсем страшно.

Шла бабка Фекла по пригону: яйца курица несет несуразно в этом году — искала. Шарила прелую землю,

навоз сухой и едкий, сено. Шебуршала, как сеном, губами:

— Ребятишки, баю, в Расее-то без ног родятся. Ксинь, а?

— Не знаю.

— Ничто народ ноне не знает! Ране хоть старова слушались, теперь вот своим умом зажили. Слякотной народ.

— Тошно мне, баушка!

— А ты Миколе Мирликийскому да Пантилимону свечку вверх ногами поставь. Сглазили, усю Расею антихрист сглазил!

И опять зашарила руками, зашебуршала сеном.

— Силы у меня нету, в бор бы не то пошла. Иди хоть ты, Ксинь.

— Видьмедя там я не видала, что ли?

— Гриб собирай! В городе-то заместо хлеба гриб жрут, провалиться им совсем! Собрала бы вот да на платье бархатно выменяла, а то на шелково, а?..

— Куды мне шелка? Скука.

И дом огромен, темен, как из камня рублен. Пахнет вечным сиплым хлебным духом. Все лето окна настежь — не выходит дух.

И все село такое огромное. На версты — в лесу, в хлебах.

Из города, как начался голод, приходили тощие, с широкими пустыми мешками, просили.

— Бог подаст! — отвечало село.

Не стали приходить. Собакам скучно, лаять не на кого. Да и приходившие завидовали им:

— Собаке на день скармливаете больше, чем нам на неделю дают.

— А ты не бунтуй!

И лохмоногие псы рвали сапожонки уходивших. Тоска и широта.

II

Желтым вечером — с юга дул песчаный ветер — из степи приехали киргизы.

Скрипели высококолесые тяжелые арбы. В них на тонкой протершейся кошме лежали тесно тонкие, как жерди, сухие люди.

Лупящаяся кожа пластами, как алебастр, прорывала острые кости. На рваных овчинах, закрывших тела, густым слоем надуло песок.

— Нан хлепа, нету чок...— говорили они.

Голоса их были, как ветер в курганах,— свистящие и одинокие.

— Хлеба нету!..

Мужики широко, крепко втискивая в землю босые ноги, покрытые пыльным волосом, смотрели на лишаи и струпья. Отходя, говорили про киргизов:

— Не выживут...

Петр сказал киргизам:

— Проезжай!

— Нан нету!.. Хлепа нету...

Ветер вырывал из прорех халатов клочья шерсти. Из малахаев тоже ползла верблюжья шерсть. А верблюды, тощие, с вяло повисшими горбами, были голы, и кожа их морщилась, как солнце в засуху.

Петр встретил Аксинью в воротах и молча посторонился.

Дед Емолыч шел за ним и, улыбаясь лысиной, велеречил:

— Я им, на хлеб, баю, меняй верблюда-то! Не хочут, халипы. Мало даешь, грит, а? Пуда пшеницы ему, немаканому, мало за верблюда.

— Гнать их — и больше никаких.

— И то гнать. Чуму припрут!..

— Ты в город-то когда торговать?

...Киргизы сидели на траве подле арб.

Курчавый казак Санька Убычев резал сделанным из литовки ножом толстые ломти хлеба. Один за другим, не спеша, кидал ломти на траву.

Киргизы жадно хватали с земли хлеб вместе с травой. Жевали всем телом — плечами, грудью, ногами.

Курчавый подбрасывал ломти, кричал:

— Лопай, ну!.. Ешь досыта, ешь...

Лежавшие же в арбах молчали, и остро выдавались под грязными овчинами их груди.

Киргизы, хватая ломти хлеба, благодарили:

— Щикур, Санка, щикур. Спасибо.

Скотина на Иртыше пила теплую воду, обмакивая в струю пыльные морды. С морды по шерсти текла вода, и глаза у скота были тоже как огромные темные капли.

А курчавый Санька Убычев все резал и резал хлеб.

— Лопай! Бог один, вера разна! Ешь.

— Берна, берна!..— бормотали киргизы.— Берна.

Заметил Аксинью.

Выцветший, как ковыль, волос подняло ветром с его широкоскулого лица. Открылись глаза — голубые, большие — как мокрое блюдечко.

— Чего ты? — спросил он.— Зачем пришла?

А у ней зарумянилась улыбка, сошла с лица на высокую, как старинное крыльцо, грудь. Во всем теле отдалось радостным холодком.

— Ничего, парень!..

Ушла, приминая траву, и трава увядала под ее ногой. Думала: «Есть на земле еще жалость».

...А фиолетовой душной ночью, крадучись, нагребла из сусека мешок зерна. Пригибаясь к редкой травке, упираясь пальцами в теплый песок, еле-еле донесла мешок до каравана.

Здесь обнял голову запах кизяка и айрана. Залаяли шепотом голодные киргизские собаки. Не выдержала. Опустила мешок, убежала.

Киргизы подняли мешок, спрятали.

III

Лога заковали село кольцами темной жирной земли — не то свадебные кольца, не то острожные. Трава в логах — скот плутает, молоко приносит из них густое, как сметана, и сладкое, как мед.

Гриб — огромен и ядрен. (Атаман Черняев в былые годы, сказывали, царям в подарок посылал. Но у царя внутре для гриба кишка переварная не годилась, и поедали гриб митрополиты. Атаману Черняеву же лента брильянтовая подарена за грибы была).

Через лога дорога извилистая по кустам и березняку на юг...

Дорогу трава заедает. И заела бы, кабы не киргизы и не дед Емолыч — они по ней в город ездят.

И жмут дорогу лога — колею украсили чертополохом. Синий колючий чертополох за колеса цепляется.

Стала уходить Аксинья в лога, будто скотину разыскивать.

Идет она березняком, боярышником — кажется, что запах его за платье цепляется, в волос лезет. А перед глазами дорога — убогая, тонкая, как киргизы те на арбах, голодные.

Цепляются мысли за дорогу, как чертополох за колеса, сердце в горькой и едучей полыни сохнет:

— Господи... Где же люди-то? С жалостью...

Идет Аксинья, томится.

— Господи! Может, и твой глаз спален, как эта вот степь-то? А?.. В городах-то, бают, землю гложут, камень, сухой да твердый... А и то по правде жизнь переделывают... Пошто так-то, господи?.. Здесь-то эвон на полземли распахнуло хлебами-то... Через леса прут, пашня ен мала... А людям жадно, все жадно... Хамство ты наше окаянное!..

...Курчавый Санька — один только, красным лампасом штанину окрасив, изогнулся, стоит поодаль, киргизам ломти широкие бросает. А глаз у курчавого голубой, жалобный...

Идет Аксинья, под кусты склоняется.

Пахнет боярышник ее сердцем, ее тоской, а лога жадные влажно дышат, прижимают к себе травы, колки березовые, чудесные подарочные грибы...

Пьет сердце и он, курчавый. И еще дорога, попираемая травами. И пески с голодными киргизами, а больше всего он — город... Посмотреть бы, какова там жизнь?

Идет Аксинья, плачет:

— Господи! Может, и твой глаз спален, не видишь!.. Где они, очи твои, господи!

Обнимает трава-лепетун ноги. Обнимает голову боярышник, ягоду тяжелую и мягкую на темя роняет. Утки крякают в травах.

— Спален, может, господи?..

Молчит господь, онемел. Непонятно глух. И только лога говорят слова жадные и немилые.

IV

Встретил курчавый Аксинью за селом, глаз его голубой плывет, тает в небе.

— Гуляете, Аксинья Семеновна?

— Скотину сбираю... Скот в логах.

Стоит он у боярышника, куст тоже курчавый — ягода мягкая... «А какие у курчавого губы?..»

Потупилась Аксинья, а потом подняла неспешно глаза, темно на душе стало у курчавого, темно и жутко, как в самом темном логу.

И разошлись они. Она в лога. Он в село.

А на другой раз — сел напротив, в травы.

— Торгует муж-то? — спрашивает. На губах — хмель: не то смеется, не то завидует. — Торгуют ваши-то?

— Наши-то?

— Ну?

— В городе, меняют. Обида ведь это, Саньша! Ведь на голоде наживаются!

— И Петр?

Вспомнила она Петра — его черной земли бороду. Ноги тяжелые, прямые, как деревья, шагают. И на груди — как после надсады... и на память дед Емолыч, хан казанский... Жадность какая!..

Хохочет курчавый.

— Что ты, Александр Григорич?

— Чудной народ, прямо не поймешь!

Аксинья говорит:

— У меня душа гниет, Александр Григорич, и не пойму никак... Сомневаюсь...

— В хозяйстве непорядок?

— Да нет!..

— Бабушка, Фекла-то, должно, стерва?

— И она ничо. Другое.

— Пошто, а?

— Болит, места нету... Не найду...

Курчавый ухмыльнулся и ногой пошевелил.

— Это бывает... Тело...

Пошло у него лицо ходуном. Руки затряслись, помокровели губы.

Положил руку свою к ней на колени. Обратно взять сил нет...

...А потом так же, как и Петр, брызгая слюной, давил и мял ее тело. И так же, как Петр, откинулся прочь, потно задышал в небо.

...Сорвала Аксинья пучочек травки и легонько на глаза ему положила.

Горячий у ней голос — радость тушит его,— ничего не выскажешь.

— Трава-то, вишь... сохнет... милай!

Курчавый утомленно повернул лицо набок и сронил траву.

— Листопад, потому оно и... сохнет.

Вздохнула Аксинья, глянула из лога вверх, по скату. Травы вновь по-весеннему подымаются, хоть опять коси. За небо березка уцепилась, дрожит.

— Уйдем мы, Санька, с тобой!..

— Куды?

— Жадный народ, боюсь я!.. Душа у меня гниет... Не могу, уйдем... а ты добрый...

Поднялся курчавый, расставил ноги так же, как расставляет их Петр. Медленно опуская голову, сказал спокойно:

— Ты коли с мужика своего тоскуешь — плюнь. А бить будет, уйти от него завсегда можно, ноне закон легок. Ехать-то, конешно, можно, а куды?.. Некуда ехать, да!.. Да и хозяйство у меня.

Погладил шею, сплюнул:

— Ты вот у мужика спроси: у него на пригоне бревна валяются, не продаст ли?.. Рубить народу не найдешь, да нонче какой работник пошел, знаешь сама...

— Не пойму тебя я, Саньша, шутишь? Рубить?

— Дом рубить буду!

И тут от слов тех опять накатилось под душу, затомило тело. Забилась опять внутри горящая береста — сердце. Вскрикнула, полоснулась душой она:

— А киргизы-то?.. Саньша!.. Киргизов-то кормил?

Захохотал курчавый.

— С киргизами-то, Аксинья, потеха-а!.. Дай, думаю, покормлю их всласть, наголодались. Взял у матери булки-то и давай их напихивать. Лопай! И верна, ведь трое подохли... Обожрались, немаканые, а?.. Ловко я сыграл, а? — Заглянул ей в темный — как глубокий лог — глаз и ничего, не дрогнул.— Завтра у меня гости будут, воскресенье... Ты в понедельник сюда приди. Ладно? А с немакаными ловко!

Ушел курчавый.

...Ударилась Аксинья в землю, заголосила.

Чертополох попал под грудь, переломился. Отдернулись под телом травы, и, хрустя, как травы, ломалось в груди...

А сумрак зеленый нашел лога. Убрал травы, тупо пахнувший боярышник и одинокую, хилую, заглоданную травами дорогу через лога, на юг...

1922

БЫК ВРЕМЕН

I

Ночью, когда юрты спали, туркмены пригнали табун пленных.

А Трифон не спал, Трифон искал бабу.

Синий песок щекотал потный волос ног, щекотал, жалобно струясь меж пальцев. Сухой ломотой покалывало колени.

Юрты истошно пахли молоком и айраном. Бесшумно пробегали худоребрые псы, словно составленные из прутьев. Месяц мелькал у них на клыках.

Не шла баба. Забыл Трифон, в какой юрте она, и, разгоняя собак, бродил позади юрт. Он свистел русскую песню и бил нагайкой по песку. Шел босиком, чтоб не шуметь, сапоги оставил в палатке.

— Эй, кым! — звал он тихо.

Звонким желанием натягивались жилы. Десны облепляла клейкая слюна. Засвистал громче, выругался:

— Омманула, стерва!

Здесь-то отошел от юрт, в пески, и увидал пленных.

Стукая палками-укрючинами с длинными из шерсти петлями, показались туркмены. Остро несло конским потом и размякшей кожей от седел.

Шарахнулась лошадь от Трифона: в прорыве он увидал темное кисловатое стадо человеческих голов.

Дальше кто-то в глубине тихонько бормотал русские буквы, а слова подавал туркмен, спросивший по-киргизски:

— Что тебе?

— Ничто,— грубо сказал Трифон, отходя.

«Раз отряд к аулу, можо, на шум выйдет». Возвратился Трифон. Опять лихорадил у юрт.

Синеватая, прозрачная, как листья джидде, марь не давала узнать приколья с тремя телятами и заплатанный медью котел-казан Кызымки.

Кровь завинчивала до боли жилы. Шипя, позвянкивало-потенькивало в ушах. Чубастый волос мокр и липнет на пальцы.

Продвинулся Трифон к костру.

Старая туркменка, с острыми, как нос, шафрановыми скулами, оправила на голове грязный чувлук, спросила:

— Что надо?

Зажала в клыках ворчание лохматая собака.

Плеснул плетью, собака прыгнула за костер.

И только хотел спросить, где юрта Кызымки, как белая грива коня повисла в дыме костра.

Склонившись, поправляя аракчин, мясистобородый туркмен спрашивал:

— Зачем ходишь? Чужой лагерь зачем ходишь? Надо свой лагерь сидеть, вот!

Клубилась у Ибрагима красная, по-персидски, борода; летел над седлом полосатый лампасами бешмет; седло сжимало коня афганским серебром чеканок.

Обмерклым голосом сказал Трифон:

— Лошадь потерял.

И словно не принял ответа Ибрагим. На карем иноходце к костру подошел густоусый бледный офицер.

От офицера Трифон в тьму. С полковником Степановым, ну его к черту!

Двинулись они рядом. Один тонкий, перетянутый ремнями, другой широкий, как кустарник зерик, и цветные волосы на спине, словно ягоды...

— Хорошо, сапоги не надел. Может, про мир?

Рысью за ними, рысью. Углядывай, парень.

Задержались у пленных. Устало, неслышно, как овцы, спали пленные. Как пастухи — туркмены с длинными укрючинами.

Указывал толстой и круглой рукой Ибрагим на Ийк-тау, скалу Быка времён. Одна она выбегает из песков, выше всех мечетей Туркестана и темна, как плита из черного нефрита на могиле Тимура.

Одна она. А за нею барханы в семь саженей — пески нетленные. А на барханах саксаулы с чешуйчистой, как сыпь, листвой.

Ветви мертвые скрипят, песок шелестит у стволов.

А на барханах волк и шакал.

— ...Не поймешь, говорят тихо.

Это люди неслышно, а пески, а пески как стада, и как зверь песков — молчаливый и жаркий — скала Ийк-тау, камень Быка времён...

Как их услышишь, человек?

Я их слышал, я! Ухом птичьим, чутким прошел по пескам. Волосы мои, как лоснящаяся шерсть коней. Как ящерица варан проскользнул я через саксаул, руки мои в песках, грудь пахнет молоком кобылиц.

Эх, ветры мои степные, серебряные! Корни трав твоих, пески кызыл-кумские, обнажили мое сердце, и, как верблюд на пятидесятиверстном пробеге, в пене оно, в крови оно!

Эх, ветры мои, степные-серебряные, помните!

II

Поднялся Трифон утром злой.

Вышел из палатки и сразу узнал юрту Кызымки.

— Ишь, гадина!

Мылись коротконогие, с пухлыми животами казаки. Отъехал от палатки полковника Ибрагим.

Спросил Трифон:

— Куды он таку рань?

Крепкощекий молодой Васька Талых сказал:

— Ноне байгу туркменье назначило. Праздновать победу хочут. Забрали вчерась пленных, бить их будут.

— Русских?

Талых захохотал:

— Там всех мастей. Австрияки есть, новоселы, хохлы, киргизье и опять-таки русски. Одно слово — красногвардей!

— Вешать, что ль?

Талых хлестнул себя по холкам и, весело махая кулаками, сказал:

— Ибрагим этот — башковитый! Недаром из ханов ихних. Я, грит, туды вашу, джигитов распотешу. С камня, грит, усех пленных пошвырям.

Талых свистнул:

— Лети на девяти, прямо в Москву. Это я понимаю!..

— Совсем сдурел народ,— сказал Трифон и, шарясь в карманах, добавил: — У те на завертку не найдешь?.. Надула меня баба-то.

— Но-о!.. Ее, парень, сразу надо за юбку. Востры. Табак-то есть, да гумага вся.

— Гумагу найдем.

Ветер от солнца жаркий, даже верблюд потеет. Крыльцы у казаков мокры, брови в поту, как сучки́ в воде. Починяя потник, Талых рассказывал:

— Полковник приказал, чтоб наши не мешались, потому зверства. А сам, грит, я ничо не вижу — в палатке буду сидеть. Ибрагим ему туды турсук кумыса привез. Сиди. А ты, Трифон Якимыч, на камень пойдешь?

Слова у Трифона острые и твердые, как куян-суек — дерево зверя.

— Надо бы бабу заметить. Ни... тянуть-то баушку за хвост. Не то и по хребту можно.

— Куды хошь. Я коли тоже, с тобой. А как их там, эти немаканы? Вон ведь куды, камень-то высок, парень.

— Одно слово — скеля.

Узловат мясом Трифон. Хозяйство вел дома широкое, шаг у него низкий и вязный. А Васька Талых шагает, словно коза листья щиплет.

Камни Ийк-тау под ногой будто стремя, пять дней не сползавшее. Саксаул в колючках прячет жару. Пески, задыхаясь, бегут от камня.

Собрались джигиты в праздничных халатах — жарких цветов. Малахаи из красного бархата опушены лисицами. Кони играют жилами, ржут.

У джигитов стальные пики. Джигиты внизу, у отвеса скалы Быка времён.

А на скале в бухарском фаевом бешмете с золотыми медалями, в бархатном желтом аракчине сам Ибрагим-бей из рода Дженгеня, потомка Тимура. На большом копье подле него конский хвост.

Слово старейшин — как растенье ранчи для красных полей — Кызыл-кумов. Не будет ранчи, не будут обитать люди. Не будет крепких слов, все уйдут туркмены к бунтующим русским.

Сказал Ибрагим:

— Сбросить на камни со скалы пленных кызыл-урус [1]. Чтоб кровь их, как вода, чтоб жилы их, как корни, обтянули камни. И родится для вас спокой и радость.

И запел уянчи-певец. Домхра-балалайка в две струны звенит, танцует, голос у него лучше волка, губы у него — дыни.

Поет:

— Ты, Ибрагим-бей, как гора, тучен ты, как жеребая кобылица, сопишь ты, как самовар, бегаешь ты, как летящий иноходец, твои руки протягиваются на пять верст, глаза твои видят через степь. Сладок ты, как арак...

Сказал Ибрагим:

— Веди!

Повели джигиты пленных.

Взглянул Трифон вниз под откос и ухнул.

Гикнули, откликаясь, джигиты, кони переменились местами, солнце переблеснулось на пиках.

Попарно шли пленные в гору. Утром их забыли попоить, и рты их были как серые, потрескавшиеся солонцы. Засыпанные пылью песков, волосы липли к вискам и тощим каменистым шеям. Было их больше сотни — впереди киргизы, в рваных бешметах и солдатских гимнастерках. За киргизами русские, а позади австрийцы в голубоватых куртках.

Длинная пыльная лента, с запахами страха и смерти, волочилась по дороге. Колыхая белыми чувлуками, прорывались туркменки через охрану, плевали пленным

---

[1] Красные русские. *(Здесь и далее прим. автора.)*

в глаза и выдергивали бороды. Жидкая беловатая слюна висела на бровях, а подбородки алели мутно.

Визжали ребятишки, под горой лаяли собаки, и, как желтый ящер, грелось на камнях солнце.

Увидал среди туркменок Трифон Кызымку. Расталкивая плечами баб, дернул ее за чувлук:

— Ты что не пришла?..

Улыбнулась Кызымка румяными щеками, а губы мокрые от плевков — до середины подбородка. Выплевывая пыль в лицо пленного, крикнула:

— Приду. Вчера мясо-махан варил, бий Ибрагим звал. Много бий Ибрагим гость был, помогать звал. Приду седни!

Одернул Трифон новую сатинетовую рубаху и перевалкой, не спеша, отошел.

Перекрикая шум и визг туркменок, Васька Талых спросил:

— Ну, что?

— Придет.

— Недаром ты нову рубаху оболок!

Скинул Ибрагим фаевый бешмет на руки подскочившего джигита. Подозвал первую пару пленных, повел крашеным ногтем по рубахам,— джигиты, теребя, перекидывая пленных, сдернули с них платье.

Сбросил вниз с обрыва рубаху и бешмет пленного Ибрагим. Джигиты бросились ловить. Сталкиваясь, звенели стремена и пики. Туркменки оставили пленных, и одна из них крикнула вниз:

— Эый, Докой!

Махнул в ответ джигит пойманным бешметом.

Опять повел пальцем Ибрагим. Двое джигитов, подталкивая пленных в лопатки, концами пик подвели к обрыву и вдруг, как сено с вил, скинули их. Джигиты гикали. Подвели вторую пару, сдернули одежду, пленные упали на живот, джигиты пиками за шею подцепили их с камня.

А на пятой паре Ибрагим оттолкнул джигитов, сам сорвал пуговицы и, приподняв пленного на руках, кинул. Повисая на камнях клочьями мяса и жижей мозга, брызгая багрово-бронзовой кровью на золотисто-серый камень, тела кувыркались... Отлетел почему-то один далеко и вдруг упал на круп лошади джигита. Лошадь вздыбилась, понесла, прикрывая гривой седока.

Потом они стали падать в одно место, и от красной кучи густо пошел пар. Один повис в камнях, из затыл-

ка жирно прыгнула кровь. Руки все прижимали к голове, а ноги били камни, как крылья.

Сказал Трифон:

— Тошнит.

Тряс Васька челюстью, скаля желтые зубы. Проговорил в нос:

— Ничо, пройдет.

Расправлял Ибрагим уставшие руки. Тер джигит ему плечо. Потели скулы темной яшмы, голубой и синей лазури камни Ийк-тау. Млеет камень, пески, как индийские шелка, солнце, как желтый ящер.

Кисловатым потом пахли пленные, много лежало на животе, стонало и материлось. Джигиты подтаскивали их к обрыву за мокрые руки и, словно мешок за другой конец,— за ноги переворачивали под откос.

Утомились и не стали снимать одежды. Надуваясь, скидывая пыль, тела грузно падали на камни, лопаясь, как большие пузыри.

Подходил в последних парах маленький, узкоглазый и смуглый. Шедший с ним покорно упал, а маленький визгливо ругался:

— Сволочи... собаки...

Залезая на седло, Ибрагим сказал про него:

— Этот как гадат-ранг, роза семицветная. Глаза у него как песком засыпало, скулы как лошадиные ляжки. Чаксы [1] русский!..

Натягивая поводья, сказал:

— Оставить его.

— Па-але,— подтвердили джигиты,— оставить!

Бежали вверх на скалу джигиты, чтобы посмотреть на русского, оставленного за красоту.

Подтягивая ремень со штанами, Васька сказал:

— Пойдем, Якимыч, жарко. Немоканы-то ишь сколь на себя наздевали, им что, а тут скрозь рубаху пропекат. Один баской ишь по-ихнему.

— Ишшо женят!

— Очень выдет просто. А по-моему — спустил бы и его. К одному перед богом отвечать.

III

Вот на песках, на барханах пена. Не пена, не ветер — люди. Кони из песков, винтовки из песков.

Камень Ийк-тау. Бык времён молчит.

---

[1] Хороший.

А люди кричат. Криком ли прогонишь страх, он овладел, искромсал лицо, брызнула кровь из жил на кожу.

Кричат костры. Котлы звенят.

В обед к лагерю на иноходце примахал киргиз. Месил седло дряблым напуганным телом, обмерклым голосом кричал:

— Беги... беги. ...зый!.. Уый-бой, уый-бой, кызыл-урус кольды. Уый-бой, кызыл-урус! [1]

Наклубило пыль. По кострам — всадники, по кострам — пыль. По пескам — искры, горят пески. По шерсти — искры, горит шерсть.

— Ой, русские подвигаются, русские. Серпом смертоносным, железным.

Жаром обдуло уши. Отвалил голову, а тут полковник Степанов за плечо. Обобранное лицо, голое, голос обобранный — нутро бороздит:

— Давай, стерва, лошадь!

А где возьмет Трифон лошадь? Самому бы только.

Лови лошадь! Лошади, которые успели,— под человека.

Коням умирать не хочется, бегут кони, рвут приколья.

Нет у полковника Степанова лошади, нет и не будет до смерти. Из нагана — в казаков, пули не угодят казакам. Казаки бегут — никто не ждал, никто не думал.

— Эй, кызыл-урус!..

IV

Вот огни над песками, вот огни в песках. Лошадь врывается потной грудью в пески, рвет...

Полоснули кровями, полоснули.

Мокрые гривы до земли. Мокрые от крови руки над седлами.

Где собирать юрты? Беги.

Поймал-таки двух иноходцев Ибрагим. На одного — сумы с серебром, на другого — красавца русского. Русского надо с собой. Обменять ли, продать.

Сам Ибрагим на верблюде. Бел верблюд, бел и легок, по горлу до земли шерсть. Иноходцев по бокам привязал,— ну, лови...

---

[1] Беги! Беги! Красный русский идет! Красный русский!

— Да, да, лови, русские, лови...

Ну и поймаем!

Бежит барханами Ибрагим. Гривы иноходцев — на верблюде. Верблюд над песками, как облако. Пески под мягкой подошвой, как тень.

А за Ибрагимом, позади — Трифон. Изловил себе лошадь, нашел. За Ибрагимом, он все знает.

А за ними в погоне — киргизы и русские. У кызыл-урус на шапках красные летвы, а на шашках — кровь. Гони!

Убежит, не убежит?

Не знаю.

Саксаул, бал-курай прыгают, вцепились в барханы. Потные лежат пески. Ремнями приторочен русский. Голова у него как пустая тыква, а глаза — высохшие ягоды.

Убежим!

Пала у Трифона лошадь, занозилась пулей. Ногой еще скребет, торопится бежать.

А Трифон руки поднял. Не поднимай. Зря.

Вместе с кистями рук отрубил догнавший русский голову. Рубаха у Трифона синяя блестит, может — офицер. Трясет отрубленной головой — пусть кровь стечет, а другой русский — за Ибрагимом.

И видела мертвая голова Трифона:

Рубанул шашкой Ибрагим по поводьям, остался иноходец с сумой,— перебросил к себе русского, в седло — один, подминая под себя пески, понесся бел-верблюд. Убежал Ибрагим.

И еще не видала мертвая голова Трифона:

Вечером, как всегда, поднялся волк на скалу Ийк-тау, камень Быка времён. Зажал хвост меж ног и лег у откоса, нюхая жаркий, пахнущий кровью воздух.

И, как всегда, выбегал из песков синий Бык времён и каменным рыком мычал в небо слова непонятные и вечные.

1922

СИНИЙ ЗВЕРЮШКА

I

В селе Нелашевом у Ерьмы дом — пятистенный. Хозяйство в нем вела сестра Ерьмы, Степанида, сам Ерьма в нем не жил, все бродил по волости, и каждое село для него свою работу имело: в одном сапожную, в другом

кузнечную, а в третьем самогонку гнал. А то в лесах зверя бил. В Нелашево же Ерьма приходил с послухами.

Глаз у Ерьмы зеленый, плесенью подернулся, грудь косая, точно погнули ее, а живот, как у бабы, большой и пухлый.

В германскую войну идет Ерьма селом, пахнет от него болотом, ногу за ногу зацепляет, а сам говорит:

— Немец нашу волость под себя брать отказался, потому в ней охотников много, а охотники по его мастеровому делу не требуются, под турку отойдем...

А в революцию свое заговорил:

— Мысль имею тяжелую и выбросить ее из себя не знаю где!..

Встретил Кондратий Никифорович однажды Ерьму у поскотины и спросил:

— Как живешь, Ерьма?

Идет человек и глазами поет:

— Я-то,— говорит,— я, Кондратий Никифорович, живу плоха!

Сказал и на толстое тело Кондратия Никифоровича, как на лесину, облокотился. Кондратий Никифорович уважал себя и потому отодвинулся.

— К себе идешь?

— Домашность проведать надо, Кондратий Никифорович.

Кондратий Никифорович идет и щупает: камень под ногой, лесины и землю. Говорит хозяйственно:

— Хорошая лесина, народу избы рубить крепкие можна.

А про камень:

— Хороший камень, душевный. И он понадобится, скажем, литовки точить...

Все хвалит и на себя глядит с удовольствием. Толстый и низкий он, как стог сена, рук от тела не видно, а нога где-то в брюхе спрятана.

Ерьма от него поодаль и промеж листьев на небо смотрит: не то на птицу, не то на вычеканенный березой по небу узорный лист.

— Живу плохо,— говорит Ерьма,— жалаю мученичества.

— Ты-то?

— Я, Кондратий Никифорович, ниприменна я, потому, окромя меня, кому охота?

— Эта верна, окроме тебя, на мучинство кто пойдет.

— Ниприменна!

Подумал Ерьма об Кондратии Никифоровиче и сказал:

— Ладное у те имя-то, длинное, а я, брат, длинные имена люблю: здорового мужика сразу видна... А от вас я се-таки убреду!

— Ступай в Расею, там тебе мучинства сколь хошь припасено.

— Оно и Сибирь-земля не оскудела.

— Бают, в Расеи-то савсем плоха живут, и едва неприметна, и люди савсем по-особому растут, косят, как дерево гнилое...

— Брешут!

Кондратий Никифорович пощупал березу, понюхал лист и сказал:

— Ядреная ось получится, надоть мужикам сказать. А может, и брешут, Ерьма, про Расею-то?

— Обязательно.

— Мне все одно, брешут ли, правду ли бают...

— Вот придет она сюды, почуешь.

— Кто?

— Кумыния, скажем, и другие полки.

— К нам она прийти не может, потому, окромя тебя, нет по нашей волости страдателя. А мы робить хочим и насчет того, чтоб восемь часов в сутки жить, другим рассказывай, чемерь тебя притисни!..

Кондратий Никифорович, с непривычки говорить долго, вздохнул:

— А может, и брешут на него, никаких Кумыний нету, жрать хочет, ну и выдумал. Оно для еды-то не токмо Кумынию придумашь, тут тебе все на голову полезет...

Ерьма же запустил в пыль проворные ноги, торопится, а глаз у него, как только что распустившийся листочек зеленый, липкий и блестящий:

— Жалаю я об других заботиться, и никаких!

Хвоя летит с сосны за ворота расстегнутых рубах. Горы гудят за соснами, и песок пахнет смолой и солнцем.

Кондратий Никифорович оглянулся округ медленно и степенно, похвалил все:

— В самую пору жарит, так и надо. Одобряю.

Жалко ему стало Ерьму, далеким родственником тот приходился, сказал:

— Пойдем, самогонкой угощу.

II

— Домой я идти не жалаю,— говорит Ерьма,— есть у меня такой манер, что, кроме человечьего горя, никаких мыслей...

Дом у Кондратия Никифоровича тоже толстый и низкий, как хозяин.

Кондратий Никифорович сидит на скамье у стены, голова у него от волосу синяя и словно пук шерсти на плечах, голос тоже лохмат и сиповатостью отдает.

Баба у него толстая, жирная, и тело ее в ткани яркие обернуто: желтые, синие, красные.

Ерьме на них глядеть хмельно и мутно, пьет он стаканами самогонку и хмелеет с ног, вверх за каждым стаканом вершками тело пьянеет. Что ни стакан, то и три вершка.

А Кондратий Никифорович говорит неторопливо, и мысль у него внутри, как мышь в полном закроме, лениво шмыгает.

— Живи, Ерьма, хватит. В город поедем, чего хошь менять будем. Ноне город наш — взяли...

И ноги у него от смеха танцуют, а на туловище и лице тьма.

Тошно Ерьме, а уйти сил нет.

— В город я сам явлюсь, к народу, там таких много, что жалают о других заботиться, а не только о себе.

— Ступай, человек ты сдришной. Нам ничего не надо.

И вдруг по столу ударила его рука — толстая, и жилы на ней, как змеи.

— А только придешь, стерва! Назад придешь!

— Не приду.

Ерьме муторно, а тут еще из-под голбца дух кислый идет, не то псина, не то квас пригнивший.

— Чего там? — спросил Ерьма.

— А это, парень.— И цвякнул губами Кондратий Никифорович.— А эта будет зверюшка... синяя...

Точно: ползет из-под голбца по крашеному желтому полу, по лоскутному цветному половику зверюшка. Кошка не кошка, но породы кошачьей, ростом с собачонку, ус у ней кошачий, мурлычет по-кошачьему, а глаз не поймешь какого цвету, только совсем человечий.

— Из Зайсану привезли, киргизы пымали, они их китайцам продают, счастье в дом приносит, домашнивый зверь...

— Вонь от него, рукавицы из него сделать могу,— говорит Ерьма.

Кондратий Никифорович сказал:

— Потерял корову, две недели отыскать не могли, а тут как появилась, нашлась. Для счастья обязательно в избе каку-нибудь.

И губами повел лениво:

— Цвы... цвы...

Кинул ей кусок мяса, и зверюшка, изгибая спину и комкая над половиком лапу, впилась зубом в мясо.

Муторно Ерьме, непонятно тоскливо: и от кошки огромной, и от запаха псины.

На другой лавке жена Кондратия Никифоровича сидит и тоже соловым глазом за зверюшкой следит, и губы у нее красные и потные.

Грузен земляной хозяин, Кондратий Никифорович, и голос у него тоже грузный.

— Прыткий зверь... зверя я люблю, Ерьма, душа у меня ленивая... а он-то прыток...

Дышит изба на Ерьму хлебом и псиной, хозяин самогонкой, а за окнами такая же изба и небо, как старый рваный половик, и гор в окно не видно.

Ерьма встал, душа у него точно ослепла, и губы, как каменные, не гнутся:

— Пойду!.. уйду я от вас!

Молчит хозяин, зверюшка у его ног бьется с мясом. Закрыл глаза Кондратий Никифорович, а у зверюшки цветное око — непонятное и человеческое.

Со злостью сказал Ерьма:

— Ишь, жрет!..

Пошел через сени, а в сенях баба Кондратия Никифоровича уже на кровати лежит, и от тела ее тоже дух идет — виски от него потеют и между пальцев слизь...

— Женись,— говорит она Ерьме,— невесту найдем.

Вышел за ворота Ерьма, высморкался.

За избами на небе лежат, отдыхая, горы, за горами пойдут топи, за топями луга, а там Иртыш, а дальше города...

Избы пахнут травами, заборы пахнут лесами, а земля мясным скотским духом и хлебом.

Ерьма вздохнул, изогнув свою косую грудь:

— А уйду, ей-богу, уйду!

III

И Ерьма ушел.

До этого долго ходил поселком, жалобился:

— Тяжело мне, братцы, ухожу я... Жалко мне вас, а ничо не поделаю с собой....

Мужики смотрели хмуро, молчали, только шаг у них делался тверже и тяжелей.

Пошел Ерьма горами на Селяжные топи.

Гора здесь растет выше неба, а мужики словно не видят ее, «камень», говорят. А на камне том — лес, а промеж лесу зверь: от птахи до мамонта, хотя мамонт — зверь теперь, говорят, невидим, и из него, когда он заболеет, один клык валится.

Идет Ерьма, сапогом меж скал шебуршит, сухой сам только брюхо у него бабье, и при народе постоянно урчит.

Котелок сбоку медный — солдат умерший подарил, берданка пулей заряжена, и сам Ерьма, как ружье, радостно заряжен:

— Пошел!.. пошел!..

Посвистывает и оглядывается: камень пророс в небо голый, без трав.

И вспомнил Ерьма синюю зверюшку, здесь в камнях ее поймали.

И кажется, пахнут камни псиной, одна лишь сосна, радостно и широко в воздух опираясь, дышит смолой.

Ласково греет земля, влажными парами, пахнущими земляникой.

Так же ласково течет по телу из-под мышек теплыми веревочками пот.

Ветер посвистывает в дуло ружья, трясет котелок. Чудашливый ветер, тоже теплый и по-своему ласковый.

Ерьма ухмыляется, доволен:

— Пошел, парень, пошел!

Жалко было сестру, все углы в доме оплакала Степанида, пошел Ерьма на сход и завещание на ее имя составил:

— Хоть и общее теперь все, а володей на мою голову.

Еще сильнее залилась сестра, всем воет, и на день раньше срока ушел от плачу ее Ерьма:

— Не могу слезы терпеть.

Камень лежит сплошь гладкий, посидеть на нем тепло и ласково.

Закурит, отдыхая, и думает:

«Через неделю в городе буду. Значит, топи пройду, луга там, а потом Иртышом до городу».

И мысли, как цыплята под наседку, густо набиваются в голову — хорошие и нужные!

Ерьма доволен.

— Благодать!

Небо мягкое и не жаркое, прохладное; лес с тягучим медвяным шумом, и камни теплые и удобные для человека, и тропа, как старый половик,— знакома. Все благодатно.

Сплюнет Ерьма на сапог — востроносый потрескавшийся сапог, и плевок на нем как пятиалтынный лежит.

Весело Ерьме:

— Ушел, Кондратий Никифорович, ушел.

В падях, там позади — темные и душные избы, и люди в них, как мухи, запеченные в хлеб.

И широко и крепко оседает лавка под грузным телом Кондратия Никифоровича, и подле ползет и шипит шерстью синяя зверюшка с хитрой человеческой зеницей.

Любит их Ерьма и немного жалко — остались там, и к чему — неизвестно.

Вскакивает Ерьма, идет дальше.

Так шел меж камней полтора дня.

На второй день, утром, встал раным-рано, каждый день вставал все раньше и раньше — далеко до восхода.

Идет — тропа синяя, но теплая, еще за ночь не ушло тепло из нее.

Истомленно ложится трава и шипичник, пьяные от сна. Камни тоже полупроснулись, хлюпают. И медленно и шумно потягиваются дальше горы.

Затрещал вдруг кустарник вверху тропы — словно кто воз хворосту уронил, и глядит Ерьма — на тропе медведь. Темный весь, заспанный и головой трясет, словно недоволен тем, что разбудили.

Стоит и не шевелится, и зачем выволокся на тропу — сам не знает, а уйти, должно быть, лень.

— Ну, ты! — крикнул Ерьма и не понимает, как ему надо на зверя кричать, чтобы ушел тот.

Никогда на медведя не кричал.

— Уходи, что ли, ты...

Стрелять приходилось, а прогонять — как его прогонишь? И неожиданно крикнул Ерьма:

— Цыля!

Словно засмеялся так про себя зверь нутром и провел лапой по тропе.

А солнце уже встает, и видно у медведя ленивый взгляд.

Сдернул Ерьма ружье и для страху больше выстрелил.

По-смешному перекувыркнулся медведь на тропе и растянулся, как сытая собака на солнце.

Ерьма подошел, смотрит — убит.

И стало ему страшно.

А вокруг такие теплые горы, и ветер с деревьев на тропу кидается, волосы у Ерьмы к земле пригибает, и страшно ему — почему так сразу и без причины умер зверь?

Только из глаза у него кровь идет, будто кровью плачет. Оно так и есть, только кровью умеет плакать зверь.

Сунул Ерьма руку в карман, там нож лежит для обдирания и косточка мамонтовая, чтобы шкуру легче с мяса подымать.

Присел подле медведя и начал свежевать.

А потом поднял шкуру на плечи и повернулся в поселок. Где, кроме поселка, продашь шкуру и где случаем похвастаешься?

— Ушел? — спросил медленным, тягучим голосом Кондратий Никифорович у Ерьмы и на шкуру медвежью не смотрит, словно сам послал ему медведя.— Ушел?

На голбце синий зверюшка спину гнет и водит за Ерьмой хитрым звериным глазом. Прыгнул он с голбца и с полпрыжка о сапог Ерьмы ударился, мурлычет, усом по колену щекочет — мясом медвежьим пахнет от Ерьмы.

Под образами Кондратий Никифорович сидит, и губы у него, как пласты подымаемой плугом новины, медленно шевелятся:

— Медведь ноне добрый, крепкий медведь растет!

И боязно до истомы и слабости стало здесь Ерьме, и думается ему, что точно он, Кондратий Никифорович, земляной хозяин, выпустил на Ерьму медведя.

Но, осиливая себя, крепко сказал Ерьма:

— А уйду я, Кондратий Никифорович, все равно уйду.

Посмотрел на его ноги и похвалил:

— Мужик ты, Ерьма, хороший, и куда надо уйдешь.

Подала на стол баба жирные, точно из одного сала, желтые щи и на тарелке цветной — красное мясо. А ли-

цо и платье у бабы тоже цветные. Губы неподвижные и мокрые, и смеется она, не трогая их:

— Хе, хе, хе...

IV

И опять ушел Ерьма.

Думал сначала он: не буду брать ружья с собою — не надо. Но одна вещь на свете у него оставалась — ружье, а без вещей человеку жить стыдно. Пришлось взять. Думал не заряжать, а зарядил.

Идет — зеленый зрачок его на земле и уже ничто не радует. Приходят в голову длинные и скучные дедовы молитвы, и начинает Ерьма богохульствовать, но от этого еще острее ноет сердце, а то и как птица под ножом затрепещется, и скажет Ерьма:

— Уйду, уйду...

На горы, на кустарники и сосны не смотрит.

Земля под ногой печалится, сохнет, из-за каждого камня ждет он: вот выйдет «оно» — зверем ли, человеком ли, но не пустит от своих земель.

Но никого нету.

Так он горы прошел, снизился, вышел на Селяжные топи, и схлынула здесь печаль с сердца, опять в себя поверил, зашагал быстрее.

А кругом кочка, согра с березняком. Смородиной да осокой пахнет, и смородина огромная, с воробьиные яйца, и рясная, как во сне.

Кочка же в человеческий рост, в осоке, как мужик в волосах. Вода промеж кочек зеленая, от травы не отличишь, просто текучая вода и сытная вода, никак нельзя больше глотка выпить.

Дорога — гать, уложена валежником, лесиной старой, под ногой пляшет, хлюпает, плачет, вся-то она запуталась в нездоровых и острых болотных травах.

Идти Ерьме трудно, но весело и нужно под ногу смотреть.

Так шел он и под ногами лесины прыгающие смотрел.

Как вдруг чует он на бороде теплое и влажное дыхание.

Отскочил он назад и смотрит — лошаденка стоит, брюхастая и лохматая, крестьянская лошаденка. Узда на ней веревочная, хомут тряпичный. Одно ухо драное, а на носу сидит такой зеленый ядреный овод, будто сто лет тут сидел.

Хохочут за лошаденкой в телеге.

Отвел он потную лошадиную морду в сторону, видит, в телеге — девка, молодая, на лицо не знакомая. От комаров, должно быть, мешком закрывается и хохочет.

— Тебя откуда выперло-то! — кричит.— Болотный ты, что лешай! Чуть Игреньку-то в болото не упер!..

Молчит Ерьма, боком прошел мимо оглобли, хотел было мимо обойти телегу — никак нельзя, нет кочек, вода зеленая, табаком пахнет, а телега весь проход занимает.

— Через телегу перелезай,— кричит девка,— да мотри, меня не пачкай, ишь из болота вылез!

Протягивает Ерьме руку — помощь.

Молчит Ерьма, руку не берет и мимо девки по облучку.

Сбросила девка мешок, хохочет. Лицо свежее, комарами слегка покусанное, а на груди кофточка лопнула, и тело ситец рвет.

Жар затопился в груди у Ерьмы, как в теплую воду окунулся весь, и с телеги спрыгнуть нет сил.

— Подвезу,— кричит девка,— я к дяде еду. В Нелашево; Кондратия Никифоровича знаешь?.. Лешай!..

И лошадь хворостиной бьет.

Спрыгнул Ерьма и пошел от телеги дальше в топь.

— Лешай, ты, лешай,— чего молчишь? — крикнула девка и хохочет.

Думает Ерьма:

«Может, и впрямь поехать?.. Какова праха в городах-то, не зрил, а? Девка, что ж, как и все, может, покрепче других,— она-то при чем?»

Остановился, подумал, но, искурив трубку, пошел.

Опять глядит под ноги, на бревна гнилые, хворостины, на березняк, известкой вымазанный.

А кочки выше, теснее, березняк ближе подходит, и запахло уже грибом — скоро топям конец. Прогалинки пошли, песок на них заблестел, и ветер дует не гнилой, болотный, а теплый от гладкой воды.

Обрадовался Ерьма:

— Уйду!..

И вторую трубку только закурил, как опять в березняке хруст такой же, как там, в горах.

Сорвалось сердце, куда-то в пади упало, и в глазах тьма. Руки — и табак и трубку выпустили.

На колеях дороги — кабан. Морда в пене, правая сторона ее лысая, старый кабан, и клык — аж сера. Хрюкает и мелким шажком на Ерьму.

— Задерет!.. — сказал, изомлевая, опять Ерьма.

Со злобой сдернул ружьишко, зажмурился, со слезами на веках выстрелил — стряхнулись от выстрела слезы.

И, конечно, мертв лежит зверь — будто давно кто его положил. Даже песок бугорочком у бурой щетины, и на клыке трава выкорчевана, должно быть, когда падал, выкорчевнул.

Вернулся Ерьма в Нелашево.

Где мужики подвезли, где сам волок, но притащил Ерьма кабана к Кондратию Никифоровичу и сказал:

— Отдай зверюшку... вот кабана возьми... берданку отдам еще.

Толст и крепок Кондратий Никифорович, слова подымаются у него медленно, от носа к губам — и слова все грубые, как ирбитские телеги, и такие же крепкие.

— Ядрена мать! Куда тебе ее?

— Кончу!.. сердце не терпит!..

Помолчал Кондратий Никифорович. Голова у него маленькая, от волосу синяя, а зверюшка тоже вся синей мягкой шерсти, гнется на голбце.

— Не могу, парень, потому душа у меня проворная, и зверь ён хитрой.

— Ладно,— сказал туго Ерьма,— а я все-таки уйду!

Промолчал Кондратий Никифорович.

V

На третий поход горы Черноиртышские и топи Селяжные прошел Ерьма безостановочно и на луга к Иртышу вышел.

Шел по горам и топям с тоской и опаской. Млела душа и вера уходила, а все же задорно говорил:

— Уйду, Кондратий Никифорович, уйду.

Песками вышел Ерьма к Иртышу, а у берега топкая и вязкая глина — вся нога уходит. Захотел Ерьма напиться. Спустился по талине к воде — затон тут, камыш с коричневыми балаболками рос. Ухватился Ерьма за талину, наклонился — балаболка ему в лицо лезет. Отломил ее, но не совсем, а так надломил и откинул.

Иртыш широкий лежит, а мимо его пески, тополя, поселки плывут. Песок желтый, а поселки темные, и

точно гальки накиданы по песку, тополь же — сирота — неприметен и дрожит всегда.

Напился Ерьма, встряхнулся и пошел быстро средь тальников.

Больно задела ветвь по глазам.

Отвел зеленый глаз от реки, на себя заглянул — тонкое, жилистое тело, а живот хлипкий, бабий и ноги переплетаются, месят глину. Котелок поет у пояса, ружье тяжелое. И больно в голове отдалось:

— Куда, Ерьма?

Вспотели плечи и внутри точно вспотело все, заглянул Ерьма себе под ноги, а под ногами, впереди — звериный, круглый, полузатянутый глиной след, но свежий еще.

Понял здесь Ерьма: последнего зверя надо убить, а потом дойдет — потом город, и мученичество там, и счастье.

Скинул Ерьма ружье, патрон попробовал и, пригнувшись, легкой, охотничьей походкой пошел по следу.

Несет от Иртыша влагой, тальник илом и прошлогодними травами от наводнения облепляет. На сапогах вязкая, тяжелая, как железо, глина. И тело оттого тоже точно глиной набитое — тяжелое, и только рука легкая и ружье не чует.

Идет Ерьма, торопится — последний зверь, конец всему за этим зверем. А след все шире, свежее, пятно от пятна дальше и все к Иртышу ближе.

— Сейчас!.. — бормочет Ерьма.— Сейчас!..

И берданку к плечу вскидывает — пуля крепкая, порох английский — хоть какого зверя возьмет.

Идет след к воде, к затону, к камышам.

Торопится Ерьма по нему. Вот камыш, тальник над водой, ветка в грязи лежит втоптанная — чтобы лучше к воде было наклоняться, и над водой надломленная коричневая камышиная балаболка.

И след тут один, его, Ерьмы, след, и никаких зверей больше нету. Длинный след человеческий.

...Посмотрел Ерьма на след, бросил берданку в грязь и повернул от Иртыша к топям Селяжным, на старую дорогу...

Все таков же Кондратий Никифорович — толст, широк, как стог сена, и голос у него сухими травами и черноземами пахнет.

— Пришел, гришь?

У ног его об колено зверюшка трется, с хитрым человечьим взглядом, смотрит на Ерьму.

Кондратий Никифорович говорит:

— Иди ко мне в работники. Харч у меня и обува добрая, а ты мужик хороший.

В тоске потухает и тлеет сердце у Ерьмы, и глаза у него зеленые, влажные, как листья распускаются весной.

Молчит Ерьма...

1922

ДОЛГ

I

Карта уезда в руке легка и мала, словно осенний лист. Когда отряд скакал рощами,— листья осыпались, липли на мокрые поводья. А разбухшие ремни поводьев похожи на клочья грязи, что отрывались от колес двуколки, груженной пулеметами.

Фадейцев, всовывая в портфель карту, голосом, выработанным войной и агитацией, высказал адъютанту Карнаухову несколько соображений: 1) позор перед революцией — накануне или даже в день столкновения разделить отряд; 2) нельзя свою растяпанность сваливать на дождь и мглу; 3) пора расставить секреты, выслать разведку...

— И вообще больше инициативы.

Но голос срывался. Усталость.

— Врач просит одиннадцать одеял, а то больные жалуются, товарищ комиссар... Здоровые, говорят, под одеялами, а нам — под шинелями,— осень...

— Да у меня на руках-то канцелярия да больные,— это объяснил им?.. Хм... Обоза нет.

— Совершенно подробно и насчет того, что отряд на две половинки. Тут темень и канцелярия. Да я им митинг, что ли, устрою из-за одиннадцати одеял?.. Я им говорю: вот Чугреев разобьет нас — всем земляные одеяла закажет.

— Больным? Да вы, товарищ, неосторожны.

— Кабы они простые больные,— это революционеры.

Адъютант Карнаухов любил хорошую фразу. Был из пермских мужиков, короткорук, с обнаженной волосатой грудью. Выезжая из города, он надевал суконную матроску и папаху.

Красноармеец внес мешок Фадейцева. У порога, счищая щепочкой грязь с веревок, он с хохотом сказал адъютанту:

— Старуха к воротам пришла, просит церковь под нужник не занимать. Лучше, грит, мой амбар возьмите, он тоже чистый, и хоть, грит, немного пашеничкой отдает, а все же. Во — тьма египетскова царя! Наговорили ей про нас...

— Рабы,— басом сказал Карнаухов,— бандитов разобьем, возвратимся — собеседование о религии устрою. Так и передай.

— Это со старухами собеседовать? Ими болота мостить,— только и годны, старые.

Фадейцев смутно понимал разговоры.

— Самоварчик бы,— сказал он тихо.

Хозяин избы, Бакушев, темноротый тощий старик, махая непомерно длинными рукавами рубахи, потащил в решете угли. Адъютант и красноармеец яростно заспорили. Фадейцев сонно взглянул в окно, но мало что увидел. А в поле пустые стебли звенят, как стекло... Небо серно-желтое... Мокрые поводья пахнут осоками и хвощами. Голые нищие колосья сушат душу. Днем в облаках голодная звонкая жара, ночью рвутся в полях дикие ветры. И хотя из-за каждой кочки может разорвать сердце пуля,— все же легче ехать болотами, нежели пустыми межами; лучше под кустом мокрого смородинника разбить банку консервов. Возможно, поэтому хотелось комиссару Фадейцеву уснуть. Но обсахарившиеся веки нельзя («во имя революции»,— напыщенно говорит Карнаухов) смыкать. Неустанно, кажется, шестые сутки, мчался отряд полями, гатями, болотами,— чтобы взять в камышах гнездо бандита и висельника Чугреева.

— Интересы коммунизма неуклонно!.. — вдруг во все горло закричал адъютант Карнаухов.

Тотчас же старик внес самовар.

Фадейцев медленно вытянулся на лавке.

— Я все-таки, ребята, сосну... пока самовар кипит... Тут ребята подоспеют, обоз...

Он потянул голенища. Старик поспешил помочь. Карнаухов выматерился.

— Царизму захотел, сапоги снимашь?

— Устал он, командер ведь.

— Если устал, можно и в сапогах превосходно. Ты как об этом предмете, товарищ?..

— Я лучше усну...

Старик сунул ему под руку подушку. Адъютант «собеседовал»:

— Литературу получаете? Надо курс событий чтоб под ноготь, батя, понимать.

— Бандита пошла, голубь, и прямо как саранча бандита. В нашей волости народ все смирной рос, а теперь однажды скачут... один здоровенный такой — рожа будто у кучера, как ему стыда нет — печенки захотел. И что ты думаешь? У соседа корову застрелил, печенку вырезал, сжарил, остально кинул. А про люд, люду-то сколько перебито-о... э...

Карнаухов строго кашлянул:

— Очередная задача — поголовное уничтожение бандитизма и вслед за этим мирное строительство...

...Всегда, после переходов, сны Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким волосом...

Но вдруг, ломаясь, затрещали половицы. Медные, звонкие копыта раскололи огромную белую печь.

Ничего не понимая, шальной и полусонный, Фадейцев вскочил. Зашиб лоб о край стола. Ночь. Керосиновая коптилка, казалось, потухла.

В раме окна со свистом прошипела пуля. Три раза, вслед за выстрелами маузера, кто-то громко позвал: «Товарищ Фадейцев!» Шип пули — будто перерезанный зов. Топот лошадей смягчался, словно скакали по назьмам. Фадейцев, прижимая к боку револьвер, прыгнул к дверям. Быстро и мелко старик крестился в окно. Лицо у него было белее бороды, а пальцы черные с киноварными ногтями, и ногти были крупнее глаз. Фадейцев выглянул в окно. При свете большого фонаря чубастый парень (грива его лошади была прикрыта зеленым полотнищем) устало махал саблей. Стоны после каждого его взмаха тоже усталые. Старик сказал: «Зарубил».

Фадейцев посмотрел на прильнувшего к печи старика и повторил:

— Зарубил?.. Ево?.. Бандиты?.. Кого зарубил?

— Оне. Бандиты.

И здесь Фадейцев вспомнил: револьвер его опять не заряжен. Пять лет революции не мог он приучиться вовремя заряжать... Револьвер царапнулся по доскам пола. Котенок шарахнулся из-под скамейки. И внезапно стало страшно выбежать в сени. На дверях же даже нет засова. Старик обернулся. Деловито, с матерком, сунул револьвер в загнету печи в золу.

«Амба... — подумал быстро Фадейцев, и ему на мгновение стало жалко Карнаухова,— зарубили....»

— На двор ступай... урубят и так: меня перед смертью пожалеть надо. Скажи — я вас по доброй воле не пускал... так и скажи. Владычица ты, пресвятая богородица! Иди, что ль! Хамунисты-ы... — протянул старик.— Иди, комиссар.

Засвистали пронзительно на перекрестке улиц. Икры ног Фадейцева стали словно деревянные. Фадейцев пал на колени. Так он прополз два-три шага и неизвестно для чего приоткрыл подпол. Щеки его обдал гнилой запах проросшей картошки.

— Найду-ут... Дам вот по башке пестом!.. Прятаться?..

От этого злого беззубого голоса Фадейцев вдруг окреп. Он сдернул свой мешок с вещами. За мешком — портфель, разрезал почему-то пополам фуражку. Трясущийся в пальцах нож напомнил ему об ножницах.

— Ножницы давай,— закричал он,— скорей!.. и рубаху... рубаху свою... Убью!..

Старик вытянул рот:

— Но-о...

Старик подал источенные ножницы и гладко выкатанную рубаху. Состригая бородку, ращенную клинушком, Фадейцев торопил:

— Старую... старую надо... живо!.. Скажешь... как фамилья...

— Моя-то?

— Ну?.. Твоя.

Старик словно забыл про страх. Он хозяйственно оглядел избу.

— Тебе на какую беду?

— Говори!

— Ну. Бакушев, Лексей Осипыч... ну?..

Он поднял кулаки (с ножницами и с остатком бородки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел старику в волос. Ах, волосом этим, как войлоком, закатано все: глаза, сердце, губы, никогда не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и тоньше волоска, чтобы...

— А я, скажешь, твой... сын!.. Семен... Семен Алексеич, из Красной Армии... дезертир! Документов нету... да... Иначе — амба! Наши придут и, если меня найдут конченым, кишки твои засолят на полсотни лет... попалят, порежут... амба, туды вашу!.. Если выдашь...

Он махнул на старика ножницами. Старик противно, словно расчесывая грязные волосы, крестился.

— Мне што... хрестьяне... наше дело... ладно, я старухе скажу... поищу. Ладно уж.

Скамья под телом Фадейцева словно смазана маслом. Нет, этак жирно вспотели ладони. Карнаухов оставил на столе портсигар. Фадейцев сунул его в трубу самовара («кожаный, вонять будет»,— подумал он), но обратно доставать не было силы. Он, тупо глядя на самовар, сбирал в гортани слюну сплюнуть,— и не мог.

А с оружием возможно было прорваться к какой-нибудь лошади. Ветер, вечер, холодная осенняя грязь.

Эх, научиться б вовремя заряжать револьвер!..

II

На минуту показалось — шел он сам, потом — шаги в стене, на потолке. Бред.

Вбежала старуха. Топот нескольких ног послышался в сенях. «К печке»,— шепнул, задыхаясь, Фадейцев. Сразу не стало видно дверей,— печь же будто бесконечный кирпичный забор.

В остро распахнутую дверь озябший гортанный голос сказал быстро:

— Свету! Свету, и выходи сюда!

Казак с чубом телесного цвета поставил на пол крупный фонарь. Свеча там была желтая, восковая, церковная. Дергая тонким плечом, вперед выступил высокий человек.

— Красные есть, хозяева?

Он тяжело поднял руки: дула револьверов были похожи на забрызганные грязью пальцы.

— Где они?

— Убежали, родной, как поскакали до коней, так их будто смело... разве в других местах, моя изба — голубь... Сынка вот хотели увести, едва уговорил... мы, грит, так и так...

— Сын? Этот?

Из сеней нетерпеливо спросили:

— Увести, ваше... по такой роже если судить...

— Я что говорил? Вмешиваться?

Хотя никто не шевельнулся, он отстранился локтем. Опять, чуть вздрогнув плечом, шагнул к Фадейцеву. Каждое его слово было ровное и белое, такое, как его зубы. От фонаря похожие на кровь, дрожали на жидких и длинных усах капли грязи. Он сунул револьвер назад в сени, холодная четырехугольная рука его на-

щупала пальцы Фадейцева. Спрашивая, он все время подымался вверх по кисти на грудь, на бока. Ногти его словно прокусывали платье. Он ощупал нижнее белье. Фадейцев любил махорку, сыпал ее не в кисет, а прямо в карман. Высокий достал щепоточку, понюхал и плюнул.

— Какого полка?

— Стального Путиловского третьего...

— Фамилия?

— Бакушев Семен.

— Доброволец?

— Никак нет, мобилизованный.

— В отпуску?

— Никак нет...

— Ранен? Дезертир? Документы? Нет документов? Значит, врешь. Расстрелять.

В сенях подняли щеколду. Кто-то, гремя прикладом, спрыгнул с крыльца в грязь. В курятнике сонно-испуганно металась птица — казак резал к ужину. Лениво оглядывая стены, высокий человек легонько направил Фадейцева к дверям. Выровнялось несколько пар грубых сапог: проход был похож на могилу. Прямее винтовки не будешь. Он тянулся. Высокий был с револьвером: он держал его за спиной. Усы его висли над плечом Фадейцева, как сухая хвоя. Попробуй вырви револьвер.

Чтобы продвинуться ближе к окну, Фадейцев спросил:

— Проститься с родителями можно?

Фадейцев упал старикам в ноги.

Старуха завыла. Старик наклонился было благословлять его, но внезапно, причитая, пополз за сапогами высокого.

— Князюшка, я ведь твоего батюшку и мамашу-то знал во-о... одноутробнова-то? Трое суток как прибежал... на скотину болесть, ну, думаем — пообходит сынок городской... а тут в могилушку сыночка...

— Золотце ты мое, Сенюшка, соколик мой ясноглазый!

Высокий человек посмотрел хмуро в пол. Атласистое сало свечи капнуло ему на полушубок. Старик поспешно слизнул. «Эх, зря»,— подумал Фадейцев, но высокому, по-видимому, понравилось. Он нагнулся.

— Вставай! Черт с вами, прощаю — мало тут дезертиров! Только смотри, старик, набрешешь — покаешься. Я зло помню...

Он не спеша двинулся к дверям, но, мельком взглянув на профиль Фадейцева, неожиданно быстро устремился к нему. Судорожно дергаясь плечом, он заглянул в глаза: Фадейцеву почудилось — веки его коснулись щеки. Он прижал одну руку к груди и закричал пронзительно:

— Что? Что?.. Фамилия? Снимай шапку!..

Фадейцев вспомнил — когда сказали «расстрелять» — он надел шапку. Она мала, чужая, прокисшая какая-то...

— Семен Бакушев.

Высокий провел по его волосам, с удивлением поглядел на глубокий шрам подле виска.

— Бакушев? Врешь!

Он неловко, словно в воде, мотнул головой.

— Ясно... да... Не помню Бакушева. В Орле был?

— Никак нет.

— Князей Чугреевых знаешь?

«Ты...» — с какой-то тоскливой радостью подумал Фадейцев. Посылая его в уезд, председатель губисполкома дал ему для сличения фотографическую карточку руководителя зеленых, генерала Чугреева. Там он был моложе, полнее. Брови слегка углом. Фотография эта лежала в чемодане, в подполье. Фадейцев припомнил, как мужики делают размашистые жесты. Он выпятил грудь и поднял высоко локти.

— Чугреевых? Господи! Да у нас вся волость...

— Врешь... все врешь, сволочь.

Солдат в алых наплечниках лепил на стол свечу.

— Пошел к черту!

Генерал и князь Чугреев, ловить которого комиссар Фадейцев мчался в каличинские болота, сидел перед ним, быстро пощипывая грязную кожу на подбородке. Была какая-то смесь щегольства и убожества в нем самом и его подчиненных. Полушубок он расстегнул: зеленый мундир его был шит золотом (хотя оно и пообтерлось), а брюки были грубого солдатского хаки. Грязь стекала с его хромовых высоких сапог.

— В германскую войну в каком полку?

Фадейцев назвал полк.

— Не помню. В каком чине?

— Рядовой.

— Э...

Из сеней тоскливо, после продолжительного топания:

— Прикажете вывести?

— Обожди! Хозяин, дай молока!

Обливая бороду молоком, он долго и торопливо пил. Щелкнули на улице выстрелы. Чугреев отставил кринку. Сизые мухи (такие липкие бывают весенними вечерами почки осин) уселись по краю.

Он грузно опустил руки на стол.

— Несомненно, где-то я видел тебя, и в чем-то важном... этаком важном... для меня...

Он пощупал грудь.

— Видишь, даже сердце заныло. У меня всегда...

Старик опять грохнулся на колени. Он с умилением глядел на Фадейцева.

— Так сын, говоришь?..

— А как же, батюшка, да ей же боженьки...

— Колена тверже пяток — вставай! Допрошу в штабе и отпущу. Молись богу — пущай правду говорит... Идем!

III

Генерал Чугреев был слегка сед, размашист, немного судорожен в шаге. Комиссар Фадейцев — низенький, сутуловат. И так как всю жизнь приходилось ему подпольничать, то шаг у него был маленький, точно он боялся наступить кому-то на ноги. Ночь — сырая и ветреная, аспидно-синяя — рвала солому с крыши, хлипко гнула ее. У подбородка, у плеча нет силы снять соломинку, пахнущую грибами. Казаки отставали — шли только с ружьями наперевес двое. Штаб Чугреева в сельской школе. Подымаясь по ступенькам, спросил Чугреев:

— Трусишь?

— Одна смерть,— ответил звонко, по-митинговому, Фадейцев. Ходьба освежила, ободрила его, и перед расстрелом он решил крикнуть: «Да здравствует революция!»

— Мы сегодня семьдесят два человека кокнули. Если сосчитаешь, то который по счету, а? Трусишь?

Фадейцев смолчал.

Парты сдвинуты к стенам, на полу (в пурпурово-голубом пятне) керосиновый фонарь. Пахло же в комнате не керосином, а мелом. Под ногами, точно известь в воде, шипели куски мела. Выпачканный в белом, спал подле классной доски лысый с ушами, похожими на переспелые огурцы.

— Казначей. Спит. У большевиков спирт отбили, перепились. Зачем им возить с собой спирт, а?

«Мы спиртом? У нас спирт? Сволочь!» — так крикнул бы адъютант Карнаухов. Фадейцеву опять на мгновение стало жалко Карнаухова. Он промолчал.

Не давая заговорить, Чугреев сморщился и что-то показал пальцами над щекой.

— Надоело мне все, садись. Трусишь?

Стол шатался и скрипел.

Чугреев тоже шатался; плечи у него вздрагивали; он зябко поджимал колени. Он спрашивал о германской войне, об офицерах, служивших в полках.

Внезапно он вскочил:

— Гагарин? Это какой, пензенский?

— Не могу знать.

Чугреев приблизил к нему сонные, цвета мокрого песка, глаза.

— Я четыре ночи не спал... Меня надо титуловать. Забыл у большевиков? — Он быстро провел пальцем по подбородку Фадейцева.— Сегодня остригся,— сказал он медленно и попросил назвать города, где бывал Фадейцев.

— Тула... Воронеж...

Чугреев остановил:

— В каком году был в Воронеже?

— В семнадцатом.

— Месяц?

— Январь, генерал.

Чугреев, дергая руки по коленям, точно сметая пыль, хихикнул. Смешок у него неумелый, смешной, как будто разрывали бумагу.

— Вспомнил!.. Я...

Он, задевая рукой о парты, вытряс из какого-то мешка книгу, карандаши... Вырвал лист из входящего журнала. «Устав артиллерийской службы» запылен, засижен мухами. Сунул Фадейцеву устав.

— Переписывай! Быстро, ну.

Нарочито неумело, согнув палец и волоча за каждой буквой ладонь, Фадейцев начал писать. Буквы надобно выводить корявые, мужичьи, похожие на сучья. Буквы прыгали. Давило и прыгало сердце. Длинный человек через плечо заглядывал ему на бумагу. Сухо смеялся, словно вырывая лист. Стучал с силой рукояткой револьвера в стол, торопил. Карандаши крошились. Устав нескончаем. Фадейцев начал забывать, терять — какие

нужно выводить буквы. Ему казалось, что та, которую он сейчас написал, прямее предыдущих, и он ломал их, нарочито округлял. Особенно плохо удавалось «о», то растянуто, как гримаса, то круглое, как кольцо, то согнуто — вытянуто, как стручок. Тоска!..

Неожиданно Чугреев откинул стул, топнул и закричал:

— Пиши фамилию! Свою!

И Фадейцев повел было «Фа...», но быстро перечеркнул и написал: «Алексей Бакушев».

Чугреев вырвал бумажку и разгладил.

— Превосходно. Фа... Фарисеев, например, или Фараончиков... Как?

— Напугался, ваше... с испугу... Не фартит мне...

— Знаем, голубчик, испуги ваши. Рассказывай о Воронеже. Гулял, пил в клубе...

Он беспокойно понесся по комнате.

— В клубе! В клубе!.. В январе в Воронеже, есть такое дело... вспомнил, черт подери. Как фамилия, Фа-а...

— Бакушев, ваше сиятельство.

— А? Подожди, не мешай... сейчас припомню. Ты меня узнаешь... В клубе, январь семнадцатого года и я — князь Чугреев, а?

Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы — улыбнулся.

— Шутить изволите...

Казначей принес самогон. Срывая ногу с ноги, разметывая пахнущие конями волосы, Чугреев говорил:

— Слушайте! Я знаю много хороших офицеров из прекраснейших семей, они служат у большевиков... Одни — мобилизованы, другие — по слабости воли... Наконец, чтобы достичь такой ненависти, какая у меня, надо четыре года травить, гонять, улюлюкать на перекрестках в глаза, в рот харкнуть! Во-о... я сейчас в окно смотрю, а думаю — возможно ведь: в город или в отряды, которые ловят сейчас меня, мужик или казак скачет... и предаст!.. За хорошее слово предаст! Вы ведь тоже по слабости характера — к ним, а? А?.. Я завтра утром всех крестьян перепорю, а об вас узнаю... впрочем, ерунда! Вы понимаете, конечно,— меньше всего я могу добиться у крестьян — они боятся меня, но верят в большевиков! Если б два года назад... Повторяю, вашей фамилии я не могу припомнить,— обстоятельства же нашей встречи мне ясны...

Он быстро порылся в карманах и растерянно скривил усы.

— У меня после одного случая в Чека подурнела память. Я полтора года ищу свою записную книжку... Итак! Десятого или девятого января семнадцатого года. Вы помните этот вечер?

— Ничего...

— Э, бросьте дурака ломать... в этот вечер я проиграл вам... я...

Он сжал пальцами веки и, склоняясь длинным костлявым лицом к щекам Фадейцева, придушенно спросил:

— Вы понимаете, понимаете... я... я... забыл, сколько вам проиграл. Сколько я проиграл?

Он свел руки.

— И ни одной собаки вокруг меня, которая бы вспомнила — или сказала о вас! Про вас... кто вы. Да. Девятого января в Воронежском офицерском собрании я на честное слово проиграл вам... на другой день я должен был достать деньги, их у меня не было. А на третий день вы исчезли... Так за всю мою жизнь я, князь Чугреев, однажды не заплатил карточного долга. Теперь счастливый случай свел нас.

Фадейцев посмотрел на его побледневший рот. В семнадцатом году в январе (он вспомнил с тоской — тогда он был влюблен) он рядовым действительно был на спектакле. Солдат пускали только на галерку — она же пошла с матерью в партер... Он со злобой глядел на разрисованные под малахит колонны; ему смутно вспоминается длинная фигура в золоченом мундире... Злость еще хранилась с того времени! Но карты... он никогда не брал в руки карт.

Отодвинул стакан.

— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю.

Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей, с необычайно черными, словно точенными из угля, усиками, заученным скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на него, Фадейцев подумал: «Честность, едрена вошь. За должок сотни две людей отправил. Сволочи!» Он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.

Мотая усы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:

— Я же знаю, какого вы полка: шестого драгунского имени герцога... а теперь в путиловском! В нас

много стыда... капитан... на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю,— бог дай совести — нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скрыться знакомый мужик, славный будто мужик... Ко-онечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)... и все-таки он... меня... из-под больной своей жены горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом — посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил... Надо понимать людей, капитан.

Чугреев откинулся на парту и полузакрыл глаза. Кожа под глазами дряблая. синевато-белая. Словно глаза сползают с лица...

Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева. Такая, когда входили бандиты в сени.

— Пустите меня,— прошептал он.— Устал.

Чугреев сморщился.

— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб ваш захватить, ударили. Они в другой половине села остановились. Какого-то комиссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии... вы не слышали?..

— Красные сказывали — Щукин.

— Да, «товарищ» Щукин... но и он меня не поймает. Знаете, кто меня сграбастает?

Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.

— Тот, у кого фамилия заключает четное число букв.

Фадейцев сосчитал у себя,— восемь.

— Бог даст, не изловят,— сказал он хрипло.

— Пошлют такого комиссара — четыре или восемь — амба!

— Амба? — переспросил, заглядывая ему в лицо, Фадейцев.— Кого амба?..

Тот, широко открывая гнилой рот, захохотал.

— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку...

Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:

— Капитан, честным словом князей Чугреевых клянусь вам — я выпущу невредимым за мои пикеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемо-

даны, вали деньги на стол... огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси... Никому в жизни, никому, чтоб я — карточный долг!.. Капитан, ваша фамилия и сколько я должен?

Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты, кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камешки.

— Хватит? — спросил он хвастливо.

Фадейцев больно надавил локтем в стол.

«Сказать, наврать, все равно утром крестьяне узнают...» Вдруг он вспомнил об отряде: кабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб. «Во имя революционных мотивировок,— припомнил он адъютанта,— держись...»

Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь.

— Греха на душу... пусти, ваше благородье... ваше сиятельство... Бакушев я, хоть все село опроси.

— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шагом-арш... Ась, два!.. Стой!..

Он взял его под руку и подвел к столу.

— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. Курите? Пожалуйста... И руки не прячьте... Итак, Васька, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех коммунистов сгоряча порубил, а то бы они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите...

— Ваше сиятельство, ей-богу!..

Нога Чугреева тяжело упала на пол.

— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы выпытать. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести? Капитан!

В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.

Но Фадейцев молчал.

— Можете ли вы мне говорить прямо?

«Во имя революции — нет»,— так бы ответил Карнаухов, веселый и прямой адъютант.

Фадейцев же молчал.

Недоумевая, Чугреев отошел от стола.

— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы — коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертво-

вать на детские дома или на дом отдыха для проституток, черт бы вас драл!

Лицо у него было жесткое и суровое.

«Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?» Тревога и гнев оседали в груди Фадейцева.

Из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое безумие! Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.

Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля — день... День прошел — полночь.

Князь опять упрекает:

— Вы не дадите уснуть пять ночей. Завидую вашему упорству. Дайте мне возможность уснуть.

Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается.

А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.

Усталый, но на что-то надеясь, он говорит:

— Идите... Завтра я вспомню, сколько тысяч долгу...

Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.

На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает.

Не пьяный ли плевок вся ночь? Уже полночь.

Широкие улицы вздыхают травой — она росиста и пахнет слегка спиртом. В село возвращается дозор. Радостно, тонко, с привизгами, по-бабьему мычит теленок.

Небо легкое и белое.

Земля легкая и розовая.

Старик Бакушев, придерживая тиковые штаны, отворяет ему ворота. Ласково треплет его по плечу (рука у него пахнет чистой пшеничной мукой).

— Молока не хошь? — спрашивает он тихо и ласково.— Я тут страдал...

Фадейцев, мутно ухмыляясь, лезет на полати, закрывает глаза. Он хочет понять, вспомнить. Подушка пахнет чьим-то крепким телом, губы медеют...

IV

Гики. Рассвет.

Пулемет. Солнце на пулемете.

Пустые улицы заполнились топотом.

Фадейцев спрыгнул с полатей.

— Наши!.. Ясно, что наши.

— Ну!..— протянул недоверчиво старик.— Чугрееву подмога.

А полчаса спустя красноармейцы качали на шинели Фадейцева, пели «Интернационал» и писали радостную резолюцию.

Адъютант Карнаухов стоял на крыльце, улыбаясь всем своим широким телом. Желтовато-оливковые галифе были в крови, а шея туго забинтована.

— Я думал, ты убит,— повторял ему Фадейцев.

— А я об тебе думаю: амба! Я, как выстрелили они, одурел — темень нашла, выскочил на двор, смотрю: твоей лошади нет,— ну, думаю, утек. С кем тут защищаться? Я и покатил на соединение... Там в обеих половинках говорят: не встречали, нету тебя... Ну, мы и поперли, думаем: хоть тело достать.

— А князь?

— Чухня-то эта? Удрал — деньги оставил, а казначея его Миронов прирубил. Они ведь всех наших раненых тово.

Он пошел в избу.

— Мы их, товарищ, достанем. Теперь достанем.

Фадейцев встретил старика в дверях с самоваром.

— Чай, батя?

— Чай, сынок.

— Можно... Чаю хорошо теперь.

Фадейцев, обходя стол (мешок у него лежал в переднем углу), взглянул в окно. Санитары несли раненого, мужик вывозил из деревни три лошадиные туши, а внизу под склоном холма виднелся нехитрый березовый лесок, овражек, крошечное озерко, где молодые гуси пытались летать. Солнце было цвета медной яри, и гуси имели светло-кровяно-красные подкрылья...

...И тогда Фадейцев вспомнил...

Два года назад Фадейцев был помощником коменданта губернской ЧК. Ему было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу белогвардейских офицеров. Было такое же, цвета медной яри, раннее утро, как сейчас. Приговоренные (их было пятеро), пока грузовик, круша звонкую пахучую грязь, вез их за город,— говорили об охоте. Один высокий, с жидкими пепельно-серыми усами, рассказывал любопытные истории о замечательной собаке своей Фингале. «Таких людей и убивать-то весело»,— сказал на ухо Фадейцеву

один из агентов. А Фадейцев ехал на расстрел впервые, на душе было тягостно, хотя он убежденно веровал, что уничтожать их нужно. Остановились подле такого же озерка, что и сейчас. Гуси неумело, испуганно отлетели от машины. Приговоренных подвели к оврагу, и высокий перед смертью попросил у Фадейцева папироску. Тот растерялся и отказал. Высокий сдвинул угловатые брови и сказал сухо: «Последовательно». После выстрела Фадейцев должен был выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать), четверо были убиты наповал, а пятый — высокий, закусив губу, глядел на него мутноватыми, цвета мокрого песка зеницами. По инструкции, Фадейцев должен был его пристрелить. Солдаты уже сбрасывали в овражек трупы и слегка присыпали песком (так как все знали, что через три-четыре часа придут к овражку родные и унесут тела; сначала с этим боролись, а потом надоело). Высокому прострелили плечо.

Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул револьвер, приставил к груди и нажал собачку. Осечка. Он посмотрел в барабан — там было пусто. Как всегда, он забыл зарядить револьвер. Теперь он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было стыдно своей оплошности, и он сказал: «Умер... бросайте...»

Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна.

— Ду-урак...— придыхая, сказал он,— ду-урак... у-ух... какой дурак.

— Кто?

— Кто? Да разве я знаю?.. Я сосну лучше, товарищ Карнаухов!

И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как стручок в урожай зерном.

1923

ГЛИНЯНАЯ ШУБА

I

Пальма в Сибири не водится,— есть тополь, кедр, лиственница и, конечно, человек при них. Без человека и дереву скучно.

В палисаднике тополь, шиповник между трав. На траве стол, окрашенный в синюю краску, самовар красной меди, чайник, три чашки и люди, чай пьющие.

Подбородки — пот, носы — пот, лбы — пот. Сплошь пот и, капли подмерзающие, глаза.

Чай пили — учитель второй ступени Потапий Отчерчи, тот учитель, до германской войны еще раз ведерный турсук кумыса выпивший, соборной церкви дьякон Наум Полугодье и упродкомиссар Савелий Скученый.

Все сидели спокойно, как и полагается при чае, только дьякон тонким, как острие бритвы, голоском выговаривал:

— Нет, ты мне объясни подробно все, что и как сейчас по миру творится, тогда, быть может, отляжет мое сердце.

Дьякон вскинул ногу на ногу — коленные чашечки выдаются, как нос на лице, да и ноги худые, словно щепы, а волос на голове черен, волнист, мокр от пота, и на спине подрясник тоже мокр. «Может, поэтому,— подумал учитель,— вместе с потом и душа у него наружу вылазит».

Упродкомиссар Скученый ответил:

— Учитесь все объяснять сами!

Учитель подул на чай и объемным лохматым голосом успокоил:

— А ты, отец, не волнуйся! — и добавил мечтательно: — Нарком-то, говорят, роста колоссальнейшего и завсегда на белом коне появляется.

Дьякону хотелось высказаться, и он торопливо прервал:

— Все врут люди, и ты рассказы пониже пускай, Потапий!

— Мне плевать, что врут, сомневаться лень...

Дьякон неистово крикнул:

— О покое-то и я говорю. Мне объяснение нужно; не имеет права человек свет перестраивать без объяснения своей жизни. А как вы думаете?

Скученый молчал.

Учитель ухмылялся самому себе, и при ухмылке лицо у него свежело и брови и лоб делались ребячьими.

— Неизбежно туда идти надо, по какому праву, а? Силою я от роду одарен неисчислимою, а счастьем обвесили меня при рождении, хоть родители и замечательнейшие люди были. А теперь, на-а!.. чувствую, душа моя мелеть начинает, сердце мое обуглилось, и управлять самим собой не могу... Огнедышащий я!..

— Тротуар,— вставил учитель.

Падают с тополей листья. Один попал в чашку дьякона. Полугодье долго старался поймать его ложкой, лист скользил,— чашка киргизская широка, как озеро.

Дьякон торопливо допил чай и, вытащив пальцем набухший лист, с наслаждением разорвал его, укоризненно взглянув на упродкомиссара.

— Чего молчите? Для чего вас бог создал — чай пить?

Упродкомиссар устало ответил:

— Я, дьякон, каждый день говорю, говорю. Надоело. Будто кишки у меня в голове-то, а не мозги,— и в кишках тех понос.

— Устал! — жадно крикнул дьякон.— А только три годика прошло, только! А коли лет десяток потрешься так?

— Бросил бы все, когда думаю. Нельзя. Убьют. Как бросишь, так и убьют.

— Кто?

— Там разбирайся! Казаки убьют, киргизы убьют,— может, вы, дьякон, убьете. Жизнь-то дешевле пороху стала. Приходится лучше от своего сердца помирать. Раньше я по гончарному и печному делу робил. Глина эта что твое сукно: что хочешь, то и выкроишь. А теперь людей приходится кроить.

— Хуже работа-то?

— На чей вкус. Шубу больше, все же ничего, тяжело, будто кирпичи-то по десяти пудов... вот тебе и печка. С одной разверстки ноги протянуть можно. Я так когда думаю: вот тут один уезд только, а какая пахота... ну-ка! коли не губерния, а вся Россия.

— Не берись! Бога не опровергай, не умеешь, не знаешь, ну, не рушь!

— Приходится,— сказал упродкомиссар и даже с какой-то жалостью повторил: — Приходится.

Дьякон вскочил с табурета и, высоко подымая ноги, пробежался по траве. За ним, жужжа, летела пчела. Полугодье остановился, махнул рукой и, поймав пчелу, сжал ее в кулаке.

— Во-от!.. он, бо-о-ог-то!.. Как пчелу, тебя в кулак, д-а-ть!

Дьякон с размаху бросил пчелу на столешник. Пчела дрогнула животиком и обмерла.

— Не лезь, куда не надо! Сан уважай, а раз легковесен ты, туда тебе и дорога.

— Люди неудобные все. Давеча приходит баба из Трифоновского поселка. Жалуется: муж бьет, разведи, грит, меня с ним! Я ее в закс посылаю, там, мол, узнай — никогда я разводным делом не занимался. Ревмя ревет: никого не знаю, окромя тебя. Я, говорит, тебе разверстку впятеро больше доставлю: разведи только! Уверовала, ничего не попишешь.

Учитель взял чашку обеими руками и поднес ее к глазам. В жиру рук незаметно копылков, и вся рука мягкая и нежная, как мокрая губка. В чаю отразились тоненькие, как стружка, облака, верхушки тополей и еще что-то сходное с голосом дьякона — острое, торопливое и презрительное.

— И веровать в вас нечего, веровать в бога надо... а у вас и душа-то разграфленная. Никакой цены такой душе нету! У нас в Расее таких правителей не было.

— Я ведь правитель самодельный и человек жестокий.

— То-то и звонишь, как пустая склянка. Сырье!

— Должно быть, дьякон, созрел я, верют.

— Ты вот меня уверовать заставь! Баба что? Коли ее муж бьет, так она от побоев-то и в метлу уверует.

— А ты трусишь, дьякон,— вставил учитель и подул в блюдечко — облака, тополя, небеса перегнулись и запрыгали, как мехи гармошки.

— Отойди, Потапий, дай в человека взглянуть. Я к нему не зря. По делу. Может, больше не придется видеться.

Упродкомиссар провел ладонью по лицу, гладкому, обритому на заграничный запах. Увел всякую ласковость с лица, и стало оно спокойное и дельное, как протокол.

— Хоронить меня без попов будут,— сказал он.

Полугодье, кирпичом в воду, упал на деловой разговор:

— Теперь вы мне скажите: подпечек у меня проваливается, что мне предпринимать необходимо?

— А у вас печь-то из сырца или из каленого сложена?

— Я раньше человек обстоятельный был. Из каленого.

Скученый подумал, помолчал:

— Вы ко мне насчет печи?

— Только.

— Давно я этим делом не занимался. Лет пять или шесть. До германской войны еще. У меня инструменту нет. Память одна от работы — шуба глиняная.

Учитель взглянул недоуменно, а упродкомиссар повторил:

— Шуба... глиняная. В глине от работы, старая шуба. У меня всей одежи-то зимней и летней — шуба, тулуп ране барнаульский чудесный был...

Упродкомиссар вынул кисет, закурил трубку.

Дьякон вздохнул.

— Вы Советскую власть-то признаете, дьякон? — спросил Скученый.

— Известно, живу.

— А с амвона не агитируете?

— За Советскую власть?

— Да.

— Не приходилось. А разве декрет такой был?

— Нет, а так, без декрета.

— Без декрета неудобно, насмешки, подумают. А потом, я дьякон, на проповедь не всхожу. Разве когда священником буду — там увидим. Вам на какой предмет?

— Так. Для любопытства.

Помолчали. Упродкомиссар зевнул.

Ясно, отвиливает Скученый.

Полугодье обиделся и решил больше не спрашивать. Поднялся.

Скученый сказал не так чтоб приветливо:

— Сидите!

Руку же пожал им крепко — не то за встречу, не то за уход.

За воротами уже дьякон сказал с ожесточением:

— Возгордившийся властью человек!

— Балда,— отрывисто сказал учитель.

— В Ленины метит, прими во внимание, Прокопий! Насчет глиняной шубы-то ловко, а?

— Чего?

— Дескать, ничем не пользуясь,— в глиняной шубе хожу, а по сану-то ему енотку надо.

— Об енотке-то он, может, и не думал.

Посмотрел учитель сонными глазами в лицо дьякона, темное и длинное, похожее на редьку, и сказал:

— Контры в вас много, отец Наум.

Дьякон необъятно развел руками.

— Говорю — мятежный и огнедышащий я человек!

Учитель повернул в проулок.

— Отдохнуть? — крикнул дьякон.

— Надо. На неделе занятия начнутся.

— Валяйте! А я и сон потерял. Душа болит, Потапыч.

— А ты, отец Наум, квасу выпей — пройдет.

Дьякон поглядел ему вслед и почувствовал вдруг отвращение к жирному заду учителя, к его широким плечам и коротким, упрятанным в чесучовые рукава пальцам.

— Во-от!.. опара-а!..

Улицы. Конечно, песок и бревна, за бревнами трава, степь. Быть может, не город, а так, помышленье одно. На пароходах кто проплывал по Иртышу, пожалуй, так и думал. Но по преданию выходило — город, следовательно, должен иметь наименование, и было ему, верно, наименование — Павлодар, а киргизы не верили и называли Киреков, потому что существовал здесь умный человек Кирек.

Дьякон шел и горел нутром. Под ногами пыль. Жара. И на душе тоже — плохо.

II

Тоска, как искра в бересте,— попадает и пышет. Тушить трудно.

Шел когда к упродкомиссару, отец Наум Полугодье думал о подпечье, дровах и продуктах из деревни, и мысли были такие сытые и приятные, будто бараны осенью, а увидал упродкомиссара — словно разорвался пополам, и пришел домой: ноет в суставах, под глазницами противная тоненькая жилка в коже бьется.

Бегал по двору, задрав хвост и с головою, склоненной набок, рыжий телок, и хотя телок был, как все телки, радостный и с мокрым хвостом, однако показался он отцу Науму чрезвычайно легковесным, и дьякон крикнул жене:

— Мать! У тебя телята-то, как пух, по двору носятся. Убежит еще.

Жена у отца Наума круглая, книзу как веретено, и голос у нее был тоже круглый и ласковый.

— Ты не ругайся, отец,— отвечала она.

Дьякону хотелось отвести душу, но у жены был сонливый и вялый взгляд, одинаковый с учителем, и дьякону почему-то представилось, что его желают обидеть.

Скинул он под навесом подрясник и одернул длинную ситцевую рубаху на синие диагоналевые штаны.

— Куда ты? — спросила жена.

— Отстань,— с неудовольствием отозвался дьякон и пошел в огород.

Обобран был уже огород, только на нескольких грядках торчала полузасохшая ботва картофеля, желтые листья редьки. Садясь на гряду, дьякон выдернул редьку и, помахивая ею в воздухе, задумался.

— Вот,— сказал вслух дьякон,— дождался деньков. Народ пошел — ни бога, ни царя, ни самого себя — ничего ему не надо.

Дьякон с силой ударил редькой о колено и потом откусил немного сочной и белой мякоти.

И то, что редька на вкус сластила, еще больше обидело его.

— Обманываешь, падаль! Никуда от себя не уйдешь, себя наружу не выворотишь!.. возвратишься, возвратишься!..

Дьякон выплюнул далеко редьку и пихнул сапогом грядку. Ударила ему в ноздри сухая вяжущая пыль. Чихнув, почувствовал непонятное удовольствие и, глядя на лежавшую у ног редьку, проговорил задумчиво и немного с сожалением:

— Переломили тебя и — лежишь, молчишь! А для чего переломили — неизвестно. Из озорства!.. Так и людей нонче ломают. Ну, ты, редька,— понимаю, молчишь, а они-то ведь чего, а!.. А я вот не желаю! Сам других сломать имею удовольствие, чувствуешь? Желаю, чтобы меня боялись или, по крайней мере, чаяли от меня чего-нибудь... А?..

Дьякон отбросил ногой редьку и, сердито сопя носом, замолчал.

Сидел он так долго.

— Житьишко,— сказал дьякон, вспоминая, что скоро рыбалка прекратится, подует северный ветер и Иртыш встанет.

Дьякон, с блестящим, как стакан от воды, лицом, лениво гребя ногами землю, чистый и тонкий, шагал между грядами.

— Житьишко...

Вечерами все, считавшие себя достойными внимания себе подобных, выходили гулять на яр.

Яр — высокий, трехсаженный, песчаный, а внизу — у стенок — Иртыш, а за Иртышом луга, степи, пески

опять. Внизу на Иртыше сутунки плотов, и с них ныряли в воду ребятишки, и в воде тела их походили на маленькие вертящиеся бревешки.

И гуляли здесь. Дойдут до каланчи, посмотрят — все в порядке: ходит пожарный наверху, шапка медная, как купол, блестит,— поворачивают обратно.

Здесь-то и встретил Отчерчи дьякона Полугодье.

Плавала на лице отца Наума значительность.

— Тебя надо, Потапий! — сказал дьякон.

— Рассказывайте!

Дьякон повел учителя к яру.

Карманы штанов учителя, набитые чем-то тяжелым, трясутся. Посмотрел на его карманы дьякон и, перстом сухим и длинным указывая на воду, сказал:

— Ты меня слушай добром.

Учитель посмотрел, куда перст указывает.

— Ты туда не смотри, это для отвода глаз, дескать, о рыбной ловле и о разведении раков беседуем.

— Каких раков?

— Не перебивай! Слушай меня, а потом хошь о китах спрашивай. Ну вот, мучился я, Потапий, эти дни прямо будто кто душу в кулак забирает. Я ведь Авессалом, бунтующий, и Аввакум. Не имею силы ждать и терпеть, как иные хоть бы из нашего сана. Да што, Потапий, и пришла мне сегодня ночью, лежал я это в кровати, и вдруг, чик — готово, осенило!.. мысль пришла. Ну, как бы это...

Дьякон быстро махнул рукой и, с затруднением прищелкивая пальцами, произнес:

— Ну, как бы это сказать-то... поборение, што ли... вот ведь, прости господи, не могу...

Взглянув в глаза учителя и почувствовав, что его понимают, дьякон радостно улыбнулся.

— Вот это самое, Потапий. Жить мне иначе нельзя, как бунтуя, иначе все мое существо развалится. А противу кого, а? И подумал я, Савелий! вот он гвоздь в сердце моем,— потому что в камень оно превращается, и камень тот в праще противу меня некий Давид кинет. И камень завсегда во многом убедить человека может. Когда человек себе подобный — ничего, а на камень будет схож — сейчас почтение, уважение. А где уважение, Потапий, там и сила придет. Ладно. Значит, должон я этот камень разрушить.

Учитель опасливо отодвинулся и опасливо же, потихоньку, спросил:

— А я-то при чем тут?

— Один я воевать не могу, мне друга надо, с которым бы я себя разговором подкрепить мог, вот я надумал, кроме Потапия, каланчу мне в друзья брать, что ли?

Полугодье коснулся слегка мускулов на руке учителя и твердо сказал:

— Мы эту ехидину раздавим!

— Нет, я тебе того... помощником не буду, отец Наум, ты избавь!.. У меня занятия в школе начались... дров нету, а тут в Чека засадят, а то еще дальше куда.

— Ты делай так, чтоб не сидеть.

— Нет, уж избавь, один действуй, коли такая охота есть.

Учитель обомлел; ему захотелось покинуть дьякона, но не было желанья обидеть.

Уши учителя, толстые и мясистые, в коротеньких белобрысых волосах, стыдливо покраснели.

— Я и то послух двинул, упродкомиссар-то, мол, глиняную шубу отдает тому, кто теперь глиняную работу делает, а себе с бобровым воротником требует.

— Не понимаю! — сказал учитель.

Дьякон поднялся на цыпочки и скороговоркой всунул учителю в ухо:

— Шубу-то глиняную мы у него утащим, а он на смущение человеков, ей-богу, себе бобровую возьмет, посмотришь...

Дьякон отступил и, потрясая рукой, сказал:

— Надо же что-нибудь делать, коли мы убивать не можем! — И, отходя прочь, тоненьким голосом сообщил: — Я к тебе еще зайду.

У дьякона сухие, длинные ноги, и, взглянув на них, вспомнил учитель какую-то птицу, у которой всю жизнь таскают яйца, она все несется, и никак не приходило на язык, какая это птица.

На Троицкой улице, против лавки упродкома, учитель встретил Скученого.

— Здравствуйте, товарищ Отчерчи,— сказал упродкомиссар.

— Здравствуйте, товарищ Скученый,— ответил учитель.

Они весьма дружелюбно пожали друг другу руки.

Скученый посмотрел учителю в грудь и вдруг звенящим своим голосом спросил:

— Слушайте, почему меня про глиняную шубу стали спрашивать, какого черта она им далась, менять, говорят, хочу, а зачем мне ее менять — шуба хорошая. Зачем мне ее менять?

— Не знаю,— ответил учитель, и в груди его, в том месте, куда смотрел Скученый, что-то с болью задергалось.— Не знаю... болтает народ...

Упродкомиссар сунул ему руку.

— До свиданья, товарищ.

— Счастливо.

Учитель вытащил платок, отер лоб и шею, высморкался и, глядя на платок, подумал:

«Как можно было бы употребить эту тряпицу»,— и, не придумав ничего, сунул платок в карман, сказав укоризненно:

— Люди-и!..

III

Дул в открытые створки окон холодный ветер и поднимал листья тетрадок.

«Это тебе не на поляне»,— подумал учитель, захлопывая окно.

Напомнил холодный ветер зиму, нехватку дров и что всю зиму придется сидеть в шубе дома и в классе; вспомнил черноволосого дьякона с его мечтаниями. Учитель Отчерчи улыбнулся.

— Мечтатель!

Знал, будет холодно зимой и скучно, но чувствовать у себя покорное и сильное тело приятно будет учителю, и слегка жалко было больного дьякона.

Учитель постоял у окна, посмотрел на возвращающиеся в зимовки арбы киргизов.

Вошла жена и сказала:

— Тебе, Потап, письмо.

У жены учителя был очень красивый нос, и она поэтому часто раздувала ноздри и говорила немножко гнусавя:

— Кто принес, Женя?

— По почте.

Письма получались редко, и жена подошла к плечу мужа, чтобы вместе прочесть.

Учитель посмотрел на адрес:

— Да ведь это дьякон!

— Что дьякон? —спросила жена.

— Пишет-то.

Жена, гнусавя, сказала:

— Не понимаю: какие у вас дела с дьяконом, что по почте переписываться нужно. Любовниц завели, что ли?

Жена была ревнива. Успокаивая ее, учитель солгал:

— Думаем вместе в деревню за продуктами съездить. Это он, должно быть, торопится... и потому...

Ответ нелепый был, но жена успокоилась почему-то и, даже не взглянув на письмо, ушла в кухню.

Дьякон писал вытянутыми, почти горизонтальными, с перечеркнутыми согласными буквами почерком:

«Друг Потапий! Ко мне пока не заходи. Думаю — через три дня будем сбирать ягоды, о которых мы с тобой условились. Значит, приходи в два часа 20 минут ровно днем. Жду. Твой друг и доброжелатель Наум Полугодье».

Учитель, изорвав письмо и кинув его, плюнул:

— Тьфу. Спятил мужик! — и сказал, садясь на стул: — Не пойду! Буду я с тобой связываться. Не хочу!

Эти три дня он чувствовал себя плохо. Все время кололо под ложечкой, болела голова, исчезал аппетит, и даже, как заметила жена, Отчерчи слегка похудел.

В назначенный дьяконом день он не завел часы и после чаю, не сказавши жене, взял одеяло и залез на сеновал.

Было холодно на сеновале, и плохо держало тепло одеяло. Пахло трухой, сырыми гниющими досками, на стропилах лежала пыль, похожая на бархат.

Он лежал долго, пока на каланче не пробило три часа, и тут ему пришло: лучше, пожалуй, поехать на лодке и вообще эти дни, пока дьякон не успокоится, уплывать за Иртыш. Решив так, скинул одеяло и полез на землю.

Жена, увидев его, сказала:

— Тебе дьякон записку прислал! — и, скосив губы, добавила: — Странная манера...

Отчерчи привык делиться мыслями со своей женой, и поэтому, должно быть, она ему не верила. Но тут говорить было нельзя, и от этого еще более страшно было предприятие дьякона.

Значилось в записке:

«Потапий, дело откладываю на неопределенные и непредвиденные времена. О всем сообщу. Наум Полугодье».

— Дудки! — сказал учитель, остервенясь.— Долго ты меня мучить будешь. Я, брат, дошлый!

Вкусно улыбающееся было лицо у дьякона. Сидел он в погребе, прямо на земле, и ножом очищал масло из турсука в бочку. Руки у него были желтые от масла, он ловил на язык падающие с пальцев капли, и борода и усы у него блестели, как лаковые сапоги.

— Пришел? — спросил он.— Я ведь знал, что ты придешь. Думаю — врешь, явится. Отменять-то я ведь не думал. Сегодня совершим мы с тобой деяньице, Потапий.

Учитель положил для чего-то руку на живот и, глядя на изъем своих сапог, сипло сказал:

— Я, отец Наум, отказываюсь.

— Чего?

— От воровства отказываюсь.

— Совсем?

— Решительным образом, Наум.

Дьякон поймал языком падающую с ладони желтую каплю, язык мелькнул, и услышал учитель:

— Напрасно! Тебе же добра желаю.

— На таком добре спасибо.

— Ну, не хочешь — не надо. Я диктатурой, Потапий, не промышляю. Иди! Один сделаю.

Учитель почувствовал радость, и, прежде чем уходить, захотелось обласкать ему дьякона:

— Хорошее масло у вас, отец Наум,— сказал Отчерчи.

— Плохое масло, киргизское, а у них всегда оно дымом пахнет. Турсук вот хороший, я в него шубу спрячу.

— Ка-ак?

Дьякон уронил кусок масла на землю, поднял его, обдул и положил в кадку.

— Заверну в турсук. А там, в степи, в песок закопаю. Мне шубу не надо. И вывезти удобно: скажут, дьякон за кумысом к киргизам поехал.— И, вспомнив учителя, пронзительно закричал: — А ты иди, иди! Я один! Все равно поймают, донесу. Скажу, учитель Отчерчи — эсер и предводитель шайки белогвардейцев, по его научению, мол, действовал. А там пусть тебя хоть изнасилуют, мне дезертиров не жалко.

Учитель почувствовал — уплыла его радость и опять зазнобило от беспокойства.

— Вы, отец Наум, такими вещами не шутите,— сказал он обидчивым голосом.

— Я, Потапий, при рождении своем пошутил, так бабка меня столь пришлепнула, что у меня на всю жизнь пропала охота шутить. Я тебе всурьез выкладываю: со мной пойдешь — тюрьма, не пойдешь — расстреляют! Говорю тебе — огнедышащий я человек.

Дьякон отчеканил и для крепости слов ударил ножом по маслу.

— Решай!

Учитель сел рядом с дьяконом и спросил:

— Может быть, еще ножик найдется. Двое-то скорее опростаем.

Дьякон пошаркал большим пальцем об указательный и, щуря глаза, ехидно сказал:

— А мы их Тихоном, по носу Тихоном щелкнем. Святейшим и всея Руси!.. Жри!..

Учитель, перекладывая масло, спросил:

— А коли не выйдет?

— Выйдет! — крикнул с азартом дьякон.— Я тебе говорю — выйдет! У меня вера очарованная, я до предела дошел, а дальше мне отрекаться надо! И отрекусь. Прокощунствую, Потапий!

— Смотри, отец Наум, не прометь!

— Ну-у. А только выйдет. Меня бог уполномочил, потому-то на меня всякое усовещевание не действует. Юфть фимиамного запаху никогда не перебьет.

Упродкомиссар Савелий Скученый жил через дверь от дьякона. Но по крышам пригонов можно перейти через весь город, не только что к Скученому во двор.

Так дьякон и решил.

Проползти по крышам, спустить лестницу во двор и, сломав замок на амбаре, похитить шубу.

Дьякон оставил учителя до вечера в погребе.

— Дабы наши не заподозрили,— сказал он,— а то дьяконша узнает — все глаза выцарапает. Ты уж посиди, Потапий! Я трашпанку подмажу, лошади овса дам, а завтра поутру отвезем, и пусть себе лежит. А там у киргизского аула место хорошее в ложбине нашел, подъедем будто по философскому делу — и готово.

Отчерчи, оставшись в погребе, неподвижно сидел на обрубке дерева, пока у него не свело судорогой ноги.

Дьякон пришел поздно. Долго шарил, зажигая спички. Запахло серой, и запылала тоненькая церковная свечка.

— Еле от дьяконицы отвязался,— запыхаясь, сказал дьякон,— привязалась: «Куда тебе на зиму глядя во дворе спать?» Помогай, грит, горчишники ставить мне. Ладно, что горчицу крысы съели, да еще соврал, доктор, мол, прописал мне во дворе спать. Пустила. Баба черта да доктора только и уважает.

Дьякон достал из кармана маленький бумажный фонарик, вставил свечу и сказал:

— Пошли.

Учитель нерешительно спросил:

— Может, отменишь?

— Будет тебе, Потапий.

Был дьякон строг лицом, в валенках, черной сатинетовой рубахе и очень узеньких, с латками на коленях, штанах. И походил он не то на писателя, не то на художника, как их рисуют на картинках. Он перебросил фонарик в левую руку, перекрестился и задул свечу.

На дворе темно. Они заговорили шепотом:

— Собаки-то у него нет? — спросил учитель.

— Большевику да собаку,— ответил дьякон, подставляя к стене пригона лестницу,— добро бы самому-то пропитаться. Лезь!..

Они залезли на крышу.

Полугодье втянул лестницу. Они поползли.

Под коленями и под ладонями хрустела солома и хворост. Солома попадала под ногти и больно колола кожу. Подтяжки лопнули, и ползти приходилось, придерживая штаны одной рукой, и учитель все время думал о какой-то пуговице металлической с сизым немецким клеймом. Шевелил волосы ветер, и казалось, что кто-то ощупывает голову. Изредка колени проваливались в неплотный настил, и в лицо кидался прелый запах навоза и соломы.

— Тише... ты... носорог... — шипел дьякон,— в Чеку хочешь?

Казалось, билось сердце наружу, вне себя.

Крыши ли тянулись бесконечно, будто прошли весь город, а кругом словно черным сукном обтянуло, и лают за ним, далеко, собаки; сонно ржут лошади, и с Иртыша тянет по лицу, по вискам холодом.

— Помоги... лестницу-то спускай... — сипел торопливо дьякон.

Дальше, как в утреннем сне, смутно помнили Отчерчи и Полугодье тоненькую из теса дверцу амбара,

круглый замочек, отвороченный дьяконом, и в амбаре на деревянном крючке овчинный тулуп, выпачканный в глине, и на воротнике тулупа вязаный зеленый шарф.

Дьякон сорвал тулуп с гвоздя. Учитель ухватился за шарф и стал наматывать его на шею.

Дьякон хотел было тушить свечку, но, увидев шарф, даже слегка подпрыгнув, взвизгнул:

— Шарф-то... шарф... На кой тебе черт шарф? Брось! Лестницу-то не забудь...

Дьякон, шлепая полами тулупа о голенища сапог, полез на поветь.

IV

Утром в девять часов они запрягли лошадь. Турсук положили на передок.

Служащие шли в учреждения, раскланивались с Полугодье и Отчерчи.

Жидко благовестили в церкви.

Болела у Отчерчи голова и оттого, что не спал, должно быть, мучила жажда. Дьякон глядел на турсук и тоненьким своим голоском говорил:

— Жалко турсука... видишь, желтый аж, такого турсука по всей степи не найдешь. Прекрасный турсук, два пуда масла входило...

На обратном пути учитель нарвал большой букет бледно-желтых пахучих цветов и часто нюхал их, и лицо старался сделать в тон цветам — невинное и благоухающее.

Дьякон глядел на него и рассуждал:

— Почему человек цветы любит нюхать? По-моему, много у него от пчелы и трудолюбства, и всего прочего... Даже, скажем, кумына эта самая... хоть, конечно, кумына к цветам как перец к шоколаду... а стерляжья уха с перцем стручком не уха, а прямо двенадцать Евангелий, Потапий, а?

Учитель думал о своем.

V

Банан — фрукт вкусный. Впрочем, я банана не ел, и учитель Отчерчи тоже не ел, но по утрам любил мечтать — провести бы по карте полушарий земных одну параллельную черту, а одну перпендикулярную, и в точку скрещивания поехать. Интересные события бы могли быть.

В городе поверили мало краже глиняной шубы.

Улыбались, перемигивались:

— Знаем, мол.

С дерева снялся лист. Пароходы ушли в зимовку. Совсем город — песок и серое дерево. Мало людей.

Возвращались только киргизы с кочевья в джатаки. Торчали на двуколках разобранные юрты, как ребра скелетов, кошма, как кожа. Цокают овцы копытами, и далеко от двуколок пахнет кизяком и кислым молоком — айраном.

На воскресенье в сентябре уже прошел первый тягучий, как панихида, осенний дождь. Днем прояснило, тепло.

Вышел учитель второй ступени Потапий Отчерчи в суконной накидке на плечах, и у накидки той капюшон вроде подчасника, которые любят вышивать поповны. Ноги учителя толстые, а ступает, как верблюд, легко и приятно, лицо широкое, но тоже легкое лицо.

Дьякон же, отец Наум Полугодье,— тонкий, волосы строгие, причесаны волной, сам черный, как обгорелый пень, в шубе меховой, синим сукном крытой, и — воротник поднят.

— Жарко, поди? — спросил учитель.

— Неизъясненнейшая жарынь,— отвечал дьякон,— однако бог терпел и нам велел. Иду на митинг.

Учитель удивился.

— На митинг, отец Наум?

— Якшаться, конечно, с ними не годится, но для дела своего сердца — ничего не поделаешь. Насчет шубы не слыхали?

— Не приходилось,— отвечал учитель.

— Говорят, намечает тут конфисковать кой у кого, из богатых. Точно не знаю — правда ли. Сам я много наговорил, и сам не пойму — где правда-то. Будет у них, Потапий, митинг сегодня насчет разверстки. Так нужные люди там будут — надо меры принимать, не понапрасну же мы с тобой.

У дьякона походка стала как будто напряженнее.

На дворе кооператива, где ссыпка хлеба, крестьяне, красноармейцы, бабы.

На ларе сидел секретарь исполкома, на коленях у него портфель с блестящим замком. Губы секретарь сжал, нос вытянул — пишет человек.

Упродкомиссар Скученый говорил плохо, бегал, топтался, махал руками, а лицо застывшее и как будто слегка напуганное: заметно, что-то внутри есть, а на-

ружу не выходит. Скажет мысль, потом повторит ее и, немного погодя, еще расскажет. Кто не привык слушать — нравится, крестьянам тоже ничего — принимают, только когда комиссар говорит, что то-то надо сделать и это должно дать, речи крестьянам не ладны, можно было бы и без этого обойтись.

Лица у мужиков были обветренные, неподвижные и суровые, губы жадно стиснуты, а в глазах у них плавала тупая ненависть, и пахли они давно не мытым людским телом.

— Пойдем сюда,— сказал дьякон.

Отчерчи и дьякон остановились рядом с заведующим отделом социального обеспечения, широкоскулым человеком в светло-зеленой колчаковской шинели.

— Любопытствуете? — спросил заведующий.

— Все надо знать,— ответил учтиво дьякон и взгляд вонзил в упродкомиссара.

Кончил говорить упродкомиссар, и вышел какой-то лысый в очках, кривоногий.

— Из губернии агитатор,— подсказал заведующий.

Дьякон слегка ударился плечом об учителя.

— Смотрит.

— Кто?

— Скученый. На меня смотрит.

И действительно, как-то неладно глядел упродкомиссар на дьякона, поглядит и на заведующего взглянет.

Гмыхнул дьякон носом:

— Ага! Ты подумай, Потапий, почему он, а? — Зашептал, срывая слова: — Я человечью душу сквозь — вдоль и поперек знаю. Вот он на меня смотрит, думает, дескать, шуба на дьяконе, а у меня нет. Потом видит — рядом заведующий социальным обеспечением. Понял ты? А через заведующего завсегда шубу можно достать. И поверь ты моему слову, завтра бумагу напишет: «Товарищ Протасов, мол, выдайте мне шубенцию, так как моя пропала неизвестно в какие дебри».

И чтоб отхлынула наполнявшая его радость, сочувственно спросил дьякон заведующего социальным обеспечением:

— Тяжело работать, а?

Заведующий был словоохотлив. Начал о красноармейских семьях, инвалидах, но в самом начале речи его раздался дикий лай. такой лай, которым собаки встречают только киргизов.

Гулко застучали копыта в деревянный мостик, завизжала, надсаживаясь, собака, и в распахнутые ворота ворвался киргиз. Желтовато-оливковое лицо его было потно, радостно, узенькие глаза вытаращены радостно. Киргиз махал укрючиной и возбужденно перекрикивал собачий лай:

— Мурза, эй, мурза... Савка-а...

Учитель взглянул на посеревшее, испуганное лицо дьякона, на его вдруг как-то сжавшуюся черненькую бороденку и сам чувствует — приливает кровь к шее, холодеют уши и дергает, дергает сухожилья ног.

— Турсук-то... — придавленным разопрелым голосом зашептал дьякон.

Учитель видит: отвязывает киргиз большой турсук от седла, разорван турсук, и торчит из него рукав глиняной шубы.

Киргиз забормотал, вытряхивая шубу,— доволен вниманием и своей ловкостью вдвое больше:

— Кара. Матрю — епинды—сечейн — собак турсук жрет. Песок тащил — жрет. Пошто казенной вещь грызет. Минь сагай... Матрю — Савканой шуба, на Чатбите... Ал. Маган на кирек. Нашто мне надо. Бери.

Киргиз вытряхнул из турсука шубу, развернул, и на спине у ней огромнейшая, с чайный поднос дыра.

Киргиз сконфуженно улыбнулся, передвинул аракчин на лоб.

— Попортился азрак-азрак...

Когда они очутились на улице, запнулся учитель о доску тротуара и почувствовал себя так приятно, словно женщина после родов.

Обрадовался своему телу большому, неожиданно появившейся глиняной шубе и, озорно ткнув пальцем в бок дьякона, задорно спросил Отчерчи:

— А как дыра-то... Поклоняться богу будешь или прокощунствуешь?

Дул с Иртыша, как и всегда здесь, ветер, нес песок, и голоса в песке и пыли свистящие получались. Хлесталась полуотворенная доска о забор, песок у забора ссыпался в мягкие сугробы. Блестели на выдутых ветром местах гальки, как новые монеты.

Вздохнул несколько раз широким вздохом дьякон Наум Полугодье и учителю второй ступени Потапию Отчерчи ответил протяжно:

— Об этом пока еще ничего не известно...

1921

ЖАРОВНЯ АРХАНГЕЛА ГАВРИИЛА

I

От Урала до Туркестана тысяча тысяч верст, и все песками сыпучими ростом в человека. Глуби.

Однако косой и рябой Кузьма рассказывал:

— Иду в город Верный, он, бают, сквозь землю провалился, выпучилось там озеро, и уток в том озере — тьма... А камыш вокруг агромаднейший, и балаболке каждой вес пять фунтов...

Был Кузьма портным волостным — на всю волость пиджаки со штанами австрийским манером шил: с карманами в телегу и пуговицами в колесо. А по волости говорили:

— Никудышный портной Кузьма, охотник же отменный, с глазом заговоренным: бьет верно и насмерть.

И пуле его верили больше, чем игле.

Во времена колчаковские призвали мужики Кузьму и пояснили:

— Бери бердань.

Спросил Кузьма:

— Куды?

— Белых бить, белые на нашу волость в походах военных. И, значит, до шестых коленьев на кедрах крестьян вешают. Идем сражаться.

Поднял бердань, пошел.

Говорят ему:

— Стреляй!

Указали в кого — одного, другого. Пятерых. Снял их с ног, как пуговицы на платье срезают, и ушел на охоту в тайгу.

Белые больше походами не шли. Перебили их большевистские полки в стороне от Урмана.

Ходил Кузьма, шил пиджаки и хвалился:

— Иду в город Верный, который под водой плывет. Чудес хочу.

А пребывают Семилужки в кедрах — хоромины пятистенные, бревна — в коровью тушу. А часовенка всех святых с кедровый орешек. У левого клироса образ архангела Гавриила со свечой и зеркалом. Знаменует это — душу твою видит бог, как в зеркале, а насчет свеч никто не интересовался, и горела в руце его свеча неизвестно для чего.

Не любил Кузьма Гавриила: вот, скажем, архистратиг Михаил-воитель, всякой сволочи уничтожитель, Ми-

колай-угодник обходительный, бородатый святой; а этот... телом хлипок, безус и перед богоматерью, в благовещенье, нехорошую вещь проводил. Сомнительное чудо.

Обнесет свечой архангела, и лицо корявое в стороне плывет.

— Ненадобная икона... глаза трет, а тут — свечу ставить... Не хочу...

Однако о помышлениях своих молчал, копошились они внутри, в теплоте и духоте. И потому, должно быть, казались ему эти помыслы огромными и непонятными, как зимняя тундровая ночь.

Одна только мысль о чудесном городе Верном билась, и верил он в нее злобно.

Так вот на Гавриила-летника, когда кора на кедре трескается, — потеет дерево. Кедр выгибает землю горбом. Смола течет в хвою и весело пахнет. Шел тогда Кузьма тропой таежной.

Думал о завтрашнем празднике, Гавриила-архангела ругательски ругал и злился еще, что не припасено самогонки.

— Хороших святых хоть отбавляй, а тут дерьму кланяйся. Не хочу.

Пахло густо и радостно корнем кедровым. Неудержно и космато полз он из земли, злобно рвал травы.

Наверху ветки захватили ветер. Со свистом трепали его с вершины на вершину.

Сказал Кузьма:

— Есть во мне как-никак непочтенье.

Сплюнул и глазом своим единственным по тропе повел.

А тут стоит на тропе мужичонко, неизвестно откуда появившийся. Лопотина-одежина на нем — лохмотья над лохмотьем, на одной ноге лапоть, на другой — сено веревкой привязано. Глаз же... совсем непонятный глаз, один от другого на пол-аршина, в разных концах лица. Будто и два глаза, а будто и больше десятка; в волосе они там, в хитрости.

— До Семилужков эта будет, тропа то есть?

Отвечает Кузьма:

— Будет...

Завелеречил мужичонко:

— Иду я туды на Гавриила Премудрова, значит, и архангела. Слышал, в престолах он там празднуется.

Увел свой глаз за пазуху.

Кузьма сказал:

— Ну?

— Иду я от самых туркестанских земель, от самого города Вернова...

— А бают... Верной-то?

— Провалился, парень, сквозь пески провалился, одна мусульманская мечеть уцелела, потому мулла на ней, бают, провокатором был, и вообще... озеро там и все такое, что требуется...

— Неизвестно пошто? Как же так...

— Ушел-то?

— Ну?

— Надоело, грит, смотреть мне на вас — и никаких, парень, гвоздей. Ушел — свидетель я этому и пятьсот присяг брал в том...

— Этак-то уся Расея уйдет...

— Не наше дело, парень, не наше. Рукомеслом мы богомазы, и архангел Гавриил у меня в почете.

Повернул по тропе. За плечами мешок холщовый, и погромыхивает тот мешок железным грохотком.

На тропке туман, из тумана того выпрыгивает из глаз Кузьмы кусок рваной лопотины на жидкой спине мужичонки, тело в прорехе видно. Голосенко тонкий, как осенняя травка, и муторный такой.

Обомлел Кузьма.

— Господи,— говорит,— откуда его и пошто? Все чудеса знает — и причину их, главное.

Ночь и туман вошли в грудь и в череп. Вспотели скулы, повел пальцем по ним Кузьма, и вся рука мокрая, и волос на ней лоснится, липнет.

— Господи,— говорит,— зачем такая неизвестность? Идет тропа ленивцем в тайгу меж кедра, не торопится, а по ней мужичонко никчемный и двадцатиглазый спешит, которому все известно.

II

В мешке холщовом папуша табаку. Кисти крохотные, бумага газетная на курево. А в полотенце железный грохоток.

— Здеся лежит,— говорит мужичонко,— жаровня архангелова.

— Откуда? — спросил смятенно Кузьма.— Такая чуда?

— Для растера красок, иконы врачевать, говорю тебе. Краски священнейшие, и жаровней архангела Гавриила прозвана. От родов иконописцев больших идет и святостью наполнена до неузнаваемости, парень.

Развернул полотенце. Жаровня как все жаровни: клеймо стертое и одна ручка отбита. Мужичонко подле окна сидит в тени, лицо у него темное, как жаровня, и безглазое, замолкло.

Ждет Кузьма — идет из нутра его трепет по избе, по лопотине его — не говоря об теле. А сейчас будет, явится Кузьме чудо.

Замолк мужичонко, портянки скинул, спать. На дворе ночь, ну и в избе тоже.

Захрапел во сне жалобно, будто нарочно. Ногой по лавке дрогнул; с лавки на пол тараканы грузно упали.

Лежит Кузьма на полатях, дрожит и ждет.

Поднял голову, глянул с полатей: луна на дворе, в окно на столе тоже луна — крепкая, четырехугольная, а в луне той — жаровня, палочка тоненькая и хлеба кусок недоеденный.

Ничего нет. Туман. Тропа видится. Кедровый дух, смолистый. Жутко Кузьме от человека приблудного и слов его нездешних, от снов...

III

Встал утром мужичонко рано. Кузьма бердань начал чистить.

Явился мужичонко, говорит:

— Ухожу!

— Куды?

— Буду рукомесловать, парень, округ Гавриила-архангела. Опчество поручило, выходит. Народ у вас богатый и святых благолепных любит; у них, брат, святые должны быть толсты, жирны...

— Богохульник ты!

Посмотрел мужичонко в единый глаз Кузьмы, поддернул штаны и пискнул:

— А ты не сердись, за харчи тебе и за прочее будет заплочено, понял?.. Имя мое Силантий, а фамиль хорошая — Одойников; хорошая фамиль, а?

Пошел по селу мужичонко, у изб толкался, бороденка у него, как мох под солнцем, — то темнела, то светлела неуловимо. Говорил он много и за всех. Совсем чужой человек и чужостью своей непонятен.

Десять лет не поправлялась поветь, скосилась, и солома сгнившая землей проросла. Поправил ее Кузьма. Трубу кирпичом обложил, пообедал два раза — не проходит. Тоскует около сердца, жмет и жжет.

А народ Гавриила-архангела празднует. Хоть и неизвестно, чем отличился архангел в Семилужках, но попраздновать почему не попраздновать. От праздника только животу больно, но на то он и живот, чтоб болеть.

Самогонку пьют и песни, какие полагается, поют.

Пошел Кузьма по селу, и мысли у него были трезвые, но тревожные, как в восстание.

У часовни стоял мужичонко Силантий с жаровней за плечами, говорил мужикам тонесенько и рукой по воздуху тоже тонесенько проводил:

— Икону делать тоже надо с умом. На краску зола берется с лихвун-травы, окромя того, крушины на Ивана Купала человек безбабий в трех портках сдирает. Потом третье — это, паре, на жаровне моей архангеловой разводится на яичном желтке от таких особых куриц, про которых и мне знать невыгодно. Иду я, скажем, сейчас в тайгу, и буду искать всю вечерю лихвун-траву, и найду ее только под утро, и весь в поту непременно...

Поправил мешок за плечами и пошел тайгой.

Поглядели мужики на часовенку, на тайгу и похвалили Силантия: умный, мол, и все как следует.

А Кузьма осторожно в кедрах с боков тропки за мужичонкой шел. Идет Силантий, отмахивается от комаров черемуховой веткой, и с лица незнаемость спала — мужичонко как мужичонко, нос щепой, борода клоками и над ртом редкий ус.

Ждет Кузьма, какую лихвун-траву искать будет Силантий, и хочет и еще что-нибудь на лице его наблюдать.

Глаз у Кузьмы единственный, крупный, будто два глаза у него, идет по-звериному, дерев не замечает.

Не спешит мужичонко и не ищет, смотрит больше в себя, трубку закурил. Шаг у него бабий, с вывертом, мелок, с припрыжкой, оттого-то, должно быть, и чугунок погрохатывает.

Боязно и печально Кузьме — обернется сейчас и спросит:

— Ты куда? Чудо познать захотел?

Нет, идет, покуривает.

Сорвал крушинную веточку, в мешок положил, мху с брусничником еще сунул.

Думает недоуменно Кузьма:

«Лихвун-трава и будет, видно».

Подошел мужичонка к кедру, кору поцарапал, со скуки, должно, потом опять крушинку сломал.

Думает злобно Кузьма:

«Это и будет иван-купальный кувшинчик».

Идет, ждет. Руки дрожат.

Тропа в речушку упала, в песок. Остановился тут Силантий, скинул мешок, лопотину и полез в реку купаться.

И как затрепыхался в воде — потянулся к плечу за ружьем Кузьма. Нет ружья, забыл дома.

Сорвал ветку с пихтача, переломил в пальцах так, что смола кожу слепила.

А тот в воде фыркает, будоражит воду, гогочет тоненько:

— О-хи-хи!..

Руками воду бьет — не любит человек спокойной воды.

Над речушкой шиповник запнулся, в воду ветки тянет, песок от воды бежит. Травами лесными пахнет. Глуби душистые. Тишина.

IV

Сказывали по деревне — долго молился мужичонко перед тем, как Гавриила править. За благочестие такое удумали семилужцы икону ему заказать самого страшного святого — архистратига Михаила.

Отказался Силантий:

— Боюсь таких святых рукомеслить, уважаю сердце мягкое, птичье, можно сказать.

И разговоры вел про туркестанские мудрые земли, про город Верный, от мук скрывшийся.

А Кузьма эти три дня в тайге ходил — искал зверя, чтоб на его крови тоску и злость свою снять. Не было зверя, не сжалился над человеком зверь.

Силантий же будто забыл про Кузьму и, сказать нужно, не выходил из часовенки. С лицом мудрым и глазами пьяными выбегал на паперть и многими своими глазами на солнце смотрел. И видел он точно одно ему известное, что нужно было перенести с солнца на лик архангела — дабы светел, солнечен лик был, и в зеркале чтоб тоже солнце отражалось.

Вечером Кузьма встретил Семеновну — старуху ветхую и до правды охочую.

— Странствователь-то,— сказала она,— пьяный напился, бает — есть этот Вернай город, на месте стоит, не шелохнулся, сердечный, стоит.

— Ушел он, Вернай-то,— ответил Кузьма.

— Не может, парень, уйти никуда. От мира куда уйдешь?

И была довольна старуха.

Сказал строго Кузьма живописцу Силантию:

— Брешешь зачем? Насчет Вернова-то города, а?

Вскрикнул Силантий:

— А ты отстань! Сам знаю, что говорю, и свою муку примаю. Уйди от меня дальше. Должон бы я на тебя разозлиться, а как исполняю работу священную, имею я полное право только кричать на тебя. Уходи!

Пьяное слово — крепкое слово, мужик ему верит нутром. Как сказал-промолвился Силантий об Верном, так сразу поверили мужики и о городе больше не говорили. Стоит — и бог с ним, мало ли городов стоит!

Над Кузьмой ухмылялись — верит, пущай верит, неизвестных вер человек.

Опять и Семеновна — охотница до правды — сказала Кузьме:

— Приходи ко мне чай пить, заварю чаю китайского, настоящего, за твою муку. Потому собирался в Верный ты долго, а теперь куда?

Напился пьяным Кузьма, орал, по столу кулаком бил, хотел выкричать свое слово, которому поверили бы все.

— Провалился. Я говорю, провалился. Есть чудеса на земле, кроме смерти...

Орал еще в пригоне отнятый от молока теленок, орал густым звериным ревом, и как теленка, так и Кузьму никто не слушал, не понимал.

На конце деревни в кедрах часовенка. Пахнет из тайги мокрой вечерней смолой. Улицы песчаные травой заросли, густо-зеленые и веселые.

Высунулся Кузьма из окна, заорал на всю улицу:

— Провалился!.. Провалился!..

Рыжехвостый петух слетел с забора, торопливо пробежал по траве и задорно тряхнул гребнем. Была у петуха пьяная походка и густой, как у теленка, голос.

Так и орали трое — двое с тоски, один и сам не зная к чему, пока не заснули.

V

Проснулся Кузьма поздно. Сон видал тяжелый, мокрый и нескончаемо долгий. Во сне том громыхал жаровней Силантий, горела зеленым огнем земля, и было тесно.

— Ага,— сказал Кузьма,— бродить тебе. Уся Расея обедню служит, а ты кто такой? Желаю я знать, ну? Вся Расея к чуду должна идти, а ты смущаешь...

Надернул заплатанные плисовые шаровары, мягкие, без каблуков, бродни на босу ногу, сорвал со стены берданку, зарядил ее пулей на медведя.

Лохмохвостая собачонка, увидав ружье, заскулила от радости. Кузьма ударил ее ногой в бок — не годится собаке идти по человеческому следу.

Пошел огородами, позади дворов, к часовне, и шаги старался сделать иными, но получалось, словно бы шел на зверя: подымалась пятка над землей, и тело держалось на пальцах.

За желтоватыми подсолнечниками пригоны для скота, крытые темным тесом. За ними из толстых сутунков-кедрачей нарубил для себя человек пригоны. Были они выше, но темные тоже и пахли звериными острыми запахами избы.

Говорил со злостью Кузьма:

— Я тебе покажу!.. Узнаешь, для каких надобностев народ, значит, чуда ждет.

Нужно было сказать кому-то слова обидные и злые, а получалось пусто и ненужно. Замолчал Кузьма.

Часовенка Всех Спасов в кедрах и, может быть, старее кедров — вся она зелено-черная, как земля ранней весной, и дерево ее землей пахнет. Паперть мшистая, как предболотье. Дверь узкая. Кресты на куполах от ветхости ржа съела.

Поднялся тихо по ступенькам Кузьма, дернул легонько за ручку — заперто. Замка нет — значит, изнутри заперто. Спускаться стал — шаги свои услышал, мягкие, звериные, и только шов кожаный, должно быть, за дерево задевая, как коготки постукивает.

Повесив ружье на плечо, вскарабкался по кедру к окну. Окно распахнуто, должно, проветривают часовенку. На решетке синица сидит и хвостом трясет. Спустил ружье на руку, курок поднял и вниз глянул. Пахнет из часовенки ладаном, воском, сумрачно, в сумраке человек бегает и руками незнаемо для чего у лица машет,

На мешке жаровня, в жаровне лежат ризы с икон, подле кружка разбитая, а иконы поодаль, с иконостаса снятые, в кучке, как дрова. С молотком и со стамеской бегает мужичонко Силантий. Лицо у него желтое, руки желтые, и, словно бы пыль на глазах, не видно их. Ударило изнутри, во всем теле отдалось, как выстрел ночью, и тело на суке кедровом расслаблено повисло.

— Вор?! — сказал Кузьма и голосу своего не услышал. — Только и чуда что — вор...

Схватился за решетку, ударил стволом об железо и закричал:

— Эй!.. Холощеная душа! Чудо!..

Ударил разом коленями в пол мужичонко, вскочил опять и с визгом к стене кинулся, вверх на окно смотрит, гнется к полу, голову закрывает для чего-то ладонями, визжит:

— Парень... С голоду я, с голоду. Ребята, семья — восемь душ, жрать нечего, парень. Ребята голы, как арбуз брюхо-то, вше уцепиться негде. Семенской волости я, парень... Прослышал... прослышал... бают — золото тут... серебро на ризах-то, тьма! Позарился первый раз, ей-богу... Кузя. Брось ружье-то, Кузя... Ну? А?.. Кузя... Не бей.

— За что мне тебя бить, чудо. Живи, ребят питай.

Спустился Кузьма с кедра, опустил курок обратно. Вскинул ружье и пошел в тайгу...

Опять смола дышит, травы лесные, кедры из земли в небо рвутся, корни их земля сдержать не может — ослабла, не вздохнет.

Говорит Кузьма:

— Может, и вправду не провалился, да, может, и самого-то города Вернова нету... для утешения своего люди придумали...

Молчат кедры — не отвечают, своим делом заняты. Что ж, нет ведь чудес на свете, и самое страшное — жить тому, кто подумает, что нет их — чудес, и поверит.

1922

ПУСТЫНЯ ТУУБ-КОЯ

Глава первая

Экая гайдучья трава! Не только конь — камень не в силах раздавить, разжевать такой травы. И не потому ль в горах скалы — обсыпавшиеся, обкусанные, слов-

но зубы коней, что бессильно крошатся о травы Тууб-Коя.

И над всем, вплоть до ледников, такое же желтое, как пески Тууб-Коя,— небо.

Звезды на нем, словно шаянье сухого помета аргалов.

Да и то так ли? Потому что никто не знает, есть ли на этом мутно-желтом, цвета гнилой соломы алтынном небе — есть ли на нем звезды.

И все же через гайдучьи травы, через пески, откуда-то от Тюмени, сквозь уральские и иные степи пробрался в партизанский отряд товарища Омехина агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

Удивительнее его словес, которые, правда, стоили пятидесяти газет,— алебастровый, девичий цвет его лица. Никакие солнца никаких пустынь не могли потревожить его нежнейшей кожи, а он, нимало не млея, гордился своими словесами и особенно — способом своей агитации.

На трех ослах пригнал он свое имущество. На первом — Командир по кличке — имел Глушков «вполне исправный», по списку, пулемет. На остальных — кинематографический аппарат «Кок» и в туркменском пестром мешке — круглые ящики лент.

Ноги у Глушкова были босы, потрескавшиеся, в цыпках, а брюки он почему-то не подбирал, и густая желтая пыль была в отворотах — точно он нарочно насыпал туда песку. Вытянувшись, стоял он пред товарищем Омехиным, и было у него такое розовое лицо, будто явился он с ледников.

— Удивительный способ моего воздействия на массы заключается в объяснении событий предыдущего строя, демонстрируя вышеуказанные события и любовные драмы на мелком экране, посредством домашнего электричества, машиной, приводимой в действие человеческой рукой, именуемой «Кок», что по-русски значит: победа.

— Победа? — спросил Омехин и поглядел в горы Тууб-Коя, в ледники, что одни прорезали небо и куда бесследно ушли отряды белых.

— Несомненно победа,— ответил Глушков, и зубы его показались белее алебастрового его лица.

— Тоды что ж,— сказал Омехин.— Мы не против буржуазной культуры, если она со смыслом... Показывай.

Больше года уже носился омехинский отряд по барханам Монголии, больше десятка месяцев жевали кони гайдучьи травы пустыни, и многое стал забывать товарищ Омехин. Так, пройдя несколько шагов, остановился он и поглядел на тех трех заморенных осликов, на жирных оводов, носящихся вокруг них, и на Глушкова, раскладывавшего по кошме аппарат «Кок».

— Поди так, про любовь?

— Преимущественно про любовь, товарищ.

— Зря. Тут надо про смерть.

— А мы подведем соответствующую структуру.

Одни сверкающие ненавистью к зною ледники, одни они прорезают небо. Высоки и звонки горы Тууб-Коя.

И, отходя к своей палатке, хрипло сказал Омехин:

— Разве что — подведем.

Глава вторая

В средине ленты, когда гладкий и ровный «трутень» объяснился в любви длинношлейфой даме, а соперник его — трухлявый лысый злодей — подслушивал за портьерой, когда Глушков совсем приготовил в памяти одну из удивительных своих речей, такую, что после десятка подобных совсем к черту бы развалился старый мир,— в отряд, пробравшись незнаемыми тропами, примчалось подкрепление — уфимские татары.

Экран потух, партизаны заорали «ура», и косым ножом семиреченский казак Лумакша перехватил горло кобылице. Казаны для гостей мыли так, будто собирались варить в них лекарство, и, по степному обычаю, сам Омехин первый кусок сваренной казы пальцами положил в рот командиру отряда татар Максиму Семеновичу Палейке.

— Вступаю под непосредственное ваше командование,— сказал Палейка, быстро глотая кусок.

— Кушайте на здоровье,— ответил Омехин, придвигая блюдо.— По поводу же картины замечу: с точки зрения человеческой целесообразности любовь вызывает жалость к себе.

— Зачем же... Жизнь любить не мешает, особенно — рожать. Не рожая — какая жизнь. По-моему, женщина у меня должна быть единственная. Чтобы сказать фигурально или, в пример, аллегорией,— присосаться к шее на всю жизнь и пить.

— Не одобряю,— возразил Омехин.

Он хотел было спросить о буржуазном происхождении Палейки, но здесь тонко, словно испаряясь в сухом, как пламень, воздухе, пропел горнист.

Всадники вспрыгнули на коней.

Казак Лумакша, резавший кобылу, привел двух киргизов. От страха стараясь прямо, по-русски, держаться в седлах, сказали они, что ак-рус — белые люди — с ледников пошли в обход омехинскому отряду, по дороге берут киргизские стада, и бии — старшины — собираются резать джатачников.

— Мы сами джатак,— сказали они.— Пусти нас, мы по вольной тропе пришли.

«Джатак — значит бедняк,— самому себе перевел Глушков.— Необходимо отметить и употребить в речи, как окончу картину демонстрировать...»

Дни здесь сухие, как ветер, тоска здешней жизни суше и проще ветра, и ветер желтым и крупным песком заносит конец ее.

Вот поехали утром еще трое партизан сбирать кизяки — топливо — и не вернулись.

В долине Кайги остались сторожа подле запасных табунов, пустые палатки, три пасущихся подле саксаулов ослика и агитатор Глушков, спящий со скуки на камне, подле смотанных лент.

Сторожа рассказывали сказки о попадьях и работниках. Неутолимая тоска по бабьему телу капала у них с губ, и Глушков проснулся от вопроса:

— Неужель такая баба растет, как на картине? Надо полагать, перерезали таких баб всех, а не порезали — мы докончим. Зачем ты, сука, виляешь, когда мы тут страдаем, а?

Проснулся Глушков, тесно и жарко показалось ему в грязной своей одежде, пощупал горячий и потный свой живот, подумал — разве можно, действительно, показывать в пустыне такие бедра. И с необычайным для него матерком добавил:

— ...Вырежу прочь вышеуказанный кусок из ленты.

Тогда же.

На одной из темных троп шарахнулись в сторону копыта коней.

Темно-вишневый цвет смолистой щепы осветил узловатый подбородок Омехина, кровь на копытах коня и грудь человека, разрезанную в виде звезды. По челку утонула в груди человека конская нога.

Это был один из троих, ушедших утром сбирать кизяки.

Крупным песком заносится конец здешней жизни.

Палейка оправил ремни револьвера и тихо сказал Омехину:

— Предлагаю: труп в сторону. Пленных не брать.

От гривы к гриве, от папахи к папахе пронеслось с неясным шумом, словно вставляли патрон в обойму:

— Пленных не брать.

— Так точно,— прошептал задний в отряде, оглядываясь в тесную темноту,— так точно! пленных не брать.

В битве подле аула Тачи, как известно вам, был убит полковник Канашвили, зарублено семьдесят три атамановца и взят в плен брат Канашвили.

Горный поток тоже не брал пленных. Вода мутнеет от крови только в песнях, а пасмы туманов в горах были такие же, как в прошлый день.

— Расстрелять,— сказал, не глядя на пленного, Палейка. Он разыскивал тщетно спички, но не курил всю ночь, и, конечно, приятнее держать в руках папироску, чем шашку.

— Товарищ...

Омехин зажег ему спичку. Такая любезность удивила Палейку, и он даже поклонился:

— Благодарю вас, товарищ Омехин.

Омехин зажег еще спичку и так, с горящей крохотной лучинкой в руке, проговорил:

— Но, товарищ, поскольку она женщина, а не брат...

Палейка опять зашарил спички.

— Предлагаю: расстреляем через полчаса. Я ее сам допрошу. Выходит, не брат, а жена? — спросил он почему-то Омехина.

Тот тряхнул головой, и Палейка тоже наклонил голову.

— И жену... тоже можно расстрелять.

— Можно,— подтвердил Омехин. И тогда сразу Палейка почувствовал, что папироса его курится.

Был рассвет. Пятница. Татары умело кололи кобылиц, и так же уверенно, словно блеском своим сами себе создавали счастье, так же смело блистали ледники Тууб-Коя.

— Допросили. Чего ее караулить, мазанка у ней такой крепости: развалится, крышей придавит, и в расход не успеешь пулей ее вывести. Тоже строят дома: горшок тверже. Знает свое дело.

Палейка любил говорить о великой войне. Он рассказывал, как при взятии Львова за его храбрость полюбила его черноволосая мадьярка и как он на ней хотел жениться. Свадьба не состоялась: войска оставили Львов, но на память она дала ему дюжину шелковых платков песенного синего цвета.

Он вынимал тогда один из платков и, если приходила нужда, нос туда вкладывал, словно перстень.

Так и тут — он потянул палец за платком, галифе его заняли весь камень.

— Допросили, Максим Семеныч?

Палейка поднял платок. Пятеро татар, лениво переминаясь с ноги на ногу, ждали позади Омехина.

— Допросить-то я допросил. Однако должен предупредить вас, Алексей Петрович, что указанная вами грузинка есть не жена, а сестра Канашвили. Зовут Еленой, и, между прочим, девица. Она согласилась дать исчерпывающие сведения о состоянии бандитских шаек в горах, указать пути обхода и все связи бандитов с городом.

И по тому, как Палейка твердо выговорил последнюю фразу, Омехин понял — врет. Тянущий жар у него прошел от губ к ушам, упал на шею, и ему показалось, что он пятится.

— Я согласен на отсрочку расстрела. Я ее сам допрошу, товарищ Палейка.

— Очень рад. Вы, как твердо знающий политическое руководство, за долгое пребывание в степи изучивший ее... У вас связи с городом не имеется, если туда препроводить?..

Связь тут — красное знамя, да и то источили ветры и дожди.

Чудак Палейка, весенняя синяя твоя душа!

Омехин подошел к ветхой, словно источенной киргизской мазанке. Несколько партизан заглядывали в просверленные круглые отверстия задней стенки мазанки, перебивали очередь, переругивались, с силой рвали рукава друг другу.

— Черт, гляди, отмахнул на круговую от плеча! Зашивай теперь.

— А ты воткнулся головой, что клоп в пазуху. Ишь весь накраснелся, кровью налился. Надо и другим...

Испитой, бледный, как его старая потертая шинель, мужик тщетно проталкивался между двумя крепкотелыми татарами. Бока его шинели, нависающие на туго перетянутую поясом талию, совсем закрывали широкий, заворотившийся с обеих сторон ремень, и локтями он упирался в стоящих рядом татар.

— Я совсем немного, братишки, одним глазком,— умолял хилый парень.— Дай-ка, ну-у...

Другой, тонкий, вертлявый, в короткой шинели, ухитрившийся придать ей вид щеголеватого кафтана, босой, угрем проскользнул между гладких круглых спин и отверстие отыскал совсем под локтем мужика. Сухие ноги кафтанника совсем неслышно упирались в тяжелые сапоги татар. Он взвизгнул от удовольствия:

— Ай, что за женчин... Все только пундрится и мундрится...

Столпившиеся захохотали:

— Неужели еще пундрится?! Вот стерва, уж третий день. Другая бы глаз не осушила, доведись до нашей русской бабы, а этой хошь бы што...

— Полька она.

— Может, и еврейка, только белая.

— А муж генерал, говорят. Его не поймали.

— Ха, что ей муж? Его и не было в отряде, она сама орудовала, как командир. Вот черт баба — в штанах, с ножом, а рожа крашеная...

Новая гурьба желающих взглянуть на пленницу толкалась к просверленным отверстиям, хватая друг друга за локти. У одного старая, пробитая пулями шинель треснула, и фалда повисла до земли. Он, не оглядываясь, попал кулаком обидчику в голову. Фуражка у того надвинулась на глаза. Он, рассвирепев, принялся лупить напиравших по чем попало. Серые шинели слились в один матерно мечущийся, растрепанный ворох.

Омехин, давно недовольно наблюдавший за солдатами, придерживая тяжелый наган, двинулся к ним.

— Обожди, не муха! Чего ползешь? Где караул? Ну, отойди, говорят.

Мужики шарахнулись, словно разлепились, и едкий пот нанесло на Омехина.

— Сплошь пундрит,— сипло продохнул кто-то позади.

Омехин обошел партизан и поискал отверстие в стене на уровне своего роста.

Такого высокого отверстия не оказалось. Он оглянулся.

— Куда вы смотрите-то?

— А ты пониже, пониже, брат.

Омехин недовольно примял немного фуражку на голове и, согнувшись перед отверстием чуть не вдвое, заглянул. Сначала ничего не видел: узкие стекла у самого потолка мало давали света. Мазанка совсем пустая. Пахнет в ней золой. Две грязные полосы сосновых нар, скорее — длинная узкая скамья, и на ней, теперь сразу стало видно, сидит женщина в белой черкеске. Две тугие косы прямой линией — по спине. Косы будто зеленые. Лица не видно: оно к свету от окна. На коленях — белая папаха. В мягкой расчесанной мерлушке совсем утонуло круглое зеркальце. Рядом на плахе — круглая плоская голубая коробочка. В руках у женщины пуховка. Она водит ею по лицу, поворачивает голову перед зеркалом. Лицо все более отходит от Омехина. Он оперся, видимо, тяжело: из ветхого глиняного кирпича стенки выдавился сухой треск. Женщина быстро подобрала под плахи ноги в черных лакированных сапогах и оглянулась. Еще сильнее запахло мокрой золой. Серые глаза ее с ненавистью забегали по стенке. Брови совсем нависли на глаза, или ресницы хватали до бровей.

— Ссс... скоты...— скорее свистнула, чем произнесла она.

Лицо бледное, выжженное, неживое, какое-то внутреннее, а не наружное. Глаза наездничьи, разбежистые.

Омехин отвернулся от щели и вздрогнул, словно по его груди проскользнуло это стремительное, молниеносное насекомое.

На его плечо по-дружески, но крепко легла рука Палейки.

Пальцы у него растрепанные и грязные, словно испаренные веники.

— Допросили?

— Собираюсь,— ответил Омехин.

— Может, препроводить ее при письме? Часть нежелательно возбуждена. Вы заметили, Алексей Петрович?

Омехин, уменьшая свой широкий рот, быстро спросил:

— Вы, кажется, товарищ Палейка, больше о ней заботитесь, чем... Да тут лавочка у ней, дальше коробки

с пудрой не двинется. Да... Разговаривать с ней нечего, я ее допрошу. Допрошу...— повторил Омехин.

Голоса негромкие, не дальше сжатых губ, короткого дыхания, но ухо пленной чутко. Она всем телом прижалась к стенке мазанки. И так горячо, так охвачено пламенем ее тело. Серая шершавая стена принимает, впитывает ее жар — она совсем теплая. Очень теплая. Совершенно не удивительно будет, если переданное ею тепло коснется, дойдет до лиц близко стоящих мужчин. Щеки одного вспыхнули, за ними пылают уши.

— Я вам не сочувствую, хотя как руководителю военной части все сообщенные ею сведения мне необходимо было бы знать первому...

Палейка вдруг круто, по-военному повернулся, козырнул молча и пошел вдоль палаток.

Омехин крикнул уже вслед ему:

— Обождите, Максим! Надо выяснить, чего недоразуметь. Верите ли...

Последние слова он бормотал на ходу, далеко откидывая коленями длинные полы шинели.

— В лесу надо поговорить,— через плечо сказал ему Палейка.

— В лесу?

— В лесу. Здесь неудобно.

Глава четвертая

Шинель Омехин сбросил на куст саксаула. Голубая нездешняя птичка выскочила из-под его куста.

«Хорошее место для могилы»,— подумал он.

Палейка, не по-солдатски широко размахивая руками, шел далеко впереди.

...Ведь надумает еще пойти не до саксаулов, а до гор. Не до гор, а до скал Каги, до них пять верст по меньшей мере. Собачий перегон — так называются пять верст...

Костры чадили в долине. Партизанские кони рвали траву, как сучья. Горы — как палатки, в которых спит смерть.

Одни ледники разорвали желтое небо.

Ледники холодом своим смеются над пустыней.

...К горам, что ли, он идет?

...Не дойдешь, брат, в такой тоске.

...Все мы не доходим. Было другое лето в Петербурге, где нет гор и где море за ровными скалами, построенными людьми. Все же и там дует ветер пустыни, свивает наши полы и сушит без того сухие губы. Птица у меня на родине, в Лебяжьем, выводила из камышей к чистой воде желтых птенцов. Я не видал их. Об этом напомнили мне книги. Петербургские тропы ровные и прямые, и я все-таки недалеко ушел со своей тоской...

Палейка, обессиленный, повалился грудью на землю. Саксаул острыми спицами впился в тонкое сукно, разрезая приникшее к земле тело. Теплый дождь — подумал с неудовольствием кустарник.

Запыхавшийся Омехин остановился подле. Губы у него твердые, как дресва саксаула. Будто всю жизнь Омехин ест корки.

«Вы, я вижу, Максим, на самом деле, а?..» — хотел было сказать он, и, как всегда при речах, потер он оземь и согнул правую ступню.

— Бывает,— промолвил он.

И так стало тихо, что от соседнего кустарника, вершка четыре от ствола, отскочила вдруг голубенькая мышка. Юхтач называется она, что значит — жадный. Задумчив и величав ее чуть загнутый нос.

Палейка приподнялся на локтях, вынул неслышно наган. Рот у него открылся: один зуб у него, оказывается, перерос другие. И главное — желтее всех.

Он повернул потную голову к Омехину и сказал:

— Пали!

Омехин хотел отступить, но Палейка приподнял на глаз мушку, и Омехин прошептал:

— Бог с тобой, Максим Семеныч, с чего я в тебя палить буду?

— Не в меня, в мышь. Кто попадет, тому она и достанется. Пали, ради бога.

— Спятил! Да никогда я в мышей не стрелял из револьвера.

— Пали! Считаю до двух. Кто убьет — тому. Система у нас разная. Пали, тебе говорят.

Мышь насторожилась, хвост у нее поднялся, она вздохнула, собралась бежать... и вдруг, не чуя себя, Омехин шепнул:

— Считай.

Женщина лежала на лавке, подложив папаху под голову. Когда Палейка вскочил в мазанку и поспешно задвинул за собой дверь, она быстро поднялась и села, держась обеими руками за кромку плахи.

— Я закричу. Что вам?

Не отвечая, Палейка чиркнул спичку и зажег небольшой огарок, оглянулся — куда бы его поставить. Она прищурилась, словно приберегая глаза для разбега, быстро согнула в локте его руку и сказала:

— Стойте так!

Осторожно достала из кармана кофточки круглое зеркальце и пудреницу из бокового кармана юбки и, открыв голубую коробочку, не глядя на Палейку, неподвижно светившего ей, стала пудриться.

Когда нос стал белее лица, она губной помадой тронула чуть-чуть губы. Улыбнулась тягостно-легко.

— Теперь хорошо.

Спрятав пудру и помаду, взглянула на Палейку. Зеркальце осталось у ней в руках. Вытянулась и, еще притянув к носу зеркальце, тронула рукой грудь Палейки.

— Отойдите дальше.

Палейка, повинуясь совсем не ее руке, задевшей, словно пчела, отступил назад.

В зеркале брызнулась отсветом свеча, ему захотелось загасить — но губы ссохлись.

Она опять села и положила зеркальце на колени.

— Что же, вы опять молчать будете, как прошлый раз? Вам чего, собственно, от меня нужно? Я ведь знаю, куда вы меня утром отправите, и ничего вам не скажу. Я и ничего не знаю.

Она ненадолго задумалась. Опять словно водяной паучок скользнул на ее щеки. У паучка смешное имя — «мзя».

— Я хотела после себя оставить...

— Мне?

— Совсем не вам, а вообще. Я думаю, что мои косы на это годятся. Пускай они останутся жить... я их люблю.

Она сложила на груди обе косы вместе, играя пушистыми концами.

«Хитра»,— со злостью подумал Палейка, ощущая теснящуюся в носу влагу растроганности.

И он сказал басом:

— Серьезнее вы ни о чем не попросите? Может, какие другие вещи есть?

— Вот смешно! Это очень серьезно...

— Неужели на меня нельзя рассчитывать в смысле легкой, предположим, помощи. Мы, в крайнем случае, где-нибудь и понаскребем.

— Помощь... фи! И притом... надо же понимать. Кто служит, вообще как-то действует в жизни вместе с хамами, сам теряет благородство. А у лишенных этого достоинства я услуг не принимаю. Уйдите. Вы мне больше не нужны. Спасибо за огарок. Да, вот еще что: разрешите мне причесаться к завтрему, а то завтра я не успею. Подержите еще огарок.

Женщина спокойно, таким же заученным жестом, как ее слова, стала распускать волосы.

Палейка быстро поставил огарок прямо на пол. Его большая неуклюжая тень метнулась по стене, сломлясь у потолка. Голова на потолке превратилась в чурбан. Он сел рядом с женщиной и, не давая ей опомниться, поймал ее руки.

— В помощи? Да? Фу, гадость какая, только подумать... Уходите. И вы еще прикоснулись ко мне: у вас руки грязные, смотрите, ногти обломанные, короткие, желтые... как окурки...

Она с отвращением вытерла свои пухлые руки о низ черкески. Вдруг зеркальце соскользнуло с ее колен, упало на пол и разбилось пополам.

Женщина испуганно посмотрела на осколки, подняла их, словно не веря глазам, посмотрелась и заплакала, затопала ногами, пронзительно крича:

— От вас только несчастье, горе, потеря! Ненавижу, ненавижу! Убирайтесь! Знаю, что завтра расстреляете, знаю... и незачем зеркало бить!

Она бросилась на нары, подогнув под себя колени, и, уткнувшись головой в папаху, зарыдала. Косы, свисая до полу, бились, трепетали, увертливо развивались.

— Ишь, черт! — сказал хрипло Палейка. Горло у него было сухое, словно из папье-маше.— Ишь, черт, зеркало пожалела. Сплошь тяготение к суеверию.

Он слегка помолчал. Пальцы его нащупали в кармане платок. Мадьярский платок был последний. По бокам он обтрепался. Не будет больше таких платков у Палейки. И любви такой песенной больше не будет. Капут.

— Я его оставлю.

Женщина молчала.

— Я его тут рядом положу. Мне его невеста подарила. Теперь она, несомненно, померла. Я к вам даже не в смысле любви, а так, если что сможете почувствовать, то предлагаю вывесить на видном месте. Думаю: долго придется вам жить, так как, по некоторым соображениям, предполагаю отложить ваш расстрел.

— Я хоть в сапогах, а портянок не ношу. Уберите платок.

Палейка упрямо подошел к скамье, аккуратно разложил платок и, плотно захлопнув дверь, строго сказал двум часовым татарам:

— Смотрите в оба, потому что — стерва.

Татарин только сплюнул через уголок губ.

— Знаем.

Он поднял винтовку и сплюнул еще.

— Все знаем, солай.

Увидав входящего, Омехин приподнялся с койки.

— Какова?

— Ничего.

— Говорили?

Палейка, высоко взметая пушистые брови, захохотал.

— Везет вам, товарищ Палейка, с бабами. И-и, везет. Я ведь как стреляю, а и то промахнулся, на ваше счастье. И в чего — в мышь. Она добровольно...

— Конечно.

— Сволочь бабы. Брата ухлопали, многих перебили, а тут на четвертый день... Вот и женись тут. Возни нам теперь с ней будет.

— Какая ж возня? Отправим по месту назначения.

— А вы как, товарищ Палейка?

— Побаловался — и будет.

— Да... будто и хорошо, будто и плохо. Везет вам с бабами, товарищ Палейка.

— Да, везет,— вздохнул Палейка.

Пески не стынут за ночь — как сердце. Пески разбредаются по всей пустыне, как кровь по телу. Кто убережет саксаулы от вихрей? Тученосно увиваются пески вокруг саксаулов.

Глава шестая

Деревянная койка была жестче седла. У постланной шинели прямо невозможные швы. Не швы, а канаты. Завтра, наверное, пойдут по всему телу красные рубцы,

отпечатки этих толстых, грубых портновских швов. Положил бы он спать на эту шинель самым нежным местом самого портного. Посмотрел бы, как стал этот портной ворочаться, кряхтеть и почесываться. Но почесываться приходилось не от одних швов. Омехин, ворочаясь, бормотал:

— Швы... вши...

Портного все-таки не мешало бы притянуть к ответственности, чтобы шил аккуратнее. Надо сообщить, но...

— Лешак те дери, таку жись! Сидишь, как вошь на сковороде — и жирно, и жрать нечего. Бабу бы по такой жизни.

«Военком рядом за стенкой, спит уже. Как боров, храпит, наверное...»

Омехин прислушался.

«И дыханья совсем нет. Значит, доволен».

— А ну его, сдался он мне!

Он достал махо́рку, выкурил трубку. Опять лег, накрывшись одной полой шинели. Духота — как в мелочной лавке. Промчался мимо патруль. Годы спал на шинели, не жала, а тут... И вспомнил он вдруг запах богородской травы. Пятикратное заклятье читать от такого запаха, если он почудится во сне девице... А тут патруль. Думай лучше о пахоте. Вот жарким весенним утром пахота. Пахота... пауза... похоть... пахтанье... похоть...

Со скуки читал он словарик иностранных слов, среди которых все были русские... «Иностранные» напечатано, чтоб больше покупали. Смешно.

...Совсем какая-то куличная ночь. Пахнет — словно на пасху. Луна, наверное, и чужие горы. Луна здесь — словно каждый день пасха...

Он отбросил шинель. Пуговицы четко ударились о стенку. Омехин достал из-под изголовья сапоги.

— Пойду, посмотрю караул.

Он, стараясь не звенеть шпорами, стал натягивать сапоги.

Но здесь он явственно расслышал женский визг, рев нескольких голосов, и затем упал выстрел и, странно, не отдался в горах. Точно во сне — там никогда не узнаешь эхо.

Омехин запнулся о порог.

Мелькал фонарь подле мазанки, партизан задевал о его стекло наспех привязанной шашкой. Небывалый клекающий гогот слышался там. В кустарниках за лагерем выли приставшие собаки.

— Тише! Ну-у...

Кафтанистый партизан схватил его за рукав и, со смехом указывая на троих татар, громко прокричал над ухом, словно выстрелы продолжались:

— Ты на них посмотри... ты на эти рожи. Хотел ка-а...

— Чего тут, парни, а?

В углу мазанки, держа в одной руке нож, а в другой папаху, плакала женщина. Ей, наверное, было стыдно видеть себя плачущей, и потому она визжала непереносно высоким голосом:

— Изверги, палачи! Сегодня комиссар кидался, а теперь стаей хотят... Расстреляйте меня, не мучайте! Сейчас же, сию минуту! Гадины!

Омехин, отстегнув кобуру револьвера, взглянул на сутулого татарина, одного из часовых:

— Ну?..

Татарин сделал руки по швам. Лицо у него вдруг вспотело, веки как-то опухли. Он оглянулся на остальных.

— Баба нету. Четыре месяца терпел, как Уфа уехал, нету баба. Завтра стрелять все равно, комиссар щупал, надо нам мало-мало прижимать. Он...

Татарин жалобно указал на жидкую бороденку, по которой ползла кровь.

— Он нож — пщак сюда, начал меня резать. Пошто нам нету баб?!

Кафтаносец даже взвизгнул:

— Эта рожа, браток, смотри, эта рожа! Бабу ему надо! Терпи, терпи так, как революция тебя терпит, а?

И он в совершенном восторге хлопнул себя по сапогам ружьем.

— Они для страха в воздух уф... Припереть ее чтоб.

— Запереть ее,— сказал Омехин с раздражением.— Запереть наглухо... Ты покарауль пока,— указал он кафтаносцу.

Тот для чего-то обнажил шашку и застыл, только зубы его смеялись в темноте, и видно было их, казалось, за десять саженей от мазанки, куда отошли Омехин, татары и Палейка.

Фонари стояли на теплых и словно вспотевших камнях. Трухлявый ветер чуть шевелил полы шинелей.

— Поскольку...— сказал Омехин, глядя на камень,

Свеча нагорела, и не находилось дурака снять нагар, и поэтому Омехин чувствовал все увеличивающееся раздражение.

— Поскольку командная сила нашего славного партизанского отряда допустила попустительство, не кончив ее сразу, а дальнейшее ее пребывание заклеймит позором наш отряд,— я нахожу необходимым провести без промедления революционный приговор. Во избежание аккредитивов на анархические выходки — часовых: Гадеина, Алима Каши и Закия Кызымбаева приговорить к высшей мере наказания, но, принимая во внимание их несознательность, приговор считать условным. До исполнения дежурить над гражданкой... чем и загладить свою вину. Иначе — к черту. Понял? Есть возражения? Возражения имеются?

— Нет,— ответил Палейка.

Все так же глядя в камень, Омехин сказал татарам:

— Приговорены условно к расстрелу. Ступайте по местам и караул веди теперь безо всяких. Понял?

Татары вдруг взялись за руки и отступили.

— Ну?!

— Э, понял, Лексе Петрович, э...

И сутулый татарин низко, почти до земли поклонился.

— Э...

— Осмелюсь доложить,— сказал Палейка,— могли не понять. Может, разъяснить им?

— Какие там разъяснения, если о пощаде не просят. Ясно.

Глава седьмая

Утром от мазанки нашли следы, направляющиеся к горам. Скакали четыре лошади, а на самой легкой, на карем иноходце Палейки, мчалась сбоку трех, видимо, она — Елена Канашвили.

Всякие бывают события в жизни, как всякая вода в реках, но очень муторно было в это утро Омехину. Сидел он в седле, вытащив длинные сухие ноги по кошме, и глядел с раздражением, как Палейка выбирал в табуне лошадь.

— Каки события предпринимаешь?! — крикнул он ему.— Плохо, видно, с бабой спал, раз утекла. Плохо, видно, присосался.

Палейка с криком ударил укрючиной в табун. Кони метнулись, из-за палатки послышался топот копыт, и Палейка выехал на неоседланной лошади.

— Ка-амандер... Без седла ехать хочешь?! Не овод. Дать ему седло!

Татары подхватили Палейку.

— Дарю тебе на счастье свое седло,— сказал Омехин.— А коня не дам, прозеваешь.

Вслед за Палейкой помчались еще шесть всадников.

Палейка метался один, без дороги, натыкаясь на кусты, камни, рытвины. Дергал за уздцы коня,— тот часто вставал на дыбы, крутился на одном месте, пытался даже сбросить непонятного ему, по желаниям, всадника.

Он словно бежал в догоню за скрывшимися и в то же время словно скакал от Омехина.

Но все-таки на крутой горной тропе, подле горы Ай-оль, Омехин догнал его. Оборачиваясь на топот, Палейка крикнул:

— Они, Алексей Петрович, убьют нас, как тараканов. Четверо их.

Омехин в седле сидел так же уверенно, как за книгой, за словарем иностранных слов, который он небывало презирал. Ноги его плотно сжимали бока и были четырехугольные, тупые и скучные.

На шестой версте от лагеря, в нескольких шагах от тропы они увидели труп бежавшего часового Алима Каши. Череп его был разрублен саблей. Скользнувший дальше клинок рассек гимнастерку и обнажил впалую, чахоточную грудь.

— Тоже баба понадобилась,— не слезая с лошади, сказал Омехин.— Я думаю, отказался с ними в горы дальше идти. Не захотел быть предателем рабочего класса. Потому закопать его, а то волки сожрут.

Чернели вдали сухие выветренные скалы. Очень сильно, до кровавых ссадин надо было сжимать бока коня, чтобы еще и еще сбирал он растраченные силы.

И вот у Агатовой скалы еще распростертое тело партизанского коня и всадника — часового Гадеина. Это был красавец саженного роста, веселый и хохотун. Скрюченные руки его запутались в поводу. Обезображенная голова коня — рядом.

Гадеин еще жив. Он поднимает омертвевшие веки и чуть слышно, словно веками, спрашивает Омехина:

— Стрелять пришел? Зря я от твоей пули бежал. Лучше от своей пули азрак — азрак капут. Он говорит: бежим, убьет, все равно расстрел. Каши говорит — бежим, Закия говорит — бежим, все равно расстреляют. Ха, куда свой полк убежит татарин?.. Ха... Закия баба нет. Закия баран. Закия мне в башку расстрелял, как баба просил. Не стреляй, Алексей Петрович, в морду, стреляй прямо в сердце.

— Да,— сказал Омехин, подбирая свои повода,— кончится скоро. И верно — не понял, что значит «условно». Что значит условно? — обернулся он назад.

Бойкий пензенский паренек выпрямился в седле.

— Условно — значит, товарищ комиссар, которых убить бы надо, да пожалели оттого, что хорошие ребятишки.

Ближайшая гора прикрыта до пояса кустарником, словно юбкой, а дальше голая, скалистая. В кустах паслась лошадь. Высоко подымая пухлые губы, она весело щипала колючую траву. Появление людей ее не встревожило.

Она отдохнула, освежилась и радостно заржала. Далеко от лошади, впереди, на каменистой тропке лежал вниз лицом труп. Он врылся в расщелину камня грязными пальцами.

В него было всажено — в спину, в шею и в голову — четыре револьверных пули. Совершенно бессмысленно, тщеславно.

— Это баба стреляла,— сказал Омехин.

Дальше уже шел след одного коня.

Омехин посмотрел в горы. Куст окончился, и обнажился голый камень. Высоко, где-то в снегах серел аул. Дымок виднелся среди скал. Вечная жара веяла от камней.

Омехин натянул левый повод, а сам откачнулся вправо.

— Будя! Дальше нас самих пристрелят. Вертай, товарищ, обрать. Лошадь забери. Жалко мне твово иноходца, Максим Семеныч, но, бог даст, поймам когданибудь ее.

Позади его в спину он услышал шепот Палейки.

— Товарищ, вы заметили — у последнего-то в руках волосы ее...

— Ну?

— Он ведь был самый некрасивый. Закия, который всех убил. Он ее за волосы успел схватить...

Омехин осадил коня, поравнялся с Палейкой и наклонился к нему так, что почувствовал запах кумыса и курта.

— Ну, а если даже и за волосы... За волосы таких баб бить надо, а не помирать.

Глава восьмая

До потока, что проходил у самого стана, они ехали молча. И когда копыта разбудили деревянный самодельный мостик и вода словно забурлила еще быстрее, Палейка догнал Омехина. Держась за луку его седла, он забормотал:

— Я ведь вам все наврал, Алексей Петрович, как есть наврал. Может, она ему жена, может, сестра... или польский шпион. Не спал я с ней, и ничего не было, и зря вы в мышь промахнулись. Лучше бы мне промахнуться. Я ей только синий платок подарил.

— Ну?

— Чтобы она показала в руке, если захочет вообще с симпатией, а она...

Омехин вдруг тяжело повернулся в седле и огорченно будто крикнул:

— Увезла?!

Сухие скулы Палейки вспотели, повод скользнул, и он соврал:

— Сожгла. Пепел мне показывала потом, после татар. Пепел. От шелку сколько пепла? Как от папиросы.

Вязкая теплота наполнила жилы Омехина. Ему захотелось спать, стремя отяжелело и словно стопталось в сторону.

— А ну ее,— сказал он лениво.— Надо протокол для отчета составить. Я еще хочу днем мазанку осмотреть, как они удрали. Татар жалко...

К двери мазанки, там, где скоба, был прибит тоненьким гвоздиком синий шелковый платок Палейки.

— Так,— проговорил Омехин задумчиво, глядя, как Палейка торопливо, даже не спрыгнув с лошади, сорвал платок,— так, посмеялась паскудная баба. Увижу — шесть пуль всажу.

Отъехав немного, он остановился, посмотрел на Палейку, покачал головой и вдруг, спрыгнув с лошади, пошел пешком к палатке. Какой-то проходивший партизан подхватил повод его коня.

Вечером Омехин взял винтовку, переменил обойму и почему-то снял с сапог шпоры, хотя он очень любил ходить в шпорах.

Ружье ему показалось очень тяжелым, ночь — непереносно душной, и только было хорошо то, что не видно было во тьме гор.

Он сел недалеко от мостика через поток. Воды словно убавилось. Пахла она цветливыми горными запахами. Омехин не спал вторую ночь, и потому все ему казалось почему-то соленым. Виски тучнели, и тьма ночи была непереносно тягучей.

Под ногами, казалось, сыпались-сыпались мелкие, острые, как иглы, камушки. Костры в лагере потухли, и скоро вернулся через мост патруль. Мужики громко хохотали, и один из них скинул в поток горсть горных орехов.

Так Омехин сидел долго. Ноги свела тесная боль в жилах. Ружье он отложил в сторону. Где-то на небе мелькнуло пятнышко зеленого с желтым рассвета, и здесь он услышал заглушенный топот.

Всадник медленно, со стороны лагеря, приблизился к мосту. Постоял немного и громким шепотом понукнул лошадь. Лошадь четко ударила копытами.

— Палейка, ты? — окликнул его Омехин.

Всадник дрогнул и неестественно громко выкрикнул:

— Я!

— Подними голову выше. Я тебе покажу, куда надо бегать.

Омехин плотно, согласно уставу, прижал к плечу ложе винтовки.

Лошадь шарахнулась от выстрела, прыгнула два раза и с пустым седлом помчалась обратно в лагерь.

Омехин перевернул труп, из бокового кармана гимнастерки достал пакет, завернутый в синий мадьярский платок. Там было немного денег и документы Палейки. И документы и деньги он кинул в воду вслед за трупом, а платок сунул в карман.

Затем он, неизвестно для чего, разжег костер из саксаула. Закурил и разложил перед собою платок. Достал веточку с горящим концом и проткнул платок посредине. Запахло гарью, и палочкой же Омехин швырнул платок в костер. Подошедшему же секретарю штаба сказал:

— Надо мне сегодня картину ту досмотреть, что татары помешали. Какая, интересно, мораль получилась из ихней любви.

— Нельзя ее досмотреть, товарищ комиссар,— ответил ему секретарь.

— Пошто же я не могу ее досмотреть?

— Оттого, что две недели назад уже как демонстратор, товарищ Глушков, отъехал в другую сторону, с вашего же разрешения переменив ослов на лошадей, потому что ослы, как известно, были задраны волками за отсутствием стадности и наблюдения.

— Две недели?

— Так точно.

— Ишь ты, жизнь-то как идет. Жизнь идет прямо...— но не докончил, как именно идет у него жизнь, так и не докончил товарищ Омехин. Только ухмыльнулся.

Камень в горах тугой и броский. Веселая и зеленая под ним земля. Солнечный пламень в горах потух, и облака, как пепел на костре человека, закрыли камни.

Под руку попалась трава. Экая гайдучья трава: не разжевать ее, не раздавить.

И все же через гайдучьи травы, через пески откуда-то от Тюмени, через уральские и иные степи, через партизанский отряд товарища Омехина пробирается дальше агитатор, демонстратор и вообще говорун Евдоким Петрович Глушков.

1925

КОГДА Я БЫЛ ФАКИРОМ

От доктора Воскресенского я ушел душевно усталым. Было такое чувство, словно я поседел в одно утро. Я думал, если доктор выдаст мне рецепт, то я, продав единственные свои брюки, смогу купить в аптеке кокаин. А продавать на пищу брюки и сидеть сытому без брюк — глупо.

Хозяйка моей комнаты, близорукая и с каким-то слезящимся носом, низко склонившись, читала по складам на столе афишу:

ПЕРВЫЙ РАЗ В ЗДЕШНЕМ ГОРОДЕ
ГАЛЛО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ВЫСТУПАЕТ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ ФАКИР И ДЕРВИШ!

БЕН-АЛИ-БЕЙ!

— Вы где ж обучались этому? — спросила она, кривя затейливо слезящийся нос.

— В Индии,— ответил я мрачно.

Да и что я мог бы ей иное ответить? Не рассказывать же ей, как за свою складную кровать вместо трех рублей я согласился взять у старьевщика две шпаги с маркою «Гамбург». Шпаги были совершенно похожи одна на другую. Только, если всмотреться, одна из них была цельная, а другая складная с тремя кнопками в рукоятке. Кнопки были белые, слоновой кости, что ли, и это меня более всего раздражало. Если надавить одну кнопку, треть лезвия уходила. Надавить другую — исчезала следующая треть. И, наконец, вся троица скрывалась в рукоятке.

— Вы ж этим какие деньги будете зарабатывать! — сказал мне ласково старьевщик.

Я убого скучал по ласке и по надежде. И поэтому я больше для себя ответил:

— Но ведь одной шпаги мало?

И тогда старьевщик прибавил мне растрепанную книжку, изданную, как помню сейчас, Холмушиным в Москве: «Руководство по черной и белой магии с присовокуплением карточных фокусов».

— Тут и найдете теперь вашу подробную жизнь, молодой человек.

И почти угадал ведь старик. Действительно произошла отсюда часть моей жизни.

Квартирная хозяйка моя страдала животом, и ночью по всей квартире горела только пятилинейная керосиновая лампочка в уборной. В моей комнатушке, конечно, ни лампочки, ни керосину нет. Тщетно в ту ночь хозяйка стучалась в уборную. Постоянно слышала она оттуда суровый голос: «Извините, но у меня, кажется, дизентерия». Это я изучал черную магию.

Утром я пошел в Народный дом, где труппа актеров из пяти человек ставила «Красный фонарь», «Евгения Онегина» и «Горе от ума». Когда я сказал Пудожгорскому (это был режиссер), что могу глотать шпаги, он косо улыбнулся.

— Шпаги, что шпаги? Когда это всем известно, что немецкая работа. Вот если бы вы могли гипнотизировать массы. Вынуть, скажем, глаз из орбиты и вновь его вставить на прежнее место. Вот это, понимаю, сбор... будет!

— До глаз я еще не дошел,— ответил я мужественно,— но я могу безболезненно прокалывать руки, грудь, щеки стальными дамскими от шляп шпильками, подвешивать на них гирьки до трех фунтов.

— Чего ж вы не говорили раньше?

— У меня шпилек нет.

— Достанем. У наших актрис. Как же вы,— спросил он не без уважения,— до шпилек дошли, а до глаз не можете? — Он вздохнул.— Впрочем, на все наука и время.

И вот почему хозяйка читает громадную афишу. По этой афише мне, старому и хитрому индусу, вменяется в обязанность: «глотать горящую паклю, шпаги, прыгать в ножи и *прокалывать безболезненно* свое тело дамскими шпильками, подвешивая на оные гирьки до трех фунтов весом». Должно было еще в афише значиться, что я беру раскаленное железо голыми руками, но такого опыта я не мог проделать. Подвела «Черная магия» Холмушина. Там говорилось, что нужно натереть руку яичным желтком, смазать клеем и посыпать «одной частью крупно истолченного порошка осолодки». Я так и сделал в точности. Затем накалил легонько самоварные щипцы и приложил к ладони. В комнате запахло горящим мясом, и хозяйка прибежала на мой вопль. Я мочил руку в простокваше. Хозяйка, поджав тощими руками живот, соболезнующе смотрела на меня и на испорченную простоквашу. Мне тоже было жаль простоквашу. Я был голоден и думал с презрением, что только наружные и внезапные мои страдания заставили хозяйку пожертвовать мне простоквашу.

Один раз в три дня меня кормили обедом в монастыре, что стоял над зеленым Тоболом. Были в монастыре зеленые колокола и откормленные сизые голуби, на которых облизывались кошки и я. Между прочим все, что я видел тогда, мне хотелось съесть или выменять на съедобное. Монах, наливавший мне в деревянную чашку постных щей, спросил:

— Занозил, что ли? — и добавил с любовью: — Не из плотников?

— Итальянская гангрена,— ответил я с пересохшим горлом.

Монах умилился глазами. От жалости и от удивления дал мне лишний ломоть хлеба.

— В Италии-то,— сказал он с презрением и любопытством,— совсем, говорят, нету деревянных домов?

— Окончательно,— подтвердил я,— камень и вулканическая лава.

— Выходит,— спросил он с легким страхом,— там и плотников нету?

— Тебя как зовут-то? — спросил я.

— Евсей в пострижении буду.

— Плотник, что ли?

Монах обрадовался, положил мне еще ломоть. Подобрал полы подрясника с замасленной скамьи.

— Как же, как же... пермской я, пермской. У нас там все святители кельи рубили! Христос ведь тоже плотником был.

Евсей низко наклонился ко мне, сунул еще ломоть и тихонько спросил:

— Ты вот книги, поди, читаешь: потому — очки. А не прописано там где-нибудь, действовал Христос фуганком или топором все чесал?

Я промолчал, а после обеда Евсей отозвал меня в сторону, к монастырским воротам, где выли слепцы и ерзались жирные голуби.

«Поди, парень,— подумал я,— ты и в бога не веруешь?»

Я был сыт, весел, тайное звание факира выпрямляло мою жизнь, я часто думал об Индии, сочиняя вступительную лекцию к моим опытам. Все же мне не хотелось обижать хлебосольного Евсея, видимо, ушедшего в монастырь только потому, что и Христос был плотником.

— Ты в театре был когда-нибудь, отец? Ну, на представленье?

— Не доводилось.

— Я тебе билет дам, Евсей!

— А ты что там робить-то будешь?

— Огонь глотать и тело колоть без боли...

Евсей отшатнулся. Серенький истрепанный подрясник сразу стал светлее его конопатого лица. И бороденка так резко выделилась, будто выстругали ее. Руки были у него легкие, но все-таки он не мог их поднять, чтобы перекреститься.

— Сатана-а,— прошептал он,— ты чего смущаешь меня, сатана неверующий! — Затем он выпрямился, кинул вперед руки и глухо проговорил: — Я не знаю, зачем я тебе надобен, а я тебя обличу. Иль ты меня бога лишить хочешь? Бога я тебе не отдам. Ты хитришь, сатана!

Он вытянул легкую свою руку, я вложил туда контрамарку и ушел.

Едва появились на дощатых заборах широкие мои афиши, как в номерах, где стоял Пудожгорский, обнаружились какие-то ветхие старушки, желавшие меня видеть — мага, чародея и отгадывателя. Пришел чиновник из уездного казначейства, просчитавшийся на пятьсот рублей и желавший узнать, вернут ли их. Пудожгорский взял с него рубль и сказал, что ответ будет завтра письменный. Являлись барышни за приворотным зельем. Любопытствующий купец, желавший знать: какова на вкус в Индии водка и почем бутылка и успеет ли он ее выписать к своим именинам. Сердце мое билось так же быстро, как моя слава. И, как сердце, бились в кассе билеты.

Мальчишки, ловившие на железные обручи, обтянутые сеткой, раков из Тобола, думали ли они, что угрюмый человек, сидевший на яру над ними и тупо перелистывавший «Магию», есть тот знаменитый факир, чья молниеносная слава всколыхнула тихий городок?

Нас теперь трудно удивить. Как правило, мы перестали быть наивными. В последний раз я видел удивление на улице — это когда стали продавать свободно черный хлеб и еще, позже, когда из Бухары привезли в Москву слона. Но и то удивление было такого сорта: «Что, мол, слоны? Через год у нас сотня слонов от него расплодится. Только удивительно то, к чему бы нам слоны?»

Тогда были другие времена. Времена хуже, но смешнее. Я теперь горд и высокомерен и тоже научился не удивляться. Мне даже не умилительно вспомнить, как я мазал коричневым гримом лицо, навязал на голову зеленую повязку, пахнувшую клопами, ноги мои прикрывались кумачовыми штанами, вправленными в кавказские сапоги. Пудожгорский, заикаясь и подмигивая глазом, похожим на букву «з», хвастался сбором. Рядом с гримом на опрятной тарелке, вычищенные мелом, отвратительно блестели громадные шпильки. Тут же, украшенные петлями из выцветших лент с остатками запаха гелиотропа, лежали гирьки «от одного до трех фунтов». Были тут и немецкие шпаги, и факел, и бензин, и ножи в обруче, через который я должен прыгать.

На сцене оркестр вольно-пожарного общества пил водку, закусывая печеными яйцами, и пальцами пробовал, настроены ли инструменты. Инструменты были ду-

ховые, и мне казалось, что музыканты вместе со мной понимают, что ничего из нашего представления не выйдет. Завтра на меня весь город будет показывать пальцами, мальчишки хриплыми осенними голосами будут орать: «Факир-р, стерва-а!..» Мальчишкам забавно, что к обтрепанным штанишкам вязнут осенние листья, а мне эта осенняя слякотная лирика давно надоела, я хочу хорошего жирного супа с клецками, папирос «двадцать штук семь копеек» и грубую книгу, которая бы над многим смеялась.

Флейтист, достаточно пьяный и мудрый, вошел ко мне и, взяв тяжелый звонок, ударил три раза. Он выматерил Пудожгорского, пытавшегося еще продать лишний десяток билетов.

Занавес, изгрызенный мышами и продырявленный пальцами драматических любителей, наблюдавших за сборами и за знакомыми барышнями, занавес, дергаясь со всей нервностью любителя, поднялся. Пудожгорский — во фраке и с бумажным цветком, половина которого отпала, чему публика беззлобно ухмылялась, с любопытством наблюдая, как во все время чтения Пудожгорский топчет этот цветок, причем выяснилось, что вместо лаковых ботинок на Пудожгорском новые резиновые галоши. Я не помню, что читал Пудожгорский, что пели после него и как жарко и душно было в зале. Я не трусил. Я помню отчетливо, что у меня было страстное желание не запнуться о кулису. Почему я боялся запнуться — не знаю. Может быть, грохот переставляемых декораций остался еще в моих ушах.

— Вы готовы?

По случаю парадного такого выступления Пудожгорский даже билетерам говорил «вы». И при этом еще картавил.

Я отложил шпагу с ненавистными тремя кнопочками из слоновой кости, вспомнил, что кровать моя скрипела со свистом, напоминавшим сверчка, и ответил:

— Сверчок.

Пудожгорский подумал, что так и нужно, крепко пожал мою руку и подтвердил с убеждением:

— Действительно сверчок.

Вступительная речь моя (я помню ее от слова до слова) начиналась так:

— Милостивые государыни и милостивые государи! Прежде чем начать свои опыты, я должен вам сказать, откуда и когда появились на земле факиры. В далекие,

далекие времена жил на земле воинственный народ — индийцы. У них был обычай: прежде чем принимать молодого человека в войско, его подвергали различным пыткам и истязаниям. Например, надевали на голову мешок с живыми муравьями и с пением девушек обводили вокруг селения...

Дальше я говорил, что в моих опытах нет никакой магии или тайн и что тут дело только в личном гипнотизме, в силе воли, перешедшей к нам от индусов.

— Музыка, ма-аэш!.. — неистово картавя, закричал Пудожгорский.

Я показал по рядам зрителей шпагу без белых кнопок, вернулся к своему столу, стал обтирать руки полотенцем и затем прикрыл им шпагу. Затем взял ту, что с кнопками, и, конечно, без труда удержал во рту рукоятку с лезвиями, аккуратно ушедшими внутрь рукоятки. Затем кнопки давил наоборот, и лезвия выходили обратно. Прыгал еще в деревянное колесо, уставленное с боков ножами, лезвиями *от меня,* так что, если бы я задел нож, он, слабо укрепленный, просто бы выпал прочь из колеса. Но прыгать — это не сложно, нужно только упорство и чтоб тело твое привыкло из секунды в секунду повторять одно и то же движение. Позже я прыгал в это колесо так же беззаботно, как надеваю очки. Огонь глотать... и хотя сейчас трудно достать книжку по магии и Госиздат не занимается таким доходным делом, но мне рассказывать о магии не хочется.

Я устал, и пот выступил у меня на шее. Я боялся больше всего пота. Мускулы тогда скользят под пальцами, сам себя чувствуешь рыбой. Я выпрямился и начал считать, сколько народа сидит в первом ряду. Насчитал восемнадцать. Сколько мужчин и женщин? Попробовал их оженить, развеселился, и пот схлынул.

До этого случая я на сцене был однажды. В Павлодаре был цирк, и я вышел бороться любителем. Меня борец положил в пять секунд, шлепнул по заду и сказал: «Туда же лезешь, сопля. На ногах научись стоять прежде».

Нет у меня и сейчас любви к сцене. Пьяные музыканты ревели «На сопках Маньчжурии», я наполнен был ненавистью и отвращением к этим гремящим трубам. Зал вонял вареным мясом и невыполненными людскими желаниями. Гремели громадные каблуки о деревянные полы, и мне, должно быть, казалось, что эту пер-

вую иголку, которую я должен воткнуть себе в грудь, втыкают эти гремящие каблуки.

Я не помню, думал ли я так,— едва ли. Помню ясно: тонкая слюноточивая боль ударила мне в веки, головка булавки запрыгала у меня в руках, я дрогнул было, но, взглянув на эти восемнадцать морд первого ряда, тупо, сладострастно, с верой в мою волю глядящих на меня,— я еще глубже воткнул в тело булавку. «Только бы не проткнуть артерии,— непрестанно повторял я,— только бы не проткнуть артерии...» Вот розовый язычок стали вылез из моего мяса, через мою кожу и, лениво-розовато блестя, пополз дальше.

Кусок груди величиною со спичечную коробку был проткнут насквозь.

Я даже почувствовал какую-то гордость и взял быстро другую булавку. Щеки мои горели, и рот пересох, но мне нужно было спешить. Пудожгорский глядел на меня из-за кулис с недоумением, и я понял, что забыл улыбнуться. Я стыдливо улыбнулся. Ряды захлопали, и я на мгновение подумал, что моей улыбке... Нет, это уже третья булавка была в моей груди, и я брал фунтовую гирю, чтобы подвесить на булавку. И тогда-то седая вековечная боль ударила мне в затылок и расплавилась по спинному мозгу. Мне показалось, что грудь моя сорвана, и кровь хлынула. Я совсем не чувствовал тяжести гирьки, казалось, что громадный гвоздь идет в ребра. Я понимал, что вспотею от боли. А нельзя, может быть заражение крови. Я начал считать людей в первом ряду. Я не мог их увидеть, и тут, схватив тарелку, я быстро стиснул зубы и забыл про улыбку — неизменную цирковую улыбку, о которой тупоголовые идиоты так сожалеют, не понимая, что улыбка — это торжество над собой и единственная награда своему телу, ибо, когда улыбаешься,— действительно бывает теплей.

Так вот, оскорбляя самого себя, я без улыбки с наглым упрямством и гордостью начал втыкать в тело булавки и навешивать на них гирьки.

Ряды кричали:

— Довольно, довольно-о!..

Какая-то белокурая чиновница упала в обморок, и никто не хотел ее выносить.

Тогда я выпрямился. Улыбнулся, насколько позволяли проткнутые щеки, и пошел вниз по ступенькам в зал.

Я прошел пять рядов и в шестом, направо, увидал рубленую бородку Евсея. Бороденка была вся потная. Глаза с распухшими веками отвернулись от меня. Он взмахнул руками.

В реве ладоней я не услыхал, что крикнул он мне. Мне было тошно, и я чувствовал, что весь рот наполнен кровью.

Я почему-то снял сначала самые легкие гирьки и вытащил булавки, которыми были проткнуты мускулы рук. Ушел в уборную и торопливо плюнул в полотенце. Нет, мне почудилось, крови во рту не было.

— Болит? — спросил Пудожгорский, пересчитывавший кассу.

— Не очень.

— Привычка. У меня тоже... Ишь негодяи, трехрублевку фальшивую подсунули. Мне жена говорила, рожать тоже страшно больно.

Он посмотрел поверх моей головы.

Позже, когда Пудожгорский отсчитал мне за выступление, в уборную пришел доктор Воскресенский: у него было всезнающее лысое лицо, он был членом общества любителей мироведения и очень интересовался Сатурном.

— Ну, конечно, вы извините меня,— сказал он,— я же думал — вы наркоман, и отказался дать вам рецепт на кокаин. Смотрю на ваше страдающее лицо и ругаю сам себя: кокаин умиротворяет боль, а вы работаете без кокаина.

— Никакой боли у меня не было,— сказал я,— выпивая третий стакан воды,— вам везде кажется боль. А дело в самогипнозе. Кокаин же мне нужен был для дезинфекции стали. Впрочем, я его достал и без вас...

— В нашем городе все можно достать,— ответил доктор с уверенностью.— Я вам про историю с Сатурном не рассказывал?.. Как мы без трубы...

— Мне некогда,— сказал я, натирая незаметно под шалью грудь иодом,— но все-таки расскажите.

Всезнающий доктор сел рядом и полтора часа рассказывал мне о Сатурне. Пудожгорский написал афишу о следующем представлении: «Масса новых номеров всемирно известного факира и дервиша...» Мне нужно было попросить у доктора рецепт на кокаин, но я ненавидел его всезнающую физиономию, его гуттаперчевый воротничок и длинный ноготь на мизинце; я знал,

что ничего не скажу ему, и опять стальные иголки, не обезвреженные кокаином, вопьются в мое тело...

И я мечтал вместе с ним, что хорошо бы побывать в Пулковской обсерватории...

Наконец доктор Воскресенский убедился, насколько он умнее меня. Ему скучно стало разговаривать со мной.

Деревянные перила крыльца, мохнатые и пахнущие сыростью, последний раз затряслись от удара ладоней самоуверенного доктора. Пахнущий вином и ветром лист прилип к моему виску.

А я знал, что у ворот меня поджидает Евсей. Под тусклым фонарем я мог рассмотреть обрызганные грязью полы его подрясника. Он успел уже переодеться — должно быть, в монашеском одеянии ему было веселее.

— Я тебя понимаю,— схватив меня горячей рукой, выговорил Евсей.— Я тебя насквозь, как топор, понимаю. Я тебе раны-то смазать, может, деревянного масла принесу. Ты, брат... кабы ты в бога верил, ты бы апостолом, по крайней мере, был. Я тебе в глаза смотрел,— не сатанинские у тебя глаза... Смотрю — и думаю: тошная наша жизнь, пыльная. И скучно мне стало, парень... Раны твои смазать целительного масла принесу...

Масло я его не взял, а довелось Евсею оставить в моих руках свою душу. Был он сначала плотником по постройке нашего компанейского балагана на Славгородской ярмарке, а на Кулунду он поехал клоуном, в долине Рок-Сая был джигитом и сватом, и веселую историю его женитьбы, случившуюся на Семиреченском тракте, я расскажу позже.

1925

ЖИЗНЬ СМОКОТИНИНА

Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову вместо сгоревшей новую избу,— насмешек над ними было много. Кричали, что осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться и поработать не зря. И все подолгу ходили подле накиданных холмом желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры.

Подрядчик, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький, широконогий старичок. Евграф был запуган войной, голодом, непонятными налогами, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил в волости, на совесть, лавку для кооператива, деньги назавтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь, кто виноват, и взыскивать не с кого. После этого он окончательно никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне рубки избы ему занедужилось, или он притворился, чтобы приучить детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.

Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил топор, выбрал потяжелее лесину и — ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево... Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле амбара ворковали голуби — и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники, видя, как старается их хозяин, тоже крепко ухватились за топорища. Они были со стороны, не любили эту сытую деревню, и им хотелось показать, как по-настоящему должно работать. А хозяин словно желал с ними потягаться.

Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелова, вдова: мужа у ней убили на войне, она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила,— говорили, будто бы волостной кооператив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход? И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня. Собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось, и казалось — мели землю длинные каштановые ее ресницы... Обойдя груду бревен, сильно пахнущих смолой, она поравнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной, щепу, поклонилась им низко. Плотники взглянули на хозяина — тот горел над лесиной; думал он вырубить из нее матицу, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается.

— Баба-то будто окно, раму бы ей подходявую: тут тебе и тепло и светло будет,— сказал один из плотников, глядя вслед Катерине.

Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину.

— Кто ей щепу дал?

— Сама взяла,— с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы, кому захотят.

Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорол какую-то глупость,— Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:

— Кто тебе позволил щепы таскать?

Катерина плавно качнула плечами,— кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело, потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка,— и от этого ее движения словно что-то зарябило внутри Тимофея. Он протянул руку — с бабами он был боек — и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, не так, как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она будто и не спешила его оттолкнуть,— Катерина только сказала:

— Полно,— и выпустила щепу.

Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось...

— Иди ты, задавалка! — прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая, и казалось — похлопывает он себя поленом.

— Грош на разживу да щепочку на растопку,— насмешливо поддразнил его все тот же плотник.

Но Тимофей не огрызнулся.

Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой — выпить чаю; пойти на реку, что ли,— выкупаться.

— Канительше папаши получится,— сказал ему вслед насмешливый плотник.— Жоха вырастет для нашего сословия.

И все плотники согласились с его мыслью.

Отец лежал на полатях, и, когда сын вошел, он заохал, застонал,— Тимофею было противно видеть его притворство. Отец начал выспрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:

— Только и знаете чай жрать, а он два цалковых кирпич!

Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог — выкупаться,— онучи были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его ноги. Он хлопнул кулаком по онуче.

Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбивая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки — ароматные жуки, носившиеся по вечерам,— тыкались, словно играя, в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить, всю округу!

А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубу. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вздумалось Тимофею погулять по реке с бреднем, а как сунул ноги в воду, так чуть было не вытошнило.

— Поди ты,— смущенно сказал он, опуская бредень на теплый песок,— болесть какую, что ли, прилепили?

Вечером знахарная бабка спрыснула его с уголька, дала выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.

— Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не согласна. Перед мужем, грит, в обете. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли...

Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: «Полно»,— и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.

Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос, и зори были пьяны своей сытостью, весельем, как и поля.

Тогда Тимофей упросил отца справить ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках вроде того, что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску; хоть и парень будто бравый,— а подойдет седок — пьяный, дурак,— посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазывал; подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча, как на перекрестке — не видя никого,— глядел на столики. Однажды в праздник довелось ему выручить семь рублей; пошел с приятелями по квартирному углу в трактир. Один из них, гундосый и прыщеватый, рассказывал, как он вчера испортил девчонку. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.

— Да брошу, ну ее... плаксива больно... — закончил гундосый.

— А не зажалеешь? — вдруг спросил Тимофей.

— Чего? — удивился гундосый.

Тимофей тряхнул головой — и потребовал стакан водки... Приятели тоже, за компанию, выпили по стакану. Тогда Тимофей сказал:

— А я одну... вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку иссох...

Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, что пить дальше — пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых... Многое хотелось ему рассказать, но так и не пришлось.

Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась, и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам,

и какой-то старик в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: «Купец Гаврилов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели — извозчик». И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком — пирожника — отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была единственная, тоскливая... Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетела, как цвет, оборванный ветром с шиповника; защипало в глазах... Крикнуть он было хотел, подхватил вожжи, и лошадь словно узнала ее,— смирная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали... А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: «Останови ее, останови!..» Румяный милиционер засвистал, сам забавляясь и суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.

Тимофея забрали в часть. Просидел он неделю, выпустили: решили — больной. Лошадь за эту неделю исхудала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь, пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился строить четвертую за этот год избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси; по утрам вдоль реки появлялась наледь, и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латаном платье проходила она селом, и казалось — дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволожника вверху оврага показалась пара волков,— никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы. Тимофей выстрелил, волки прыгнули, один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. «Завтра найду»,— подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но, когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тя-

нула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела дожечь лучины. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и как бы пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет и на ее лицо и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами... даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась и руки опустились к бедрам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана,— Тимофею стало стыдно, мерзко — и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова «полно», и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек, стоит, как попрошайка под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.

Тимофей, дабы освободиться от таких мыслей, жирно сплюнул и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон и не мог припомнить — с картечью он или с дробью. «Все равно — три шага»,— подумал он, и та необычайная ясность — что приходила однажды на перекрестке подле зеленой церквушки — опять нахлынула на него.

Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея,— на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду — о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. «Как щепа за сердцем»,— сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой, невсамделишной, все думалось: надо прийти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать — он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась.

Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели откуда-то из-под Оренбурга необыкновенных аргамаков. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей,— цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску. «Полезай»,— сказал ему

нетерпеливо самый молодой. Тимофей прыгнул — невиданная боль ударила ему в колени: коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелькали фонари, кто-то выстрелил. Тимофея долго били кулаками, плетью, допытывались — где цыгане. Он сказал. Тогда его ударили в бок поленом — и кинули в овраг, за селом. У него вытек глаз, он начал хромать — и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал, и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.

— Да, братишки, довела меня, падлюка! Идет, согласен непременно! — закричал он. Услышал свой голос — и попросил водки. Ему дали полстакана, и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его... Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до угла большой пятистенной избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий спокойный месяц, и лицо у Игната было тоже спокойное, и шуба его казалась синей, а воротник походил на облака.

— Не мешай жить,— крикнул Тимофей, ударяя его ножом.

Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал — горький снег во рту, шатающийся сугроб — и месяц скользнул у него между рук...

Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трех местах, а десны — совершенно голые, как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали — отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых... Посмотрел сыну в лицо, перекрестился и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.

И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея готовила поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот. В сенях плотники стругали гроб, и насмешли-

вый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили проститься с покойником. Плотники, чтобы идти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням медовые запахи стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. «Полно»,— сказала шепотом Катерина и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб. Плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди — склонилась к полу.

И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.

1926

ПОЛЫНЬЯ

Жизнь, как слово,— слаще и горче всего.

Богдан Шестаков очень изменился за последний год. Когда он напивался, в голову приходили тягучие мысли о смерти, а подумав, он начинал драку. В деревне его стали бояться и хвалили только за то, что он дерется не ножом, а постоянно палкой. Девки приставали меньше, кто-то пустил о нем славу — порченый. И верно, всякий раз после пьянки его долго тошнило, и если выскакивал из горла темный сгусток крови, то становилось легче дышать... Кожа на его огромном скуластом лице казалась какой-то гнилой, а маленькие глазки смотрели так, словно дано было ему видеть мир в последний раз.

Был конец масленой, деревня много дней уже пила, дралась и, путаясь в огромных сугробах, орала озорные песни. Накануне прощеного воскресенья девки не пришли на вечерку, и Богдану хоть и скучно было драться без девок, но опять заныло сердце, опять в голове стало так, словно он стоял, наклонившись над бездонным оврагом,— и Богдан разогнал вечерку, выбил в избе окна и даже ударил любимого своего друга Степку Бережнова. Ударил в ухо, в кровь, а Степка парень был гордый, удара не простит,— и думал утром Богдан: теперь или Степку придется зарезать, или Степка зарежет его. Стало необычно тоскливо. Плохо растапливалась печь. Мать, перекладывая поленья, сказала ему:

— Хоть бы ты долги за бочки собрал, кончат тебя скоро. Степка по селу ходит — не миновать, говорит, тебе ножа.

В свободное от хозяйства время Богдан бондарничал. Деньги за работу сбирать не умел, и часто надо бы сказать заказчику ласковое слово, а у него получалась брань. И то, что мать не пожалела его, а думала больше о деньгах, тоже как-то расслабило Богдана. Вяло и нехотя натянув щегольские, с узкими голенищами сапоги, взял обеденный нож со стола, вытер его два раза о подошву, сунул за голенище. Мать только громыхнула ухватом. Размахивая сучковатым своим батожком, Богдан вразвалку, лихо играя плечами и удало посматривая по сторонам, шел по улице. В первый раз за всю его жизнь лежал у него за голенищем нож, и было непонятно чего стыдно и даже страшно. Казалось — выбеги сейчас из-за угла Степка, едва ли Богдан выхватил бы нож и даже едва ли поднял бы палку.

Деревня после вчерашней гулянки еще спала. Выйдет разве за ворота посмотреть погоду какой старик. Тупо стоит, распахнув тулуп и подставив солнцу сивую бороду. Снег тает у него подле валенок, валенки темнеют, и не видит ничего старик. Даже собаки не лаяли, словно и они страдали с похмелья. Казалось Богдану, разбежалась, перепряталась по сугробам деревня, словно вспорол он своим ножом мешок с пшеницей. Так Богдан дошел до выгона, там уж кое-где посерел снег: словно протерлась материя и выступила подкладка. Ночью, надо думать, выпадала пушная кидь — самый крупный снег, и обледенелая дорога казалась исковерканной долотом. И опять мысли, тяжелые горы, упали на него. Один он стоял у поля. Повернуть же в деревню было страшно до поту. Вправо от выгона белело кладбище, и пришло ему в голову, как трудно будет долбить ломами могилу, а копать ему могилу будут парни-сверстники (есть такой обычай: зарезанному приятелю сверстники копают могилу, чтобы подольше поговорить о покойнике). Степка первый пойдет по деревне... И тогда он подумал: «Надо обрат идти. Говорят уж, поди,— от Степкина ножа утек». И все ж не было сил обернуться к родным избам. Здесь он припомнил, что в Данилове — соседней деревне, верстах в пяти — сегодня престол и вечерки.

Богдан выпустил чуб из-под шапки, подтянул выше голенища, страх будто прошел, и Богдан направился по обширной снеговине в Данилово.

С легким хрустом скользили его каблуки по ледку дороги. Хруст льда был рыхлый, весенний, и рыхлые шелковисто-белые облака были в огромном небе. Конец снеговины был занят легким синеватым леском. Дорога, словно утомившись прямо бежать по снеговине, начинала вилять и в лесок брела, как пьяная. Лесок-ельничек был весь в снегу, в искрах, в фарфоровом блеске, поднимался он на холм бодрый, веселый, словно бы с пеньем. За холмом — поляна, а с краю ее — Данилово. Перед самым леском текла речка, занесенная пухлым снегом, убродная, словно стянула она со всей равнины на себя снега, будто нужно ей было прятать что-то драгоценное. Ничего-то в ней не водилось, даже пескари и те давно передохли, запутавшись и устав жить в неимоверно густых лопухах и водорослях. Через речушку лежал мостик, тоже занесенный снегом; торчали от него два столбика, а направо от этих столбиков виднелся сруб, — года два назад кто-то хотел устроить здесь мельницу, да так и бросил, неизвестно почему. Летом в этот сруб парни водили девок, водил и Богдан.

И вдруг влево от столбиков, в двух саженях, не более, увидал Богдан громадную, как большой двор, полынью.

Не меньше как в неделю раз ездил Богдан по этой дороге за сеном на луга, а заметил эту полынью впервые. Вода была неподвижна, смарагдово-зеленая по краям, а снег, окружавший полынью, казался необычайно рыхлым, злым. Да и полынья не казалась радостной, будто речушка вынесла в нее всю свою злобу, накопленную за долгие годы.

А по ту сторону полыньи увидел Богдан большого сизоголового селезня.

Кому дано знать, как он попал, когда он попал на эту полынью? То ли затосковал он в солнечной стране по родным лугам? То ли на самом деле должна через несколько дней хлынуть весна? И селезень, словно смеясь над смущенно остановившимся человеком, весело поныривая, плыл вдоль полыньи. И казалось, когда он выныривал, вода расцветала. Селезень крякнул, ударил крылом и подплыл ближе к человеку. И то, что он ударил крылом, словно по сердцу, непередаваемо разозлило Богдана. Он отпрыгнул, схватил ледышку и метнул

ею в селезня. Птица нырнула, шесть темно-серебристых кругов, похожих на круглые перья, пошли от нее. И Богдан уныло подумал — не завести, видно, ему никогда дробовика. Он быстро начал собирать обледенелые комья снега, и ему было стыдно: большой парень, а, словно мальчишка, гоняется за селезнем. Но тут ему захотелось принести на вечерку в Данилово дикого селезня.

— Замучаю, гадина! — закричал он, продолжая собирать ледышки.

Селезень крякал, тревожно смотрел вверх. Рыхлые облака, словно пряди седых волос на молодом лице, продолжали скользить по небу. Желтый клюв селезня, подобный уцелевшему осеннему лепестку, тонул в воде. Богдан, весь потный, увязая в снегу по пояс, бегал с одного берега на другой и все не мог отыскать такого места, с которого он мог бы попасть в селезня. Подле кустика он ткнулся в настыль — промерзшую толстую кору снега. Богдан наломал куски этой настыли и долго кидал их в прорубь. Он скоро устал — и от злости на такую глупую охоту, и от мысли, что селезень может улететь. А селезень продолжал все нырять и нырять, и казалось — с каждым разом он остается в воде все дольше и дольше. И вот, когда он нырнул особенно надолго, Богдан, внимательно рассматривавший полынью и гадавший, где бы мог вынырнуть селезень, как-то невзначай взглянул на сугробы. По сугробам переметывался с тревожным шипеньем снег. Богдан поднял голову, и в небо, словно с сугробов, перекинулась волокуша. От солнца в мятущихся снегах осталось только пятно огненно-красной киновари. Края земли походили на завороты сугроба. Деревни не было видно.

Тогда Богдан поспешно отыскал свою палку, переломил ее, долго целился и так кинул ее, что палка завизжала. Селезень взлетнул на сажень. Богдану показалось, что он попал ему в крыло. Да и селезень теперь не нырял, а, чуть волоча крыло, плыл вдоль снежного берега. В воду с надутых, как капризные губы, сугробов сыпался снег. Стало тускло, как в сумерки. Очень ясно обозначались талые места дороги, и тут только Богдан понял, что, даже убив селезня, он не смог бы достать его из полыньи. Разве лесиной, но едва ли подыщешь такую тонкую и длинную лесину, которая могла бы достать до середины полыньи. Он почувствовал иней на шее, замотал крепче шарф, перетянул опояску, вдруг

стало почему-то обидно, что на полушубке недостает трех пуговиц. И опять с непонятным страхом подумал о родной деревне, о Степке, опять тяжелые, как горы, мысли подступали к сердцу... От ножа ноге стало холодно, он достал нож и сунул его за пазуху. Посмотрел на полынью — селезня за снегом не было видно. Богдан постоял, подумал и все-таки пошел в Данилово.

А ветер все усиливался, и не успел Богдан отойти десяти шагов от столбиков моста, как снег — мелкий, пылистый «блеска» — так ударил ему в лицо, что словно забил горло. Богдан долго протирал глаза и, протирая, не заметил, как очутился на реке. Потерялась лиловая тень мельничного сруба, да ельник куда-то исчез — и дороги под собой не нашел Богдан. И когда он, поддерживая для чего-то шарф на шее, кинулся вперед,— вдруг темная вода полыньи открылась у его ног. Снег медленно уходил в воду, так медленно, что казалось — прежде чем уйти, он скользит поверху, отыскивая нору, куда бы мог скрыться от разъяренного ветра, от бесконечных однообразных полей, и, уходя, не верит, что можно скрыться. Богдан, неотступно глядя на полынью, медленно шел вдоль берега и вскоре наткнулся опять на столбики. Он яростно сбил с одного из них снег. Он потоптался перед столбиком, даже как-то неумело припляснул — сразу стало веселей, и он вновь направился в Данилово.

И вновь, не успев отойти десятка шагов, сбился с ледка дороги (хотя вначале, прежде чем ступить, нащупывал впереди себя ледок, но ему быстро надоело нащупывать, сразу поверилось в удачу) и опять попал на реку, глубоко теперь, почти по пояс занесенную снегом. Идти вперед по реке было до обиды страшно: каждый шаг, казалось, обваливался и катился в полынью. Мчалась округ него шипящая светлая темнота. Богдан остановился. «Господи!» — прокричал он приказывающе, повел палкой, и вправо палка его наткнулась на бревна мельничного сруба. Он хотел было войти туда, но вдруг зачем-то вспомнилось, как воняло в срубе, когда он водил туда девок, и как вонь эту замечали только тогда, когда шли обратно. И стало ему до слез обидно на Степку, пригнавшего Богдана на такую обидную смерть к срубу. «Господи!» — опять приказал он. А поносуха все сильнее и сильнее крутила снега, притискивая к его телу кожух. «На дорогу от сруба надо брать влево»,— припомнил Богдан. А на дороге ветер был еще силь-

нее, поднялся, видно, последний зимний буран. Столбик вновь был занесен снегом, полынья исчезла. «Тоже, должно быть, занесло»,— подумал Богдан, и ему стало легче. Он присел на столбик, скрутил папиросу и, когда между колен в полушубке зажигал спичку, ветер дернул, вырвал кисет, обидно помахал им в воздухе и швырнул его к полынье, в снега. Богдану стало так тяжело, что он даже не обрадовался тому — на таком сильном ветру, закуривая папиросу, не испортил ни одной спички. «Затянуться напоследки»,— подумал он и здесь вспомнил опять Степку, свою трусость, и селезень в проруби чем-то напомнил ему венчик, что надевают на лоб покойнику. Он уже и сам понимал, что не дойти ему теперь ни до Данилова, ни до дому, заблудится, сдохнет,— и все-таки пошел в Данилово. И верно — сразу же он спутался, упал, сразу очутился в сугробе, и вот снова перед ним — полынья. Она лежала такая же неподвижная и темная, как и раньше, так же неподвижно били в ней подземные родники, и так же нехотя принимала она в себя снега. Не колышась, плыла она спокойно среди этих взбесившихся снегов, плыла настолько неподвижно, что даже не отражала ничего, как глаз мертвого.

Сердце у Богдана вдруг словно прокололи насквозь, он даже от такой боли перекрестился. И затем сразу нашло на него такое чувство, словно он засыпал после большого, наполненного усталостью дня. Вода на мгновение просветлела — и он неистово ринулся прочь. Но сразу же до истомы стало ясно: куда бы он ни кидался, как бы ни бежал по сугробам,— везде под ногами обрушивались глыбы рыхлого снега, и вода открывалась ему. Попробовал было он закричать — сразу от сильного ветра заныли зубы, и стало чего-то стыдно. Шарф стал влажным, и скоро обмокрела спина. «Добро — у сапог узкие голенища, а то бы снегу-то сколько набилось»,— подумал он, не замечая, что и узкие голенища были наполнены снегом, а теплые капли пробирались вдоль икр.

Он устал думать о дороге — в голове у него остались только какие-то коротенькие мысли о столбиках. Ему казалось — ухватиться бы за столбик, и он не скатится тогда в воду. Виски были словно зажжены, а чуб лез на глаза, холодный и чужой. Несколько раз отскакивая от полыньи, наткнулся он наконец на столбики, упал и прижался лбом к обледенелому дереву, и на мгновенье

вернулась храбрость, он полез было в карман за табаком. Скверно и долго выругался. Брань шла легче, чем крик, и он, длинно и долго ругаясь, звал на помощь. Показалось, что чем-то и кому-то он отплатил за свои муки. А веселый и свистоголосый ветер все так же несся над снеговиной, все так же блестящей пылью звенел на обледеневшей коре-чире, колол ресницы. Богдан отполз немного от столбика, от дороги; он ясно заслышал понуканье ямщика, храп утомленной лошади, ему показалось, что его могут растоптать, но тут лошади словно свернули в сторону. Он даже разглядел, как блеснули длинные оглобли, хотя и знал, что иной дороги, кроме той, на которой он лежит,— нету. Но он отполз еще два шага.

И опять темное жерло полыньи всплыло перед ним. Обледенелый скат, спускающийся в воду, как бы дрогнул, в плечах Богдана словно что-то хрустнуло, и он торопливо поджал под себя ноги. И было время,— каблук уперся в какую-то ледышку или коряжку, а в полуаршине далее лежала вода, пахнущая почему-то тиной. Эта пахнущая тиной вода словно всосала все его мысли. Он долго, сгорбившись, сидел и неотступно смотрел в воду. А затем, как родник, со дна его души ударила в тело и смятенно пронеслась мысль, что сейчас каблук соскользнет с коряжки, кости и мясо — все то, из чего составлен Богдан, покатится по льду, ветер, дующий в плечи, еще сильнее ударит в полы полушубка, и шесть огромных кругов, похожих на круглые перья, захлопнут его жизнь. Он стал тереть ноги, а пальцы без толку путались, и казалось — трет он сапог о сапог, как безрукий чеботарь. И когда подумал — «безрукий», все както вдруг рухнуло в его голове: дорога, ожидание саней, удаль его, и он хорошо понял, к чему это, словно пропели ему конец.

Тогда вправо, совсем против столбиков, подле большой, нависшей над водой глыбы снега (с глыбы тусклой струйкой сыпался в воду снег) Богдан увидел селезня. Птица, уткнув под крыло голову, тихо покачивалась на воде. Сверху она была вся засыпана снегом и как бы походила на свою белую тень. Богдан изумленно потрогал веки — снег словно посинел.

— Цыпа... цыпа...— позвал он вдруг и сам удивился своему писклявому голосу. Не успел он позвать птицу и трех раз, как селезень встрепенулся, снег с него скатился, и он медленно поплыл прочь. Богдану стало

обидно, зло, он даже почувствовал жар в веках — так напряженно вглядывался он в крутящуюся синеву. А более всего ему было обидно то, что он мог вспомнить сразу, как кличут цыплят, а как кличут утят — он не мог вспомнить. Селезень давно уже уплыл в снега, а Богдан все покрикивал: «Цыпа, цыпа»,— и, когда совсем обмерзли десны и ему пришлось замолчать, он вдруг почувствовал, что катиться в полынью не так страшно. Он убрал с коряжки затекшую ногу. И оказалось — скат не так уж скользок. Опять усилилась метель, и вскоре он начал думать, что селезень почудился ему и что нет такого селезня совсем, а было ему виденье перед смертью.

Снег пожелтел на минуту,— надо думать, закатывалось солнце. А потом зашипело еще сильнее; казалось, снег был теперь с мелкими градинками,— очень больно колол за ушами. Долго так сидел Богдан. Снегу намело вровень с плечами, перекатывался он по груди. Спине стало теплее, и Богдану не хотелось вставать, уходить. Он всунул пальцы в рукава, надвинул шапку на уши и полузакрыл глаза. И тогда ему показалось, что коряжка выскакивает из-под его ног. Он шевельнул ступней: что-то похожее на льдину качнулось подле его сапога. Он наклонился — было уже совсем темно,— и неподвижной холодной рукой он скорее почувствовал, чем ощупал, перья селезня. Птица отошла от его руки и поползла, скользнула вдоль сапога к сгибу ноги,— видно, ей хотелось выбрать, где теплее. И Богдан вспомнил, как раньше сизое перо селезня чем-то напоминало ему венчик на лбу покойника. И огромная злость потрясла Богдана, он сунул руку за пазуху к ножу, но тут грудь его наполнилась каким-то кипящим теплом, тепло это хлынуло по рукам. В голенищах снег уже не таял, и не было ощущения, что портянки с ног разматывают по ниточке. Сугроб за его спиной почудился шире, тверже и чем-то напомнил баню. Небывалая доброта овладела всем Богданом.

— Ишь, черт,— сказал он шепотом и заботливо погладил селезня по крылу. Затем рука его спустилась к животу; живот у селезня был мокрый. Тогда только Богдан заметил, что селезень мелко дрожит и шея его бессильно падает на тыл Богдановой руки.— Полезай дальше,— прошептал Богдан и долго не убирал руки, пока селезень не согрелся и не взял голову под крыло.

Так человек и птица просидели всю ночь у полыньи. Вначале, когда Богдан перебирал затекающими ногами, селезень шарахался, а потом привык и только легонько крякал, и это смешило Богдана. Под конец даже Богдан решил, что селезень выведен при птичнике из яиц дикой утки, может быть, даже и улетел из птичника. Под утро Богдан вздремнул и, засыпая, подумал уверенно и весело: «Не замерзну». И он, точно, не замерз. К утру из-за лесочка, из-за холма, словно он там спал всю ночь, хлынул в снеговину теплый весенний ветер. Ветер тронул Богдановы ресницы. Богдан вскочил и начал оттирать снегом руки. Три пальца не действовали, посинели слегка и стали необычно гладки. «Придется обрубить,— подумал он,— и на ногах, поди, придется обрубить». И, оглянувшись, заметил он, что больше, выше всего снег на дороге, да и всегда весной, если идет крупный снег, больше всего наметает его на дорогу. Что ж тут позорного, если и заблудился. Тихий плеск послышался рядом — это селезень нырнул в полынью. Но он вскоре вынырнул, точно ему жалко было оставлять тепло и солнце, взглянул изумленно на человека и с громким криком уверенно и быстро поднялся вверх, прошелестел над леском и понесся на холм, навстречу весеннему ветру.

— Ишь, черт,— сказал любовно, глядя ему вслед, Богдан.

Отмороженные пальцы начинали ныть, но Богдану было легко переносить эту боль. Идя вдоль каймы занесенной снегом дороги, он думал уверенно, что если уж теперь драка выйдет, так конец-то теперь Степке будет, а не ему, Богдану. И было непонятно, как он мог бояться своего села,— оно лежало в снегах такое теплое, пахнущее хлебным дымом,— как он мог думать о смерти, бежать куда-то, кого-то зря, точно свою смерть, бить... Он не знал еще, что будет делать теперь, но веселая уверенность наполняла его все крепче и крепче. Так, улыбаясь неумелой улыбкой, прошел он вдоль села, стукнул в окно и тихо крикнул:

— Мамка, неси топор да рукотерку!

Положил руку на бревно, на котором кололи дрова, отрубил три пальца и, перетягивая полотенцем руку, сказал ласково матери:

— Теперь удача мне во всем, работать ли, еще ли что, а коли со Степкой резаться,— обязательно ему конец, мамка.

А матери было страшно слышать его ласковый голос, тошнота подступила к сердцу от снега, залитого кровью, слезы текли у ней из глаз, а вытереть она их боялась почему-то. И так же ласково, в голос сыну, она спросила:

— Ливорвер, что ли, купил?

И, опять улыбаясь неумелой улыбкой, ответил ей ласково Богдан:

— А то как же... Не со слова же быть мне такому храброму.

1926

ОАЗИС ШЕХР-И-СЕБС

У Али-Акбыра, торговца виноградом из кишлака Шехр-и-Себс, заболела оспой жена Джаланум. Сам Али-Акбыр человек был рослый, красивый, с крашенными по-персидски ногтями. За жену, пять лет тому назад, во время голода и войн, он заплатил большой калым, и не фальшивыми николаевскими деньгами, а скотом,— и скот до сих дней обогащал его тестя. Поэтому Али-Акбыру жалко было терять жену, и еще жалко было потому, что во время войн много красивых женщин повымерло или же увезено в Афганистан. Теперь хорошую жену найти трудно, а молодежь растет тонкогрудая и тонкозадая. И Али-Акбыр сразу же позвал к больной местного святого Хуссейна, и не успел Хуссейн перевязать опояской живот и взять клюку, как Али-Акбыр оседлал лошадь и помчался за фельдшером. Фельдшер был русский, Герасимов по фамилии, а держал себя словно святой: собирался медленно, нехотя, а может быть — боялся оспы. Приехав, фельдшер потребовал, чтобы Джаланум сняла покрывало, а когда Али-Акбыр пообещал ему барана, фельдшер пощупал ее руку и сказал:

— Кризис прошел, выживет!

А еще раньше фельдшера то же самое сказал святой Хуссейн, и Али-Акбыру стало жалко себя, своих хлопот, трат,— и он выбрал фельдшеру для угощенья самого тощего барана и чай заварил жидкий. Однако через пять суток Джаланум стало хуже — и к вечеру она умерла. Ее быстро стащили к могиле, посадили и засыпали песком.

Али-Акбыр остался один. Мимо кладбища пролегала дорога в пустыню. Шел караван. Впереди, на малень-

ком ослике, низко свесив босые ноги, сидел караванвожатый, седой текинец. К его седлу на волосяном аркане был привязан первый верблюд, к первому — второй; верблюды шли так тихо, что слышен был шелест арканов, то опускавшихся, то натягивающихся. Текинец ехал сосредоточенный, спокойный, и длинная палка, знак его власти, чуть колыхалась в его руках. Медленно, друг за другом, то взбираясь на песчаные холмы, то пропадая в котловинах, то вытягиваясь в струнку, то образуя ломаную линию по извилистой дороге, верблюды уходили в пустыню. Было совсем безветренно, караван оставлял позади себя следы верблюжьих ног, но тотчас же след этот заплывал. На вершинах холмов синела легкая дымка, это был песок, поднимаемый дыханием пустыни. Увидав эту синюю дымку, Али-Акбыр потрогал рукой сочащееся тоской сердце — и пошел домой.

Поспевал виноград, и крестьяне-виноградари пришли вечером, дабы побеседовать о ценах и узнать, скоро ли Али-Акбыр поедет в город. Лампа горела тускло — после смерти жены некому было почистить пузырь,— и в комнате пахло керосином. Чай пили, держа чашку за края донышка, и после каждого глотка громко крякали. И вот, наливая гостям третью чашку, Али-Акбыр сказал, что святой Хуссейн — обманщик и вор, хотя он и хорошо знает все законы бога. Крестьяне не поверили Али-Акбыру, но спорить не стали. Тогда Али-Акбыр поднял кверху торжественно палец и протяжно сказал:

— Когда у вас умрет еще пять человек и про каждого Хуссейн будет говорить, что выздоровеет, тогда вы не будете молчать, как молчите сейчас!

Но вот пять человек от оспы вновь умерло, хотя Хуссейн и говорил, что они выздоровеют, и все-таки крестьяне не верили Али-Акбыру...

Виноград поспевал, листья его приобрели цвет крови, а в жилах Али-Акбыра созрело вино желаний. Ему нужна была крепкая жена, и, хотя советские законы запрещают калым, все же на крепкую жену денег надо много, и Али-Акбыр стал часто посещать город. Виноград поспевал, но вода в арыке-канале Кочик спадала, и проходящие странники из-за Заравшанских гор говорили, что снега дотаяли и что осенью едва ли можно ждать разлива воды. Виноград зрел, но вода в арыке все убывала и убывала, словно виноград выпивал ее. И

тогда крестьяне, все еще не верившие Али-Акбыру и все еще молча слушавшие его бранные речи, пошли к мечети и попросили святого сотворить молитву. Сам Хуссейн недомогал последнее время: он по всем законам прожил жизнь и с гордостью ждал смерти и рая, так как сам себя считал святым. Ему было обидно видеть, что крестьяне верят ему меньше и приношения их убавились. Ему не нужны были эти приношения,— многое из приносимого он раздавал,— ему жаль было крестьян, грешивших перед аллахом. Он сурово сказал крестьянам, что будет молиться и надеяться, что аллах услышит его молитву: вода прибудет, и оспа прекратится. Оспа-то, правда, давно ушла, но крестьяне не возразили ему. И Хуссейн действительно молился всю ночь и еще половину длинного и жаркого дня. Он упал от изнеможения, и служка при мечети, его внучек, румяный Алимбай, почтительно увел его к тощему ложу. Отдохнув, Хуссейн опять долго молился, но молитвы его, видимо, не доходили до бога, так как вода продолжала идти на убыль и деревья оазиса Шехр-и-Себс начали увядать.

В те дни Али-Акбыр подыскал в соседнем кишлаке Учим невесту, именем Идрис, по красоте своей способную превысить красоту Джаланум. Калым за нее просили большой, и, как Али-Акбыр ни торговался, будущий тесть не уступал, а еще грозился набавить. Деньги доставались с большим трудом, винограду уродилось в этом году много, и цена на него упала. Али-Акбыру думалось, что, если б Хуссейн хотел, он мог бы пойти в кишлак Учим к родным Идрис и упросить их уменьшить калым. Но Хуссейн — тунеядец, негодяй и вор — умел только тянуть с вершины глинобитного минарета не нужные ни богу, ни людям молитвы. Али-Акбыр быстро научился говорить те богохульные слова, что теперь часто услышишь в городе,— и ему казалось, что правды он знает не меньше Хуссейна и, если б не виноград и не заботы о новой жене, ему б ничего не стоило превратиться самому в святого. Но Хуссейн, видимо, и сам чувствовал себя тунеядцем: на вопросы крестьян он отвечал угрюмо и, сухой и длинный, в зеленой грязной чалме, проходил улицей не в тени, как прочие люди, а по солнцу, словно ему мало было того жара, что был в его душе.

Однажды вечером, когда в виноградниках, недалеко от арыка, пало три вола и один из них принадлежал

Али-Акбыру, Али-Акбыр заявил, что тунеядца и обманщика святого Хуссейна надо отвезти в город и судить по советским законам. Крестьяне, как всегда, покачали бородами, и нельзя было понять — согласны они со словами Али-Акбыра или нет. Веранда, где они сидели, была обвита виноградом. Солнце закатывалось, и тени от гроздьев темными пятнами сияли на огненных бородах стариков. Чтобы разобраться в том, что думали старики, Али-Акбыр соврал:

— Лучше самим отвезти, а то приедут пять милиционеров и заберут старика.

— Так,— ответили ему старики,— правильно,— и с тоской посмотрели на пыльный сухой двор и бурую глину стен, которую даже и солнце не могло озолотить.

А вечером, когда крестьяне собрались на намаз, Хуссейн сказал, глядя в небо:

— Я уже стар, я, видно, много нагрешил, и бог не принимает мои молитвы. В соседнем кишлаке Учим у меня есть родственники, я уйду умирать туда.

Крестьяне промолчали, а вечером после намаза пришли к Али-Акбыру.

— Вот собака и вор! — сказал Али-Акбыр.— Он врет от начала до конца, как врал всю свою жизнь. В кишлаке Учим у него столько же родственников, сколько у меня теперь жен. А разве кишлак Учим не имеет уже могилы святого Имъямина — Асалата-Будакчи и поэтому плодородие не покидает их полей? А какие святые могилы имеем мы? Сколько их у нас?

И старики пустыми глазами посмотрели на мятущиеся сильные руки Али-Акбыра. В пустыне выли шакалы, огромная луна медленно поднималась на небо. Сухо шелестели вдоль арыка умирающие тополя. Крестьяне прошли к арыку, долго слушали вой шакала, и один из них сказал: «На луну воет, к смерти»,— и хотя такой приметы не было, но все ей поверили. Затем Али-Акбыр явился к Хуссейну, и они долго раскланивались друг с другом. Кланяясь, Али-Акбыр пустил в ход все красноречие, приобретенное им в городе, и спросил витиевато: правда ли, что святой Хуссейн желает лишить святости и божеского плодородия кишлак Шехр-и-Себс и уйти в кишлак Учим, и если желает, то почему. Все в Али-Акбыре было необычайно ласково, и даже руки его смиренно лежали на животе, но, поймав под его тугими бровями неподвижные и угрюмые глаза, святой Хуссейн пощупал сердце и ответил, что он передумал и

остается у себя на родине, и могила его, если бог удостоит, будет во все века прославлять кишлак Шехр-и-Себс. «Седые ресницы твои благословенны, и украшающая сердце тишина исходит от них»,— сказал Али-Акбыр смиренно, но по голосу и по тому, как осматривал святой Хуссейн длинный двор мечети, Али-Акбыр понял, что этой же ночью убежит святой Хуссейн из кишлака Шехр-и-Себс в кишлак Учим и будет там до конца дней своих проклинать нечестивых и нерадивых соотечественников. И, подумав так, Али-Акбыр испугался, ласково поклонился и быстро ушел. И наконец Али-Акбыр мог слышать из уст крестьян слова, доставившие ему много радости; и Али-Акбыр, как и подобает всякому мудрецу, ниже, чем всегда, поклонился крестьянам.

Сухой и быстрый рассвет ударил в тополя, стоявшие подле мечети. Раскрылась калитка, и Али-Акбыр начал локтем толкать крестьян. Служка святого, румяный Алимбай, вывел оседланного коня, а за ним показался Хуссейн. Лицо у него было усталое, скучное, ему, видимо, не хотелось покидать и своего ложа, и мечети, к которой он так привык. Служка протянул Хуссейну стремя, но здесь, из-за тополей, тихо вышел Али-Акбыр и длинной сухой палкой ударил Хуссейна в затылок. Чтоб не было крови, конец палки Али-Акбыр обернул тряпками. Служка с воем побежал в мечеть, один из крестьян пошел его уговаривать, а когда крестьянин вернулся, Али-Акбыр снимал уже с лица святого халат, которым он зажимал Хуссейну рот до тех пор, пока не остановилось старое сердце. И вот Хуссейн вернулся на свое ложе мертвым. Его обрядили в лучшее платье и собрали превосходнейших плакальщиц. К вечеру из соседних селений на похороны святого Хуссейна стал собираться народ, и многие завидовали кишлаку Шехр-и-Себс, приобретшему святую могилу, и только люди из кишлака Учим сомневались в святости Хуссейна. Затем Хуссейна закопали на том же кладбище, где Али-Акбыр некогда похоронил свою жену Джаланум. Караван, возвращавшийся из пустыни, остановился подле кладбища, и караванвожатый, седой текинец, слез со своего осла и сотворил молитву.

В городе неожиданно поднялась цена на виноград, понадобилось много высококолесных арб, снег в Заравшанских горах начал таять, и вода в арыке Кочик поднялась на нужную для счастья высоту.

Плодородие и тишина спустились в оазис Шехр-и-Себс.

И в свое время посетило счастье и Али-Акбыра: он, с великой выгодой продав виноград, ввел в свой дом новую жену Идрис, красотой и полногрудием превосходящую несравненную Джаланум. В ограде был пир,— и гостям было зарезано четыре барана и жеребенок. Захожий певец пел песни о счастье и любви богатырей, и шепотом сказал юной жене своей Али-Акбыр: «Я украшу твою грудь монетами и счастьем, как великий и добрый богатырь в песне». И грудь Идрис содрогнулась, и сердце ее заболело неиспытанными страстями. На другой день, для счастья и плодородия, Али-Акбыр повел свою жену Идрис на могилу святого Хуссейна. Был на могиле глиняный невысокий памятник, незатейливая надпись, взывающая к людям о тишине и смирении. Ленты материй — приношения — валялись подле. Идрис, прикрыв шелковой чадрой угол памятника, смиренно молилась о счастье и долгой жизни, а Али-Акбыр стоял рядом, высокий, гордый и красивый, и красные ногти его лежали на русой бороде. Опять мимо кладбища шел караван в пустыню. От верблюдов оставались следы, но тотчас же песок засасывал их. Дыхание пустыни подымалось над далекими холмами. И тогда Али-Акбыр встал подле жены своей Идрис и всеми прекрасными словами, которые только имела его душа, поблагодарил бога и его святых за ту милость, что сошла на его дом. Затем он поднялся, вернулся в свой дом и лежал на коврах три дня и три ночи, наслаждаясь женой и своей силой. Приняв от жены восхищение и радостные слезы, он поднялся, совершил омовение, расчесал бороду и вышел на солнце, дабы исполнять обычную свою работу.

1926

ЗВЕРЬЕ

Накануне захвата станции Ояш отряд, в котором служил Павел Мургенев, справлял Октябрьский праздник. Подле двухэтажного волостного правления, чем-то похожего на кувшин, устроили митинг. Снег блестел тускло, как кудель. Мургенев с чувством произнес речь о наступлении, мужики заорали «ура», политрук благодарно пожал ему руку; Мургенев ответил ему с достоинством:

— На станции Ояш моя родина. Старик там и сестра...

Он хотел добавить, что старик необыкновенно горд и заносчив, но политрук уж говорил:

— Жаль — не захватили родину в день Октябрьского праздника.

Мургенев тоже посочувствовал ему.

Шли в обход Ояша. Шли знакомыми Мургеневу местами. Он увидал луг, с которого мальчишкой еще возил домой сено. Все такие же желтые дорожные раскаты вились у мостика через речку. Но мост был сожжен, и, видимо, из озорства, потому что ехать через лед речки было легче, чем через ветхий мостик. Подле моста увяз автомобиль. Клочья ободранного кузова жалко торчали из сугроба. Мургенев подошел ближе. Окровавленный платок с кружевной бахромой прилип к полузанесенному снегом сиденью. Но на все в этот день смотреть было весело. Весело разглядывал Мургенев и этот платок.

Обошли станцию версты за четыре. Спешились, потоптались. Покатили морозные пулеметы. Как всегда, начали с неохотой, затем разгорячились и, при взятии станции, убили несколько лишних человек. Опять Мургенев увидел эшелон с беженцами; сдающихся офицеров с пустыми кобурами; ввалившуюся бледность щек; в теплушках запах пота и пеленок. Его поразило только одно: неподалеку от станции в сарае, дверь в который изображали жерди, прибитые к косяку гвоздями, он увидел несколько верблюдов, задумчиво вытягивающих к снегу длинные морды. Красноармейцев тоже, видимо, изумило присутствие верблюдов; двое даже принесли сена. Мургенев постоял у жердей, погладил верблюду теплую морду, подивился, что нет дверей: замерзнут,— и, не досмотрев захваченные поезда, направился к родителям. Он уже сбегал по ступенькам станционного крыльца на площадь, по ту сторону которой виднелся одноэтажный родительский дом под железной крышей, но вдруг вспомнил, что отец был не только горд, но и любил пышность: шаровары, например, он всегда носил плисовые. Мургенев вернулся, попросил привести ему офицерскую лошадь. Красноармейцы разбирали вагон брошенного белыми полкового имущества; Мургенев пожурил их, но себе выбрал новый полушубок и сапоги, Поверх седла лежал зеленый ковер.

— Для веселья! — сказал подводивший лошадь, и действительно Мургеневу стало необычайно весело. Задорно блестела и звенела дорога. Старик, Алексей Дементьевич, стоял на крыльце словно знал, что сын приедет, видимо, был рад, но дотронулся только до ковра.

— Колера-то какие, ядрена мышь! — сказал он и уступил сыну дорогу. Старуха засуетилась, заохала, на крыльях ее носа дрожали слезы.

— Крепко тебя ограбили, тятя, белые-то? — спросил, облокачиваясь на стол, Павел.

Прямо против него, на кровати, стонала его сестра Шура. Она была в тифу, но брата узнала, даже шепотом поздоровалась и опять забылась.

— Ограбили,— ответил старик недовольно.

Старик в чем-то хитрил. Боялся, как бы сын не захватил хозяйство, увидав пораженную гордость отца. Павел улыбнулся и попросил поставить самовар. Сестра рванулась с кровати, то ли от слова «самовар», то ли в бреду. Павел подумал: может быть, она не больна тифом, а изнасилована? У отца правды все равно не узнать! Самовар заликовал, было тепло. Старуха расспрашивала о войне. Павел рассказывал (отец опять мешал его мыслям), и получалось не так, как было бы нужно. Нужно было бы рассказать действительно героическое, а он нес какое-то солдатское полувранье. У старухи умиленно слезились глаза, старик хитро улыбался. Наконец Алексей Дементьевич развеселился совсем, достал из-под пола бутылку самогона. Рюмка, остатком отбитой ножки насаженная на черешок (из-под ножа, наверное), дрогнула в его руке.

— За ваше здоровье,— сказал он, и сын ему ответил тостом за республику. Тогда отец велел позвать родственников. Старуха засуетилась с ухватом. Какая-то незнакомая вошедшая молодка вызвалась истопить баню. Павел ущипнул ее за упругий бок, она сверкнула на него глазом, и Павел подумал: «Ночь-то нынче занята». Кровь поднялась в нем. И сразу он решил ночевать в бане.

— Затопи,— торопливо выговорил он и отвернулся.

Отец выдвигал на середину горницы стол; ложки радостно играли в руках матери.

Но тут в избу ворвался запыхавшийся красноармеец. Измятая записка упала на пол, он выкрикнул:

— Штаб сообщает товарищу Мургеневу: Воткинский и Ижевский полки ведут наступление на станцию Ояш!

За последние два месяца не было случаев перехода белых в наступление, и Мургенев не поверил бы, если б не знал, что Ижевский и Воткинский полки колчаковской армии состояли из рабочих, согласившихся покинуть Урал вместе с белыми, и что среди красных имелось невысказанное соглашение: не брать пленных из этих полков. Ходил слух, что каждому из солдат этих обреченных полков был выдан револьвер для самоубийства. Возможно, что полкам зашли в тыл и они теперь кинулись на явную смерть. Так, надо полагать, думали во всем отряде; даже посыльный, которого Мургенев никогда не видал растерянным, стоял бледный, и пот увлажнял его молодую бороденку. Павел развел руками. Не без франтовства пристегнул он револьвер, вспрыгнул на лошадь, раздраженно скинув перед этим ковер с седла. Лошадь, играя, подпрыгнула; прыжки ему не понравились,— плеть тяжело упала на бока коня. К станции, на ходу затягивая полушубки, с обеспокоенными лицами бежали красноармейцы. С той стороны, откуда утром пришли красные, уже слышался вражеский пулемет. Мургенев быстро нашел свою роту, она уже шла на правый фланг. Поспешно и молча шагали мимо эшелонов. Теплушки беженцев плотно молчали; солдат это раздражало, и один сказал:

— Кабы время, я б вам в окошко по гранате...

На лиловеющих снегах раскинулись цепи. Вдали замелькали желтые точки.

— Ижевцы,— сказал солдат, говоривший недавно о гранате.

Пулеметы усилились.

— Кабы мы артиллерию успели подвезти! — сказал все тот же солдат.

— Молчать в строю! — крикнул Мургенев.

Видно было, как передние цепи красных дрогнули, ринулись к станции. Мургенев закурил, закурил и весь отряд.

— В своих придется палить? — не унимался разговорчивый солдат. Никто ему не ответил, папироски кинули недокуренными, колебнулись винтовки. Но цепи выпрямились, остановились; звонкая команда донеслась версты за полторы. Рота Мургенева опять ухватилась за винтовки, и стало ясно, что перестрелка затянется.

— Вы бы насчет стариков,— сказал вдруг его помощник Аксенов.

Мургенев внимательно взглянул Аксенову в розовое молодое лицо, по которому было ясно, как вся рота радовалась тому, что у Мургенева такие хорошие родители. Мургенев развел руками.

— Пускай старики в тыл едут, пока идет перестрелка. Штаб наш от греха подальше на разъезд «четыреста шестьдесят девять», в десяти верстах, ушел, вот туда и пускай едут. Пока на полчаса можете побежать домой. Мы удержимся... Только площадью осторожней, неравно хватит...— продолжал Аксенов, и ему, видимо, хотелось покомандовать в таком опасном деле.

Мургенев подумал, закурил папироску, осмотрелся (никто в отряде и мельком не мог, конечно, подумать, что он трусит и потому уходит),— веселые и бодрые лица глядели на него. Он согласился.

Старик по-прежнему сидел на лавке перед столом, выдвинутым на середину горницы. Сестра стонала. Павел предложил, сам не веря, что отец поедет. Отец ответил:

— Куда нам ехать, земля для могилы везде одинаковая. Да и Шуру не бросишь, сынок.

Павел кинул о пол шапку. Отец поспешно и нежно подал ее ему.

— Шапка-то казенная,— сказал он. Поднял руки, чтобы обнять, но и тут, видно, загордился — хлопнул себя руками по бокам и перекрестился в угол.— Бог спасет, может!

Павел выскочил. Старик отвернулся к окну.

— Герой. Гордый.— И тогда, подойдя к киоту, он одну за другой снял иконы, сложил их стопочкой на стол и проговорил: — Чего же нам одним в хозяйстве гибнуть, надо и богов по шапке, а, старуха?

— Тебе видней, старик,— недовольно ответила старуха, садясь к изголовью дочерней кровати.— А по-моему, не лез бы ты в войну-то. Лучше...

Со страхом Мургенев увидал, что за промелькнувшие полчаса многое изменилось на станции Ояш. Цепи ижевцев стлались уже по полю недалеко от семафора. Несколько красноармейцев из его роты, не слыша его и не узнавая, бежали без винтовок вдоль путей. Он остановил все же одного, спросил о своем помощнике Аксенове.

— Убит,— сказал солдат, отталкивая. Мургенев остолбенело застыл у станционного колокола. Пулеметная стрельба усиливалась. Толпа солдат бежала от станции вдоль дороги. Ижевцы, видимо, приняли это за какой-то хитрый маневр, потому что приостановили перебежку.

— Ваше благо... товарищ комиссар! — закричал выбежавший из помещения станции бледный шатающийся телеграфист.— У меня рука прострелена, больно!.. Штаб с разъезда вам телеграфирует: снарядов нет, снаряды в последнем вагоне... зеленый состав, под синим флажком.

И телеграфист побежал вдоль перрона, кинув к ногам Павла клочки телеграфной ленты.

— Идите вы, сволочи, со снарядами!..— завопил ему вслед Павел, для чего-то выхватывая револьвер. Но револьвер словно тянул его вперед,— и он побежал вдоль зеленого состава. Действительно, в конце поезда он наткнулся на теплушку под синим флажком. Почему под синим? Он подпрыгнул и сорвал с дверей синий флажок. И с флажком в руке он побежал дальше. Залитый кровью кочегар катался на полу тендера.

— Куда? — сам не зная для чего, спросил его Павел. Кочегар, привстав на локте, указал на плечо и сказал спокойно:

— Никто, брат, тебя не увезет. Из всех паровозов пары выпустили, ни угля, ни дров. Не мешай.— И он со стоном опрокинулся.

Павлу было стыдно мешать его смерти: рана была ниже плеча. Паровозы безмолвствовали. Павел кинул флажок и вернулся к снарядной теплушке. Под соседним вагоном, плотно прижавшись к колесам, лежали два солдата.

— Взорвет вас,— сказал им Мургенев,— рядом вагон со снарядами, давайте отцеплять.

— И то взорвет, дяденька,— пискливым голосом сказал один из красноармейцев. Они поднялись, и, мало понимая, что делают, подошли к нему. Мургенев указал им на крюк сцепления. Они сняли крюк и стали отталкивать вагон от состава. Вагон тронулся легко.

— Паровоз-то подают? — тоненько спросил красноармеец.

Павел не успел ему ответить: красноармеец лежал мертвым — пуля пробила ему шею. Его приятель

взвизгнул, скорчился, подобрал полы шинели и так, оглядываясь на Мургенева, словно ожидая, что он выстрелит ему в затылок, уполз под вагоны. Мургенев поспешно спрятал револьвер и прислонился к стенке вагона. «Действительно,— пришло ему в голову,— зачем отцеплять вагон, если нет паровоза? Через полчаса, самое большое, ижевцы займут Ояш. Надо бы разорвать документы или лучше...» Он посмотрел: в револьвере было пять патронов. «Богацько!» — улыбнулся он, оглядываясь. Ни одной лошади не видно было ни на путях, ни подле станции. Идти через площадь в деревню?..

— Богацько! — повторил он вслух.

Вдруг он услыхал рев. Он увидал угол сарая, дверь, забитую жердями, и мохнатую морду верблюда в веревочной узде. Мургенев даже подпрыгнул от радости, поискал глазами между колес, но красноармеец исчез. Ветер чуть шевелил солому сарайной крыши. Жерди были прибиты крепко; дабы их сломать, Павлу приходилось падать на них всем телом. Связанные попарно верблюды шарахнулись в проход. Мургенев схватил первую пару. Он подвел их к дверям теплушки, встал на ступеньки... Мургенев вспомнил о хомутах, а вспомнив хомуты, вспомнил и вагон — и, поспешно замотав повод за скобку двери, кинулся вновь в сарай. Там у туши убитого мотался, пытаясь оторвать узду, верблюд; его рев, должно быть, и услышал Мургенев. Хомуты висели на деревянном гвозде. Путаясь в незнакомой сбруе, Мургенев поспешно натянул на верблюдов хомуты, привязал длинную вожжу к уздечке; захватил буфер петлей веревки; вожжу закинул на теплушку. Зацепил вожжу за кромку и, подставив лестницу, вскарабкался на вагон. Усталость овладела им, он вспомнил о пулеметах — и по крыше вагона полз на животе. Он мало верил в то, что верблюды смогут везти вагон.

— Трогай! — заорал он, отчаянно мотая вожжами. Верблюды покосились на блестящие рельсы. Спокойствие животных на мгновение овладело человеком.

— Экий морозище! — сказал он. Вагон тронулся.

Больше всего, по-видимому, верблюдам было страшно видеть эти ровные блестящие полосы железа, что текли перед их мордами. Они им казались в одно и то же время и оглоблями, и кнутами. Верблюдам было тесно. Они толкались животами, а вырваться в сторону из блестящих стальных оглобель не могли. Павел пожалел:

надо бы запрячь одного. Вагон двигался толчками, но все быстрее и быстрее. Мелькнули станционные постройки, водокачка. «Только бы,— подумал Мургенев,— верблюды не свернули в сторону или ижевцы не открыли по мне огонь». Он нащупал в кармане перочинный ножик: на случай, если верблюды свернут, перерезать постромки. Как он слезет к буферу по отвесной стенке — он еще не знал. Мургенев лежал ничком на крыше; пряжка пояса больно врезалась в живот, а подняться и сесть у него не хватало смелости. Теперь он разглядел верблюдов: один, правый, был бурый, лохматый, а левый — почти седой и гладкий, с высоко поднявшимися откормленными горбами. Увидав эти колыхающиеся горбы, Мургенев вспомнил веселую бабу, которая должна была ему сегодня топить баню. Затем вспомнился отец, ему стало грустно, и он начал твердить: «Рельсы, рельсы...» — и скоро, верно, начал думать о рельсах. Вспомнил, как однажды проводник вагона сожалел, что за границей рельсы сдвинуты у́же наших и вагоны наши туда идти не могут... Бег вагона все убыстрялся. Он скоро заметил, что верблюды начали реветь и оглядываться. Буфер толкал их в задние ноги. Вначале Мургенев подумал: верблюды разогнали вагон, а теперь уменьшили шаг; но толчки буфера становились все яростней и яростней, и вскоре стало ясно, что за станцией Ояш путь идет под гору и разогнанный вагон мчится сам. Мургенев даже обеспокоился: скоро покатость кончится, вагон должен подниматься в гору, и что тогда — хватит ли у верблюдов сил втащить его? Но вагон все сильнее и сильнее толкал верблюдов, и уже появилась опасность, что вагон сшибет верблюдов, помнет или раздавит их, и они своими тушами могут задержать его бег. Столкнет ли один Мургенев вагон? Павел замерз и мелко дрожал, железный ветер свирепел, нужно было спускаться с крыши к буферу перерезать постромки. Он расстегнул ремень, зацепил его за доску набрусника. подумал и, скинув шинель (длинный полушубок, надетый им поверх шинели, он забыл в отцовской избе), привязал рукавом ее к ремню. Ветер на мгновение вырвал у него шинель, мотнул ею по воздуху: верблюды испуганно заревели, вагон зашатало. Потом Мургенев, осторожно вися на шинели и скользя ногами по гладкой стенке (со злостью думая, что шинель затрещит и вот-вот лопнет), стал спускаться. Шинель

сильно пахла табаком. Наконец сапог его коснулся буфера.

Холод овладел им. Холод казался сильнее оттого, что вагон защищал от ветра... Он едва мог открыть перочинный нож. Кость рукоятки жгла ладонь, он обернул руку платком. Постромки то натягивались, то слабели — резать было очень неловко. Но вот наконец один верблюд ринулся вперед! Мургенев выстрелил, верблюды сразу выпрыгнули из рельсовых оглобель, кувыркнулись по насыпи — по одному с каждой стороны и, увязая в снегу, наступая на постромки, побежали в поле. В иное время Павел похохотал бы над их прыжками. Буфер жег ему ноги, висевшая шинель хватала только до шеи, а стянуть ее он не мог, так как не за что было ухватиться, и если б она оборвалась, он упал бы вместе с нею под вагон. Теплушка неслась, отвратительное морозчатое железо свистело под колесами. Руки коченели, ему ничего не оставалось, как лезть обратно на вагон, и он полез. Он, цепляясь за шинель, подпрыгнул, насколько мог, и ухватился за кромку крыши. Здесь шинель затрещала, и руки его бессильно поползли с крыши. Тогда он схватился за шинель зубами, еще раз подпрыгнул — и снова повис у края крыши! Ему пришлось выпустить мешавшую движениям шинель, и она болталась меж его ногами. Несколько ниток соединяли рукав и те куски материи, что некогда закрывали грудь его и ноги. Он вскинул тело на крышу. Нитки лопнули, и на крыше, привязанный ремнем к доске, остался лишь рукав его шинели. Серое сукно долго маячило позади на шпалах. На крыше Мургенев привстал сначала, затем опять лег; поплясал — стало теплей, но вдруг он вспомнил, что там, под ним, полный, плотно набитый вагон снарядов. Снаряды эти сейчас мчатся на станцию, вагона уже не остановить, скорость его все увеличивается. На стрелке ли, дальше ли, вагон наскочит на другие вагоны, и снаряды вспыхнут, взлетят!.. Было ветрено, пустынно. Среди снегов, неподалеку от железнодорожных путей, бежал желто-лиловый проселок. Кое-где синели лески. Мургенев и не заметил, как присел. Он отвязал рукав, прикрыл им сначала шею, затем плечи, пытался прикрыть обессилевшие руки. Он лег, вытянулся и стал стучать в воздухе сапогами. «Замерзну, сука!» — подумал он и вдруг почувствовал ненужный стыд: на многих убитых офицерах он видел фуфайки, а вот сам не мог решиться надеть — все про-

клятая крестьянская гордость: и так, мол, выдержим. Мысль о взрыве владела им сильнее, чем мороз. Он всегда боялся грохота, и теперь смерть представлялась ему такой непрерывно растущей тучей грохота. Тошнота приступила к его горлу, глаза слипались. Вдали уже виднелись избушки разъезда «469». Он выполз на край крыши, спустил ноги, чтобы спрыгнуть. Ему неимоверно трудно было открыть глаза, но прыгать с закрытыми глазами было еще трудней...

Посреди проселка он увидал сани. Длиннобородый мужик в азяме стоял на коленях в санях и с ужасом крестился на мчащийся вагон. Ветер загнал лошади хвост к животу, и оттого лошадь казалась тоже испуганной.

Непонятная гордость овладела Мургеневым. Он собрал последние силы, чтобы послать озорное благословение мужику, но руки бессильно ползли по коленям.

Перед самым разъездом «469» путь пошел в гору. Три разведчика легко остановили вагон. Мургенева кинулись растирать.

Еще через час начался с разъезда «469» обстрел станции Ояш снарядами, доставленными Мургеневым. Громили ее весь вечер — зарево заняло полнеба; и рано утром поступило донесение, что станция противником оставлена. Днем, в числе прочих победителей, Павел Мургенев ехал занимать станцию. Руки его были забинтованы, а лицо густо смазано гусиным салом.

Станция, станционные постройки, поезда,— почти все сгорело. Пахло тряпками, горелой мукой, мясом. Сохранилась только водокачка и на дверях ее вчера, должно быть, наклеенный приказ «верховного главнокомандующего». И почти все домики подле станции сгорели. Место, где стоял родной его домик, Мургенев едва нашел — сгорели даже деревья в палисаднике. Он узнал место дома по каменной бабе, которую когда-то в юности притащил из степи в палисадник. Отец за эту нечисть выпорол его, все собирался отвезти обратно в степь, да так, видно, и не собрался. Плоское лицо каменной бабы тоже почернело. Мургенев пихнул ее сапогом. Никаких следов не осталось от его родных, и никто не мог сообщить, живы ли они, умерли ли, или их увезли ижевцы. Среди пожарищ нашли десятка два обгорелых трупов, и никто не опознал их. Не опознал и Мургенев. Красноармейцы между тем в уцелевшем доме священника сварили обед. Пообедал и Мургенев,

На вечер штаб назначил выступление: идти дальше, в тыл ижевцам. Вот и вечер подошел, а Мургенев все еще тоскливо бродил среди пожарища. Попал он на станцию. Выступила луна. От ее сумасшедшего света составы поездов казались еще более обгорелыми. Где-то затянули песню и оборвали. Мургенев одрябло прислонился к теплушке и вспомнил, как вчера он точно так же стоял у вагона со снарядами. Револьвер и вчера был в его руке; в револьвере со вчерашнего дня изменилось только то, что вместо пяти пуль стало четыре. И огромная, как бы многостворчатая, скорбь хлынула в него. Шумное, широкое дыхание послышалось вблизи. Он поднял голову. Огромный верблюд, тоскливо мотая головой, шел вдоль состава. Его лиловая тень прошла по ногам Мургенева. Сквозь заледенелые ресницы луна блеснула в верблюжьих глазах.

— Эх ты, зверье,— шепотом сказал Мургенев вслед верблюду. Ему хотелось что-то добавить, а что — он и сам не знал.

1926

ПРО ДВУХ АРГАМАКОВ

С крутых яров смотрелись в сытые воды Яика ветхие казацкие колоколенки. Орлы на берегах караулили рыбу. Утром, когда у орлов цвели, словно розы, алые клювы, впереди парохода хорек переплывал реку. Пожалел я о ружье, низко склонившись к перилам и разглядывая его злобную рожу. А он, фыркнув на пароход, осторожно стряхивая с лапок капли воды, юркнул в лопушник.

Великое ли диво — пароход? А в этом году впервые за всю свою жизнь видит славный Яик гремучие лопасти. А тянется этот Яик от Гурьева до Оренбурга — больше чем тысячу верст, и до сего лета не допускали казаки на свою реку парохода: рыбу, говорят, перепугают. И довелось мне видеть, как целые поселки, покинув работу, бежали смотреть на пароход.

Старуху одну, в зеленом казакине, полной семьей вели на пароход под руки. Надо было старухе ехать в Уральск лечиться. Крепко боялась старуха парохода, истово крестилась при гудках и с великой верой взирала на ветхие колоколенки.

Долго не хотела говорить со мною старуха. А потом, когда рассказал я ей, какие у нас на Иртыше переме-

ты, стала она меня учить, как правильно рыбачить и какая должна быть «кошка» у перемета. Попутно выбранила сибирских казаков. И к вечеру уже, когда и колоколенки, и яры скрылись в лиловом, пахнущем полынью и богородской травой сумраке, поведала мне Аграфена Петровна семейную свою притчу.

— Ты ведь, поди, нашего хозяйства не знаешь? А наше хозяйство, по фамилии Железновское, известно по всему Яику. Ильбо от Разина — сказывают, великий он колдун был,— ильбо от чего другого прадед наш Евграф Железнов, развел аргамаков. Таких аргамаков развел, что из Хивы приезжали и многие тысячи платили за породу. Табуны наши были в скольку сот голов — уж не помню. Мать моя, царство небесное, сарафан обшивала по вороту индицким зерном-жемчугом, а дом у нас кирпичный, двухэтажный и под железной крышей.

Детей? Детей у меня много было, все больше девки, а парня уродилось два — Егор да Митьша. Егор-то русой был, на солнце, бывало, отцветает, что солома, а Митьша — черный, чисто кыргыз кыргызом. Разница меж ними в двух годах была, а учиться довелось им вместе. И по хозяйству все тоже вместе держались. Вот перед тем, как Егорше в лагеря идти, «сам»-то и подарил им по жеребку наилучших ног. Он, царство небесное, в ногах беда как понимал — лучше самого хитрого цыгана. Егору дал Серко, а Митьше — Игреньку.

И выросли те жеребята, как сказ. На войне, говорили, на смотру генерал оглядел наших аргамаков и Егорку спросил: «Каким, дескать, овсом кормлена такая чудесная лошадь?» — «Нашим, грит, яицким». И велел генерал записать адъютанту про тот овес, чтоб кормили им любимого генеральского коня.

Сколько раз казацкую жизнь спасали кони — я уж и запамятовала, а только раз на том коне Митьша полковую казну вывез из немецкого плена и получил за этот подвиг два «Георгия».

Осенью пустили их ильбо самовольно приехали — не знаю уж. Подойти к ним тогда было — чисто сердце отрывалось. Ходят по двору: один — вправо, а другой — влево. А как сойдутся, так Митьша крестами на груди трясет и кричит: «Царя, мол, отдаю, а веру мою не тревожь! Имущество, грит, с кыргызами да другими собаками делить не хочу».

И почнут кричать, будто не братья, а бог знает кто. Я поплачу, поплачу, свечку перед образом зажгу. «Ути-

ши, господи, их сердца»,— молю. А самой все-то непонятно, все непонятно: как? из-за чего? Шире — боле. Я уж говорю Митьше: «Разделить вас ильбо что?» А тот: «Не хочу, грит, добра зорить». А Егор, тот кричит: «Все народу отдам!» И в кого он уродился такой запалошный?

Тут еще одна беда — Егорова молодуха собою красавица была: лицо — чисто молоко, сама — высокая, с любою лошадью управлялась лучше мужика. Приглянулись ей Митьшины кресты, что ли,— только начала с ним шушукаться. Я уж ее однаж огрела помелом, а она белки выкатила да на меня. «Ты, грит, старая чертовка, за сыном бы Егором лучше смотрела: несет он разор всему нашему роду, в большевики пошел». Мы тогда большевиков-то не знали.

Казаки-отпускники ездят из поселка в поселок, кричат, что офицерское добро делить надо, что пришла намеднись воля. Только однажды приходит станичный атаман, говорит Митьше: «Собирайтесь, грит, герои, в станичное правление — по городу ходят, на манер пугачевского бунта, солдаты. Надо, грит, ихних главарей переловить».

Егор-то в ту пору в городе находился. Надел все кресты Митьша и отправился, на меня не взглянув.

Только не вышло у них, что ли,— не знаю. Вернулся Митьша — прямо на полати в валенках залез. А тут немного погодя и другой сыночек. С порога прямо кричит: «Митрий Железнов, слазь с полатей! Я тебя за бунт против народной власти арестую!»

Тот молчком спускается. А на чувале у нас всегда дрова сохнут. Поставил это Митьша ногу на поленницу, а потом как прыгнет, схватит полено и брата-то — господи, родного брата! — по голове, и бежать! Ладно, у того кыргызский треух был. Охнул Егор и пал наземь, а потом через минуту, что ли, поднялся и говорит: «Никуда, грит, от наказания не уйдешь! Я, грит, на замок коней запер».

У нас конюшни-то на железных болтах были. Я его было за руки, а он отвел меня и говорит ласково: «Не тревожься, матушка. Буду я народным героем!»

И за дверь — тихонечко.

Я, как только очнулась немного,— за ним. А он на дворе, слышу, кричит: «Кто смел открыть ему конюшню, когда один ключ у меня, а другой — у моей жены?»

Посмотрел он на молодуху, покрутил усы. «Выпустила, грит, ты убивца и предателя. Прощай!» А пуще его озлило, полагаю, что отдала молодуха Митрию Егорова Серка. А был этот аргамак из лучших лучший — где было тягаться с ним Игреньке, хоть и получил на нем Митьша два креста! Вывел Егор оставшегося Игреньку, потрепал по шее, оседлал тихонько и уехал, не взглянув на жену.

Сказывали, что в ту ночь в нашем городе переворот доспелся. Одолела в том деле Егорова сила. Отступили за реку те казачки, что за генералов были. Вот в погоню и отрядили под началом Егора сколько ни на есть народу. Месяц-то ноябрь был, убродный да лютый. По снегу — след, так и видно, куда поскакали казаки. Догнал их Егор под Лужьим логом. «Сдавайтесь, грит, а то всех перепалю из пулеметов». А генеральские казачки-то — шашки наголо, да — на них. Ну, оседать начали Егоровы силы. Хотел было Егор приказ отдать отступить, потому видит — не одолеть ему генеральских казаков.

Только заржал в ту пору под ним конь, Игренька. А из супротивников другая ему лошадь откликнулась. Узнали, вишь, конь коня, Серко — Игреньку. Закинул Егор голову да и спросил громко: «Брат Митьша, ты?..» — «Я,— отвечает тот,— я!»

Через всех казаков проскакал Егор к брату. «Эх, грит, Митьша, прощай, изменник. Стыдно мне за тебя и за все семейство наше казацкое! Помирай от моей руки». И вдарил его шашкой.

Потом что?.. Ну, напугались генеральские казаки. Уж коли брат своего брата не пожалел, значит, за Егором правда. А с правдой как воевать? Она победит. Генеральские казаки и сдались.

А Егор револьвер вынул, подходит к коню Серко. У самого слезы на глазах. Ведь конь — тварь бессловесная, ее винить в чем?.. И говорит Егор тому коню: «Конь ты, конь серый! Возил ты меня, возил и брата. И всю жизнь будешь ты напоминать об изменнике. Жалко мне тебя, но стыдно будет всем смотреть на тебя. Прощай!»

И убил коня.

...Сердце-то у меня с того времени будто полынью поросло. Все-то времечко на нем горечь горькая.

1926

О КАЗАЧКЕ МАРФЕ

У ворона вон гнездо куда какое крепкое, хоть и сдеяно из прутиков. От Каспия, когда подует ветер, камни несет в голову, столетнюю вершину ломит, как соломинку, а вороново гнездо серым цветом цветет, смеется будто — цело.

Только и ведь так бывает: подрастут воронята, перо сизым налетом покроется — раздерутся. С чего раздерутся — никому не известно; может, из-за какой ни на есть насекомой. Глядишь ты — в драке-то развалится тое гнездо — чисто скорлупа.

Я к тебе с гнездом этим не к примеру, а вот даве видела — нищая одна под ветлой плакала. Обличьем мне та нищая показалась знакома, а присмотрелась и — подумала: все нищие на одно лицо и на одну суму. А над ней писк, и в гнезде воронята дерутся,— выходит, конец лету... Вот и плачет нищая, что теплу конец, что сума снегом скоро покроется, сгниет: нонче и сума денег стоит... А до воронят ей — что? Воронят ей и в сказку вставить нельзя,— ноне в сказках-то ароплан подавай, в ковер-то-самолет не верят...

В нашем поселке Лещинском (это его в прошлом году — для смеха, должно,— хоть и назвали городом, так ты не верь) строй глинобитный, деревянное только одно — пожарный сарай. Крыши одни только казачью удаль выдают — тесовые, а у богатых — крашеные.

Вот из-за крыши такой богатеем прослыл у нас Климентий Федосеев. А и было у него всей богаческой силы — что сыны покрасили ему крышу. Произошло их у него шесть человек, один другого на голову обгоняет — красавцы.

И только успели доспеть ему крышу,— даже скворешник не воздвигнули,— в тот же час как раз пришла ерманская война. Муторно стало смотреть Федосееву на крышу, взглянет — и слезами, бывало, зальется: «Лучше, грит, я, как расейский, вшивая губа, сидел бы под соломенной покрышкой...»

Судьба — не баба: слезой не возьмешь. А получилось так, что целехоньки пришли с фронта казаки. Как сказали Климентию, что видно сыновью пыль за ярмарочными балаганами,— силы в ногах ушли. Отправился он в избу, лег на скамью. «Я, грит, маленько вздохну». Да так с таким словом и помер.

Подъезжают сыны, смотрят на крышу — покоробилась та, облупилась. Думают — надо перекрасить.

Встречает их мать у ворот.

— Мир тебе, мамаша! — говорят казаки.— Что ж ты стоишь — и думаешь и плачешь?..

— А вот стою,— отвечает мать их Марфа,— думаю: помер счас от радости по вашим лицам отец. Неужто станете вы теперь, как у всех, делиться и рушить хозяйство в такую тяжелую жись?

Казаки и говорят ей:

— Вот тебе перед отцом и богом слово: будем жить по-прежнему сообща и тихо... Покой свою жись!..

Ну, а дни тогда — что торопкий да далекий путь: и лошади вспотели, и телеги заскрипели. А ямщик-то гонит да гонит...

Ты и сам знаешь, и повторить не грех: наши-то степи уральские — еройские степи. Разин тут и Пугач гуляли, Маринка, жена Гришки, жила, тут Чапаев с атаманом Толстовым сражался и в Яике потонул.

Слово, что ли, дали, что не делиться, или так уж вышло — только довелось всем шести братьям Федосеевым попасть в отряды к тому царскому генералу Толстову, которого большевики, сказывают, анафеме предали...

В бога, гришь, не верют? А как же они всех победили, коли в бога не верют? Может, вера в него другая — не наша, может, и скрытая какая — бог-то один: он знает, кому помогать. Знает.

Ну, и разбил тот ерой Чапаев толстовскую армию, казаков дивно перерубил и начал над всеми суды судить.

Забрал он всех шестерых братов (тоже ведь к горю, видно, их в бою-то пощадило), выстроил, посмотрел на них и приказал судить — истребить их без пощады, как комара.

Суд-то тогда был короче вздоха.

Спрашивают их судьи:

— Вы ли с нами воевали так, что от вас дух гнилой по земле прошел?

— Так точно,— отвечают те шестеро в голос,— воевали!

Прочитали им присужденную бумагу: так, мол, и так, за то, что воевали вы с нами, дается вам смерть — к расстрелу.

Надели казаки разом шапки. Самый молодой, так тот даже набекрень и чуб не забыл выпустить.

— Господи, благослови! — говорит.

Я беду свою тебе сказывала, а что моя беда перед такой смертью? Мошка! На ногах-то у командира опорки ильбо что еще хуже, а пала Марфа к тем опоркам, щекой прижалась, воет:

— Простите, христиане, хоть одну смерть, хоть одну жизнь-то оставьте. Буду служить за ту смерть всей своей кровью Советской власти... хоть самого малого простите...

Сняли свои шапки перед Советской властью пятеро казаков и в голос сказали:

— Просим!

Посмотрели красные командеры на малого, на бабу Марфу, значит, посмотрели, а той хоть без нескольких пятьдесят, а на тело и тридцатилетней не дойти.

— Ладно,— говорят,— прощаем одного: посмотрим на твою службу...

И верно: малого-то пустили, а остальных пришлось засыпать в одной могилке.

Пошел полк тот али дивизия дальше, а за полком отправилась Марфа. Остался младший дома хозяйничать, женился вскоре,— хозяин из него вышел ладный. Одно: к деньге был жаден.

Марфа-то сперва около полковых казанов ходила, а дале — позорище для казачки-то невиданное — и на лошадь вскарабкалась. Смеху-то, поди, много над ней было: как-никак — парень, а волос — седой. Шире-дале — ружье да шинель она себе обнаружила. И пошла с того дня об ней слава.

Бают у нас поселком: «Баба Марфа ротой командует и к советским отличиям представлена». Командовала ли она ротой — бог знает: слов ведь тогда много говорили, а еще более того —им не верили. Коли деньги без цены ходили, то слова — что?

Так, значит, с летошним снегом и перестали об Марфе говорить. Жена-то Василия Федосеева — невестка, значит, Марфы — даже в церкви панихиду отслужила.

Вот и вышло, что поторопилась. Война кончилась. Народ про семена начал думать. Выйду это я за поселок, а мужики стоят да на землю смотрят. И диво было — страшная какая-то земля была: багровым бурьяном заросла, корни какие-то в ней ползут, толще руки. Вот и вышел так однажды казак Абрам Новопольцев

на пашню посмотреть, а видит — по тракту тройка мчится, аж от лошадей пена клочьями летит. Комиссарам-то раньше не все радовались,— вот и захотел Абрам посмотреть, кого это леший к нам несет. Заглянул в кошевку-то, а там — Марфа. В солдатской шинели с наличниками комиссарскими, вся грудь в орденах, рука на черной перевязи и — постарела.

— Как,— спрашивает,— сын мой Васенька живет?..

А у самой руки трясутся от нетерпенья, и больным локтем ямщика в спину торопит.

Ошалел Абрам. Еройски, видно, отплатила Советской власти Марфа. Шапка у него аж свалилась, ничего ответить не мог, так и промчалась трашпанка мимо. Только через полсотни сажен услышала Марфа, как орет Абрам «ура»,— а не обернулась.

Греха, по-моему, в хорошем хозяйстве нету, а только нельзя, коли мать приехала первым делом в трашпанку заглядывать, много ли добра привезла, и спрашивать: «Пенсию-то тебе, мамаша, большую назначили?»

Отвечает ему Марфа:

— Я, грит, не за пенсию, а долг платила...

Видно, такая горькая дорога вышла Марфе. Жаловаться она не жаловалась, выйдет на яр, подберет больную руку и в Яик смотрит. А разве казачке в Яик смотреть? Казачке надо робить. А тут невестка ее до самого худого горшка не допускала, а дале — лишним куском стала попрекать, расчеты стала вести на Марфину жизнь. Сын тоже посмотрит за обедом в сторону, скажет сурово так:

— Коли, грит, воевать, так надо, чтобы до победного конца. Зря, грит, домой калеки не приходят — в такую жизнь людей объедать...

У Марфы-то ложка тяжелей топора станет.

Сказали ей как-то старухи:

— Тижелова сына ты оставила, Марфа...

А она так выпрямилась, быдто поленницу уронила:

— Кому он и тяжел, а мне — легче его нету...

Так и пресеклись все.

Дале-то совсем замолкла Марфа. Вид делает, чтоб про сына не болтали чего: будто и кормят ее мясом каждый день, будто белый хлеб ей из города заказывают, а от платьев, от обновок будто отказывается. А сама все худеть да худеть, под конец одни глаза остались.

Земля (я тебе говорила) в тот год тяжелая была. Вот и соблазнился Василий на легкую работу: начал самогон варить. Граммофон купил на те самогонные деньги, двухлетку хороших аргамаковских пород, тарантас с крытым верхом. Как привел он тарантас да как устроил гулянку, так Марфа пришла в поселковое правление, попросила пакет, положила туда ордена свои и велела отправить в город самому главному комиссару.

Не знаю, что у них еще было. Сказывают, будто ударил свою мать Василий, а может, она его ударила,— только видал вечером в тот день шляющийся Абрам Новопольцев, что подле кладбища развязала Марфа какой-то платок, достала суму, сломала с ветлы палку и ушла по тракту. За поселком суму-то надела, чтоб сына не позорить (а может, и врет Абрам), только где она теперь — никому не знаемо, разве что в новую войну объявится...

1926

ПОЛЕ

Отпустили Милехина на четыре часа.

— Опоздаешь — не в очередь в наряд отправлю,— сказал ротный командир, со стуком прикладывая штемпель на пропуск.

Да Милехину и часу было достаточно. Ротному он сказал, что приехали родные из деревни, и, сказавши так, соврал. Хотелось проветриться. В казарме особенно казалось темно от мартовского солнца, от грязных окурков на полу, от стен, серых от грязи. На классной доске (раньше здесь была школа) кто-то белой глиной написал нехорошее слово, а рядом на стене хлебным мякишем был прилеплен плакат: «Колчак несет колбасу, Советы — свободу». И когда Милехин захлопнул обитую рогожей дверь и пошел через большой двор на площадь,— ему было тепло, сытно и радостно.

Станция железной дороги была от города верстах в четырех, и через каждые полчаса в город ходила ветка. Милехину не хотелось дожидаться ветки, и он пошел пешком через огромную площадь к станции.

Сверху пекло солнце, а снизу морозило. Площадь уже оттаяла, и только бугор дороги лежал грязновато-желтоватой лентой на черной разбухшей земле. За тальниками — прямо на западе — мерзло синел Иртыш и

видны были на нем разорванные кусочки дороги, как клочки бумаги.

— Тронулся ночью, должно,— сказал Милехин.

Но шипящего шума тронувшегося льда еще не было слышно.

«Скоро пойдет».

Милехин улыбнулся и почувствовал радость, словно лед принадлежал ему. Он, шумно бухая мокрыми английскими бутсами, шел по краю дороги, и снег ломался под его ногами. И треск этот доставлял ему удовольствие. Зеленоватая английская шинель, похожая на пальто, и голубые французские обмотки на икрах так не шли к огромной заячьей шапке с ушами и плохой рыженькой бороденке.

Над тальником мелькнула белым крылом чайка.

«Скоро пойдет»,— подумал опять Милехин.

На вокзале толпились люди с мешками, большинство женщин; солдаты с жестяными звездочками на шапках; три китайца продавали сигареты и семечки. С крыши капала вода, и часто с тихим звоном падали длинные ледяные сосульки.

Милехин постоял у двери третьего класса. Какой-то комиссар с желтым портфелем под мышкой, проходя, толкнул его и тихо проговорил:

— Извините.

Милехин, чтобы не мешаться, отошел и сел на подоконник. Бегали мимо с фонарями и какими-то черными ящичками железнодорожники, свистели на разные голоса паровозы, стучали буфера вагонов. Сверху, тихо и не спеша, грело и станцию, и грязные вагоны, и набухающую влагой землю большое чистое солнце.

Рядом упала сосулька. Милехин наклонился и поднял ее,— она была без пустоты внутри. Упала вторая, третья — все такие же.

«К урожаю,— подумал Милехин,— налив будет полон и умолот богатый. Штука-а...»

И ему вспомнилось, что снег тает не от солнца, а больше ночью, от земли. И тает дружно.

— К урожаю,— сказал вслух Милехин и, сказавши этак, подумал о деревне.

Подумал, что скотина у него вся ко двору — чалая и бурая, хозяйство идет хорошо. В прошлом году плох был урожай, а нонче должен быть хорош — март весь сухой, да вот коли апрель будет в сырости — благодать. А теперь — в такое святое время винтовку чисти, а то

на часах у какого-нибудь склада стой. Ему стало нехорошо на душе, он поднялся, прошел три раза по перрону и решил идти в роту. В это время его окликнули:

— Кольша!

Милехин обернулся и узнал одного из товарищей по роте, Федьку Никитина. Он месяц назад заболел тифом, и его увезли в больницу. Милехин подошел к нему, и они подержали друг у друга руки.

— Как живешь-то? — спросил Милехин.

— Ничо. В поправку на два месяца в деревню пустили. Поеду сейчас.

— Ты какого уезда-то?

— Татарского,— ответил Никитин с удовольствием.— Через полдня, брат, дома буду. А ты?

Милехин нехотя ответил:

— Ново-Николаевского... Двое суток надо ехать. Ноне поезда-то беда как ходют, а коли с «максимом», так и всю неделю.

— С «максимом», верна,— подтвердил Никитин и звонким радостным голосом сказал: — Айда ко мне чай пить.

Милехин согласился. Когда они шли, Милехин заметил, что Никитина пошатывает от слабости, а с лица он был такой, будто под венец шел. Милехин ему позавидовал.

За чаем Никитин, как и все послетифозные, ел много и угощал Милехина. А Милехин не слышал, что рассказывал ему Никитин про больницу, докторов, а думал о своей деревне.

И когда он вышел из вагона, распрощавшись с товарищем, то решил уехать домой с этим же поездом. Прошло три вагона, хотелось сесть в самом хвосте поезда, но не вытерпел, вошел в вагон, прошел одно купе и в следующем полез под лавку.

В купе сидело пятеро солдат. Один из них, с расщепленным носом, спросил:

— Куда ты?

— Домой,— ответил Милехин.

— А-а... — сказал солдат, а другой, макая сухарь в стакан с чаем, спросил:

— Далеко тебе?

— До Ново-Николаевска. Одну станцию не доехать.

— Далеко. Документов нету?

— Нету.

— И хлеба нету?

Милехин ответил со злостью:

— Ну, нет, а тебе чо?

— Лежи уж,— сказал солдат.— Как-нибудь доедешь.

Два дня пролежал, не вылезая, под лавкой Милехин и на третьи сутки ночью слез на Грачевой. От Грачевой до Крутого осталось пятнадцать верст, и утром Милехин был дома.

Милка завизжала и кинулась под ноги. Гусь испуганно бросился в сторону, под опрокинутые розвальни; на конском черепе, воткнутом на заборный кол, как и год назад, сидел воробей и чистил под крылышками. Сенька выглянул в двери и заорал в избу:

— Мамка, батя приехал!

Баба поставила самовар, принесла молока, нарезала калачей и, утирая в кути подолом глаза, спросила:

— Надолго те пустили?

— На двое месяцев,— степенно сказал Милехин, и ему самому поверилось сказанному.

— Война кончилась, што ли?

— Где кончать? По болезни пустили.

— Какая болесть-то?

— А черт ее знат. Докторам известно.

— Конечно, докторам известно,— всхлипывая, сказала Марья,— уморили человека-то, да еще и не говорят — чем.

— Ладно, не лопшись. Буде.

В деревне спрашивали:

— В кумынию не записался?

Милехин отвечал:

— Брюхом не вышел, говорят.

— Ишь ты...— удивлялись мужики.— А у нас тут бают — в Омске-то усех в кумынию пишут, а кто не хочет, тому затылок бреют и к немцам шлют. Не видал таких?

— Не приходилось,— отвечал Милехин.

— Набродь мутить народ, добра не жди.

Милехин подтвердил:

— Не жди...

Но расспросы скоро кончились. Начался взмет земли, и все пошли на пашню. Весна шла тихая, апрель сырел — падали недолгие, но хрупкие дожди.

— Благодать,— не в голос говорил Милехин, чтоб не сглазить.— Оглобля за ночь травой зарастает.

— Дивеса! — охала баба.

Плуг упорно и бойко буравил черную землю. Бурко потел, и от хомута пахло остро и сладко. Поблескивал лемех, поблескивала влажная шерсть на Бурке, и Милехину казалось, что сама отваливается земля — надоело ей лежать. С озер пахло камышами, распускались деревья, а кое-где на них мокрели еще нераспустившиеся почки, похожие на больших жуков.

И как-то не думал Милехин, что в Омске, во втором взводе, лежит у его нар винтовка № 45728 и что он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной Армии.

Куры сходили с насеста поздно. Баба улыбалась и тихо ночью говорила на ухо Милехину:

— Урожай будет.

— Ладно,— сонным голосом отвечал Милехин, и у него слегка щипало краешек сердца. Он притискивал к себе бабу и засыпал.

Когда расцвела черемуха, начали сеять. Утром с востока дул легкий ветерок — хорошо, зерна несло к западу, к покою; потом к полудню ветер совсем прекратился — еще лучше. Солнце стояло в теплом красном круге — смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна.

Потом Милехин пошел в поле и увидал густой зеленый подъем. С вглава — прозорного места, на котором он стоял, пашня походила на зеленую коломенскую скатерть. А по краям — акорье — черные, обгорелые лесины, как стаканы с кирпичным чаем.

— Видал ты... — с уважением к себе сказал Милехин и, вспомнив, что дома не поена скотина, пошел домой.

За воротами его встретил Сенька:

— Батя, там стражник.

— Где?

— В горнице... Шапка большая-я... Я боюсь.

— Не укусит,— сказал Милехин, подымаясь на крыльцо.

Милиционер повез Милехина в волость, а оттуда в уездный воинский комиссариат. Из уезда его отправили в губернию, и губвоентрибунал постановил: за самовольную отлучку из Красной Армии в момент напряженной борьбы с врагами социалистического отечества конфисковать в пользу государства половину его движимого и недвижимого имущества.

1926

БОГ МАТВЕЙ

Три недели уже, как полк пытался взять брод через речку Ик. А брод был отличнейший. Далеко, даже в пасмурные дни, блестело желтое песчаное дно речушки. И, глядя на этот веселый блеск, всем думалось, что только перейти брод — и начнется легкая, веселая война. Белые хлынут наутек вдоль железнодорожной линии, полк каждый день будет вбегать в новый город, хлебные эшелоны (как бы изнемогая от радости) сыто поползут на Русь!

Комиссар полка, Денисюк Александр Петрович, был спокойный и деловитый человек. Его огорчали неудачи у брода. И еще было очень огорчительно, что в увеличивающейся спешке никак не удавалось обновить справленные для праздников с великим трудом и великой экономией превосходные галифе и френч цвета подопревшей соломы. Едва выходил праздник, как приказывали наступать, а в эти три недели, как назло, не пришлось ни одного революционного праздника, а в церковные праздники надевать свои обновы Денисюку было противно. Деревня Талица, в которой стоял штаб полка, несколько раз переходила от белых к красным. Мужики устали от войны, и не было ничего удивительного, что однажды комиссару Денисюку доложили: на передовые линии явился из Талицы житель, Матвей Митрофаныч Костяков, называющий себя богом Матвеем, и заявил, что для пуль он неуязвим и воевать приказывает бросить!

Денисюк мало верил в культурно-просветительную работу, но когда появилось такое живое воплощение предрассудков, он сказал с удовлетворением: «Ну вот, упрекают — не ведем, дескать, культурной работы. Мы им теперь такой докладик напишем, во-о...» И он велел привести бога.

Бог Матвей оказался небольшим мужичком, на голову ниже Денисюка. Бог был в чистой холщовой рубахе длиннее колен. Лицо у него было бледное, восторженное, маленькая, поднимающаяся кверху бородка сияла, вымазанная лампадным маслом, и уголки длинных губ тоже сияли. Денисюк любил довольных людей, он и сам многим был доволен — удачным продвижением полка, храбростью солдат и своей храбростью. А он был действительно храбр, и храбр как-то по-плакатному, очень весело: он бежал, например, впереди полка с

возгласом «за революцию!», он при этом делал какой-нибудь вызывающий жест в сторону белых — и это до слез почему-то и радовало и умиляло солдат. Денисюк был представлен к ордену, в газетах о нем писали несколько раз,— он тщательно вырезал эти корреспонденции и, наклеив на бумажку, отсылал матери, домой. Бог Матвей ему понравился, хотя Денисюка несколько коробила явная снисходительность Матвея. Между ними произошел приблизительно следующий разговор:

— Ты действительно сознаешь себя богом?

Денисюк сразу же почувствовал глупость этого вопроса, а Матвей, кажется, понял это, потому что он ответил с большим, чем раньше, снисхождением:

— А как же, я и есть — бог. Я тебе пришел сказать, что воевать не надо — глупость, а надо жить в мире и в радости. Вот и пуля меня оттого не берет. Приказал я ей меня не брать!

И он опять так посмотрел на Денисюка, что тот внутри как-то смутился, и опять снисходительно засияли уголки длинных губ Матвея. И Денисюк, понимая, что говорить не надо, все же сказал другую глупость:

— А я возьму и пошлю тебя на передовую линию.— И тут уже получилось совсем нехорошо, потому что бог Матвей даже отвернулся в сторону, словно ему стыдно было говорить: «Да ведь я же был на передовой линии, зачем же меня сюда приводить». И он пошел, еще более сияя бородой, лицом, губами,— солдаты, жалостливо и тревожно улыбаясь, пропустили его. Денисюк подумал, что самая пора сказать что-то очень поучительное, вроде — вот, мол, суеверия и тьма, как порог, всем под ноги смотрят. Тирада получилась длинной, неубедительной.

Штаб дивизии прислал спешную депешу — его вызывали. Он забыл о боге Матвее, все же легкое томление где-то билось в Денисюке, оттого на заседании он, с несвойственной ему горячностью, доказывал необходимость немедленного наступления. Предложение его было отклонено. Имелись точные сведения, что белые готовятся перейти речку Ик, к броду подтягивались значительные силы. Такие сообщения раньше всегда его ободряли — очень уж он был уверен в своем счастье. Теперь же он вернулся в полк встревоженным. С неприязнью к самому себе он выслушал сообщение политрука. Политрук Полтавский, плотный рябой человек с острыми и высоко поставленными ушами, часто гово-

рил о себе: «Я как пиявка: кровь пью, но коли надо, и жизнь даю. Для успеха революции самое главное — беспощадность». Он и теперь повторил эту поговорку и добавил, что на передовых линиях солдаты смущены; перед окопами несколько раз проходил невредим бог Матвей. Политрук любил Денисюка, и говорить это ему, по-видимому, было неприятно, но в то же время он как бы любовался своей беспощадностью.

Разговор происходил в крестьянской избе. Денисюк вдруг разглядел, что все избы, виденные им в последние месяцы, внутренним убранством как-то очень похожи одна на другую: мужики прячут все лишнее, а остающееся необходимое во всех избах одинаково. Хозяин избы, должно быть, был очень религиозный человек — на божнице остался образ в серебряной ризе. Да и хозяин слушал их разговор с какими-то подозрительно спокойными глазами. Все это видеть и понимать было сильно неприятно Денисюку, но в то же время он сознавал, что ему ничего не придумать, и долго будут приходить ненужные мысли о крестьянских избах, об иконах, о хозяевах. Он поехал на передовую линию. Окопы были выкопаны наскоро и в песчаной почве, но они уже пахли жильем, портянками, окурки валялись всюду, и неимоверная толщина этих окурков напоминала о войне.

Бог Матвей сидел в окопе на пустом и очень грязном бочонке из-под селедок. Он с аппетитом ел большой кусок черного хлеба, макая его в чайник с чаем.

— Кружку бы дали ему,— неизвестно для чего сказал Денисюк.

Красноармеец, наблюдавший за едой бога, ответил и смущенно и почтительно:

— Дали ему кружку, а он, забывши, вышел в обход свой, у него пулей и вышибло кружку.

Рубаха на боге Матвее была уже грязная и измятая, особенно раздражали прилипшие к рубахе чешуйки селедок.

И Денисюку показалось, что солдаты на него смотрят теперь не с прежним любовным добродушием, к которому он привык, а добродушие их теперь какое-то нарочное. Вот они быстро столпились и стали просить табачку, хотя табак выдавали только вчера,— и это тоже взволновало его. Был ясный день. За речкой над окопами белых летела ворона, и отчетливо было видно, как, когда она взмахивала крыльями (несколько уста-

ло и, может быть, счастливо), от крыла отделялись перья; и вскоре одно перо выпало и, кружась винтом, медленно и как-то тепло падало на землю. Вспыхнул и погас пулемет.

Бог Матвей доел хлеб, собрал в подоле крошки, хотел их положить в рот, но выкинул за окопы.

— Пускай и птица поест... — сказал он лживым, видимо, несвойственным ему тенорком, а затем добавил уже деловито: — Ты не видал, я тебе покажу, Аликсандр Питрович. Воевать нельзя, Аликсандр Питрович!

Он одернул рубаху, оправил поясок, подвинул бочоночек и, покрякивая как-то про себя, вылез из окопа. Сразу же белые открыли огонь. Бог Матвей, мелкими шажками, непрерывно вытирая губы рукой и озорно, боком, поглядывая на Денисюка, прошелся два раза подле окопов, постоял, подумал, улыбнулся хитро и туманно и, сорвав желтенький, неприятно пахнувший цветочек, вернулся в окопы. Цветочек он протянул комиссару. Денисюка поразило не то, что бог Матвей вернулся невредимым, а то, что красноармейцы не отвечали на выстрелы белых, и то, что он, комиссар Денисюк, не скомандовал им огонь. Надо было пожать плечами и уйти, увести с собой блаженного этого, маньяка, но он понимал, что сделать так нельзя: солдаты смотрели на бога Матвея жалостливо, строго и в то же время восхищенно. И его трепетно ожгла мысль: «Убегут!» Страх к нему приходил всегда, как и у большинства, после случившегося ужаса. Сейчас никакого ужаса не было, но все же страх овладел им. Грубо и сжато выражаясь, было такое чувство, словно солдаты уже бегут, бегут по нему, по его счастью, топчут его заслуги перед революцией да и перед самим собой...

И он задорно, по-мальчишески, крикнул:

— А вот и кокнут тебя!

Бог Матвей даже притопнул ногой и так же задорно, чуть-чуть разве повыше, выкрикнул:

— А вот и не кокнут! Бог я или нет?

Денисюк обернулся к солдатам. Красноармейцы молчали. Но раздумывать было некогда, надо было спешить, он вяло сказал:

— Я вот тебе показательную штуку устрою.

— Чего? — оборачиваясь, весело спросил бог Матвей.

— Испытание,— твердо и резко ответил комиссар.

Тогда бог Матвей сразу стал тише. Он опять сел на бочоночек, сказал поучительно:

— Мы с тобой будто небо и земля: два быка бодутся, а никак не сойдутся... однако я с тобой разговарить буду.

И он медленным и деловым крестьянским говорком стал рассказывать комиссару, как он думает устроить испытание. Он выбрал поле, сказав, что там тополь есть посредине, на ветер походит. Сравнение не понравилось Денисюку, он возразил, что такого тополя не заметил. Тогда бог Матвей добавил, что под таким тополем только поучать и притчи рассказывать. Есть у него одна притча... Комиссар поторопил его, и бог подмигнул: потом, дескать, расскажу. Говорок у него был спокойный и твердый, и скоро Денисюк если не совсем, то во многом верил своей мысли, что бог Матвей перед самым испытанием струсит и откажется. Денисюк опять подобрел, уверенно похлопывая себя по кобуре кольта, шел он окопами, и жизнь опять казалась простой и веселой. Испытание назначили на другой день, при заходе солнца. Политрук Полтавский зашел вечером в избу, потоптался, заговорил о каком-то смешном письме и смущенно заметил, что икону-то с серебряной ризой хозяин не спрятал.

— Забыл, должно быть,— сказал он, подходя к печи и облокачиваясь с таким видом, словно ему было холодно...

Он быстро ушел, так и не сказав своих мыслей, хотя едва ли у него было что дельное — тогда присущая ему вера в свою беспощадность помогла бы ему. Денисюк заснул быстро.

День вышел теплый, сухой. Когда Денисюк проходил под деревьями, на руки и плечи ему падали осенние листья — горячие, хрустящие, пахнущие странно: угаром. Огромное поле дохнуло на него теплом. Тополь посредине поля действительно чем-то напоминал ветер. Вдалеке за звонкой, старческого цвета травой виднелся трепещущий багрянцем осинник. Солдаты были встревожены, глаза у них были опухшие: должно быть, спали плохо. Мимо к осиннику верхом на неоседланной лошади проехал бог Матвей. Ему днем выдали четвертушку мыла, он принес из речки, под обстрелом, два ведра воды на коромысле и выстирал рубаху. Она высохла, коробилась слегка — складки и сейчас явственно обозначались на боках. Лошадь он выбрал белую. Он и ее

вымыл. Он приостановился и, не глядя на солдат, восторженно и весело прокричал, чтобы стреляли, когда солнце будет опускаться... Солдаты молча и встревоженно глядели на его острые лопатки, шевелившиеся под опрятной рубахой. Лошадь пошла рысцой. Денисюк взглянул на небо: солнце спускалось за спины солдат, богу Матвею, значит, оно будет в лицо. Денисюк приказал зарядить ружья холостыми патронами. На мгновение солдаты улыбнулись, но затем, должно быть, забыли о холостых зарядах и, крепко сжимая винтовки, встревоженно и устало глядели в осинник. Пение псалма донеслось из осинника. Ни комиссар, ни солдаты не разбирали слов, а они были такие:

Еще немного, и не станет нечестивого;
Посмотришь на его место,
И нет его.
А кроткие наследуют землю
И насладятся множеством мира...

Бог Матвей привык к псалмам. Он пел и в то же время думал, что вот песня, как лук,— без боли и печали приводит в слезы. Он действительно плакал, и от гордости и от радости. А комиссар Денисюк ждал заходящего солнца, стоял в трех шагах от трепещущих внутренней дрожью солдат и туманно думал, что вот этот рядом с ним, румяный и курчавый (Петров, кажется, по фамилии),— если не попадет в бога, возьмет да бросит винтовку и убежит из окопа. Пение усиливалось.

Голова лошади показалась из осинника. Медленно, на белом коне (багровое сияние неслось над его головой), появился бог Матвей. Сияние слепило. «Какая ерунда»,— подумал со стыдом и злобой Денисюк. И он крикнул, глядя в землю:

— Пли! — тогда как выстрелы начались еще до его приказа.

Солдаты стреляли нестройно. Конь, привыкший к выстрелам, спокойно старался достать траву,— оттого руки у бога Матвея были напряженно вытянуты, и пение часто срывалось, и ему было обидно, потому что он думал, что солдаты могут принять это за трусость. Он продолжал пение, но голоса не хватало.

Сияние все более и более било в глаза. И тогда Денисюк схватил винтовку. Он поспешно всунул боевую, сразу вымокшую в его руках обойму. Бог все двигался. Коня тревожили теперь близкие выстрелы, и он уже не рвал

траву. Холостые заряды вышли. Солдаты с такими же лицами били боевыми, они, ясно, сразу не поверили, что им дали холостые. Больше всех спешил румяный Петров. Выстрелы все выпрямлялись и скоро превратились в залпы,— и когда три таких залпа последовали один за другим, разделенные ровными промежутками,— Денисюк кинул винтовку, взглянул в лица,— и отвернулся. Руки его тряслись и не попадали в карманы френча, лицо было мокрое. Залпы прекратились. Комиссар взглянул.

На земле, неистово мотая головой, предсмертно бился конь. Солдаты побежали, но бог Матвей поднялся. И солдаты на мгновение задержались. Ровное облачко дыма взметнулось над ними. Они опять побежали. Бог упал. Быстро — для чего-то поправляя револьвер — комиссар подбежал к богу Матвею. Плечо у него было мокрое и алое. Самодовольно и благостно улыбаясь, он пытался поднять руку — и не мог. На лбу у него, тоненькими тесемочками, был привязан осколок зеркала. Он увидал комиссара, улыбнулся еще самодовольнее и медленно проговорил:

— Ну что, парень, говорил я тебе — меня не снять! Кто меня снимет? Бог я или нет?!

И тогда Денисюк (понимая, что поступать так нельзя, но иначе он поступить не может) поспешно сунул руку в кобуру, и то, что она была не застегнута, чем-то ободрило его, может быть, как доказательство того, что все это заранее где-то далеко внутри его было решено,— поспешно выхватил кольт и одну за другой всадил в бога Матвея три пули. Оглянулся. И тогда все еще более построжали. Румяный и курчавый Петров оказался самым расторопным. Он побежал за лопатами.

Бога Матвея похоронили под тополем, могилу выкопали мелкую, потому что Денисюк торопил, говорил, что будет скоро гроза,— да и то воздух был сухой, по волосам нельзя было провести — они тревожно трещали: быть грозе! И с ужином он торопил и, не доужинав, вскочил,— диспозиции совсем такой не было. Но он приказал двигаться вперед, будто он боялся, что счастье уйдет от него.

Полк загудел одобрительно; замотались в руках винтовки,— и счастье, верно, не изменило Денисюку; к утру переправа была взята, белые отступили, кинув обозы и орудия,— а сам комиссар полка Александр Петрович Денисюк погиб как герой — впереди всех! Ему про-

стили своевольство, за которое хотели судить, и хоронили пышно. Накрыв знаменами, несли через осинник, а затем по звонкой, старческого цвета траве к тополю, который действительно походил на ветер. Грозы так и не было, и стояла по-прежнему великая сушь. Политрук Полтавский сказал обширную речь, вытер слезы,— и многие вытерли слезы.

Громадная толпа окружала тополь, и никто не заметил, что могила бога Матвея была совсем сровнена шагами (к тому же песок быстро высыхает, рассыпается). Холмик бога Матвея исчез. А на могилу комиссара Денисюка однополчане желали положить что-либо достойное, и так как в тот день сбили самолет белых, то в холмик вкопали пропеллер самолета, химическим карандашом жирно вывели: «Пал смертью храбрых»,— и полк двинулся дальше. В тот день случился большой революционный праздник, и наконец-то комиссару Денисюку удалось обновить свою одежду: и он гордо и прямо лежал в своей могиле, одетый в новый френч и галифе веселого цвета подопревшей соломы.

1927

СЕРВИЗ

Едва показался у дверей церкви сторож, намеренно грохочущий ключами (дабы отогнать дремоту), как к паперти уже подошла Катерина Алексеевна. Был какой-то маленький церковный праздник; звонарь долго выбирал, в какой бы ему ударить колокол; священник, страдающий одышкой, белоголовый и глухой, запоздал: старуха многим была недовольна и кресты клала размашистые, твердые, и ей думалось, что все в церкви понимают и страшатся ее неудовольствия. И еще она думала, что она стоит вот в церкви строгая, прямая, во всем черном, а стеганая кофта ее, засаленная, с ленивыми заплатами, горбила ее и без того сутулую спину. Дряблые щеки ее были покрыты серым, грязного цвета, волосом, и острый нос ее всем казался распухшим и как бы потливым, и все оттого, что она редко мылась с мылом.

Опускаясь на колени, она каждый раз оглядывалась на Анфиску, девчонку, приставленную к ней; девчонка спешила ей помочь и делала такое лицо, какое делали все в доме, то есть что, дескать, страшно им гнева Ка-

терины Алексеевны. А на самом деле Анфиска думала, что старуха притворяется, не богомольна она и в церковь ходит только потому — чем же она может отблагодарить хозяев, у которых чуть ли не пятьдесят лет служила она в кухарках и которые дали ей каморку за кухней, пищу и одежу до гроба и еще в прислужение Анфиску. Да и кому любопытно стоять в душной церквушке, пахнущей гнилым ладаном и дешевым воском, когда на улице август; зрелые, слегка желтые листья, устав от радостной жизни, лениво падают с деревьев, виснут на железных зубьях оград; листья эти пахнут плодами, и плоды наполняют базары.

Громадная и солнечная осень надвигается на город; и город гремит, и гремят в небе птицы, и на душе тоже много шуму! А старухе холодно, и на ногах у нее несколько пар чулок, все шерстяные и все один чулок на другой. Шлепанцы у нее тоже толстые, кошемные, без задков, и когда они выходят к порогу церкви, то всегда Анфиска торопит старуху, тянет ее за руку и взвизгивает: «Пойдем, пойдем!» Сразу же с паперти видны сады, ветви сияют солнцем и ветром, а старуха запинается о плетенный из веревок половик, и всегда Анфиска забывает посмотреть на ноги старухи, и каждый раз старуха оставляет здесь туфли и по улице идет в чулках.

А на улице Анфиске и совсем не до старухи, здесь на углах расторопные и веселые мужики с алыми пальцами продавали отяжелевшую запоздалую малину; покупатели со смехом смотрели, как малина вываливалась на землю из кошелки и лежала все такая же сочная и радостная. На лотках сиял голубым цветом виноград. Виноград запахи, должно быть, таил про себя, и Анфиска думала, что никогда рот ее не узнает этих запахов, и так же думали стоявшие подле торговца мальчишки, хотя были, говорят, случаи, когда торговец давал мальчишкам по ягоде или по две. Но стоять тут Анфиска не могла, надо было вести старуху домой,— да Анфиска и не завидовала мальчишкам, а была довольна их счастью, в которое, впрочем, она мало верила. И так же, как и всегда, и в этот день старуха, подымаясь на крыльцо, остановилась у дверей и пожелала вытереть ноги, дабы не наследить, хотя день был сухой и пыльный, но со старухой спорить было нельзя. Старуха ухватилась за скобу,— и тогда опять оказалось, что она забыла на половике в церкви свои шлепанцы. У Ан-

фиски были всегда широко расставлены пальцы рук (словно между этими пальцами лежали еще другие, не видные никому пальцы, да и Анфиска, кажется, так и думала). Катерина Алексеевна посмотрела на эти напряженно рвущиеся в разные стороны пальцы и медленно сказала: «Иди». Анфиска и пошла, хотя ей и не хотелось.

В церкви теперь уже совсем сыро, сторож бродит и ворчит, детей в церкви он не любит, ему все кажется, что дети ходят в церковь воровать свечи (сторож — сапожник, были у него две дочери, а отца оставили, ушли на бульвар за веселой жизнью,— может быть, они и нашли эту жизнь, но только отцу не сообщали). В квартире же хозяев Катерины Алексеевны было пусто — кто ушел на службу, кто на свиданье, а кто просто на солнце, и Катерина Алексеевна, как всегда в таких случаях, прежде чем пройти в свою каморку, обошла всю квартиру. Дверь ей открывала кухарка, она теперь громыхала посудой в кухне. Кухарка была рослая, толстозадая и никак не могла родить ребенка, и муж ее, живший в деревне, грозил, что найдет себе другую жену. Кухарка говорила, что детей у нее нет от недостатка воздуха, она постоянно открывала форточку, чтобы проветривать, а хозяева запрещали ей открывать: они говорили, что из кухни пройдет холодный воздух в каморку Катерины Алексеевны и она может простудиться. Говорили они это не потому, что боялись, дескать, Катерина Алексеевна умрет, а потому, что не любили больных, от которых, казалось им, постоянно идет зараза, и хозяин, круглый и с зачесами на лысину, Федор Сергеич, даже ручку у дам целовать спешил первым, дабы не заразиться от остатков слюны тех, которые целовали руку раньше его.

Катерина Алексеевна же думала, что кухарка хочет ее свести со свету для того, чтобы самой занять каморку, и поэтому она не говорила кухарке того средства, которое, как ей было известно, способствует деторождению. И кухарка понимала это, и они много лет уже собирались переговорить друг с другом, и у обеих не хватало решительности. Комнаты были светлые, просторные, но почему-то оклеенные темными обоями с крупными неестественными цветами наверху, и все гости хвалили и радовались почему-то этой темноте и этим цветам, похожим на щепы. Лучше всего и веселей всего в квартире был буфет.

Буфет этот сохранился еще с тех времен, когда люди не стыдились того (как они стыдятся этого теперь), что они много и хорошо едят, а другие голодают. Этот буфет построили люди, которые ели много,— и когда Катерина Алексеевна остановилась против него, солнце целым окном падало на темный дуб; на резные листья, украшавшие боковые дверцы; на дверцы эти скользил деревянный темный виноград, и он тоже сиял на солнце и, казалось, просвечивал. Ниспадающее почти до полу чрево буфета поддерживали вырезанные из дуба веселые ребятишки, животы у них были крепкие и круглые, и на твердых щеках ликовал тот жир, который они хранили целые столетия. Полка, соединявшая две половины буфета, была толстая, из цельного дуба. Из громадной этой плахи можно было выстроить лодку или, скажем, уложить на нее целого жареного быка. Вот запах мяса наполнил бы целый дом; хозяин подошел бы с ножом, и гости бы, поглядывая уверенно на быка, придвинули бы к себе ближе рюмки... На этой доске стоял забытый соусник французского фарфора с бледными, как бы тающими, розами. Этот соусник был из сервиза, которым гордилась вся семья, много семей, много хозяев Катерины Алексеевны.

О, этот сервиз! Катерина Алексеевна служила ему полсотни лет, больше чем полсотни, семьдесят пять лет! Она пришла к нему впервые девчонкой из деревни, и кухарка, седая и ласковая, строго учила ее, как надо осторожно мыть сервиз, учила теми же словами, которые теперь говорит Катерина Алексеевна девчонке Анфиске. Много войн, банковских крахов, даже революций (во время которых исчезли из этой квартиры персидские ковры и керман-шали, сияющие белыми кругами, кашемировыми своими сердцами), многое прошло мимо этого сервиза, и бледные цветы его напоминали тонким и тощим своим владельцам, что есть розовые кусты, которые цветут даже зимой и не опадают в циклоны! Такие мысли многим людям доставляют удовольствие — и буфет цепко и радостно держал в своем животе глубокомысленные бледные розы...

Катерина Алексеевна хотела убрать соусник, чтобы не толкнул кто его случайно, убрать в буфет, она протянула уже руку, холодная гладь коснулась было ее кожи,— но тут она почувствовала мелкую и тревожную боль в боку. Боль эта быстро прошла, она сменилась тоже быстро промелькнувшим дремотным томлением. Но

тревога осталась, и, не смея одолеть эту тревогу, Катерина Алексеевна прошла в свою каморку. Ход в эту каморку был через переднюю, в маленький темненький коридорчик, из которого одна дверь шла в кухню, а другая к Катерине Алексеевне. Дверь была низкая, так что всегда приходилось наклоняться, и всегда Катерина Алексеевна, за шаг не доходя, наклоняла голову, а теперь она ударилась и, главное, почувствовала боль только тогда, когда остановилась у своей кровати. Боль ее не удивила, но ее удивило то, что она не могла понять, откуда эта боль, и еще то, что она не верила — боль эта оттого, что она ударилась о косяк!.. Ее все более и более клонило ко сну, было такое чувство, особенно в руках, что ею исполнена какая-то очень долгая и не столько утомительная, сколько однообразная работа. Пальцы, казалось ей, слипаются, а глаза — уже давно слиплись, хотя она все отчетливо и ясно видела. Окно было плохо промыто; следы от воды бороздили его,— ей захотелось открыть окно. Она и сказала об этом окне вошедшей Анфиске.

Деревья в саду уже оголились, потому что сад стоял на ветреном холме, и через стволы были видны главы далекого монастыря, главы эти тускло блестели, как созревшие плоды. Когда Анфиска повернулась от окна, старуха лежала вытянувшись, и у нее было такое строгое лицо, от которого только теперь Анфиска действительно почувствовала страх. Обе руки старухи были плотно сдвинуты: концы пальцев, грубые и толстые, были в морщинах и грязи. Старуха внятно и раздельно сказала Анфиске:

— Поди принеси тарел... да не из кухни, из буфета.

Катерине Алексеевне хотелось говорить, и ей думалось, что она говорит шепотом, потому что ей хотелось закричать не то с радости, не то с горя, с какого-то неизвестного чувства, которого она не ощущала никогда. Она поджимала губы, но губы ее лежали неподвижно, и она видела, что Анфиска суетится и торопится так неумело, что суета ее только путает ее движения, и когда Анфиска показалась в дверях с тарелкой в руках и бледную розу пересек переплет рамы, Катерине Алексеевне стало обидно впервые, что к ней приставили такого человека, который не понимает простых слов и простых желаний. Анфиска же видела на этом неподвижном и побагровевшем лице какую-то удалую злобу,

и эта злоба была так ясна и так томительна, что Анфиска, понимая, что надо бы бежать и сказать о Катерине Алексеевне на кухне, все же не имела сил бежать, и когда старуха сказала ей сердито:

— Чево принесла? Две надо принести! — Анфиска пошла и принесла вторую тарелку.

Старуха попыталась приподняться, Анфиска подложила ей под спину подушку, но этого показалось мало, и она положила еще стеганую кофту, а потом и валенки. И тогда старуха, преодолевая нестерпимую сонливость и стараясь как бы выпрямить свое стянутое в судорогу лицо и думая, что это ей удается, разомкнула медленно слипавшиеся свои руки, взяла в каждую руку по тарелке, и, когда она взяла эти тарелки, она ясно почувствовала — теперь ей бояться некого, она взмахнула яростно руками,— и веселая и легкая бодрость овладела ею, и сон дунул сухим ветром на ее глаза. Она уже не слышала, как стукнулись и разбились в ее руках тарелки и как большой палец ее руки упал на острый черепок фарфора и — не почувствовал острия. Лицо ее было багрово, и бледность начала медленно сходить с кончика носа на щеки. Белое это пятно ширилось, заполняло все лицо, а тело ее все выпрямлялось и выпрямлялось.

У табурета подле кровати стояла Анфиска, и ей было не страшно видеть то, как бледнеет это напряженное багровое лицо, а ее пугала до озноба непонятная мысль: почему же старуха разбила тарелки? И только тогда, когда она подумала, что могут решить, что тарелки разбила не старуха, а она, Анфиска, ей стало легче, и неподвижное лицо старухи показалось ей страшным и в то же время родным, и она горько заплакала.

1927

ОСОБНЯК

Глава первая

Началось это все с того, что Е. С. Чижов привез из северного уральского города Н. в Петроград на продажу партию кренделей. И хотя крендели частью заплесневели и сам Ефим Сидорыч в номере гостиницы долго счищал с них плесень, партию эту, как и предыдущие партии, он продал с большой прибылью. Когда он торговался о цене с покупателем, толстым и угрюмым, в

бешмете защитного цвета, на площади у вокзала послышалась стрельба. Но митинги, и различные выборы, и даже свержение царя торговле баранками не помешали, и Ефим Сидорыч скоро забыл о революции, так как другие мысли, неожиданные и более страшные, захватили его голову и его сердце. Однажды, проснувшись утром, он вдруг ощутил непререкаемую необходимость, что он должен иметь дом, жену, скот: коров, лошадей, много утвари и сбруи,— то есть все то, о чем он раньше думал редко, так как считал себя человеком беспечным, способным прожить данные ему годы без лишних тревог, беспокойств и водки. Квартировал он вместе со своей матерью Варварой Петровной и тетушкой Катериной Петровной у переплетчика Смирнова, занимая большую комнату и кухню за четыре рубля в месяц, а кроме того, Ефим Сидорыч жил с женой переплетчика, крикливой и вертлявой бабой. Жена переплетчика была нетребовательна — ласкова настолько, насколько позволял ей характер. По воскресеньям она пекла хорошие шаньги и покупала где-то необыкновенно сладкую сметану. Жизнь была удобна и легка, и неожиданное обилие желаний, пришедшее к нему в номере петроградской гостиницы, очень огорчило Ефима Сидорыча. И, дабы отделаться от желаний, он их немедленно попытался исполнить и поступил так, как обычно поступают в таких случаях люди: он выполнил, если можно так сказать, тени своих желаний. Он написал письмо давнишнему своему знакомому в город Н. штабс-капитану С. М. Жиленкову, и в этом письме среди других новостей упомянул о своей мечте купить дом. Затем он взял с Невского румяную — городским едким румянцем — девушку, прокатился с ней на извозчике и, пролежав с ней в кровати отпущенные ему природой минуты, заказал яичницу с молоком. И тому, что он заказал яичницу с молоком, не удивились ни девка, ни он сам,— а молоко было жидкое, с каким-то известковым вкусом. Собой Ефим Сидорыч был строен, с бородкой клинышком, с пустыми и в то же время настойчивыми глазами. Его часто принимали за учителя, и никому в голову не приходило, что Ефим Сидорыч Чижов — бывший сапожный и шорный мастер и что кожа пальцев его полна несмываемой темно-желтой краской и ногти его синие и необыкновенно твердые. И девка с Невского спросила: не учитель ли Ефим Сидорыч, потому что сейчас много учителей выступают на митингах. И, с не-

приязнью взглянув на девку, Ефим Сидорыч подумал: «Надо ехать. Ехать надо».

И в тот же день уехал в город Н.

Но и в городе Н. тупые и мучительные желания, охватившие Ефима Сидорыча в Петрограде, не схлынули, а приобрели какой-то непонятно насмешливый характер. Например, в первый же день приезда Ефим Сидорыч встретил Жиленкова, штабс-капитана,— того, к кому он написал письмо. Жиленков служил в армии по призыву, а до призыва занимался, как он сам себе говорил, «землеустройством», а всем остальным: «Разыскиваю пастбища», и вообще у него была манера направлять мысли людей о нем в противоположную от истины сторону. А «землеустройство» его заключалось в комиссионной торговле усадьбами и главным образом лесом. Письмо Е. С. Чижова штабс-капитану показалось подозрительным, и он постарался встретить Ефима Сидорыча в первый же день приезда. Вперив взгляд постоянно меняющих цвет глаз и шевеля своими белесыми и необычайно длинными ресницами, как бы ползущими на лоб, штабс-капитан напряженно спросил:

— В Оренбургскую степь едете?

— Зачем?

— Ну в Оренбургскую, не скрывайте.

— Да зачем мне в Оренбургскую? — спросил недоуменно Ефим Сидорыч.

Жиленков, с таким видом, как будто этим разговором и обижают и обманывают его, отошел и в нескольких шагах крикнул:

— А домик я вам подыщу. Поезжайте, наживитесь, а я вам пока подыщу.

Ефим Сидорыч сразу же понял, как можно нажиться в Оренбургских степях. Многие торговцы пытались пригнать оттуда в центр табуны скота, но дорога скудная, скот мёр... Но и баранки возить в Петроград столь же опасно, и нажива, как и всё в жизни, зависит от счастья. Ефим Сидорыч и направился в Оренбургские степи, удачно и быстро пригнал оттуда жирный и гулкокопытный скот. И вновь деньги Ефима Сидорыча увеличились, но одновременно с деньгами увеличивалась революция. Уже скот, пригнанный из Оренбургских степей, ели недовольные солдаты на фронте; уже Ефима Сидорыча торопили в следующую поездку, дабы уговорить жирным мясом бунтующих солдат, но тут пришел к нему штабс-капитан Жиленков и в то же вре-

мя привезли в город великого князя Б.— как носились слухи, претендента на русский престол. Жиленков заявил: в центре города есть особняк, вполне по чижовским деньгам, два каменных этажа с деревянными пристройками в виде голубя. «Как?» — спросил оторопело Ефим Сидорыч. И точно: когда Ефим Сидорыч осматривал особняк, то деревянные сараи чем-то напоминали распростертого голубя. А за сараем виднелось соседнее поместье: угрюмый, трехэтажный, похожий на тюрьму, с узкими окнами дом. Тощий березовый сад как-то болезненно разбегался от этого дома. И как только два таких различных дома могли стоять рядом! Особнячок, рекомендованный Жиленковым, был обсажен елочками; песчаные дорожки походили на полосы созревшей ржи, колеблемой ветром; трава пахла медом. Ефим Сидорыч купил особняк и окрасил его в зеленую краску. Тотчас же пришел Жиленков, к зеленой краске отнесшийся подозрительно. Жиленков сказал, что в уезде, в имении князя Хаванского, удрученного революцией, спешно, за бесценок, продается мебель. Купили мебель, обили ее шелком, а обойщики заявили, что мебель старинная и ценная. Насмешливая удача преследовала Ефима Сидорыча; в другое время он бы никак, а тут сразу поверил обойщикам и попросил тетушку Катерину Петровну позвать штабс-капитана Жиленкова.

Глава вторая

Жиленков сказал обидчиво, что Ефим Сидорыч несомненно знает, какую ценность представляла собою мебель, а впрочем, обещал достать каталоги. По французским антикварным каталогам выяснилось, что мебель принадлежала брату Наполеона Первого и в Россию привезена в 1815 году, а стоит она... Жиленков от обиды и зависти даже зажмурился.

Катерина Петровна подыскала невесту — дочь местного адвоката Маркелла Маркеллыча Епича, Манечку Епич, такую невесту, какую хотел Ефим Сидорыч: семнадцатилетнюю, степенную и добросовестную. Катерина Петровна всю жизнь мучилась стыдом от того, что жила на средства племянника; часто, глядя на опрятную бородку Ефима Сидорыча, хотела она сказать обиженно: «ухожу», а скажет совсем другое. Теперь Катерине Петровне казалось, что за хлеб как будто отплачено. Сам Маркелл Маркеллыч все время говорил — и все

время убедительно, а дочка, Манечка, все время молчала,— и это тоже было не менее убедительно. Семью Епичей уважал весь город, и семья уважала всех. Дела у адвоката были неважные; он с удовольствием отдавал дочь, тем более что Ефим Сидорыч приданого не требовал. Утешаться бы Ефиму Сидорычу! Но беспокойство и новое желание овладело им, и беспокойство это охватило его на Соборной площади. А на Соборную площадь он попал вот почему.

Великий князь Б. вначале был поселен во дворце Строгановых, огромном, украшенном колоннадой здании на Соборной площади. Многочисленный караул из солдат и матросов охранял великого князя Б. В городе, а чаще всего на Соборной площади, стали встречаться какие-то странные тонкотелые офицеры с испуганными и в то же время наглыми лицами. Обыватели с гордостью гуляли по площади. И Варвара Петровна позвала сына и сестру погулять на Соборную площадь. У Варвары Петровны всю жизнь, с того дня, как подрос сын, было хотение слушать сына, а всегда происходило так, что слушаться его было невозможно. И даже в деле — важнейшем во всей жизни: в постройке или покупке дома — она считала, что сын поступил неправильно. Если город бунтует, то покупать дом надо в деревне! Старуха была выше сына на голову, с солдатским решительным шагом и с такими же, как и у сына, серыми и настойчивыми глазами. Ефим Сидорыч политику презирал, на площадь он пошел с неохотой. Окна как бы вынутые из красного вина; плоская оловянного цвета крыша, похожая на серое облако; площадь, поросшая редкой и как бы чугунной травой; и воздух, в котором было слышно, как на дворе здания крякнул солдат, кидая ремень на булыжник, и как зазвенела пряжка; и колючая проволока, похожая на траву,— проволока, которой был обтянут фасад дворца,— все это как-то непонятно оживило Ефима Сидорыча. Подошел гулявший по площади Епич с дочкой. Епич познакомил Ефима Сидорыча с офицером, которого сразу как-то и не заметили, хотя он был и высок и плечист. Офицера звали Голофеевым Сергеем Сергеевичем; он некогда служил в гвардии, был монархистом, понимающим, что монархия гибнет, но не знающим, куда ему идти, и не верящим в людей. Его укоризненное и какое-то мертвое лицо кривилось, так что смотреть ему в глаза было трудно и неприятно, а некоторым в разговоре с ним

казалось, что они как бы разговаривают с мертвецом. Маркелл Маркеллыч заговорил о монархии и евреях. Он даже писал книгу о ритме Египта, в которой доказывал, что евреи погубили ритмический Египет, ибо они антиритмичны. Офицер Голофеев с безнадежной скукой смотрел в окно строгановского дворца. Темнело. Ефим Сидорыч пожал руку невесте. Она ему ответила. Ефим Сидорыч стал рассказывать о своем особняке. Все на него взглянули недоуменно, и он неожиданно предложил офицеру у себя квартиру. Офицер согласился...

— Вот это герой! — воскликнул Маркелл Маркеллыч, обнимая Ефима Сидорыча.

— Я не герой,— ответил Ефим Сидорыч,— но признаю, чтобы поступки были немедленные.

И все согласились с ним, понимая и не спрашивая, какие бывают поступки немедленные и после каких мыслей.

Глава третья

К великому князю назначили нового большевистского комиссара. Комиссара этого звали Петров Иван Григорьевич, и у него был брат Семен Григорьевич, председатель губернского Совета. Комиссар Иван Петров настаивал на пленуме Совета, что стыдно и агитационно нехорошо держать великого князя во дворце Строгановых. Великий князь теперь — обыватель, не больше других, да и вредный к тому же обыватель. Пленум Совета согласился с доводами веснушчатого и короткорукого комиссара и постановил: перевести великого князя в более малое и менее требующее расходов от пролетарского государства помещение. И вот великого князя Б., грузного, с бабьим голосом старика, перевели в трехэтажный дом, находящийся рядом с особняком Ефима Сидорыча. Ефиму Сидорычу было обидно видеть из окна своего особняка, как, входя в дом, великий князь снисходительно и, пожалуй, даже заискивающе разговаривал с большевистским комиссаром Петровым. Вечером Ефим Сидорыч, офицер Голофеев и будущий тесть Маркелл Маркеллыч стояли у дверей балкона, с которого были видны окна, обтянутые колючей проволокой,— окна, где часто проплывал шатающийся силуэт великого князя. И Ефим Сидорыч первым пожалел, что балкон занесен снегом и нельзя выйти и помахать великому князю белым платочком, да и к тому же белый платочек не виден на снегу.

— Вы — ярый монархист! — снисходительно сказал Маркелл Маркеллыч.— Вот не ожидал! А пора великому князю подумать и о повороте.

— Пора, пора,— повторил Ефим Сидорыч, и холодок восторга пронесся по его телу.

Офицер Голофеев взглянул на него мертвыми, злыми глазами и отвернулся.

Из-за суматохи, пайков, приказов на заборах (а Маркелл Маркеллыч, кажется, потому, что надеялся на свадьбу и любовь Голофеева) Ефим Сидорыч соглашался на откладывание свадьбы. Да и к тому же он не особенно надеялся, что беспокойство, владевшее им, исчезнет. Теперь он уже сильно скорбел о монархии. Маркеллу Маркеллычу даже приходилось удерживать его скорбь. Комиссар Иван Петров, опять степенно потрясая длинными каторжными волосами, доказывал на пленуме Совета, что в области заметна организация офицеров; военнопленные империалистической войны волнуются; нарастает контрреволюция, а великий князь Б. живет в громадном доме из тринадцати комнат, в то время как пролетариат заводов... Потрясая пустым и тусклым графином, комиссар завопил... Гул одобрения пронесся по залу губернаторского дома. Пленум согласился со словами комиссара Ивана Григорьевича Петрова.

И вот в теплый предвесенний вечер, когда на дворе играла снежная буря, больше похожая на дождь, и елки как бы проходили сквозь льдины, оставляя на своей хвое замороженные капли,— Ефим Сидорыч вместе со своей семьей и друзьями пил чай и слушал, как Маркелл Маркеллыч развивал ему план: через матросов можно провести большую партию муки в Петроград. Послышался робкий и короткий звонок: с таким звонком часто приходил Голофеев, приводя с собой приятелей, таких же, как он, мертвеннолицых, безнадежно вежливых и неумело переодетых. Ефим Сидорыч открыл дверь без спросу. Перед Ефимом Сидорычем стоял комиссар Иван Григорьевич Петров, дальше виднелись красногвардейцы и матросы с револьверами и бомбами. Комиссар не без удовольствия весело-деловитым голосом прочитал постановление пленума Совета, из которого было видно, что Совет признает жилищную площадь, занимаемую великим князем Б., огромной и дорогостоящей для пролетарского государства. Жилищную площадь эту он передает детскому дому, а велико-

го князя переселяет в особняк, принадлежащий гражданину Е. С. Чижову.

— Как же меня выселять? — тихо сказал Ефим Сидорыч.— Меня не следует выселять, и, кроме того, у меня квартиранты!

— Вместе с квартирантами,— ответил комиссар.— Берите подушку и катитесь колбаской вместе с подозрительными вашими квартирантами.

— А мебель? — спросил Ефим Сидорыч.

— Мебель остается у коммуны! — ответил комиссар.

И Ефим Сидорыч взял подушку, одеяло и пошел спать к переплетчику Смирнову, по-прежнему живущему у кладбища. При расставании Маркелл Маркеллыч сочувственно поцеловал его, но в квартиру к себе не пригласил.

— Жизнь подле великого князя наложила на вас известные обязательства и известные подозрения,— сказал Маркелл Маркеллыч,— а у меня семья и дочь-невеста.

— Я вас понимаю,— ответил Ефим Сидорыч, и он действительно понимал Маркелла Маркеллыча, и ему даже на минуту стало жаль его.

Глава четвертая

Проснулся Ефим Сидорыч от вони и шипения подгоревшей картошки. В кухне тихо разговаривали женщины. Старуха ворчала: «Надо было покупать дом в волости... И хоть бы отняли за долги!» Запах подгорелой картошки на мгновение даже обрадовал Ефима Сидорыча: он вспомнил начало своей любви к переплетчице. А теперь переплетчица растолстела, тело у нее ползет в стороны, и пахнет от нее нехорошо... Ефим Сидорыч озлился: «Донесли, позавидовали! Весь город завидовал наполеоновской мебели!.. Сколько разговоров было». И разговоры, и сожаления о великом князе, и то, что было жалко этого грузного старика, которого мучат, перетаскивая с места на место, а там, гляди, и судить будут,— все показалось Ефиму Сидорычу вздорным и ненужным. Но он сразу раскаялся в своих мыслях и пошел есть картошку. Картошка была та же самая, которую он ел в особняке, но здесь показалась она ему невкусной и водянистой. Он подумал, что скоро придет переплетчица, которая начнет заигрывать с ним, а мать и тетушка деликатно уйдут. Затем переплетчица засо-

пит, раскроет мокрый рот, похожий на луковицу. Он со злостью посмотрел на мать и крикнул:

— А все ты!.. все перечишь!.. Уходила бы ты от меня скорей.

Мать громко и протяжно заплакала, и тетушка Катерина Петровна, вспомнив хлеба́, которыми она себя попрекала, отложила вилку и тоже заплакала. «Нет, напрасно Ефим Сидорыч разговаривал о монархизме!..» Он сплюнул даже от таких мыслей.

На улице Ефим Сидорыч встретил офицера Голофеева. Голофеев шел в ту сторону, где жила невеста Ефима Сидорыча. «Отбивать пошел, обрадовался!» — подумал Ефим Сидорыч и поклонился Голофееву. Тот сделал такое лицо, как будто пять лет назад знал, что Ефим Сидорыч его предаст, и выпрямил спину... Ефим Сидорыч быстро прошел в почтовое отделение, попросил бумаги, конверт и трясущейся влажной рукой написал донос в Чека. Опустив письмо в ящик, Ефим Сидорыч ощутил необычайный стыд и томление (вроде того, каким он страдал в Петрограде). Он поспешил написать заявление в исполком, чтобы ему выдали наполеоновскую мебель, как имеющую огромную «духовную» ценность. Ему стало как будто немного легче, и, гуляя по городу, он убеждал себя, что поступил правильно,— Голофееву терять нечего, поднимет восстание, а мертвых и без того хоть отбавляй. И у приятелей, что ходят к нему, тоже небось динамит в карманах. На другой день он пошел за ответом о мебели в исполком. На его длинной записке лежала резолюция — синим, плохо очиненным карандашом: «Прс. гр-на Чижова оств. без последствий». И тут же он услышал об аресте Голофеева, и только тогда, когда узнал подробности ареста, он увидал, что рассказывающий — штабс-капитан Жиленков, уже в солдатской шинели и без погон.

— Мебель моя представляет духовную ценность? — спросил он Жиленкова.

Тот подозрительно попятился и немедленно согласился. Ефиму Сидорычу было сильно грустно. Он пошел на обрыв, к пруду. Отсюда была видна Соборная площадь и дворец Строгановых. Во дворце находились уже военные большевистские курсы. Через площадь шла Манечка Епич под руку с каким-то опрятно одетым солдатом. Ефим Сидорыч понял, что верит Манечке и она верит ему, хотя он жених и пожилой и не сов-

сем красивый. И она сразу же покинула кавалера, подошла к Ефиму Сидорычу, нежно пожала ему руку. Ефим Сидорыч отошел с ней в тень тополя, пожал ей локоток, хотя ему хотелось пожать грудки, а она так и поняла, что он ей сжал груди, потому что она стыдливо сказала шепотом:

— Да что вы, Ефим Сидорыч!

Манечка Епич умела очень искусно и молча сочувствовать людям, и те понимали, что она сочувствует им. Например, Ефим Сидорыч рассказывал ей об отнятой мебели, и она сочувственно добавила то, о чем забыл Ефим Сидорыч:

— Сейчас мебель невозможно вывезти за границу, а ведь придет же время.— И добавление это к мыслям Ефима Сидорыча сильно умилило его. И, кроме того, из разговоров он понял, что действительно может быть верна, потому что не любит беспокойства.

Ночью Ефим Сидорыч написал письмо исполкому, где доказывал, что великого князя нечего переселять с места на место, а надо его вырвать с корнем, то есть расстрелять, и расстрелять немедленно, ибо в городе организуются шайки офицеров и английских шпионов и возможен переворот... Писал он искренне: иногда в трогательных местах, где он защищал права бедноты, слезы проступали у него на веках. Он вспомнил свое детство: и корки черного хлеба не было, а по толкучке когда скитался, видел, как там ели требушину за семь копеек порцию,— такой обед за счастье считал; ночевал на барке у пруда... мастера били колодками по рукам... в помещенье нестерпимо воняло мокрой кожей. И теперь он ввергнут в то же положение!.. И великий князь виноват тут тоже отчасти!.. Он хотел подписать своим именем, но раздумал и написал: «От имени пятидесяти рабочих — сапожников и шорников...» И дальше неразборчивые каракули. Ефим Сидорыч сам отнес свое заявление в исполком. На лестнице исполкома опять встретился Жиленков со звездой на солдатской фуражке.

— Дают роту,— сказал он громко Ефиму Сидорычу в лицо.— Доносы на меня не помогают — верят.

И Ефим Сидорыч ответил:

— Да и я верю вам.

Жиленков ехидно погрозил ему пальцем, тонким и длинным. Ефим Сидорыч три дня был наполнен ожиданием. Хотя он и не подписал адреса, но ему казалось,

что вот-вот придут какие-то важные комиссары и поблагодарят его за превосходные мысли. Лицо его пылало, и он чувствовал сильную жажду. Спал он плохо и на третью ночь бессонницы пытался написать стихи: трехсотлетнее иго должно быть свергнуто, уничтожено! Но стихи не выходили, хотя внутри тела он ощущал трепетания, непохожие на все прежние трепетания; и к себе, и к своей незадачливой жизни он чувствовал возрастающую жалость. Стихи он отнес в газету. Румяный секретарь бегло посмотрел и сказал:

— Тысячи таких есть,— и подал ему номер газеты. Жирным шрифтом газета сообщала, что просьба Ефима Сидорыча о расстреле великого князя исполнена и приговор приведен в исполнение.

— Но ведь это же я! Я написал пожелание! — крикнул Ефим Сидорыч спокойному секретарю.

Е. С. Чижов, размахивая газетой, пронесся по лестнице. На крыльце губернаторского дома он сложил газету вчетверо таким образом, чтобы сообщение о расстреле можно было сразу прочесть, аккуратно оправил газету в кармане и подумал о подушке. Но мысль о подушке показалась ему смешной, и он торопливо пошел к своему особняку. Длинноногий красногвардеец в лаковых сапогах стоял у вороха колючей проволоки. Проволокой была обвита уже ограда особняка; телефонные нити были протянуты по елкам; красногвардеец на все это, казалось, смотрел с грустью.

— Назад,— сказал он уныло,— тебе кого?

— Это мой дом и моя мебель,— ответил Ефим Сидорыч, доставая из кармана газету.

Красногвардеец взглянул на газету, зевнул, глаза у него были сонные и голодные, и он неожиданно ласково сказал Ефиму Сидорычу, что здесь был великий князь,— верно, был и позавчера расстрелян, а теперь в этом особняке поселится с секретарями и штабом комиссар Петров.

— Это который настаивал? — спросил Ефим Сидорыч злорадно.

Красногвардеец ответил:

— Не. Брат. Который молчал. Семен Григорьич.

Ефим Сидорыч не поверил красногвардейцу, сел подле дома на камушке. Вскоре приехал на машине комиссар Семен Петров — веселый, плечистый, с охотничьей собакой на коленях. И стража и комендант дома особенно ласково смотрели на рыжую собаку. Красногвар-

деец-часовой что-то сказал комиссару, тот посмотрел в сторону Ефима Сидорыча, пошел даже к нему с радостным и добрым лицом, но на полдороге вернулся и, посвистывая, ушел в дом. Собака прыгала вокруг него, и даже слышен был ее веселый визг и прыжки в доме. Ефим Сидорыч сказал возмущенно красногвардейцу:

— Я даже дома не прошу, отдайте мне мебель! Я же способствовал уничтожению великого князя, я же им предложил...

Красногвардеец вдруг лениво вскинул ружье на руку.

— А мне, дяденька, надоело на тебя смотреть. Ты вот сидишь, а я в тебя и в сидячего палить буду...

Ефим Сидорыч перекрестился и медленно отошел от своего дома.

В Совете ему сказали, что вопрос о мебели по-прежнему остается открытым. Вечером Ефим Сидорыч пил у Маркелла Маркеллыча чай.

— Я поддерживал эту власть,— воскликнул Ефим Сидорыч,— через все возражения друзей и родных поддерживал. А что получал?

Маркеллу Маркеллычу хотелось говорить; он открыл рот, но Ефим Сидорыч поднес к его лицу чашку с чаем и прокричал:

— Вы даже чай мне из ненависти жидкий налили! Я поступок Жиленкова одобрил. Я расстрел великого князя одобрил...

— Бодро держался, говорят,— задумчиво глядя на чай Ефима Сидорыча, сказал Маркелл Маркеллыч.

— Жиленков — патриот и офицер, а в Красной Армии?.. Какая ему польза?

— Бодро держался при расстреле,— вдруг громко, глядя в лицо Ефиму Сидорычу, сказал адвокат.

Ефим Сидорыч растерянно улыбнулся.

— Бог ему судья.

— Бог ли? — завопил адвокат, и лоб у него стал багровый и потный.

Ефим Сидорыч встал, отодвинул чашку и резко сказал:

— Я виноват, каюсь. Старика убили зря. Но и вам, Маркелл Маркеллыч, вашего крика простить я не могу.

И Ефим Сидорыч ушел и от своей невесты, и от своего будущего тестя и, переходя двор, пустынный, некогда наполненный птицей, зерном и навозом, чувствовал в себе огромный стыд и смятение.

Глава пятая

Ефим Сидорыч часто ходил за справками из новых законов в исполком. Он долго вчитывался в законы, выписывал их себе на листок, а оттуда в заявления о передаче ему мебели. Едва сдав заявление, он вспоминал о том, что на его мебели лежат с сапогами красногвардейцы, комиссар удало стряхивает пепел на шелк его, Ефима Сидорыча, диванов,— и составлял новое заявление. И каждый раз доводы, приводимые им, казались ему все убедительнее и убедительнее. Наступила весна, и лето, и осень; проходили по губернии и области мятежи, восстания и продразверстки; комиссар Петров обзавелся новой машиной, съездил на польскую войну и привез оттуда веселую и высокогрудую жену; жена принесла ему вскорости девочку. Ефим Сидорыч проходил мимо особняка: там справляли рожденье, хохотали и пили водку. Ефим Сидорыч забыл уже, какого цвета шелк на диванах и креслах, и только малиновый сафьян кабинета остался у него в памяти, и то только потому, что исполкомовский сторож вдруг появился в малиновых сафьяновых туфлях. И запах и рисунок кожи были знакомы Ефиму Сидорычу.

— С дивана сорвали, что ли? — спросил он сторожа.

— Не знаю откуда,— ответил сторож,— только мне председатель подарил туфли.

Пришел голод, и во время голода Варвара Петровна впервые в жизни исполнила желание сына — ушла от него. Хоронили ее осенью, могилу копал сам Ефим Сидорыч, а закапывать — вдруг руки ослабели!.. Он взглянул на свои руки: они стали морщинисты до неузнаваемости, и желтая краска сапожного мастерства залила теперь даже тыл ладоней. Ефиму Сидорычу стало жаль не себя, а старости и смерти матери своей, а затем стало жаль и старости Катерины Петровны, тетки, и зачем-то вдруг вспомнился расстрелянный Голофеев и недавно приехавший с войны Жиленков, все такой же подозрительный и напуганный, хотя он теперь заслуженный красный офицер. Жиленков работал по искусству: сооружал городской музей... Ефим Сидорыч, вернувшись с похорон, долго писал (как и десяток раньше, как и десяток позже) донос на дела и безделья комиссара области Семена Петрова. Сдав донос, он — многие годы уже так — ощущал себя непоколебимо твердым — «правым» (он так и думал — «правым», уже не зная, в чем

заключается его правизна: в монархизме ли, в буржуазной ли республике и во власти ли вообще, а может быть, вообще в торжестве злости), и тогда он шел к Маркеллу Маркеллычу. Они уже давно помирились. Манечка Епич была по-прежнему верна Ефиму Сидорычу,— возможно, оттого, что женихов не было. Случился какой-то комиссар — жених, но прошел непонятно-позорный слух про Манечку — и схлынули женихи. Она похудела было, но выправилась быстро и начала опять ждать Ефима Сидорыча. Маркелл Маркеллыч стал правозаступником и в важные минуты любит говорить, обращаясь к судьям: «Ваше пролетарское самосознание должно идти в ритме эпохи. Вот смотрите: Египет...» Жиленков был уже заведующим-хранителем музея и экспертом по отнятым ценностям. Подмигивая и прихихикивая, принес он Ефиму Сидорычу документик, из которого явствовало, что «наполеоновскую» мебель Е. С. Чижов купил на трудовые свои деньги, ценности она не представляет, и люди, сведущие в искусстве, не возражали бы против возврата оной «наполеоновской» якобы мебели ее владельцу. Маркелл Маркеллыч добыл такую же бумажку от профсоюза, а позже, когда Ефим Сидорыч поступил в кооперацию, и кооперация подтвердила ходатайства и людей искусства, и людей профсоюзной работы. Ефим Сидорыч смотрел на жизнь комиссара С. Г. Петрова — невеселая у него была жизнь! Комиссар, видимо, скучал: много пил, поигрывал в карты и пел по утрам военные песни. Голос у него становился все хриплее и хриплее, и собой комиссар грузнел, и не было в нем уже той прыткости, когда он, захлопнув калитку, бежал к жене. Да и жена заметно постарела: щеки у нее обвисли, и она начала носить капоты и перестала вспоминать о Польше...

И вот однажды произошло так, что комиссар по пьяному делу обругал ночью рабочих, работающих на прокладке водопровода. Ефим Сидорыч донес. Раньше, несколько лет назад, он доносил только на то, что он точно знал о комиссаре, а теперь он писал о любом слухе! Уважение и страх к власти исчезали; он видел, что эту власть можно обмануть так же, как он обманывал раньше учреждения или торговцев. Комиссара вызвали в партийный суд (неизвестно, из-за рабочих ли, а болтали — по оппозиционному делу), и отправился комиссар на север! Уехал он бесславно, и секретари, и многие собутыльники покинули его. Исполкомовский

сторож в истертых сафьяновых туфлях пришел провожать комиссара Петрова. Особняк пустовал два дня, а на третий к железной ограде его подъехали две подводы: Ефим Сидорыч и его невеста сидели на них! Исполкомовский чиновник открыл двери: «Да, конечно, обивку на мебели необходимо переменить, но особенно большой реставрации от мебели не требуется». Жиленков поздравил молча Ефима Сидорыча и молча же стоял он у загса, куда пошли записать свою удачу Ефим С. Чижов и М. Епич. Затем молодожены, пригласив на свадьбу к себе, в волость, выехали на большую дорогу, за город. Маркелл Маркеллыч со слезами смотрел им вслед и, когда возы и таратайка с молодыми исчезли из глаз, обернулся к Жиленкову.

— Стареем,— сказал Маркелл Маркеллыч со вздохом.

Жиленков посмотрел на него со злостью и с подозрением, а затем испуганно и любезно улыбнулся.

Утром Ефим Сидорыч проснулся раньше всех. Он раскрыл окно. Перед ним была волостная площадь, и громадная желтая вывеска кооператива, в котором он служил, сияла росой и веселым солнцем. Он обернулся: пышная, украшенная бронзой, завитушками, заморским деревом, шелестя шелками и шнурами, мебель заполняла все комнаты. За перегородкой спала верная жена — ее ровное дыхание было солидно и хозяйственно, она имела право так спать потому, что честно, через многие испытания пронесла свою верность. Ефим Сидорыч достал из шкафчика малиновое варенье. На крыльце Катерина Петровна ставила самовар. Ефим Сидорыч пил чай — стакан за стаканом — и смотрел на великолепную дорогу, ведущую к волости. Темная пыль была похожа на шелк, который так необходим для мебели и для счастья! Сердце Ефима Сидорыча было наполнено спокойным торжественным ожиданием. За окном, шепелявя, пело дерево, и птицы молча носились среди ветвей, неслышно перебирая теплыми и пушистыми крыльями.

1928

БАРАБАНЩИКИ И ФОКУСНИК МАТЦУКАМИ

Услышав голос нищего, я внезапно понял, почему меня раздражила его жирная, грязная рука и закрученные кверху усы. Легкий страх,— подобный тому, когда в книге прочтешь те мысли, которые взволновали тебя

перед чтением и которые вслух сказать невозможно,— страх охватил меня. На лице моем нищий увидал и понял сострадание. Сострадание это относилось более ко мне, чем к нищему, и оттого-то оно было более заметно и более выгодно! Нищий думал приблизительно так: «Страдая над прошлым, своим или чужим — не важно, сострадая своим мыслям, этот человек, идущий мимо закоптелой кузницы, переделанной из старого царева кабака, мимо кладбища и мимо меня, страстно желает остаться один! Он верит в свои силы, и ему кажется, что он разорвет ледяное кольцо, день и ночь лежащее у него в груди. Каждую минуту человеку кажется, что он нашел или вот-вот найдет мысль или совершит поступок, который уничтожит его холодные страдания! Если же с ним заговорить, то, как бы ни был он скуп, он купит мое молчание!» Я с утомленной боязнью следил за нищим. Он же следил за моими глазами: на чем я их остановлю? «Пусть он мне рассказывает об умерших,— подумал я.— Мне не нужно будет утомляться и ждать развязки истории. Развязка известна, если я стою подле могилы».

Нищий направился к холмику, украшенному двумя бурыми крестами и черной доской, по которой вился длинный белый иероглиф. Трава подле холмика была сильно утоптана, должно быть, много любопытных посещало это место. Многие размышляли здесь над смертью. Возможно, что мне суждено выслушать областную историю мести, или гнева, или революционного подвига! А жирный нищий с рыжими закрученными усами вдруг рассказал мне о любви двух барабанщиков и фокусника Матцуками — чудесных и веселых людей, работавших некогда со мной в цирке «Братьев Азгарц».

— Ваше благородь, ваше благородь, товарищ рыцарь. Ты сначала туда вон посмотри, за овраг. Там, за оврагом, туман, а в тумане, верь моему слову, есть деревня Вяземы, а в деревне той рукодельничал по сапожному делу мужичок-старичок по фамилии Николай Осипыч. И вырастил мужичок дочь: красивую, здоровую, поповского роста, одним словом. Характер у нее только неизвестный, а кроме — от нее счастье: вот он рукодельничает, скажем, и рукомесло у него не лучше, чем у других сапожников, а подойдет к ботинку Варвара Николавна, по гвоздям ногтем проведет — и сразу

люди платят вдвое дороже за ботинок. Шить бы да шить, каждый день по три пары, а только кожи тогда было еще меньше, чем сейчас, и времена были широкие: от деревни Вяземы до Москвы езды полдня, лес у нас — кошка заблудиться не сможет, а получалось тогда до Москвы езды пять суток, а если на шоссе, так при каждом шаге из-за каждого куста по пять чернобандистов! Пока ходили эти бандисты толпами, без атаманов, терпеть было можно, но не увидели они в том выгоды, и тут явилось у них три властителя: барабанщики Митя да Саша и японец такой, ласковый глазами,— православный по имени... по имени своему Вол.

— Забыл, дядя. Звали его Матцуками! Матцуками этот был...

— Нет, то тебе другую историю рассказывали, про другого японца, а этого я сам видел, и зову я его правильно: Вол. Так! Вот и воюют эти бандисты и промеж Советской власти, и промеж себя, и стало бандистским властителям скучно: убивают много, а ни почету, ни денег...

Сучит раз сапожник Николай Осипыч дратву особого состава, так как, вишь, подгонял он подметку под милицейский сапог. Дочь Варвара Николавна самовар раздувает, карасину, как и сейчас, нету,— и в окне и в ограде луна да от самовара искры. Посмотрел на эту луну Николай Осипыч, а она пологая какая-то, как чугунок,— и стало сапожнику тревожно! Обернулся сапожник на дочернью красоту, а у ней брови тоньше и черней дратвы: совсем заныла у него душа. Смотрит Николай Осипыч на сапог, а сапог страшный, на подметку чуть ли не аршин кожи требуется, такой сапог, кажись, и через болота и через моря поведет тебя невредимым, а милицейский, сказывают, сам у бандистов служит. «Что же это такое,— думает Николай Осипыч,— жили-жили, крошили-крошили, а тут даже у сапога вид тревожный». И только подумал так, а за оградой уж бандистские телеги поют.

У бандистских телег тогда пенье было особое, легкое, бандисты дегтю не жалели, а мужицкие телеги выли в ту пору голодно. Бежит Николай Осипыч к воротам, почет оказывать. Сидят в телеге Митя-барабанщик в розовой гимнастерке, Саша-барабанщик в голубой, а православный японец Вол — при сюртуке и галстуке, а лицо у него добрей всех русских лиц. Говорит японец Вол так ласково Николаю Осипычу:

— Ты, старая карга, моментально чтоб четверть самогона на стол!

Прежде бы в деревне самогону в долг Николаю Осипычу не поверили,— водка, она твердый расчет любит,— а тут вся деревня поняла: по тяжелому делу приехали бандистские атаманы, и сразу три четверти получил старик.

А на столе у него уже скатерть праздничная синяя, а над ней три рожи: две малиновых, а одна ласковая желтая. А под рожами стаканье сияет, а перед стаканами наганы. «Ну,— думает старичок,— вся надежда на Варвару, какой у ней при таком событии характер скажется и как ответят ей разбойники». А Варвара ходит одинаковой походкой для каждого и каждому одинаково приятные слова говорит. Упало, замерло сердце у старика, когда заговорила ласково желтая рожа, отставляя от себя стакан и переставляя к себе наган:

— Мы, старик, не для самогона приехали! Нам на любой деревне и на любой поляне бочки самогона приготовлены! Приехали мы за славой.

— Какая ж у сапожника слава, господа чернобандисты? Убивайте старика, если в нем приготовлена вам слава.

— Дочь у тебя приготовлена для славы и для счастья! Вот воевали мы, воевали, вот убивали мы, убивали, а вдруг подумали: Митька убивает оттого, что всем завидует, Саша — потому, что радостно ему быть таким сильным и храбрым и людей крошить, а мне людей жалко, люди плохо живут, зачем им страдать лишнее, а умирать все равно придется, раз родились.

— Это ты правильно,— отвечает ласковому японцу Николай Осипыч.

— Правильно, конечно. И стало нам сразу веселей от таких мыслей! А потом начали мы думать — своим характером, мол, мало утешаться: надо и жену себе такого же характера подобрать. И помирает тут один человек и говорит нам: «Жалко мне вас, идите к сапожнику Николаю Осипычу, есть у него дочь, и найдете вы с ней славу и счастье». Вот мы и пришли.

— Правильно,— говорит им старик.— Вот перед вами ходит моя дочь: пускай кого она хочет, того и выбирает.

Скосила Варвара глаза, лицо смиренное, рот дура дурой, говорит:

— Ваш выбор — мой выбор, Николай Осипыч! Вы — отец, я привыкла вам подчиняться.

Ну, тут старик напугался совсем: бандисты сидят широкоплечие: Митя неизвестно чему завидует, Саша неизвестно чему радуется, а японец Вол ласково и страшно на всю землю смотрит. Барабанщика Митю выберешь — Саша убьет; Сашу выберешь — Митя убьет; а про японца лучше не думать! Заскучал старик Николай Осипыч. Сидит, плачет, а бандисты смотрят на него с сочувствием и даже не улыбнутся, а ждут. Встал старик к дверям, а японец ему вслед:

— Ты особенно не беги, на улице наши телеги милицейский стережет. По пути и тебя ему приказано постеречь, да к тому же ты на ухо слаб, а милиционер громко кричать не любит,— вот и не услышишь ты солдатского окрику, и пальнет в тебя верный часовой.

А старик им разъясняет, что, мол, и с милицейским у него несчастье — нету в комнатах второго милицейского сапога. И тут даже бандисты подивовались размеру милицейского сапога! А старику не столько милицейский сапог нужен, сколько помолиться перед смертью, и не то чтоб он очень в бога верил, но коли умирать — так умирать по обычаю, а то треснут тебя как собаку и человеческой души показать не успеешь. Стоит Николай Осипыч во дворе, луна сияет еще больше, а сама мокрая вся, в слезах,— и жалко старику и на луну смотреть, и на себя. Подле крыльца сапог милицейский валяется, а за воротами сам милицейский с ружьем ходит, босиком! Гвозди в сапоге как слезы, а подметка будто шелковая, и думает старик: «Вот шил я сапоги людям на свое горе, без сапог бы они меньше по земле ходили, сидели бы они на одном месте и думали бы да заботились о своем счастье, а не занимались бы устройством чужого». Думает он так и смотрит на сапог с укоризной, и вдруг зашевелился сапог и говорит ему басом:

— Ты, старик, не сердись на себя, что меня починил, я тебе за хорошую починку совет могу благодарный дать.

Стыдно старику от сапога советы слушать, но всетаки тихо спрашивает:

— Говори, если путное что можешь.

— Возьми ты, старик,— говорит ему сапог торопливо,— возьми ты дочь и запри ее на ночь в сарай.

— Да как же я запру дочь в сарай, если там свинья и кобыла стоят?

— Вот и запирай их всех вместе,— отвечает старику сапог.

Вернулся старик к бандистам и попросил у них милости подумать до утра: за которого ж из троих выдать Варвару. Бандисты от спору устали, спать им хотелось, легли они в перины, а старик повел дочь свою в хлев. Варвара больно не удивилась, полагала, надо думать, что от свалки ее бережет,— расстелила она тулуп и легла на сено подле кобылы. А кобыленка была молоденькая, поплясывает, а свинья была из свиней грязнущая — грязью брызжет, и вонь и шум в сарае. Варвара как легла, так и заснула, старик даже и посоветоваться и вместе поплакать не успел!

Будят бандисты утром старика, наганы ему под усы суют:

— Куда спровадил дочь?

Идет старик с бандистами к сараю и про себя решает так: вот распахну дверь,— который из бандистов будет ближе к девке стоять, за того и отдам. Да к тому же утро, помирать не так страшно! Открывает старик замок, тянет дверь, и выходят тут, ваше благородие, товарищ рыцарь, сразу три Варвары, одна с другой — как икона в точности списаны! На всех троих шагреневые ботинки одинаковые; на плечах тулупы с заплатой у локтей синими нитками; и даже в бровях у всех по одинаковой соломинке застряло. И напугался и обрадовался старик: бандистов действительно утешил, а самому — сплошной убыток, потому что в сарае ни кобылки, ни свиньи нету, и опять же обидно, не разберешь... которая Варвара, а которая свинья Хаврониха. А тут дождь пошел, бандистам удивляться некогда, забрали они трех Варвар и от радости, не говоря ни слова, уехали в дождь. Милицейский взял сапоги, и остался Николай Осипыч один. Был сначала ему большой почет в деревне: как же, три зятя, и все бандисты, а позже, когда слава бандистская за леса да за горы укатилась и тише стала грохотать, а потом и совсем замолкла,— начали со стариком об цене за починку торговаться, в кооператив членом правления не выбрали, и самовар новый, за пятнадцать рублей купленный, потускнел,— затосковал старик Николай Осипыч и об Варваре-дочери стал все чаще и чаще думать. А мысли невеселые, нечеловеческие какие-то! Думает, как Варварушка живет,— а вдруг хорошо не Варварушка живет, а кобылка или свинья, и разозлится старик в кон-

це своих мыслей. Разозлился он так раз крепко, слез с лавки, забрал кошель и пошел.

Времени прошло много, а на шоссе все такая же грязь и даже как будто больше: около каждой деревни как ни остановишься — все рассказывают, что пастух Ермила или Афанасий в грязи утонул. Ну долго ли, коротко ли, подходит старик к Р.— город собой большой, красивый, а народ все какой-то хилый и смутный, и все страх как друг друга хоронить любят. Живет человек ничего, никто на него не смотрит, а как помер, тут и начнут: и музыку, и книжки пишут, и как в могилу несут — на каждом перекрестке плачут, и на каждом перекрестке памятники обещают поставить, и каждую улицу, по которой несут, тут же в честь покойника переименовывают. Идет тут мимо Николай Осипыча человек с портфелем, собой хмурый и тощий. Гимнастерка на нем выцветшая, а на лице что-то барабанное есть. Спрашивает его старик:

— Не вы ли Митя-барабанщик будете?

— Я,— отвечает,— Митя-барабанщик.

Спрашивает его старик:

— А не помните ли вы, не отдавал ли я за вас дочь свою Варвару?

Отвечает ему Митя слабым голосом:

— Отдавали, верно, а вон и ваша дочь на лугу веселится перед домом.

И смотрит старик — выстроен новый дом, и перед домом луг разбит с сосеночками. Окна у дома такие широкие, как будто людям некогда и на солнышко выйти посидеть. Варвара-дочь по лугу бегает: юбка до пупа, глаза шальные, грива подстрижена. Перед ней мяч катится, и рожа у мяча тоже шальная. Побегает-побегает Варвара, да как захохочет! Вокруг нее парни, один другого плечистей и мясистей, посмотрят на нее, да как загрохочут тоже. А барабанщик Митя тощий, глаза уставил на нее и завидует: и мясу чужому, и хохоту, и самому себе, что от Варвары оторваться не может. А вокруг Мити р — ские жители ходят и смотрят на него, скоро ли хоронить его можно, и вспоминают, какие он подвиги совершил. Спрашивает барабанщик Митя:

— Как, Николай Осипыч, изменилась ли ваша дочь Варвара?

— Не моя это дочь Варвара,— отвечает старик.— Кобылка это из сарая, а пойду я дальше, в С., погибайте около нее одни.

И пошел старик верно в С.

С.— город большой, красивый, а народ в нем тревожный и занятой. У каждого в руке карандаш, и каждый на заседанье спешит, а на заседаньях тех буржуев признают друг в друге и немедленно друг на друга доносят. Если не работает — буржуй. Удивляются и заседают! А если работает — тоже удивляются и тоже заседают. А посредине города площадь, и на площади заседает нищий, грязнее всех и радостнее всех. Нищий тот еле ноги передвигает, потому что никто ему не подает,— да и кому радость такому счастливому человеку подавать: сам с собой заседает и сам на себя доносит. Обрадовался нищий, увидав Николая Осипыча, тут же на него донос написал и кричит радостным голосом:

— Здравствуй, дорогой тестюшка, сапожник! Жена у меня хорошая, преданная, не то что мои сотоварищи. Все на места поступили. Прихожу я к ним, еле добрался, и рассказываю им: вот, мол, вели Ваньку Каина на казнь его бывшие разбойнички, которые в полицейские ушли, ведут мимо рощи, а среди кустов соловей поет, и говорит им Ванька Каин: «А не уйти ли нам, разбойнички-полицейские, в лес соловья послушать», и скинули полицейские мундиры и ушли с Ванькой Каином в лес! Сотоварищи из учрежденья мне и отвечают: «Зачем же нам, мол, в лес уходить, когда у нас граммофон есть, который и исполняет соловья гораздо натуральнее». Покличьте, дорогой тестюшка, тележку, так как сам на своих ногах я передвигаться не могу.

— Отчего же ты не можешь передвигаться на ногах? — спрашивает старик.— За грехи у тебя отняты ноги, что ли?

— Какие же мои грехи,— отвечает барабанщик Саша.— А не передвигаюсь я оттого, чтоб меня буржуем не сосчитали и заседанье насчет меня соседи не сделали. Соседям моим скучно. Картины, говорят, в кинематографе идут героические, им тоже героических подвигов хочется, а какие в С. героические подвиги: разве что посудишься да об знакомых заседание устроишь?

Торопится старик к дочери, себя не чувствует, и все-таки вдруг как-то тяжело ему стало идти, а барабанщик Саша радостно говорит:

— Ничего, шагай, это моим домом пахнет. Жена у меня опрятная, аккуратная, а вонь — это все соседи ко мне накидали, со злобы...

Смотрит старик: Варвара растолстела, грудастая, глаза заплыли, в избе вонь, грязь, к мужу подскочила, бабах его по морде.

— Когда же тебе будут подавать милостыню, не хочешь ли ты, чтоб я работала?

А барабанщик Саша смотрит весело и говорит старику:

— Редкая у тебя дочь, теплая у тебя дочь, радуюсь я человеческому мясу и теплу, благодарю тебя, сапожник.

Отвечает ему Николай Осипыч:

— Умирай, барабанщик Саша, рядом со своей свиньей, так тебе и надо, а я пойду в А.

И пошел старик верно в А.

А.— город большой, красивый, а народ там прямой по росту и гордый по голосу. Народ там любит праздники устраивать! Наводнение — они праздник устраивают. Десятое, говорят, по счету наводнение! Человек пятьдесят лет за столом сидит, бумажки подписывает,— они праздник устраивают, и речи говорят, и венки плетут: такой редкий случай. Посреди города зданья для торжеств приготовлены и сад разбит с памятниками, народу в саду том — тьма. Спрашивает старик:

— По какому случаю празднование?

— А вот,— отвечают ему,— помер японец Вол, и оказалось, что пятидесятый японец у нас помер в городе, и к гробу того японца пятисотый посетитель подошел,— вот мы и устроили общенародное гулянье. А кроме того, жена на него донесла, что бандист он и предатель. И донос тот у нас по счету мильонный!

Отвечает сапожник Николай Осипыч:

— Не могла жена донести! Жена у него — моя дочь Варвара, и спешил я к ней с большой радостью. Не спала она, как другая Варвара, как только с мужем.

Отвечает ему сосед:

— Этому я верю, хотя и был у ней случай со мной.

— И со мной! — говорит какой-то рядом.

И еще голоса раздались. Тут старик и закричал:

— Была она здоровая баба, почему ей с мужиком не поспать, зато чистая, опрятная...

Захохотали злорадно все и указали старику пальцами на Варвару и на лицо японца Вола. А было у японца лицо такое, что вот, мол, удрал я, извините; к вам я отношусь ласково, но жену с собой не возьму — вот и

этом и заключается мой последний фокус. И была у него еще на лице ласковость такая, что жители А., вглядевшись, решили японский праздник в честь японца Вола устроить. Ищут предлога, чтобы речи предпраздничные начать говорить, и так заговорились, что про японца и забыли, а он лежит и ласково улыбается. Вот он лежит день, лежит другой, а жена его Варвара уже нового мужа нашла, а за мужем возлюбленного выглядела, и муж ей уже не нравится, и написала она на него заявление, а в доме и грязь и жир... И сказал тут старик Николай Осипыч:

— А дочь-то моя оказалась подлей свиньи и глупей кобылы! Пойду я, братцы-товарищи, в город...

И вспомнил старик, что нет уже зятьев, нет у него городов, в которые пойти можно! Жалко ему стало бандистов, забрал он японца Вола и направился к городу С., а там над Волгой крики и беспокойства.

— Умер,— кричат,— нищий Саша, не посетивший ни одного заседания, умер и не успел кару получить.

Забрал старик нищего Сашу и направился к городу Р...

Я поднял голову. Шоссе и кладбище были пустынны. Жирный и пьяный рассказчик давно ушел.

Где я прервал его? С какого места я сменил рассказчика? Где сейчас старик Николай Осипыч? Не сам ли он подошел ко мне, и, обидевшись на то, что я прервал его (иначе почему ж нищему не спросить у меня милостыни?), Николай Осипыч покинул кладбище, покинул меня, не досказав истории о двух барабанщиках и фокуснике Матцуками.

1929

КОЖЕВЕННЫЙ ЗАВОДЧИК М. Д. ЛОБАНОВ

1

Кожевенный заводчик Михаил Денисович Лобанов владел многими предприятиями в Москве и других городах. Он имел длинный и низкий дом с таким огромным количеством комнат, что в нем постоянно путались, и все же супруга Михаила Денисовича, которую он прозвал Софьей Премудрой, всегда жаловалась, что в доме не хватает одной комнаты. У него было много коммерческих связей, большой и заслуженный кредит,

но он как-то мало верил в мощность своего дела, хотя для сомнений не было и не могло быть причин. С женой своей он жил дружно; поссорился он с ней только однажды, когда жена, обладавшая просторными хрустальными глазами, в которых неизменно отражались и блистали газетные истины, прочитав статью какого-то именитого профессора, доказывавшего, что России пора выйти на американский рынок, воодушевилась этой статьей и потребовала, чтобы Лобанов немедленно вышел на американский рынок, и так как они давно уже собирались за границу, то чтобы внес на иностранные предприятия соответствующие суммы. Лобанов отказался вложить деньги в иностранные дела, но, чтобы не продолжать ссоры, он предложил жене обоюдоудобное решение спора: он вносит определенную сумму на текущий счет в один из американских банков, сумму, которая как бы показывала возможности его участия в американских предприятиях. Жена согласилась. Немедленно явился господин Ристер, представитель американского банка, немолодой уже человек, с пухлыми и короткими седыми бровями, чем-то похожими на пилюли. Господин Ристер оказался очень услужливым и очень осведомленным человеком с плавной речью, доказывавшей, что спасение людей только в том, чтобы вложить в «Экспресс-банк» соответствующие их общественному положению суммы, и Лобанов не без удовольствия согласился участвовать в этом спасении. Все же крупной суммой он не рискнул!

Его постоянно грызла забота, он даже боялся хворать, потому что тогда в доме окончательно уже невозможно было ни в чем разобраться, и становилась понятной страшная для всех домашних истина, что в кожевенном деле никто, кроме Михаила Денисовича, ничего не понимает и боится даже понять. И ему было тревожно и боязно лежать в кровати и думать, что ж произойдет без него с заводами и куда потекут деньги, и этих дум даже не облегчала мысль о радостях работы, о том, как на склады привозили растрепанные тюки грязных и дурно пахнущих кож, на которых еще лежали куски земли Монголии, Туркестана или Урала, земель, куда он все собирался съездить, но съездить туда все не хватало времени. И вот эти грязные и противные кожи быстро превращаются в тяжелые и сияющие, как бронза, куски его славы, и марка его заводов гремит на полмира!..

Иногда, чувствуя, как невыносимо тяжело заглушать в себе заботы, Лобанов запивал, и тогда его тусклое лицо цвета пропускной бумаги с нездоровым румянцем и отвислыми щеками, его сильно худое и длинное тело, за которое приказчики называли его подсвечником, наполнялось ясностью. Софья Премудрая, блистая хрустальными глазами и помахивая пальчиком,— во всей ее фигуре запоминался этот указательный опрятный пальчик, похожий на пшеничный колос,— приходила его укорять. Она скорбно смотрела на пачку писем, лежавших без ответа, на сор и грязь, которые почему-то только сейчас замечала!.. Но водку он переносил с трудом, а самое трудное было опохмеляться. Он долго смотрел на водку, которую, чтобы выпить залпом, он наливал в стакан, и, только заслышав осторожные шаги жены, вспомнив ее восторженные хрустальные глаза с отблесками газетных истин, он зажимал пальцами нос, чтобы не чувствовать запаха, и глотал долго, пока опять все не становилось для него ясным и простым. Тогда он садился у окна своей рабочей каморки, и ему опять казалось странным, что огромный и низкий дом, с бесконечным количеством безвкусно обставленных комнат, могут занимать люди, почти неизвестные ему, хозяину, а он живет и работает в самой маленькой комнатушке и редко ему приходит желание выйти в так называемые «парадные». Вот дети, дочь и сын, неизвестно зачем и чему учащиеся, верхом въезжают в ворота. У них плохая посадка, но дворник, собиравший скверной метлой в железный совок замечательного цвета листья с осенних лип, не понимая того, что эти люди сидят очень некрасиво и тускло, кланяется им приниженно, низко... Дети проскочили через ворота, а дворник продолжал собирать необыкновенно прекрасные листья, думая, как и все, что листья эти — мусор и чепуха.

2

В революцию Лобанов потерял все: заводы, дом, жену и детей. Но через некоторое время, которому даже трудно дать сроки, потому что у одних людей страдание живет год, а у других — месяц или день, Лобанов начал разбираться в том, что произошло. Дольше всего и больше всего мешала ему в этом разборе мысль о покойной жене Софье Премудрой с ее маленьким отставленным пальчиком. Сына его убили на фронте, а дочь

уехала с летчиком на Украину и жила там, по-видимому, столь счастливо, что не интересовалась отцом. Его давно выселили из длинного дома, с которым он расставался скорбно и от которого долго не мог отвыкнуть, он все путал переулки и все выходил на Пятницкую. Давно заняли его заводы и захватили его сейф и его знаменитую чековую книжку «Экспресс-банка», из-за которой произошла его единственная ссора с женой. Понемногу Лобанов успокоился. Один из его прежних приказчиков рекомендовал его, и он поступил на службу по своей прежней специальности в соответствующий трест. Он женился на вдове Марии Ивановне, некогда ухаживавшей за покойной его женой Софьей Премудрой. Мария Ивановна была женщина простая, с обширной спиной, за которую все ее называли грузчиком, с ней не надо было спорить о газетных истинах, она имела одну истину, к которой нетрудно было приспособиться: человек должен в первую очередь быть сытым, одетым, надо, чтобы ему было тепло, а обо всем остальном лучше не думать. Лобанов привык и даже полюбил коммунальную квартиру с ее постоянными ссорами и с возможностью наблюдать, как растут дети, как меняются взрослые и как люди постепенно овладевают искусством собственного достоинства, тем искусством, которое столь свойственно людям нашей страны.

Лобанов быстро увлекся своим новым делом и быстро превратился в крупного специалиста. Он много бывал на различных заседаниях, писал доклады, высказывал свои соображения, и он стал быстро замечать, что теперь отметено многое, что раньше мешало его работе, и в первую очередь отметены деньги, ибо то жалованье, которого ему хватало только на одежду и тепло, — разве можно считать деньгами, когда прежде, например, он игрушки мог детям своим дарить вроде железной дороги по восьми комнатам с рельсами и со стрелками и с настоящим паровозом. Он понял, насколько путало его мысли его прежнее богатство, которым к тому же пользовались другие люди, его окружавшие, и пользовались неразумно, и вот это-то неразумие, как он понял теперь, больше всего и злило и заботило его. Поэтому-то он раньше запивал, и поэтому-то часто срывались те дела, которые он намеревался исполнить в ближайшие сроки. Теперь он постепенно отвык от вод-

ки и, случись захворать, мог хворать уже спокойно и не сопровождать свою болезнь выпивками и вздохами. Он лежал. В комнате было тихо. Он нашел покой. От всего его былого богатства и великолепия уцелели нелепые бамбуковые ширмы, за которыми и спит его жена Мария Ивановна. Цапли с длинными-длинными шеями сторожат ее сон, цапли на розовом шелке, проданные ему когда-то как древняя японская работа и на которых он недавно нашел немецкую марку, и то, что раньше разозлило бы его, теперь только насмешило... В коридоре играют дети, и на улице тоже играют дети, а под окном, как только распахнешь створку, дворник жалуется, что рождаются везде и сплошь двойни, и у него был такой обиженный голос, как будто эти двойни рождаются у него. В окно Лобанов видел небо, похожее на дерево, долго лежавшее в воде. Ему думалось, что в тресте плохо ли, хорошо ли, но замещают его и не сетуют на его болезни, и забавно было подумать, насколько там, в прежней жизни, боялись его болезни и насколько теперь молодые специалисты даже рады его заболеваниям и рады попробовать без него сами вести сложное и ответственное дело.

Одно только несколько смущало Лобанова: он теперь, как и раньше, считал самым прекрасным достижением человека возможность передвигаться и видеть океаны, неизвестные острова, людей, леса и степи, но путешествовать — что он желал сделать давно и чего, как ему думалось, по недостатку времени он не успевал сделать,— он и теперь не мог. Но и эта смущавшая его мысль получила внезапно свое разрешение: ему сказали, что трест желал бы направить его, Лобанова, в Париж для переговоров с французскими фирмами, которые хотели заказать на огромную сумму партию телячьих шкур, только что тогда входивших в моду. Из шкур этих выделывали манто и сумочки для парижских дам, а значит, и для дам всего так называемого цивилизованного мира. Лобанов, выслушав и согласившись на предложение, впервые после многих лет подошел к зеркалу в передней треста, где он мог увидеть себя во весь рост (дома он видел себя, только когда брился, и видел только свою бороду и свои несколько выпученные глаза), и здесь, разглядывая себя, он должен был признать, что он помолодел и кожа его с нездоровым румянцем, раньше похожая на пропускную бумагу, разгладилась и посвежела.

3

В Париже его, как и всех приезжих, знакомые повезли на площадь Звезды, где лежит прах Неизвестного солдата и куда двенадцать улиц непрестанно вливают двенадцать потоков автомобилей. Неподвижными показались ему эти двенадцать улиц, все странно похожие друг на друга, и неподвижно катались в запахе бензина похожие друг на друга автомобили. Улицы эти напомнили ему лица предпринимателей, которых он встретил немедленно после приезда и с сознанием превосходства над которыми он разговаривал сегодня о кожах и торговле. Он чувствовал в их лицах то беспокойство, которое владело им раньше, и он понимал, что эти люди так же, как и он раньше, мало видят жизнь и мало ее, хотя бы плотски, воспринимают. Все они обладают отвратительным пищеварением, глянцевитые лица их старательно выбриты и напудрены, духовно они замкнуты и одиноки. Лобанов знал очень мало истин, но те, которые он знал, он знал теперь твердо, он мог твердо и уверенно наслаждаться своим знанием, а они знали еще меньше его...

Он купил раскрашенную открытку с могилой Неизвестного и решил послать открытку жене. И на открытке неподвижно и странно торчала толпа раскрашенных автомобилей, и Триумфальная арка походила на подкову. Лобанов распрощался со знакомыми, несколько удивленными тем, что он не высказал удивления и восторга перед площадью Звезды, и зашел в кафе. Он хотел было купить галстуки, так как все сослуживцы в Москве просили его привезти возможно больше парижских галстуков, но в витринах, мимо которых он проходил, лежали такие неприятные и пестрые ткани, что ему казалось странным и смешным, что в Москве можно было бы надеть такие пестрые и безвкусные тряпки на шею. И в кафе многое показалось ему смешным и странным, и он с удовольствием вспомнил, что Мария Ивановна ничего из Парижа себе привезти ему не заказала, да и вообще Парижа для нее не существовало, а Михаил Денисович в ее представлении уехал в какую-то длительную командировку чуть дальше Волги. Лобанов выпил стакан плохого и крепкого кофе, от которого он давно отвык, и решил, что галстуки надо купить в магазинах, расположенных где-нибудь на окраине. Он встал, чтобы спуститься в подземную дорогу, но

тут впереди себя, неподалеку от Оперы, он увидал здание с вывеской «Экспресс-банк».

Сначала ему стало неприятно, но затем он развеселился. Он вспомнил смешного господина Ристера со странными бровями, похожими на пилюли в облатках, он вспомнил, как у него ножеподобно разглажены были брюки, как он тогда гордился своей Америкой. Ему захотелось узнать: жив ли этот господин Ристер и узнает ли он своего бывшего клиента. Он зашел. Ему немедленно и чрезвычайно любезно сообщили, что Ристер здоров, благоденствует, получил большой пост, и, если угодно, он может принять господина Лобанова через три минуты. И точно через три минуты его попросили пройти и любезнейше раскрыли перед ним дверь. Господин Ристер принял его с вежливостью, но уже более сдержанной и более достойной, чем вежливость служащих, встретивших Лобанова внизу. Забавные брови Ристера теперь уже совершенно походили на пилюли в облатках, причем, если можно так сравнить, в облатках, порядком заплесневевших от времени и невнимания. Одет он был теперь небрежно, в стандартный американский костюм, которыми так гордятся американцы, но он еще более гордился своей заокеанской страной, своим благополучием и тем, что ни черта не понимает, что происходит в России, и не обязан понимать. Господин Ристер сразу же сказал:

— Вот видите, господин Лобанов, как хорошо, что вы послушались своей жены и положили деньги в наш банк.

Лобанову неприятно было сознавать, что американец переменит тон и разговор о деньгах, как только узнает, что клиент его советский подданный, и Лобанов сказал по возможности проще:

— Что же хорошего — все равно пропали.

И тогда Ристер сказал то, что решил сказать сразу же, когда узнал, кто к нему пришел:

— Если бы даже на земле произошел потоп, то и тогда ваши деньги остались бы у нас целы. Правда, я знаю, у вас конфискованы документы и, может быть, даже у вас теперь и фамилия иная, но я знаю и помню ваше лицо, а этого достаточно, чтобы вы могли хоть сегодня же получить лежащие на вашем текущем счету семьдесят пять тысяч долларов.

Он с удовольствием осмотрел обстановку кабинета и повторил:

— Да, семьдесят пять тысяч долларов с соответствующими процентами.

4

— Семьдесят пять тысяч долларов?

— Да.

Господин Ристер изумился, что Лобанов даже не знает, сколько у него лежит на текущем счету, но незнание это он приписал тем душевным волнениям, которые пережил и теперь переживает Лобанов. Господин Ристер почувствовал почтенье к тем воображаемым заплатам, которыми был покрыт костюм Лобанова. Ристер взволнованно прошелся по длинному и узкому кабинету, обставленному той широкой и неудобной мебелью, которая так характерна для всех больших предприятий и банков и про которую все знают, что она и некрасива и неудобна, но которой все-таки продолжают обставлять. Ристер остался со своим мнением и впечатлением даже и тогда, когда Лобанов, как-то вкось оправив и без того удобно сидевший на нем пиджак, сказал, что он зайдет в банк на днях.

Лобанов сидел в метро скучный и усталый. Мир уже не казался ему теперь таким ясным и простым, каким он был недавно, он уже разветвлялся на несколько ручейков, и каждый ручеек медленно начинал шириться, и Лобанов вспомнил лица предпринимателей, которых он должен был встретить сегодня вечером, и лица эти, подумалось ему, конечно, более человечны и менее отчужденны. Усталость и духота метро овладевали им, мир же от этого не уменьшался в объеме, но как-то болезненно уточнялся. Мир опять наполнялся заботами и теми разговорами, которые Лобанов вел с предпринимателями, которым он мог выгодно продать кожи, но которым теперь не продаст, потому что он не сможет вести переговоров с прежней легкостью, а главное, с презрением, чем, собственно, он и поразил предпринимателей. Ему казалось, что он должен прекратить бессмысленное повторение: «семьдесят пять тысяч, семьдесят пять тысяч», хотя он ничего и не повторял, а все время думал об ином, главным образом о покупателях телячьих шкур. У входа в отель он остановился, и ему

пришла забавная мысль, что он может потребовать сейчас на семьдесят пять тысяч долларов все, что бы ни пожелал, а что он может пожелать, он и сам не знал!.. Он уже старый и достаточно утомленный человек, а стоит, словно мальчишка, на улице и гадает, что же он может потребовать на семьдесят пять тысяч долларов. Ему стало неловко и стыдно.

Улица шла мимо него, разношерстная и развязная: люди целовались и плакали — от счастья или несчастья, и никто из них не обращал внимания или притворялись что не обращают, потому что почти все люди в этом городе постоянно и каждый день твердили себе: «Мы в Париже»,— и постоянно им казалось или старалось казаться, что они все иные, чем они есть на самом деле. И Лобанов подумал, что вот он стоит на улице и размышляет над собой только потому, что он в Париже, а в Москве бы он так никогда не остановился.

Он вошел в свой номер, оклеенный невероятно яркими французскими обоями канареечного цвета с лиловыми пятнами. Но и в номере ему опять подумалось, что он может купить все, что хочет, и, так как легкое, хотя и тревожное удушье мгновениями охватывало его, он решил, что легче всего отвязаться от этой мысли, если заказать что-нибудь. Лакей с втянутой верхней губой, настолько, что нижняя совсем подходила к носу, вошел шумно. Лобанов стоял, долго раздумывая. Лакей привык ко всему, он стоял, наклонив голову, рассматривая сапоги Лобанова, которые тот все собирался почистить с того часу, как переехал пограничную станцию, и которые все еще были не чищены. Он попросил наконец воды. Лобанов вынул открытку с могилой Неизвестного. Лакей принес ему воду. Лобанов прислонил открытку к стакану с водой, и ему почему-то подумалось, что с вещами теперь надо обращаться осторожнее. Он скинул сапоги. Удушье, сладкое и легкое, опять пронеслось по его телу, он прилег, как был, в платье на кровать. Неподвижно и косо отражалась в воде стакана Триумфальная арка, и неподвижны и неправдоподобны были раскрашенные автомобили. Лобанов прислушался, и вот что встревожило его: он уже не слышал осторожного шипения парижских улиц, точно город весь шел в калошах. Он подумал: не подойти ли ему к окну, но внезапно он понял, почему и что его особенно беспокоило в этот вечер: теперь опять нельзя будет хво-

рать! Но как только он это подумал, ему сразу же стало ясно одно: он не сможет остаться здесь, за границей, вдали от родины и от теперешней своей работы и еще другое — ведь трудится-то он теперь гораздо больше и с большей любовью, чем прежде, чем в прежней жизни. И, наконец, как бы он ни старался мысленно уменьшить и унизить значимость производимого им сейчас труда, дабы найти этим умалением оправдание своей прежней жизни, но оправдания ей не было и не могло быть! И от этой охватившей его ясности и от уже принятого им внутренне решения вернуться скорей домой ему стало легко, и он глубоко и свободно вздохнул, и тогда вдруг почувствовал остренький и хрустальный, все расширяющийся холодок у сердца.

Он обрадовался этому холодку. Он лег и вытянулся во весь рост. С полным удовлетворением он вдохнул в себя воздух и протянул руку за стаканом. Нестерпимая жажда овладела им, он задел за что-то рукой, что показалось ему чужим. Ему все вдруг стало просто и ясно, словно бы прорвало плотину, и его понесло, высоко и легко вздымая...

От его последнего в жизни движения вращательно колыхнулась вода в стакане, и поплыли вокруг арки автомобили, приобретая теперь истинный, необходимый им цвет, и сама Триумфальная арка тоже поплыла, постепенно линяя... Официальная врачебная наука, представленная стареньким и подагрическим доктором отеля, признала, «что советский гражданин М. Д. Лобанов умер от так называемого разрыва сердца».

1929

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ, МАСТЕР ПРОЗЫ

Великий Октябрь открыл путь к творчеству целой плеяде замечательных советских писателей. И одним из первых среди них был Всеволод Иванов. Вскоре после революции он создал свои знаменитые «Партизанские повести» («Партизаны», «Бронепоезд 14-69», «Цветные ветра») о гражданской войне в Сибири, горячо поддержанные М. Горьким. Критика тех лет с удовлетворением отмечала, что их автор «наиболее решительно и безоговорочно принял Советскую революционную Россию» и сделал это «просто, молодо, легко, художественно, правдиво и цельно».

Имя Вс. Иванова сразу стало известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. О его книгах. переведенных на языки едва ли не всех народов мира, восхищенно отзывались Р. Роллан, А. Барбюс, А. Зегерс, Л. Стоянов, Ю. Фучик, М. Пуйманова. С них порою начиналось фактическое знакомство зарубежного читателя с молодой советской литературой. Как вспоминает сегодня известный кубинский писатель Алехо Карпентьер, «истинную сенсацию» произвела в 20-е годы на Кубе повесть Вс. Иванова «Бронепоезд 14-69», потому что «все было новым в этой книге: ее форма, персонажи и сам сюжет».

Все дальнейшее развитие писателя Вс. Иванова отмечено неустанными и смелыми исканиями, нередко на грани творческого риска, острого эксперимента.

Среди его произведений особо выделяются рассказы (сборники «Седьмой берег», «Экзотические рассказы», «Тайное тайных»), повести («Хабу», «Путешествие в страну, которой еще нет»). Но его же перу принадлежат и самобытные произведения большой романной формы («Голубые пески», «Александр Пархоменко», «Эдесская святыня», «Вулкан»).

Художника волнует прежде всего конкретно-чувственная сторона жизни, но, упоенно рисуя ее живую плоть, он с неизменным вниманием относится к духовному состоянию своих героев, отыскивает в них и бережно поддерживает все возвышенное, доброе, истинно человеческое.

Художественный мир Вс. Иванова романтически окрашен. В нем все светозарно, интенсивно, крупно, необычайно. Стиль по-

вествования словно бы настоян на образной символике народных преданий и легенд, на певучих интонациях живой разговорной речи. При всем том перед нами писатель-реалист, не чурающийся самой жестокой и грубой правды жизни. Он глубоко проникает не только в сложную диалектику, в «тайное тайных» человеческой души, но и в существо общественных обстоятельств.

В настоящем издании представлены некоторые из лучших произведений писателя. В основном это повести и рассказы двадцатых годов, наиболее выразительно раскрывающие своеобразие таланта писателя, неповторимость его художественного мастерства.

* * *

Родился Всеволод Вячеславович Иванов в 1895 году в селе Лебяжье Семипалатинской области. По-видимому, не только крайняя бедность, неустроенность семьи, но и романтическая натура заставили его еще мальчиком покинуть отчий дом и отправиться в странствия по Сибири, Зауралью, Заиртышью. «С 14-ти лет,— вспоминал он впоследствии,— начал шляться. Был пять лет типографским наборщиком, матросом, клоуном, факиром — «дервиш Бен-Али-Бей» (глотал шпаги, прокалывался булавками, прыгал через ножи и факелы, фокусы показывал); ходил по Томску с шарманкой; актерствовал в ярмарочных балаганах, был куплетистом в цирках, даже борцом. С 1917 года участвовал в революции. После взятия чехами Омска (был я тогда в Красной гвардии), когда одношапочников моих перестреляли и перевешали, бежал в Голодную степь и, после смерти отца, дальше за Семипалатинск, к Монголии. Ловили меня изрядно, потому что приходилось мне участвовать в коммунистических заговорах».

Так трудно и вместе необыкновенно, под стать своему историческому времени, складывалась жизненная биография будущего писателя. Одновременно в этих скитаниях по земле, растревоженной надвигающейся революцией, во встречах со множеством самых разных людей, в героике и муках гражданской войны определилось его общественное самосознание, накапливался душевный опыт, формировался талант.

В 1919 году Иванов собственноручно набрал и напечатал в походной типографии первую песенку из своих рассказов «Рогульки», где отразились впечатления всех этих скитаний по городам и весям. Однако молодому автору еще не хватало профессионального мастерства, и собственный голос его звучал пока не очень отчетливо.

Истинным началом творческого пути Иванова стали только «Партизанские повести», написанные уже в 1920—1923 годах в

Петрограде, куда писатель перебрался при содействии М. Горького. Они-то и выдвинули никому не известного сибиряка, литературного дебютанта в число крупнейших мастеров советской художественной прозы.

Исследователи творчества Иванова считают, что «Партизанские повести» — это «своеобразный поэтический «триптих» посвященный эпохе гражданской войны, показывающий события, связанные с народным партизанским движением в Сибири против «колчаковщины» и интервенции, отразивший стихию «мужицких» бунтов и восстаний за новую власть, за Советы и Ленина».

Однако действительное внутреннее единство этих произведений определяется не только их содержанием, но и характерным для них подходом автора к жизненному материалу, своеобразием их стилистики.

Одно время, говоря о художественной манере раннего Иванова, критики называли такие ее черты, как метафоричность, орнаментальность, сказовость, в числе «грехов» молодого писателя. «Главное было не в этом»,— замечали они и среди особенностей, составляющих «неповторимую оригинальность» автора, упоминали такие, как «подкупающая простота», «естественность», «броскость», «пышность красок».

Но как ни содержательны отдельные метафорические сцены, образы «Партизанских повестей», во всей своей глубине и концепционности они раскрываются только с помощью постоянных лирических вторжений автора в сюжетное действие.

Уже замечено, что в этих вторжениях заключено у Иванова многое. В них и сгустки эмоций, и красочные картины. В них и эмоциональная реакция на происходящее, и философский взгляд на человека и природу. Но наиболее значительны эти «рапсодии», как назвал А. Воронский многочисленные ивановские лирические отступления, в том, что именно они выражают существо особенного отношения этого писателя к революции, восприятия ее как события не только великого, но и бесконечно радостного для людей. Как ни жестока классовая борьба, требующая бесчисленных жертв, крови, она идет во имя самой жизни со всем ее первородным и непреходящим очарованием, со всем добрым и человечным, что в ней есть. И эту высокую связь между Революцией и Прекрасным утверждает голос автора. Он сопровождает описание кровопролитной битвы и ведет уверенный диалог с ее участниками, которым трудно пробиться к пониманию и самих себя, и человеческого смысла грозных и тяжелых событий:

«— Я говорю, я.

— Зверем мы рождаемся ночью, зверем!!!

— Знаю — и радуюсь... Верю... Хорошо, хорошо — всем верить, все знать и любить.

Все так надо и так будет — всегда и в каждом сердце!»

Обаяние живописно символической манеры было настолько сильным, что современники в большинстве не представляли Иванова художником других творческих возможностей. Некоторые отказывали ему, например, в искусстве сюжетостроения. Так, Л. Лунц прямо утверждал, что Иванову «не удаются рассказы с действием» и он «не знает элементарнейшего построения фабулы, не умеет развить даже одного мотива». Иным казалось, что писатель чужд психологизму. «Почти никакого психоанализа, полный антипсихологизм»,— убежденно характеризовал А. Воронский его раннее творчество.

Между тем подобные мнения были явной критической аберрацией. Проза Иванова с самого начала развивалась в разных жанрово-стилевых направлениях.

В ряде произведений («Партизаны», «Цветные ветра») сюжетное действие и в самом деле было ослаблено. Автора волновали не столько события, сколько умонастроения, переживания, эмоциональный пафос эпохи революции и гражданской войны.

Но одновременно создавались повести, рассказы совсем иного плана. Одни из них заключали в себе почти приключенческую фабулу с увлекательной интригой, динамично развивающимся действием, погонями, стрельбой, роковыми совпадениями, экзотическими подробностями и неожиданными финалами («Бог Матвей», «Долг», «Зверье»). Другие были тоже сюжетно организованы, но в то же время глубоко психологичны, с отчетливым рисунком внутренних состояний человеческой души. Такова группа рассказов Иванова, написанных в начале двадцатых годов и посвященных жизни сибирской окраины России, ее провинциальному быту («Синяя зверюшка», «Жаровня архангела Гавриила», «Глиняная шуба», «Лога»). Именно здесь писатель впервые показал себя проницательным аналитиком, мастером постижения мучительных и сложных нравственных исканий русского человека.

Героями этих рассказов являются, как правило, таежные жители, люди малообразованные, с темным, неразвитым сознанием. Естественно, что им не свойственна утонченная рефлексия. Не потому ли, кстати, и отказывали критики Иванову в «психоанализе»? Однако духовный мир этих героев психологически напряжен. В нем совершается неустанная работа ума и сердца, идет поиск каких-то высших ценностей бытия.

В рассказе «Жаровня архангела Гавриила» утверждается жажда чуда, одолевающая человека и жизненно необходимая ему. «Огромными и непонятными, как зимняя тундровая ночь», кажутся охотнику Кузьме его собственные мысли. Только одна из них — «о чудесном городе Верном», который «под водой плывет», бьется в его сознании живо и ясно. Оттого и дорожит он ею боль-

ше всего на свете. «Чудес хочу»,— объясняет Кузьма людям свое неукротимое желание попасть в город Верный. Действительность развенчивает эту веру в чудеса. Обыкновенным вором оказывается один из мнимых их провозвестников — «мужичонко Силантий». И все-таки и автор, и его герой не мыслят человеческого существования без веры в чудесное. На том заканчивается рассказ: «Что ж, нет ведь чудес на свете, и самое страшное — жить тому, кто подумает, что нет их — чудес, и поверит».

Психологию своих особенных героев Иванов раскрывает особенными же средствами. Их близость к естеству жизни, к природе как бы подсказала автору и соответственные, «природные», определения существа личности. Таковы, в частности, присущие ряду произведений писателя способы раскрытия внутреннего «я» персонажа с помощью подчеркнуто эмотивных, воспринимаемых на цвет, запах, характеристик.

Иванов — писатель с необычайно щедрой цветовой палитрой. В его произведениях колористическая гамма поражает богатством оттенков («голубовато-розовые снега», «голубые, зеленые, синие» воды Иртыша, «золотая и опаловая пыль степей»). Под стать им и набор запахов, которыми пропитано буквально все. «Стада пахнут кислыми осенними травами»; «сладковатые запахи» исходят «от розовой пены, от льдов»; свой запах у татар, «губы у них были толстые и, наверное, пахучие»; женщина несет с собой «смуглые киргизские запахи: аула, кошем, дыма»; от «угловатых, завернутых в шелк костей» старухи пахнет «нафталином».

Однако по-особому значительны краски, запахи, когда они служат художнику не только для убедительного живописания, но также и для оценочного раскрытия личности персонажа, его душевного склада, психологии. Примечательно, например, что среди героев Иванова, пожалуй, только один лишен всякого запаха и цвета. Это Никитин из «Цветных ветров», чья холодная рациональность и опасная жестокость неприемлема для писателя. «От Никитина никакого запаха,— словно стекло»,— замечает автор. И это определение убийственно. Лучше всяких пространных объяснений показывает оно, каким чужим является Никитин для остальных партизан, которые наделены своим живым и жизненным человеческим запахом: «В избе они пахнут землей, а на снегу шаг их отдает деревом».

Можно было бы назвать и другие произведения, свидетельствующие о пробе Ивановым своих сил в разных литературных стилях, формах. И только в самом начале творчества он совершенно определенно отдавал предпочтение одному направлению, писал в основном героико-романтическую и лирическую прозу. Позже писатель стал уже с равным интересом относиться к различным ху-

дожественным структурам и даже, как предполагают исследователи, наверное, «затруднился сразу бы ответить, что для него будет главным — буйная живопись «Пустыни Тууб-Коя» или сдержанно-лаконичное психологическое письмо «Ночи», «Жизни Смокотинина», иронический сказ «Чудесных похождений портного Фокина» или зашифрованная символика, причудливая фантастика рассказа „Барабанщики и фокусник Матцуками"».

Тем не менее, при всей «разнонаправленности» художественных исканий, в них улавливается главная тенденция. От года к году, от книги к книге Иванов неуклонно совершенствовал, обогащал, изощрял свое искусство проникновения в сокровенные тайны души человеческой. И на этом пути у него случались этапы наиболее интенсивного всплеска творческой энергии, когда рождались произведения прочной эстетической ценности, хотя иногда появлялись на свет и вещи спорные.

Таким, этапным, стал для Иванова конец двадцатых годов, ознаменованный выходом нового сборника его рассказов «Тайное тайных».

М. Горький как-то рекомендовал Иванову: «Не пишите года два-три больших вещей, вышкольте себя на маленьких рассказах, влагая в них сложные и крупные темы...» Сборник и стал для писателя такой школой высокого искусства новеллистики, опытом совмещения крупных, в масштабе человечества, тем, проблем с предельно лаконичной и психологически емкой формой их выражения. Недаром автор позже признавался, что книга «Тайное тайных», помимо прочего, «была и своеобразной творческой лабораторией писателя».

В чем же заключалась новизна «Тайного тайных», заставившая критику говорить о «новом Иванове»?

Разъясняя «смысл своей новой книги,— и название тоже», Вс. Иванов говорил позже, что хотел «быть более внимательным к человеку». Свою творческую программу он представлял так: «Надо видеть человека и надо уметь разрушать тайны сердца, делая из тайного явное!» Этот обострившийся интерес к познанию нравственно-психологических глубин человеческой личности и предопределил своеобразие «Тайного тайных», что сказалось не только на содержании, но и на художественной системе рассказов, их стиле. Даже в произведениях, которые, казалось, были написаны в «старой» манере героико-романтического письма, были заметны существенные сдвиги. Сквозь орнаментальную связь романтической новеллы «Пустыня Тууб-Коя» проступала заглавная идея сборника — идея необычайной сложности, противоречивости и вместе величия человека. В героях этого рассказа предрассудки, жестокость, низменные инстинкты уживаются с тягой к прекрас-

ному, к тому, что поднимает над буднично-бытовыми заботами, над суровым обиходом жизни.

Еще сильнее ощущался принципиальный творческий перелом в тех рассказах, что были написаны в новой, реалистической манере. Здесь желание заглянуть поглубже в душу героев обусловило полный отказ от изобразительных средств, которые мало способствовали постижению «тайного тайных». Притом отброшенной в первую очередь оказалась сюжетность, еще недавно составлявшая одну из неусыпных забот писателя.

По типу своему рассказы «Тайного тайных» близки к классической новелле, которая интересна не сюжетом, в большинстве многократно использованным уже литературой, «бродячим», но своеобычной авторской интерпретацией героев и положений.

Так, по-своему разрабатывает Иванов поистине «вечный» сюжет о борьбе «маленького человека» с всесильными обстоятельствами, об испытании его в критической общественной ситуации, на переломе истории.

Тема «маленьких» людей — «не по росту, а по общественному положению», — совершивших во время революции и гражданской войны «подвиги изумительнейшие» и в дальнейшей своей жизни по-прежнему охваченных «не совсем даже понятной им тягой к героическому, к свершению чего-то большого», эта высокая тема так или иначе развивалась во всех рассказах «Тайного тайных».

В некоторых из них она вылилась в поэтизацию недюжинных возможностей человеческой личности.

Иванов и раньше считал, что писать о героическом характере надо «очень большими, заглавными и даже цветными буквами». Теперь радужная красочность почти ушла из его стиля, но восхищение необыкновенным в человеке сохранилось и укрепилось.

В «Яицких притчах» история о том, как раскалывались семьи, рушились привычные моральные устои, понадобилась автору не для того, чтобы еще раз поведать о противоречиях революционной эпохи. Этот поистине «бродячий» сюжет привлек его как возможность исследовать тайны человеческого сердца, резко обнажившиеся в годину испытаний. В притче «О казачке Марфе» центром повествования явилась судьба матери, на глазах которой были расстреляны пятеро ее сыновей за то, что служили «в белых». Шестому сыну мать вымолила жизнь ценою своего согласия пойти вместо него воевать за Советскую власть. Конфликт притчи состоял в противопоставлении героического и самоотверженного характера Марфы ничтожной личности спасенного ею сына. Между героями пролегал нравственный рубеж. Беспредельное душевное благородство сталкивалось с мелкой корыстью. И победа ока-

зывалась на стороне первого. Марфа, которой на старости лет сын отказал в куске хлеба («к деньге был жаден»), пошла нищенствовать по миру, но люди слагали легенды о прекрасном подвиге бескорыстного материнского сердца.

Постановка Ивановым нравственно-психологических проблем по-своему восполняла пробел в литературе двадцатых годов, которой не хватало «философии, переведенной на язык образов». «Тайное тайных» спорило с односторонне рассудочными представлениями о человеке, которые в те годы распространялись и поддерживались теоретиками ЛЕФа, РАППа.

Не все в новых рассказах до конца удалось автору. В частности, плохую услугу оказало ему увлечение идеями биопсихологизма, из-за чего социальный план жизни иногда отодвигался им куда-то на фоновые плоскости повествования («Поле»).

Писатель давал неприкрашенное изображение жизни со всеми ее грубыми и жестокими сторонами. Однако иным новеллам присуща и такая безутайность, которая говорит не столько о бесстрашном реализме творческих принципов, сколько об их односторонности. Иногда ключ к внутреннему миру человека Иванов ищет только в сфере подсознательного, в недрах инстинктов («Смерть Сапеги»).

Думается, что главной причиной просчетов, имеющихся в книге «Тайное тайных», была занятая автором позиция полемиста, увлеченного спором с теоретиками ЛЕФа и РАППа. А. Фадеев верно говорил о слишком уж настойчивом, а потому явно «головном, искусственном, сознательном» выявлении и вынесении на первый план рассказов «Тайного тайных» бессознательно-биологических мотивировок поведения героев.

Полемическая заданность утрированного психологизма, который подчас переходил в «биологизм», существенно ослабила художественную ценность ряда новелл. Тем не менее писатель не напрасно любил этот свой многократно раскритикованный сборник. И дело тут не только в полемическом характере книги. Несмотря на некоторую односторонность в изображении характеров, само стремление автора заглянуть в «тайное тайных» способствовало углублению психологизма в литературе 20-х годов. Еще важнее, что лучшие новеллы «Тайного тайных» («Полынья», «Плодородие», «Бог Матвей», «О казачке Марфе», «Про двух аргамаков»), одухотворенные гуманным вниманием к человеку и мастерские по своему построению, достойно вошли в художественное наследие писателя и украсили, обогатили его. Сам Иванов много позже с полным правом писал: «Я считаю «Тайное тайных» пожалуй что лучшей моей книгой».

В психологической манере «Тайного тайных», усиленной ироничностью авторского взгляда, пишет Иванов некоторые свои по-

следующие произведения. В частности, рассказ «Особняк», в котором рисует типическую фигуру уже не «маленького», а мелкого человека, обывательски приспособившегося к Советской власти.

По-своему соотносится с проблематикой и стилистикой этой книги и один из лучших рассказов, созданных Ивановым в конце двадцатых годов,— «Сервиз». В нем писатель не только углубляет тему «маленького человека», но и достигает совершенства новеллистической формы. По свидетельству Л. Славина, рассказ этот современники считали «шедевром мировой новеллистики».

Но Иванова, как и прежде, не удовлетворяют уже найденные им решения. Его дальнейшее творчество — это новый широкий и размашистый поиск, в результате которого создаются многие новые романы, повести, рассказы, пьесы.

И все-таки на всем творчестве писателя лежит единый отпечаток неповторимого ивановского, «всеволодианского», как говорят его друзья, восприятия мира. Это — вынесенное из боевой, героической юности автора «Партизанских повестей» восприятие жизни как величайшей радости, счастья.

Очень точно сказал об Иванове К. Зелинский, назвав его «очарованным странником» в нашей литературе. Странником, который пришел в нее, «чтобы выразить удивление, очарованность невероятной многоликостью и многоцветностью бытия». И этому чувству оказались подчинены у писателя все элементы его художественной системы — «его сюжеты, словесная живопись и даже его будто нечаянная тематика».

С этим оптимистическим чувством связана и прекрасная, гордая судьба его книг, которые с годами не стареют.

Виктория БУЗНИК

СОДЕРЖАНИЕ

Всеволод Вячеславович Иванов

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

Составитель
Тамара Владимировна Иванова

Послесловие
Виктории Владимировны Бузник

Заведующий редакцией Н. П. Утехин
Редактор Г. М. Атанов
Младший редактор Т. Я. Шипова
Художник В. И. Коломейцев
Художественный редактор И. В. Зарубина
Технический редактор Г. В. Преснова
Корректор *В. Д. Чаленко*

ИБ № 2622

Сдано в набор 30.11.82. Подписано к печати 31.03.83. Формат 84×108 1/32. Бумага газетная. Гарн. школьн. Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 25,77. Тираж 200 000 экз. Заказ № 780. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Иванов В. В.

И20 Повести и рассказы. — Л.: Лениздат, 1983. — 447 с., ил. — (Серия «Мастера русской прозы XX века»).

В настоящий сборник вошли две известные повести и многие рассказы советского писателя Всеволода Вячеславовича Иванова.

И $\frac{4702010200-098}{M171(03)-83}$ 224—83

84.3Р7